

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ
МИР

3

МИР

НОВЫЙ

2004

3

2004

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2004 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Смерть Кирова (комментарий к выстрелу);

АННА АРУТЮНЯН. Газета русская и американская (сравнительные характеристики);

ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ. Нодельма (роман);

ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);

ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Все люди умеют плавать (рассказы);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РУБЕН ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО. Новая книга (публикация нового произведения лауреата Русского Букера предполагается осенью одновременно с испанским изданием);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Василии и подвижнице Серафиме;

ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Фармацевт (повесть);

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ. Письма Виталию Семину;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Холст (роман);

АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;

АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

АНДРЕЙ КУЧАЕВ. Другая сторона улицы (рассказы);

ОЛЕГ ЛАРИН. Вот так и живем (дневник сельского москвича);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных (роман);

(См. на обороте)

Н. НИЛЛИ. **Литературный Петербург** (воспоминания);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. **Моншер** (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. **Чаровщина**;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Новая повесть**;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное пове-
ествование);
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман);
РОМАН СЕНЧИН. **Вперед и вверх на севших батареях** (по-
весть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза**;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Этюды из «Литературной кол-
лекции»**;
МАРИНА СТЕПНОВА. **Хирург** (роман);
ИРИНА СУРАТ. **Мандельштам и Пушкин** (статья третья);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **Бабушкин спирт** (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
АНТОН УТКИН. **Крепость сомнения** (роман);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. **Парад облаков** (рассказы);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Новая повесть**;
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. **Здесь ни за что не заблудишься** (рас-
сказ);

а также стихи МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, БА-
ХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛА-
НОВСКОГО, ИНГИ КУЗНЕЦОВОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ,
ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА
ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ; статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА
АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА,
СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕ-
ВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, АНДРЕЯ ЗУБОВА, ЮРИЯ КАГРА-
МАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, МАКСИМА КРОНГАУЗА,
АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕ-
ПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА,
ЭРИХА СОЛОВЬЕВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2004 году: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17.30 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4)

или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ИРИНА ЕРМАКОВА — Царское время, стихи	7
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Кандидат, повесть	11
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Сверчок, стихи	70
БОРИС ЕКИМОВ — Ралли, рассказ	75
ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ — Торопливые сны, стихи	86
ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ — Девятнадцатый век. Святочный рас- сказ № 13	89
ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ — Растворение в белизне, стихи	98
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ — К бабушке, в Бекачин... Рассказ	102
МАРИАННА ГЕЙДЕ — Коралловые колонии, стихи	115

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

РЕВЕККА ФРУМКИНА — Там, где в пространстве затерялось время... О пользе когнитивного диссонанса	119
--	-----

ОПЫТЫ

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — Политика	131
-------------------------------	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЮРИЙ СААКОВ — Высочайшая цензура. Два эпизода из истории ки- нематографа	133
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борьба за стиль

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА — «Как нам вылечить птиц, отказавшихся петь?»	151
ВЛАДИМИР ЦИВУНИН — Сухое биение. О стихах Ларисы Миллер	160

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Юрий Кублановский. «Без выбора»: неволя, нищета, счастье...	167
Валерий Сендеров. Записки прямоходящего, или Утопия Леонида Бо- родина	172

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Валерия Пустовая. Охотник за собственным «я»	176
Леонид Дубшан. «Может быть, не напрасно...»	180
Михаил Горелик. Человек из Тель-Авива	186

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА	191
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА	197
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	200
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	203

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СПОР О КРИШНАИТАХ: Сергей Зуев. Антикультистское сочинение; Юлия Ушакова. Кришнаизм как неоиндуистское течение	208
ЛЕВ ЛОСЕВ — Воображенные города	211

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	212
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	214
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
С 75-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ЕЛЕНУ ШВАРЦ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ
РОССИЙСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕМИИ
ПОощРЕНИЯ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА «ТРИУМФ»!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ЭВРИКА»!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ИРИНА ЕРМАКОВА

*

ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ

Август

Тяжелеет яблоко прогибает ветку
Черенок напрягается похрустывает в листве
Занимаются травы пламя бежит по ветру
И гудит гудит в зеленой твоей голове

В поределых кронах кричат незримые птицы
Перезрелые звезды с погон твоих осыпаются
Разбегаются тени стволов перед закатом
Твой медовый воздух отрывным напоен ядом

Угорелое лето взвивается дымом с плаца
В расписных подпалинах пни маршируют следом
На пунцовом солнце полки облаков толпятся
Полыхай государь гори командуй парадом
Высоко гори — охряно багряно властно
Ясно-ясно гори август чтоб не погасло

Это царское время — отрыва паденья раската
На плацу под яблоней — диковинные гранаты
На плацу парадном в ясно горящих травах
В груди веток павших между корней двуглавых
Так — катается так — пшикает величаво
Так волчком крутится обугленная держава

Словно в лето красное чаёт опять вернуться
Наливным яблочком по золотому блюдцу

Праздник

Как темно на белом свете темно
А на набережной праздник огни
Порассыпались подружки-дружки
А на набережной красный салют
Улетел в Канаду легкий Витек
А на набережной му-зыч-ка
Толик Иволгин исчез в никуда
А на набережной песни поют
Юлька скурвилась Аленка спилась

Стас — в бандиты Свистопляс — на иглу
 А на набережной пушки палят
 А над набережной в небе дыра
 А Иван под Грозным голову сложил
 Кругло стриженную голову
 А на набережной крики ура
 Веселится и гуляет весь народ
 Веселится и гуляет весь народ
 Хочешь вой Царевна хочешь — пляши
 Ни души на свете нет ни души

Дождь

Памяти Чедо Якимовского.

Дождь снова идет долговязой походкою цапли
 Вдоль сна с черно-белой сетью — проснешься во сне —
 Над морем капелла — стеклянные полые капли
 Клекочущей стаей слетают на веки ко мне

Бредут рыбаки и дрожащее облако пены
 По сонному берегу тянут в соленых сетях
 Чернеют ручьи от дождя набухая как вены
 И белая пальма качает твой сон на руках

Проснешься — над морем двуцветное небо а снизу
 Промокшее солнце попало в блестящую сеть
 На тонких ногах дождь идет в тишине по карнизу
 Как старый художник с холодной оглядкой на смерть

Проснуться заснуть и проснуться — а в комнате осень
 Размытые звезды в окне сквозь решетку дождя
 И женщина медленно волны волос перебросит
 За влажную спину в предутренний сон твой входя

* *
 *

Ангелина Филипповна
 самая культурна жилица
 нашего подъезда
 отслужила ровно 52 года в Большом
 билетершей
 Теперь у нее коллекция арий
 и коллекция кошек
 Пластиночные дивы
 постоянно поют
 Собрание кошек
 постоянно растет
 Все бывшие беспризорные
 кошачьи души микрорайона
 обретают себя здесь — в ее безразмерной

однокомнатной
 Все они именованы
 Имена их ангельские:
 Аглая Аделаида Агафон...
 Когда Ангелина Филипповна заводит
 какую-нибудь арию — например Мефистофеля: ха-ха блоха
 кажется что поет одна из кошек
 и жестокий кошачий дух
 лестничной клетки — сгущается
 перекрывая оперную мощь
 и это — самое общее место
 нашего подъезда
 Молчаливое общее место
 По безмолвному уговору
 никто из соседей никогда
 не пеняет кошколюбике
 на эту вонь ибо
 Ангелина Филипповна
 всегда в белом
 и подопечных своих экс-билетерша
 обряжает в белые одежды
 И когда она выводит их
 на демонстрацию
 натянутые поводки звенят
 накрахмаленные крылышки трепещут
 лавочный хор приподъездных гурий
 уважительно шелестит:
 Ангелина и ее ангелята

Кофейная церемония

Если сила есть — все остается в силе
 Остается все именно там где было
 Можно забыть как я тебя любила
 Или забыть как я тебя забыла
 Или распить на двоих чашечку кофе
 До растворимой гущи — как бы гадаешь
 Или еще проще еще пуще
 Как бы толкуешь — мы же с тобою профи —

Страсть выпадает в осадок внутри текста
 Жжет кофеин в жилах кипят чернила
 В узком земном кругу душно тесно
 Я же японским тебе языком говорила
 Все остается и ничего не даром
 И ничего не зря кофейный мастер
 Свет за кругом чернильной червонной масти
 Миф накрывается черным сухим паром
 В полную силу

В реберных кушах обугленная прореха
 Миф или блеф — ты в просторечье *чудо*
 Тень слинявшая *чудовищное* мое эхо
 Бедный бедный — слышишь меня оттуда?

Памяти памяти

- ...пил как сапожник, сгорел, как звезда.
 Вот ведь мужик был... в прошлом столетии:
 Гром среди ночи, огонь и вода!
 Помнишь? — когда погорел дядя Петя.
 — Да уж — пожарников, гари — звезда —
 выпимши был и курил перед сном.
 — Это когда? В девяносто каком?
 — ...?
 — Не остается от нас ни черта.
 — Ладно. Не чокаясь.
 — Стопку, и хватит.
 — Помнишь — потом сиганула с моста
 Машка Хролова в свадебном платье?
 — Только весной и достали со дна.
 — Значит — за Марью-царевну?
 — До дна.
 — Там теперь «новые», в этой двухклетке
 с евроремонтом, волчая сыть.
 — Ну! А напротив — твой бывший, соседка.
 — Тоже помянем, соседка, — подлить?
 — Думаешь... бывшему, мертвому — лучше?
 — Думаю — жальче, а так — все одно.
 — Поздно... пойду. Сотню дашь до полочки?

Темная ночь, но почти не темно.
 Светится лифт — позвоночник подъезда,
 ползает, старый скрипач, и фонит.
 Взвод фонарей вдоль Москва-реки вместо
 светится звезд. Телевизор горит.
 Светятся окна — как в прошлом столетии,
 в синей конфорке светится газ,
 и, как еще не рожденные дети,
 мертвые, бывшие, — светятся в нас.



АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ

*

КАНДИДАТ

Повесть

1

С балкона девятого этажа смотрел он торжествующе на коврик лежавшую под его ногами Москву, поверженную им, растоптанную и обложенную данью: чуть левее — строгая махина МГУ, метромост от Ленинских гор к Лужникам, сытая и ленивая река; в этот жаркий субботний день мая сиреневая дымка висела над проспектами Юго-Запада, но зеленые массивы вдоль речушки Сетунь продолжали озонировать и оздоравливать округу, совсем недавно оскверняемую теми, кто в панике бежал отсюда, оставив ему эту трехкомнатную квартиру, этот вид с балкона на поле боя, усеянное пока еще живыми телами презренной московской семейки, вздумавшей обуздать его, уроженца славного Павлодара, закабалить того, кто сейчас, перейдя на другой балкон, видит уже Поклонную гору и уж, конечно, никак не может не вспомнить великого человека, который много-много лет назад с горы этой взирал на коленопреклоненную Москву, покинутую жителями — в той же поспешности, с какой бежали опрометью из этой квартиры жена и теща; их ныне, москвичей, миллионов восемь, и в муравьиной куче этой копошатся жалкие остатки растоптанной им, Глазычевым, семейки, ошпаренными тараканами расползаются по столице, по своим щелям московские родственники, пировавшие с ним не так давно на банкете после защиты диссертации, а еще раньше — на свадьбе. Тесть спрятался на даче и достраивает сауну, теща убралась в военно-научный кооператив у метро «Новые Черемушки», злобно покусывая губы, — дура, абсолютная дура, хоть и, смешно сказать, доктор наук, и не просто дура, а кромешная, ибо при всей насыщенности шибко умными теориями бабища эта (в адрес ее Вадим Глазычев потряс гневными кулаками) не уразумела очевиднейшей истины, известной любой деревенщине: нельзя мешать зятю, то есть мужу собственной дочери, и самой дочери, естественно, заниматься любовью в любое доступное этому занятию время, ежели занятие это происходит вне чужих глаз и не нарушает общественного порядка. Нельзя! Иначе — крах, семья распадется, что может случиться, хотя, кажется, такого финала жизнь не допустит. Вернется сюда Ирина, вернется!.. Она его любит, и кто вообще мог предположить, что девушка, на которую укажет ему сокурсник, станет судьбой его, предвестницей чего-то необычного, — высокая, прямая, длинноногая...

Вадим Глазычев, издав несколько воинственных кличей, все же угомонился: он подустал, перебегая с балкона на балкон, и упал в шезлонг, с наслаждением вытянул ноги и полоснул острым ногтем по коробке сига-

Азольский Анатолий Алексеевич родился в 1930 году. Закончил Высшее военно-морское училище. Автор романов «Степан Сергееч», «Затяжной выстрел», «Кровь», «Лопушок», «Монахи», многих повестей и рассказов. В 1997 году удостоен премии Букер за опубликованный в «Новом мире» роман «Клетка». Живет в Москве.

рет «Данхилл», вскрыл ее и затянулся дымком, ощущать и обонять который могут немногие избранные.

Он курил. Он вспоминал.

2

Да, именно такая — высокая, прямая, одевавшаяся так модно и стильно, что вызывала всеобщую зависть. Она прошла мимо Вадима Глазычева и затерялась в толпе торопящихся на лекции студентов. «Без весла», — небрежно эдак, полущутливо, с легким пренебрежением приклеил ей этикеточку сокурник, и таинственное «весло» имело в виду, конечно, не красавицу в Парке Горького скульптуру «Девушка с веслом»; и не только в парке, такие, со спортивным инвентарем в руке, крутобедрые, гипсово-атлетической стати девицы торчали на многих озелененных территориях городов СССР. Правда, «без весла» так и осталось загадкой, вскользь брошенный в спину гребчихи камень намекал на некоторый изъян. А камешек, возможно, всего-то был ничего не значащим словом, мусором обычного институтского трепача; к таким почти величественным фигурам всегда прилипают студенческие взоры, но он-то тогда по макушку завяз в учебе, в конспектах, зачетах и экзаменах, четвертый курс уже, а времени ни минуты свободной, в общежитии бардак полнейший, хоть под одеяло залезай, чтоб в учебник вчитаться; это москвичам со столичными десятилетками любая наука по плечу, а он в Энергетический попал после обшарпанной школы с недокомплектом учителей, все предметы давались туго, родители ни копейки не добавляли к известно какой скудности стипендии, вагончики разгружать приходилось на товарных станциях, с девушками, понятно, никаких контактов, обмен не столько любезностями, сколько конспектами; правда, по пьянке раза два что-то такое случилось с одной востроносой, но вспоминать не хотелось, обоим было стыдно, посему и на Ирину Лапину, ту, что «без весла», смотреть при встречах не осмеливался. Знал к тому же, что она — из богатой семьи, где все академики или доктора наук, однако Ирина — что почему-то Вадима радовало — была не без наружного греха: всем удалась девка, но — нет красы на лице, то ли нос чуть выше обычного над губой поднят, то ли глаза сближены чересчур... Тем не менее — смотрелась, еще как смотрелась, а глаза и носик, которые не там, где надо, были неизбежными погрешностями, мелкими арифметическими ошибками, кои покрыты многочленностью формулы, незапоминаемой из-за сложности ее и заковыристости. Вокруг Ирины постоянно вились ухаженеры, никого из них дальше подъезда военно-научного кооператива не пускали, а его — сразу и с почетом ввели в хоромы, он немалую услугу оказал семейству: Ирина ногу подвернула в метро, помахала варежкой ему, страдальчески исказившись лицом, — и он подбежал, усадил ее на скамейку, спустил молнию на сапоге, дернул за лодыжку — и приглашен был в гости, когда довел хромающую Ирину до подъезда. Идиллия эпизода этого разоблачилась позднее, между пятым и шестым поцелуем в подъезде Ирина призналась, густо покраснев, что все было подстроено — и ею, и мамашей, и отцом, они давно, оказывается, выискали в тысяче студентов того, кого осчастливят, кто станет верным мужем и настоящим отцом многочисленных детей.

Поцелуи в подъезде роскошного дома оборвались внезапно, необъяснимо: вечером обнимались, сгорая от страсти, а утром Ирина прошла мимо ждавшего ее Вадима даже глаза не скосив. Еле досидев в аудитории, ошеломленный Глазычев позвонил в кооператив, науськанная академиком домработница ответила грубо: «Нет дома! И не звоните!» Катастрофа разразилась на подступах к диплому, в разгар последних экзаменов, которые завершились бы плачевно, не приди на помощь всезнающий земляк, не раз уже выручавший Глазычева. «Это испытание, — заявил он жестоко, —

ты его должен выдержать... Поверь, скоро Ирина вернется к тебе...» (А сам скорехонько переверстал собственные планы, взоры свои отвратив от егзливой дочки всесильного генерала и направив их на замарашку, мать которой подметала коридоры в здании на Старой площади. Предосторожность не излишняя, поскольку причина внезапного охлаждения Лапиных была земляку известна: у Вадима появился конкурент, да еще какой, сынко дипломата, юноша выездной, образованный, с некоторым грешком, о котором Лапины еще не знали, а был грешок в том, что скоропалительно определенный ими в зятя парень вел не соответствующий рангу отца образ жизни, «хилял» под хиппи, имел вид оборвыша, нес в речах похабщину, и добро бы про баб, а то ведь вознамеривался общественный строй поставить под сомнение!) Домработница по-прежнему отвечала Вадиму грубо, отказываясь признавать хоть и ничтожные, но все-таки кое-какие права Вадима на Ирину; хамство Лапиных никак не сказалось на зачислении Глазычева в аспирантуру — видимо, деканат по инерции сделал то, на чем настоял месяц назад всесильный отец Ирины. («Это они вроде отступных, — шепнул земляк. — Терпи, терпи, все образуется...») На свадьбе, понятно, можно было поставить крест, вскоре смертельная угроза нависла над временной московской пропиской, милиция теребила аспирантское общежитие, требуя почему-то отчета о диссертации, до которой как до Луны. Понурий Глазычев во всем видел подвох, на улице испуганно озирался, ни с того ни с сего раздражался тихим матом. И вдруг все изменилось, раздался телефонный звонок, Ирина скорбно поведала о беде: крохоборы из деканата не выдают ей диплом (она была курсом младше Вадима), поскольку за ней числится учебник, который она когда-то давала ему. Свидание состоялось (учебник нашелся, учебник, возможно, подброшен был — не мог не догадаться возликовавший Вадим), встречи возобновились, и уста трепетавшего от любви аспиранта снова вымолвили заветное слово, пылающая от смущения Ирина сомкнула руки на тонкой шее жениха. Свадьбу обставили капитально: не загс, а Дворец бракосочетаний, жениха приодели, причем костюмы пришлось перешивать, почему-то все они оказались на размер меньше; затем бросок на юг, фешенебельная гостиница в Пиццунде, вид из окна на море, вновь Москва, трехкомнатный кооператив, преподнесенный тещей, и любовь без конца и без края. Как бредущие по пустыне путники припадают к журчащей влаге оазиса и никак не оторвутся от родника, так и они, Вадим и Ирина, не могли прервать упоительный и нескончаемый процесс насыщения, наглухо заслонивший аспирантуру. Вадим и сам не знал и не помнил уже, как удалось ему задолго до срока защитить диссертацию, едва не срезавшись на философии, как сумел организовать — не без содействия рукастого тестя — статейки, вроде бы им самим написанные, подобрать оппонентов, произнести прочувственную речь на банкете. Если все это и было, то где-то в перерывах сладостных трудов ради удовлетворения вечно неиссякаемого желания. Утром он, всегда опаздывая, выбегал из дома, на ходу дожевывая бутерброд, вечером влетал в квартиру и тут же начинал раздеваться, Ирине удавалось втолкнуть в его рот кусок чего-то съестного, после чего они, минуя все предварительные стадии, приступали к освоению древнего искусства философии, обложившись старинными трактатами о любви и поглядывая в новейшие исследования; о, святое время истинной страсти! о, единение родственных тел и душ на колком, научно обоснованном ложе любви! Они владели тайной, недоступной иным молодоженам, они по праву могли бы называть себя магистрами тантрического секса, и если порою попадали в театр, то со скрытой усмешкой посматривали на публику, которой ни за что не догадаться, почему они сейчас поднимутся и с чрезвычайно озабоченным видом покинут зал. И поднимались, и уходили, обмениваясь понимающими взглядами, держась за руки и уже погружаясь в тайну, разгадка которой близилась с каждым шагом, с каждым этажом, и еще до остановки лифта

на девятом этаже начинался съем одежд, что порою приводило к курьезам: однажды соседка, вышедшая к мусоропроводу, застала их полураздетыми...

Да, счастливейший период жизни, праздник, который всегда у каждого из них, и соединить оба праздника в один стремились оба... И так — восемь месяцев безмятежного счастья, разрушенного беспросветной дурой тещей, — а ведь из так называемой интеллигентной семьи, на уцелевших фотографиях все предки — с пенсне на переносье или в мундирах, сама Мария Викторовна не какой-то там зоотехник или бухгалтерша: доктор наук, да еще каких — педагогических! И так оплошаться!

Однажды Вадим начал было готовиться к постижению непостижимого, но в нарушение всех норм, правил и сроков Ирина жалко промолвила, что сегодня — не может, такое у нее состояние. Вадим огорчился и смирился, как-то не заметив хитровато-блудливого взора верной супруги, запомнив, однако, день отказа и несколько удивившись, поскольку до «такого состояния» еще далеко. Терпел три дня — и вновь это самое состояние, причем объясненное не циклическими периодами женского организма, а моральными переживаниями, которые, видите ли, вызваны тем, что — страдает ее младший брат Кирилл, тот самый, которому так и не помог он, Вадик, да, да, не помог, когда его попросили две недели назад. Глазычев опешил от наглости дочки академика. Братец ее — истинный всамделишный идиот, которому место в Кащенко или у Ганнушкина, пусть он там клеит коробочки в экстазе трудотерапии, а не пишет полные кретинизма статьи об индукции, которые ни один журнал не берет (и правильно делает!). Мальчику, видите ли, нужны публикации, мальчика не поняли на олимпиаде по математике, он потому еще страдает, что в институт не поступил, куда, впрочем, ему и поступать-то рано, шестнадцать лет идиоту и кретину, и о чем вообще думает теща, дважды, вспомнил Вадим, просившая зятя «помочь бедному и талантливому мальчику». А сам член-корреспондент академии наук — что, руки у него враги поотрубили?

А Ирины очень хотелось. Но не настолько, чтоб клятвенно заверить: да ладно, суну я эту галиматью в «Науку и жизнь», там в редколлегии друзья земляка, и давай приступим... Так тянуло, что не сдержался и сквозь зубы, нехотя согласился. Но Ирина испуганно отпрянула: нет, нет, нет, только после того, как... И укатила к родителям, в девичью комнатенку, куда ему, еще не признанному жениху, дозволялось заглядывать на минутку, для того лишь, чтоб избранник семьи убедился: здесь чистота — моральная и физическая, здесь живет — ангел, неземное существо, непорочно зачатое, девушка, которая при определенных условиях может стать спутницей жизни достойного человека, — святыня, надежда и гордость семейства...

Она уехала, а он терпел, так и не высмотрев еще тени подлой тещи, не разглядел ее тупого коварства. Прождал еще три дня, так и не связавшись с земляком, потому что тот слишком высоко забрался, заведовал отделом в «Известиях». Но так желалось Ирины, так, что — позвонил ей, говорил буднично, будто ничего не случилось, но та вновь заупрямилась, заохала и заахала: бедный Кирюша, как тяжело приходится ему в жизни, ни помощи от родных, ни поддержки, пропадает ни за что юное дарование, вот и она страдает, обложилась лекарствами... «Это какие еще лекарства?» — поразился Вадим: Ирина, он знал, никогда не хворала, здоровья была отменного, ей дай в руки весло — копьем полетит оно в поднебесье. И поехал в кооперативные хоромы, будто проведать заболевшую супругу; к приезду его подготовились, девичью комнату так прибрали, что она походила на монастырскую келью, — эта рассчитанная убогость и подвела Вадима к шальной мысли, которая едва не прыгнула с языка: да знали бы вы, граждане академики и доктора, какие коленца выкидывает ваша скромница дочурка в сексуальных танцах!

И тут же прозрел: это мамаша, которая поглупее любой деревенской дурищи, наставила дочь, подговорила Ирину прикинуться больной, чтоб вожделеющий муж сдался, выклянчил бы у земляка пару страниц в каком-нибудь журнале для Кирюши. Торгуются, как на рынке. Хуже: как проститутки. И чем торгуют? Тем, что по праву, по обычаю, по закону, наконец, принадлежит только ему, мужу!

Он сплюнул, ушел, дрожа от злости. Догадка озарила: сам папаша идиотика, академик то есть, мог любую статью где угодно опубликовать, ему это — как плюнуть, от зятя требуют подлога, приручая тем самым к семейным традициям!..

Озлился он тогда. А надо бы возрадоваться, потому что в тот же день произошло событие, открывшее ему ворота в новый мир. Он, на девятый этаж поднявшись, стал на квартире вымещать скопившуюся злобу, принялся, матерно кроя жену и тещу, за уборку, потому что трогательная чистота девичьей комнатенки Ирины была фикцией, Вадим женился на неряхе, ленившейся опорожнять ведро в мусоропровод; ни кухня, ни комнаты ни разу не подметались, к пылесосу боялась притронуться выпускница электротехнического факультета, все делал муж, и теперь разозленный Вадим устроил генеральную, непредвзятую (близился Первомай) уборку, за полгода скопилось несколько десятков бутылок, их он промыл и с двумя громадными сумками спустился вниз, в полуподвал дома, где принимали посуду. Народу — никого, еще не начиналось массовое употребление напитков, все силы брошены на закупку алкоголя, приемщица то ли скучала, то ли прибавляла, еле ноги таскала, вздыхала, жаловалась неведомо кому неизвестно на что. «Половое воздержание!» — наудачу громко поставил диагноз Вадим, тосковавший по Ирине, и приемщица, пухленькая бабенка чуть постарше его, со вздохом согласилась: да, воздержание, и кто только избавит ее от него, снимет с души и тела тяжесть. Вовсе не рассчитывая, что избавителем станет он сам, Вадим, однако, выдвинул свою кандидатуру, которая была немедленно одобрена, бабенка вышла из-за перегородки, закрыла дверь на засов и ввела Вадима в закуток со шкафчиком и двумя телогрейками, тут же брошенными на пол... До самых майских торжеств продолжались вечерние оргии в полуподвале, бабенка не церемонилась с дневной публикой, впускала Вадика через служебную дверь и тут же закрывала парадную. На праздники прием посуды прекратился, но пункт напрямую связан был с ближайшим магазином, и бабенка протрепалась о том, кто успешно избавил ее от всех женских хворей. Когда Вадим появился вечером третьего мая в этой торговой точке, продавщица завела с ним игривый разговор, полный намеков, и еще на неделю нужда в Ирине исчезла.

Он уверовал в себя! Он задышал глубоко и радостно! Все женщины мира отныне могли принадлежать ему, все! И поскольку глупая супруга продолжала упорствовать, Глазычев — за недели одинокого пребывания в квартире и истинного возмущения — совершал набег за набегом в близлежащие торговые места и однажды осмелился притащить к себе парикмахершу, которая считала себя женщиной, совершенной во всех отношениях, всему миру хотела показать это совершенство и поэтому таскалась по квартире обнаженной донельзя, норовила подставить себя голой под взгляды всего микрорайона, подолгу, ничего на тело не набросив, стоя на балконе с сигаретой.

Вот ее-то и застучали, видимо, соседи и звякнули теще. Был выходной день, они, Ирина и теща, своими ключами открыли дверь и стали ее дергать, поскольку придерживалась она цепочкой. Вадим спал и ничего не слышал, потревоженная парикмахерша сипло спросила: «Кого еще черти носят?», цепочку, однако, отбросила. Мать и дочь онемели и подняли рев, так и не пробудивший Глазычева. Парикмахерша неторопливо одевалась, а затем набралась наглости и уселась перед зеркалом, Ирина взвыла, когда она стала подкрашивать губы ее помадой. Теща стянула с кровати одеяло,

Вадим продрал глаза. «Во-он!» — завизжали мать и дочь и, не стыдясь парикмахерши, выложили Глазычеву все, что они о нем думают, всю правду, как они ее, правду, понимают, и тот окончательно проснулся, когда узнал, какой он, Глазычев Вадим Григорьевич, есть на самом деле.

А плохой он есть, плохим и был. Они, Лапины, на улице, можно сказать, подобрали его, нищего и голодного, тупого и злобного недоросля из никому не известного Павлодара, ленивого, завистливого ябедника, которого дважды за мелкие подлости выгоняли из комсомола, что было им утаено при поступлении в институт. Они, Лапины, подкормили его, приодели, научили держать в руке вилку и нож, носить на ногах приличную обувь. Они заставили его учиться, они сделали ему аспирантуру, они же нашли людей, которые, в отличие от многих, согласились дать дурню деревенскому рекомендации в партию, они же и в немыслимо короткий срок организовали защиту кандидатской, для чего уломали неговорчивых оппонентов и дали крупную взятку кому надо, они, да, да, они и протолкнули диссертацию через ВАК, они взяли на себя все расходы по свадьбе и этой квартире, они все дали ему, ничего не получив взамен, он как муж — ничто! И самое страшное в том, что блудника и проходимца полюбила (теща изогнула руки в трагическом надрыбе) Ирина, дочь Лапиных, да, любит, как ни прискорбно говорить о святом чувстве, которое Ирина испытывает к прохиндею, который...

— Импотент в нравственном смысле! — уточнила теща в дидактическом запале.

Уже одевшаяся парикмахерша при звуках знакомого слова гневно возригла: «Как бы не так!» — и хлопнула дверью.

Завались Ирина одна при парикмахерше — ну повизжала бы с полчасика, вняла бы жалобам на половое воздержание — и мир в семье. И теща нагрянь вдруг — да она указала бы голой девке на дверь, а зятя помиловала бы. Но — вдвоем ворвались, вместе, мать и дочь выступали сплоченным фронтом, что вынуждало обеих и каждую быть особо нетерпимой к вероломству мужчин. И парикмахерше давали урок: впредь — ни шагу сюда! (Ирина настигла ее у лифта, и та беззастенчиво промолвила, что рада будет видеть такую клиентку у себя на работе, адрес такой-то, — для обмена опытом; кроме того, добавила мастерица причесок, не худо бы помнить, что одевалась она при всех, и хахаль подтвердит: ничегошеньки чужого она не взяла.)

Ошеломленному Глазычеву был поставлен ультиматум: собрать свои павлодарские манатки и уносить ноги — прочь отсюда, срок — ровно один месяц.

После чего мать и дочь с гордо поднятыми головами скрылись за дверью, укатили на такси, ручкой не помахав, вдоволь наглумившись над павлодарским пареньком, который подумал было, что притопап в столицу, как Ломоносов из Холмогор, обогащать себя и всю Россию знаниями; потерявшие стыд жена и теща пригрозили выселением, что только убыстрило обход Глазычевым своих владений: даже глухая провинция знает, что раз человек прожил с женой больше года и прописан на этой жилплощади, то развод вовсе не лишает его части нажитого и скольких-то там квадратных метров. В любом случае квартира ему достанется — не эта, так другая. Двухкомнатная, кандидату наук положены 20 квадратных метров дополнительного жилья! Ну а насчет парикмахерши — они, эти доктора и академики, кое в чем правы, нельзя так безоглядно таскать сюда баб, еще сопрут чего, а каждая вещица здесь ценна тем, что принадлежит ему. И о рекомендациях они не соврали: даже земляк отказался дать ему эту чрезвычайную бумагу. А о своих шмотках эти кобылицы уже распорядились, захватили с собой Иринины шубы и пальто, кое-что из серванта, но бдительный Вадим (уже поднявшийся из шезлонга) обошел квартиру и кое-что важное обнаружил, он-то знал по павлодарским бабьим разговор-

чикам, что женщины норовят оставить в жилище мужиков кое-какую мелочь, она привораживает как бы...

Так и есть: не всю косметику забрали! И какой-то жидкостью опрыскали, как собачьей мочой, один из книжных шкафов. Уничтожая эту гадость, Глазычев хотел было плеснуть на шкаф одеколоном, но парфюмерия вся — дорогая, и где еще такой одеколон купишь, академик из Парижа привез. Стал прикидывать, что при разделе имущества можно отдать Ирине, а что беспощадно прибрать к рукам своим и не выпускать из них. Кровать, пожалуй, пусть отойдет Ирине, пусть она постоянно напоминает ей о часах телесного прозрения в суть так называемой любви, на широченной кровати этой можно гимнастические пирамиды строить, не только принимать позы под такими-то номерами согласно справочнику для чересчур торопливых японских бизнесменов. И тумбочку прикроватную стоит, пожалуй, подарить Ирине. Стенку надвое не разделишь, стенка достанется Лапиным, но уж два книжных шкафа — его собственность, его! И книги надо заранее поделить, составив список.

Книг было много, почти пятьсот томов, ни один из них Вадим, поглощенный науками, любовной и прочими, не раскрывал, да и был ли у него в жизни хоть один свободный вечер, чтоб вчитаться в книгу, не входящую в учебные планы школы, института и тем более аспирантуры?

Хороший получился список, два списка, точнее, — полный, включавший все ценности, в том числе и книги, и несколько укороченный, с перечислением богатств, которые обязаны достаться ему, Глазычеву, лично. В тягостное раздумье вовлек его каверзнейший вопрос: а кому принадлежит автомашина «Жигули», дремлющая в гараже и ожидающая, когда он наконец-то получит водительские права? Куплена машина не так давно, гараж еще раньше, пора бы и на какие-нибудь курсы записаться, да разве найдется минута свободная при таком бешеном ритме жизни? Но не делить же машину пополам! Доверять женщине руль — безответственно, пусть уж Ирина владеет гаражом, «Жигули» достанутся ему.

Оба списка были показаны всей Москве с балкона девятого этажа. В одном гараж, в другом автомашина. Вадим Глазычев вновь обвел торжествующим взором расстилавшуюся под его ногами столицу, поверженную им и обложенную данью: чуть левее — строгая махина МГУ, метромост от Ленинских гор к Лужникам, сытая и ленивая река... Разгромлена не только столица, повержен зловещий Марксов постулат об идиотизме деревенской жизни, снято проклятье с глухой провинции!..

3

Исторгнув последний торжествующий вопль, обежав еще раз комнаты и заглянув на антресоли, полные добра, Глазычев прилег на кушетку и как бы затаился; ликование в душе и теле что-то мешало, преграждало, ложка дегтя шмякнулась в пахучую бочку меда, какое-то досадливое чувство неполноты чего-то затревожило Глазычева; всю московскую и немосковскую жизнь испытывал он пощипыванье неловкости, будто вдруг у него ширинка на штанах расстегнулась, на лице красуется синяк или по вороту рубашки ползет клоп, как это случилось с ним на уроке истории в Павлодаре. Вадим едва не сник, припомнив словечки, какими награждали его жена и теща, обзывая тупицей, лентяем и, что уж совсем смешно, импотентом.

Зашторив окна, не желая больше видеть сразу опостылевшую Москву, он нашел в холодильнике не доеденное парикмахершей мороженое, охладился и приступил к раздумьям о плановой институтской теме, которая принесет ему мировую славу, громадные деньги и почет, несравнимый с тем, который окружает тестя, академика, Героя Соцтруда и депутата чего-то такого, связанного с громадным залом, аплодисментами и сидением за длинным столом.

А тема грандиозная, к которой никто еще не подступался даже, до-вольствуясь скромными успехами, с величайшими трудами откалывая от гранита крошево знаний. И все понимают, что никому тему эту не вытянуть. Правда, ему ее подсунули как бы в насмешку — в тот сумасшедший и упоительный медовый месяц, растянувшийся надолго, когда они с Ириной ходили на кухню что-то перекусить, так и не отъединившись друг от друга. Предложенная тема была необозримо шире всех институтских планов на все четыре пятилетки до конца текущего столетия, ею наградили зятя академика, чтобы он лоботрясничал, да, да, лоботрясничал, — Вадим это сейчас понял, — три или четыре года, если не всю жизнь.

А он не будет лоботрясничать! Он станет великим ученым! — так решено было после танца победы и раздумий у пустого холодильника. Сама судьба указала путь к величию и возвышению! Он, этот путь, — в названии темы. «Алгебраические модели турбулентных вихрей в атмосфере» — да кто же осмелится такие модели создавать! Никто же еще не решил эту невероятно сложную проблему, никто! Весь прогноз погоды — это ведь обработка, исчисление процессов внутри атмосферы, и, скажите, кто научился точно предсказывать погоду? К теории вихреобразования кое-кто подошел, но исследовать закономерности внутри вихрей сам Даниил Бернулли не осмелился, что уж говорить о последующих!

Он осмелится, он! И решит! И прославится!

4

Как бы беря разбег, он выжидал несколько дней, частенько захаживая в лабораторию, где стараниями безвестных умельцев сооружен был резервуар, бассейн; насосы подавали туда потоки воды на все вкусы и потребности научных сотрудников, а те изредка наблюдали за дикими, своевольными турбулентными течениями. И Глазычев впадал в уныние: да разве тут уследишь?.. Но — ходил, смотрел, прислушивался к разговорам знатоков, читал и слушал, чем занимаются коллеги. У всех — мелочевка: «Численное исследование стационарных и нестационарных отрывных течений», «Турбулентные течения в газозвеси». Листал давно защищенные докторские диссертации, и кое-что начинало вызревать. Вихри, везде вихри, что в воде, что в атмосфере. Здесь же вода струилась в воде, разложить ее на составляющие невозможно, были бы в ней крохотные щепочки — тогда разговор иной. Уже пытались использовать — было такое модное поветрие — меченые атомы. Не получилось. Окрасить, что ли, воду чем-нибудь да хромографом или спектрометром как-то зафиксировать внутренние изменения в струях? Не получится, слишком громоздко и ненадежно, эксперимент сам подсказывал: ерунда, гиблое дело.

Тогда Вадим стал посиживать в библиотеке, и однажды на глаза попался журнал, где оповещалось об особом красителе: мельчайшие частицы его, в форме крохотных сфер, в воде (при определенных температурах) не растворялись и, самое главное, по удельному весу почти не отличались от воды. Их, короче, можно было различать, по-разному окрашенные, и считать. Но как и чем? Должен же существовать какой-либо радиоэлектронный прибор! Должен! Но где его найти? Краситель — под рукой, рядом, в физико-химическом институте. Но прибор, где найти прибор?

Вадим ходил по отделам и лабораториям в поисках его или, на худой конец, инженера-электронщика, способного этот прибор создать. Сразу же выяснилось, что в штатном расписании института такой должности нет. Инженер-радиотехник — пожалуйста, оклад 150 рублей. И этих инженеров всего три на весь институт, и ни один из них не соглашался идти в группу Глазычева и делать ему прибор, все отмахивались от него. Правда, отдел кадров расщедрился, выклянчил в главке дополнительную штатную единицу — радиоэлектронщик, оклад 170 рублей. Поместили объявление на пер-

вом этаже, где отдел кадров, дали заявку куда-то. Никто не откликнулся, никто не шел на зов. Тогда Вадим стал похаживать в коридор у бюро пропусков, высматривал нанимавшихся в институт специалистов, и однажды судьба преподнесла ему подарок — одичалого гения, одного из тех, кто понял подавляющее превосходство тупиц над нормальными людьми и спасается от них самым простейшим способом: не дает никому о себе знать...

Сидоров — так назвал себя гений Вадиму, хотя по анкетам и диплому числился он в списке землян как Епифанов, — но таковы уж причуды у отшельников, которым хватает на жизнь корочки хлеба, зато в отделах кадров они несколько завышают стоимость своих документов.

Вадим ухватил за локоть неудачника, электронщика, которому 170 рублей оклада не пришлись по душе. Парень был его лет, держался гордо, сказал, что все люди продаются, он тоже, но не за 170 рэ, нужный ему и соответствующий духовным устремлениям оклад — 190 плюс премия. На расспросы отвечал неохотно, но когда Вадим сгоряча (будущая мировая слава обещала миллионы) сказал ему, что к 170 рублям он лично, кандидат наук Глазычев, будет приплачивать 30, — рассмеялся, разрешил увести себя в холл, задал несколько вопросов, поинтересовался семейным положением, — фамилия тестя произвела на него некоторое впечатление... Узнал, зачем нужен электронный прибор, которого, кажется, нет нигде, ни в одной лаборатории мира.

Узнал, задумчиво оглядел собеседника и возможного нанимателя. «Что ж, — сказал, — и Архимед, говорят, жил на подачки сиракузского тирана...» Крепко задумался. Очнулся, вновь назвал себя Сидоровым и твердо изложил свою позицию. Доплата в 30 рублей исключается — отверг он финансовые условия сделки. Во-первых, нездоровые ассоциации с этим тридцатником. Во-вторых, обдирать гражданина СССР не в его правилах. Иное дело — обдирать сам Союз Советских и так далее, но это уже другая статья. В турбулентных вихрях он слабо разбирается, но за ночь уяснит, для какой физико-химической или культурологической надобности они, и завтра даст кое-какую наводку...

— По идее, за пару пузырей можно опровергнуть Эйнштейна, а уж безвредного-то Бернулли...

Этому Сидорову Вадим не пожалел червонца на две бутылки, а в придачу к ним дал три учебника. Их электронщик прогрыз к следующему дню, получил инструктаж у неизвестного патентного знатока и в пятиминутной беседе с Глазычевым начертил путь к мировому признанию. Турбулентные течения, сказал он, — это хаос, не подчиняющийся никакому упорядочению. Можно, однако, глянуть на мир сущий с иной точки зрения. Именно: хаос — это и есть порядок, а все наши попытки упорядочить его — хаотичны.

— Вот схема, — заключил Сидоров, протянув Вадиму листок бумаги, с которым тот немедленно помчался в макетную мастерскую. Посвящать кого-либо в таинство хаоса Вадим остерегся, припомнив едва не ставший гибельным для него экзамен по философии: он сомневался, что идея прибора будет благословлена марксизмом. По кускам, то есть по блокам, делался прибор, и получился он как бы скомплектованным из разнородных частей, весь размером в радиоприемник «Спидола», но самое важное, что было в нем, сосредоточилось в боковой панели, соединенной с «Тайфуном» (так назвал Глазычев изделие) штепсельным разъемом, и Вадим при нужде мог как бы отстегивать или пристегивать мозг малогабаритного прибора, который вознесет его к вершинам мировой славы, в дым обратив все заслуги академика Лапина и ему подобных. Щелчок зажима — и мозг «Тайфуна» в кармане. Еще щелчок — и «Тайфун» вооружается органом мышления.

Первые испытания показали ненадежность методики, окрашенные тельца сосчитывались неверно, требовалась доналадка датчиков. Пришлось

попыхтеть над ними, смахивая пот со лба и огрызаясь: у бассейна собирались все институтские бездельники и злословили. Датчики наконец отрегулировались — и столбики цифр стали укладываться на ленту самописца в интригующей последовательности. Начал проясняться и таинственный смысл того, что названо хаосом. Было очень и очень интересно. Каждый замер срывал листочки с лаврового венка, которым советская наука наградила Ивана Ивановича Лапина за труд о политэкономии социализма.

К бассейну теперь потянулись аспиранты, народ валом валил на «Тайфун». Вадим отгонял любопытных. Около пяти вечера отрывал от рулона самописца все принесенные «Тайфуном» измерения, незаметно отшелкивал мозговой блок и уходил к себе. Никаких пояснений никому не давал, дорожа будущим открытием. Впрочем, все догадывались о нем.

5

Минул месяц, определенный Глазычеву женой и тещей на сбор манаток и расставание с квартирой, ушел этот месяц на изготовление «Тайфуна» и опыты в бассейне. Из военно-академического кооператива — ни звука. Еще один месяц улетел в прошлое, и еще один... Как вдруг пожаловала Ирина. «Здравствуй, не ожидал?» — и прошествовала на кухню, полезла в холодильник, проявила озабоченность: сыт ли, не злоупотребляет ли вредной пищей, то есть той, что отягощает желудок, не пора ли бросить курить. Вадим лупил на нее глаза, не веря ни единому словечку; раздражала не сама Ирина, а то, что она — та, которая в паре с мамашей оскорбляла его, называя тунеядцем и дурачком, попрекая куском хлеба. (То еще было противно в ней, что и в этих попреках правы были обе: начиная с четвертого курса еле на тройки вытягивал экзамены и зачеты, и не будь обедов у Лапиных, ушел бы из института, подался бы неизвестно куда, да и кандидатская, конечно, не без помощи друзей этого подлого семейства написана и защищена.) Сентябрь выдался жарким, в легком открытом платье пришла супруга, запинаясь, делала паузы, спохватывалась и продолжала выражать заботу: белье в какую прачечную отдастся? продукты в универсаме покупаются или где еще?.. Глазычев чутко слушал, а Ирина похвалила его: чистота идеальная, вот и научился кандидат наук пылесосить и китайской метелкой обмахивать мебель, только ради этого стоило на время дать мужу пожить одному...

Вот какие слова прозвучали — на время, пожить одному! То есть время это кончается, жена пришла и...

Он стиснул зубы. Молчал. Он видел: Ирина сейчас в том состоянии телесного нетерпения, когда мигни — и платье она сдернет с себя, словно оно обьято трепещущим пламенем. Она даже произвела нелепое, суматошное движение, будто примеривалась: как платье стянуть — через голову, задрав подол, или сбросить с плеч бретельки и вылезти из него? Остановилась было на каком-то другом варианте, более верно, безотказном, но и он отпал, потому что Глазычев постепенно охлаждался, в нем уже вскипала ненависть к оскорбившей его семейке.

«Тебя мамаша послала или сама?..» — хотелось ему сказать, стиснув зубы.

Но не сказал, потому что испугался. Испугался потому, что узрел наконец: сама Ирина чем-то или кем-то напугана, так напугана, что дрожит и уж снимать с себя платье вовсе не собирается. Лицо ее сморщилось, губы пролепетали какую-то абсолютную чушь, просьбу не ходить в бассейн.

И ушла, ни слова больше не сказав, однако долго еще стояла на виду, у подъезда, в надежде, что Вадим с балкона окликнет ее, остановит... Потом обреченно махнула рукой, села в подъехавшее такси и укатила в папашин кооператив, к себе. «Какой еще бассейн?» — вознегодовал Вадим, не умевший плавать, пока не догадался: бассейн — это тот самый резервуар, где он гоняется за окрашенными частицами водных потоков.

С еще большим усердием продолжил он эксперименты с вихрями и красителями. Домой возвращался поздно.

Вдруг — субботним днем — дверной звонок, в квартиру входит гражданин, представляется: от Лапиных, можете позвонить им, вот мои документы, я из юридической коллегии, адвокат, официально патронирую, так сказать, семью Лапиных и его близки, дело обстоит следующим образом...

И выкладывает гнусавым голосом всем известные нормы развода бездетных супругов. «Я готов!» — презрительно бросил Глазычев и подписал подsunутую ему бумагу. Затем еще одну — для ускорения судебной процедуры. Адвокат промолвил, что причину — официальной — развода будет супружеская неверность. «Согласен! — высокомерно парировал Вадим и смело процедил: — А с кем эта лахудра спуталась?» Сквозь затененные линзы очков пробился тонкий разящий луч — и прозвучала фамилия: Суриц Нелли Александровна. Последовало и уточнение, поскольку ошеломленный женским именем Вадим не знал, кто такая Нелли Суриц. Оказалось — парикмахерша, та, на которой застучали Вадима, и та, с которой не далее как вчера занимался любовью. «Этого быть не может!» — взревел Вадим, адвокат же немедленно внес ясность: да, та самая, которая при любых обстоятельствах даст суду показания о ее связи с Глазычевым В. Г.

Знать, подписанные бумаги произвели на судью впечатление, через неделю тот же тип в затененных очках привез Глазычева в суд, подвел к Ирине, стоявшей в коридоре, та даже не соизволила глянуть на него. Вошли в узкий зал. Женщина, похожая на институтскую уборщицу, спросила у обоих, как они — не передумали? Что-то шепотом сказала сидевшей справа бабуле, какие-то словечки достались ветерану всех войн по левую руку — и тут же ободрала Вадима на полторы сотни рублей судебных издержек. «Решение суда вступает в законную силу через десять дней!..»

Грустный, кому-то соболезнающий адвокат навестил Вадима еще до того, как указанный судьей срок миновал. Тяжко вздохнул и поведал, что, хотя расторжение брака уже состоялось, на данный момент Вадим Григорьевич Глазычев все еще супруг Ирины Ивановны Глазычевой, в девичестве Лапиной, поскольку имеет возможность оспорить решение суда. То есть создается трудноразрешимая юридическая коллизия, ведь замужество Ирины Ивановны все еще длится, а сам он, Вадим Григорьевич, никак не может считать себя холостым. Смею напомнить, продолжал адвокат, что у ребенка, рожденного Ириной Ивановной даже на двенадцатом месяце после расторжения брака, отцом признается он, Глазычев В. Г. А понести (адвокат употребил это слово, свидетельствуя о своей близости к народу), — а понести Ирина Ивановна могла, зафиксирован же ее визит к нему такого-то числа, что, конечно, сушая чепуха, ведь, напоминая, природный срок беременности — девять месяцев! Тем не менее...

По некоторым наблюдениям Вадима, забеременеть от него Ирина никак не могла, что-то у нее вообще с детородным аппаратом не так, как у всех нормальных женщин-матерей, о чем она по дурости протрепалась как-то; врачи, однако, заверили ее: курс лечения на одном из курортов — и ребеночек заголосит.

Поэтому намек и скрытые угрозы наглого адвоката никак на Вадима не повлияли. Но уже через день адвоката будто подменили. Сиял добродушием, сверкал золотыми коронками. Щелкнул замочками портфеля, извлек какие-то бумаги и, лучезарно улыбаясь, сообщил: В. Г. Глазычеву надо отсюда сматываться немедленно, хоть он здесь и прописан; ему, однако, ничего в этой квартире, как и сама квартира, разумеется, не принадлежит, поскольку квартира — не наймное совместно добро, она — подарок Ирине Ивановне, сделанный до (адвокат с нажимом произнес это «до») заключения брака; а вот и все товарные накладные, квитанции и чеки на вещи в квартире, все они датированы также «до». Что касается автомобиля «Жигули» и гаража, то они — собственность Марии Викторовны Лапи-

ной, вот, пожалуйста, документ на сей случай... Иными словами, хватай чемодан, бросай туда трусики-маечки и беги... Куда? Куда хочешь. А чтоб разведенный супруг не прихватил с собой чужого, ему не принадлежащего, в квартире временно поживет брат Ирины, то есть Кирилл.

Каким образом уродец проник в квартиру — загадка, с соседского балкона перебрался, что ли. Скорее всего, Ириниными ключами бесшумно открыл дверь. Дал о себе знать идиотским смешком из прихожей, сидя на пуфике, где Ирина зимой стягивала сапоги. Впрочем, адвокат забрал дефективного мальчика с собой, когда уходил, предупредив Вадима: пора в паспорте поставить штамп о разводе.

Кипевший от злости Вадим бросился на балкон и увидел внизу «Волгу» тестя и рядом с нею самого Ивана Ивановича Лапина; отец Ирины прохаживался вдоль бордюра газона, не пожелав освящать своим присутствием расправу над неугодным зятем.

Идиот Кирюша появился назавтра, с толстым учебником по теоретической механике. Обосновался в прихожей, злобными глазами сторожевой собаки посматривал на Вадима, когда тот проходил мимо, шевелил ушами, раздувал ноздри. «В холодильник полезешь — набыю морду!» — пообещал ему Вадим, убегая в загс за штампом. Вернулся — а адвокат тут как тут, преподнес подарок: адрес комнаты в коммуналке, куда Вадиму надлежит переехать немедленно. На все возражения ответил со смешком, а затем посерьезнел и выдал следующее: если некий Глазычев будет противиться, то по исковому заявлению Лапиной Ирины Ивановны с него будут взыскивать алименты на содержание ее, здоровье которой искалечено в результате сожительства с этим Глазычевым.

И бумага появилась, та, в спешке подписанная Вадимом. В прошении о разводе супруга указывала на свою болезненность, вызванную издевательствами мужа, что, кстати, подтверждалось и самим мужем. Бумажке этой грош цена, согласился адвокат после бурной брани Вадима, но будьте уверены, нужные медицинские справки появятся в нужный момент.

Осознание всемогущества академика пронзило Вадима Глазычева настолько, что в нем выдалась жалкая, крохотная радость: не самому придется ломать голову над вариантами обмена, а из комнаты в коммуналке он как-нибудь вырвется; когда семь лет назад вышел из поезда на Казанском вокзале, было еще неприятнее.

Громко сопящий идиот догрыз учебник до середины, приподнял голову, когда адвокат выводил Глазычева из квартиры. На своей «Волге» привез тот Вадима на Пресню, в затхлый переулок, ввел в комнату без мебели и с ободранными обоями, товарными чеками доказал, что костюм на Вадиме куплен «до», как, впрочем, и туфли, но проявил щедрость и благодарзумие, не сняв с безмолвного и обезволенного Глазычева носки, трусы и майку, оставив ему пустую мыльницу, личные бумаги в папке, два лезвия к бритвенному станку и ученый труд по теоретической электротехнике, явно принадлежавший Ирине и явно предназначенный для предлога, каким воспользовалась когда-то она сама, возобновляя с ним прерванное знакомство.

Почти голый сидел он босым на полу, подтянув колени к подбородку и глаз не сводя с красного, кровавого видимо, пятна на обоях. Огляделся наконец, вскрикнул — и горло стиснулось в томительной тоске полного, абсолютного одиночества посреди сытого мира. Кулак сжимал денежные купюры, шестьдесят три рубля, по какому-то недоразумению не конфискованные адвокатом; документы, кое-какие мелочи и мозг «Тайфуна» на работе, к счастью...

Это было все, чем обладал Вадим Григорьевич Глазычев. ВАК на летние месяцы разъезжался, в последний день мая диссертацию он все-таки утвердил, но документы от него в отдел кадров еще не поступили, и Вадим, кандидат наук, сидел на нищенской зарплате, да и ту грозился уре-

зять всесильный адвокат. Было смрадно, жутко, форточки — Вадим встал все же, осмотрелся — закрыты, окна заклеены на зиму, с потолка свисал электрошнур без абажура и даже без патрона, с оголенными концами, подоконник облупленный, плитусы оторваны. Зарей новой беспросветной жизни светила электросварка на стройке под окнами. Прошаркала шлепанцами соседка, показалась наконец: старуха, но не злобная, посочувствовала («Пропился, соколик!..»). Принесла какую-то рвань, издали похожую на штаны, обуви никакой не нашлось, кроме дырявых тапочек, и Вадим разменял у добренькой старухи рубль, пошел искать телефон-автомат, на третьей монете нашел земляка.

6

Его звали Сумковым, он пятью годами раньше Глазычева появился в столице: деньги на трехмесячное житье были упрятаны в мешочек, булавкой приколотый к внутреннему карману роскошного, по павлодарским меркам, пиджака. Москвы речистый Сумков не боялся, кое-какими знаниями, по той же павлодарской мерке, обладал, но вступительные экзамены провалил с таким треском, что поневоле стал подумывать, какая же все-таки ошибка совершена им. Урок московской жизни получил он в провальный для него день не от экзаменаторов, а тем же вечером, на Садовой, став свидетелем встречи двух иногородних молодцов, которые в радости, что в столицу они все-таки попали и как-никак, но обосновались в ней, вразной заблажили: «Ол райт!», «Гуд бай!», «Вери мач!», причем норовили всей Москве показать ручные часы с узорными ремешками, что, по мысли обоих покорителей столицы, было проявлением высшего шика и сертификатом их московского происхождения. Урок на Садовой пошел впрок, Сумков уразумел старую истину: Москва слезам не верит и никакого снисхождения интервентам, откуда бы те ни пришли, не дает. То есть — напрасно прикидывался он на экзаменах честным провинциальным умницей, которого недоучила поселковая школа по причине того, что нет в той десятилетке таких прекрасных и добрых педагогов, какие сидят сейчас перед ним за испытательным столом, зря ввернул им в свою речь парочку словечек, подобных «вери мач» и «гуд бай»...

Полный провал, крушение всех надежд, — сдал Сумков коменданту общежития постельные принадлежности и поплелся восвояси, держа курс на Казанский вокзал, но злость на капризную Москву направила ноги к забору, за которым гудела стройка, привела к комсомольскому вожаку, который — бывают же исключения — слезам поверил, посочувствовал, кому-то позвонил, снесся с каким-то райисполкомовским товарищем, и юноша из замшелой глуши превратился в подсобного рабочего на строительстве, где полно бедолаг, нашедших временный приют, и где добывается временная московская прописка. Здесь подсобный рабочий из Павлодара отбросил все желания походить на москвича какой-нибудь побрякушкой, потому что, догадался он, лимитчики все-таки верно уловили дурь эпохи, Москва и в самом деле — побрякушечная; надо, решил он, приобрести нечто такое, что, причисляя его к москвичам, возвышает чужака и пришельца над коренным населением. И «нечто такое» облеклось в решение и затверженную цель, павлодарец выбил из себя защищавшую его придурковатость и стал хранителем и сбытчиком информации, доступной немногим; он приобрел друзей и знакомых везде и повсюду, после окончания Полиграфического института работал на радио, научился до того, как микрофон поднесен к носу временной знаменитости, размягчать собеседника и вытаскивать из него все полезное. В «Известиях» Сумкова посадили на письма, и самые ценные из них он припрятывал. Информацией он не торговал, он ею обменивался так, что никогда не оставался в убытке. В голове его держались сотни фамилий, адресов и биографических справок. И зем-

ляка, которого некогда спас от побоев, отогнав дюжину рассвирепевших школяров от поверженного Вадика Глазычева, не забывал, изредка навещиваясь в общежитие, выслушивал нытье неисправимого троечника, подучиваясь на его ошибки. А тот делал их одну за другой, не пытался скрыть, что мать его выгнана из партии, а отец безвылазно сидит на парткомиссиях, избобличаемый во всех грехах. Дурню раз в жизни повезло — познакомился с дочкой могущественного деятеля, ему бы спрятать язык поглубже, так нет, разболтался. И дочку академика Сумков как-то издали видел, оценил бедра великанши и пришел к дурашливым выводам; ему вспомнился отрывок из мемуаров одной родовитой испанки; природа наградила ее двухметровым ростом, а все домогавшиеся ее руки и сердца кавалеры могли бы буквально повиснуть на ней; быть бы знатной дочке старой девицей, да однажды сидела она, сморенная жарой, в саду и увидела, как над высокой оградой поместья поплыла чья-то шляпа; не только от жары изнывала испанка — потому и слуги окликнули хозяина шляпы, который, к счастью, оказался не только на голову выше испанки, но и католиком. Брак, правда, распался вскоре, муженька избобличила полиция, тот попался на шулерстве в приличном доме, но зато супруга-неудачница получила свободу рук, коими прихватила генерала, возмещавшего малорослость чрезмерно развитыми придатками... И о самом академике Сумков не только наслушался. Из перехваченных им жалоб (копии сняты и сохранены) явствовало: светоч науки родом из латышских кулаков и обладает истинно кулацкой хваткой, в дачном поселке оттяпал у соседа полгектара земли, возвел дом в нарушение всех законов, подземный гараж прятал в себе две машины иностранного производства (третью, отечественную, записали на Марию Викторовну); построенная в рекордные сроки сауна приняла первых грязнуль, там стали париться молоденькие ассистентки академика. Что час расплаты наступит когда-либо, Сумков твердо верил и в нетерпении ожидал, когда взметнется топор над академической семейкой. Он, топор, уже вознесся было (о чем Сумков постеснялся в свое время сказать Вадиму), когда женишку из потомственной дипломатической семьи поцелуйчики в подъезде надоели и он много раньше протокола предъявил свои верительные грамоты, — там же, в том же подъезде предъявлены были грамоты, чему Ирина противилась, но под давлением академика согласилась все-таки, — поэтому позже пришлось ей на несколько дней отпроситься с лекций. С внеурочной беременностью дочери Лапины смирились бы, долги пропившегося в дым и обнищавшего жениха покрыли бы, но тот ударился в некое подобие шпионажа, передав пару статей в западную прессу. Тут-то вконец обескураженные Лапины вновь обратили свои взоры к отвергнутому было Глазычеву.

Земляк Глазычева собирался в отпуск, ближе к Черному морю; можно бы сослаться на занятость и отложить встречу с Вадимом на месяц-другой, но Сумков прибыл незамедлительно — собранный, с опущенными глазами, немногословный, в сером невидном чешском костюме, до полной неразличимости слитый с московской толпой, ничуть не удивленный убожеством комнаты и плаксивостью того, кого он много лет назад избавил от побоев, когда случайно — десятиклассником уже — в закутке у школьного двора увидел бестолково избиваемого тощего мальчика — Глазычева. Он и забыл бы дохляка недокормленного, как вдруг тот пожаловал к нему в Москве — похвастаться успехами, недобитый Вадик поступил-таки в Энергетический. Из многих уст доходили потом до Сумкова вести о Глазычеве. То, что теперь он услышал от хнычущего Вадима, информацией не назовешь, бессвязные речи скульившего кандидата наук приходили скорее на крики о помощи, те самые, что издавал некогда избиваемый шестиклассник Глазычев. Сумков отлучился на полчаса, принес из магазина костюм, ботинки, рубашку (плащ, к счастью, остался на работе), табуретку и несколько убийственных слов, пищу для размышлений, повергших Вадима

в тихую и слезливую ярость. Земляк почти все знал, кроме деталей, которые, как выяснилось, ничего не значили: на парикмахерше ли застучали Глазычева, на приемщице стеклотары, на продавщице из отдела соков гастронома — да шелуха это, мелочи, которые меркнут перед неоспоримыми фактами. Семейка Лапиных обожглась уже однажды — прямо, в глаза сказано было Глазычеву, который, сидя на табуретке, покачивался, как еврей на молитве, — погорели латыши на сынке одного дипломата. Но — сгинул жених, замысливший вдруг злодейство против советской власти (за что и был наказан), Лапины сделали ставку на павлодарца, а тот подкачал; у Лапина, который был когда-то Лапinyшем, хуторское мировоззрение, ему крепкий хозяйственный мужичок нужен, послушный, деньгу зашибающий, для чего и тему кандидату наук Глазычеву подбросили в институте подходящую, лет семь-восемь можно бить баклуши, по крохам набирая цифирьки для докторской диссертации завлаба, такой кандидат наук жизнь дочери не испортит, а Вадим вот обмишурился, в Ломоносовы попер, в Ньютоны, кому они теперь нужны; так что не в распутстве повинен земляк, такие проколы нынче не в счет, все по этой линии вымазаны грязью, сам Иван Иванович Лапин по уши в дерьме, а высоконравственная супруга его заводит шашни с молоденькими аспирантами. Пора бы, подытожил Сумков (ему нравилось быть покровителем и наставником), пора бы помнить и знать: нам всем запрещен и шаг влево, и шаг вправо, Иван Иванович на своей шкуре убедился в этом, усомнившись однажды в сущем пустяке — в товарной стоимости одного сельхозпродукта, пшеницы то есть. Так что, промолвил на прощание земляк, корень зла — в институте. «Старик, забудь о чистой науке, она грязная по сути своей! Что-то ты там намудрил с этой темой, забудь про турбулентные вихри...»

Этому-то Глазычев отказывался верить, на работе ему сочувствуют, все ждут от него чего-то небывалого, толпясь у резервуара («бассейна!» — прозвучали издалека слова бывшей супруги); однако он, вспоминая все сказанное и показанное адвокатом, пришел к ошеломительным выводам, кои можно было сделать много раньше, ведь что-то слышал он как бы между прочим, что-то ему нашептывали, тут бы и догадаться, что внезапное охлаждение Ирины в разгар поцелуев на сквере и в подъезде вызывалось тем, что Лапины — прав земляк, прав! — нашли более выгодного жениха, которого и приодели, и прикормили, причем московско-латышские куркули эти на всякий случай все следы финансовых трат сохранили.

Однако костюм, ботинки, рубашка и табуретка, задарма полученные, вселили в Глазычева уверенность в собственной правоте. Сердобольная старуха принесла ему кипу старых газет, на них и заснул Вадим Глазычев в предвещии и преддверии мировой славы, ожидавшей его.

7

И она, эта слава, на цыпочках уже приближалась к нему, уже приближалась — через неделю, в середине рабочего дня. Щелкал «Тайфун», мирно сопели насосы, нагоняя течения, шли замеры, когда Вадим услышал за спиной стариковское кряхтение. Хотел было послать кого-то там к черту, но оглянулся — Фаддеев, академик, в своей обычной, то есть академической, ермолке, каковая венчала его седенькую головку на портретах. Старику не надо было объяснять, что к чему, старик все понял, старик, всегда норовивший присесть на что-либо где только можно, выстоял четверть часа, затем поспешно удалился, семеня ножками: сказалась присущая всем людям его возраста болезнь, академику, короче, захотелось пописать. Облегченный мочевого пузырь подвигнул академика на телефонный звонок, кандидат наук Глазычев приглашался на собеседование.

В предчувствии чего-то небывалого Вадим тщательно вымыл руки, со всех сторон осмотрел свой белый халат с дырочками от кислот. В душе его

звучали слова электронщика Сидорова: «Все люди продаются. Я тоже, но — за сто девяносто в месяц, не меньше и не больше!» Постучался, вошел. Но речь пошла не о деньгах, старик вялым голосочком поносил бюрократов, которые тормозят все исследования в резервуаре, препятствуют публикации результатов, что случилось в этом институте не единожды и всякий раз по вине небезызвестного Булдина. Он, Фаддеев, отнюдь не претендует на какое-то гнусное, пошлое соучастие, выражаемое в форме так называемого соавторства, — нет и еще раз нет! Нельзя, однако, и медлить, надо застолбить перспективный участок, Глазычеву, короче, пора набросать две-три статьи, а уж он, Фаддеев, использует все свое влияние — и мир будет оповещен о необычных экспериментах в институте.

Прикинув все плюсы и минусы, Вадим согласился, тем более что первичная обработка данных уже позволяла вывести кое-какие — не совсем, правда, корректные — заключения.

— И еще одна просьба: ни слова Булдину!

На том и порешили.

Фаддеев уже не спускался к резервуару, зато зачастили мэнэсы из отдела, за которым присматривал Булдин, и Глазычев не удивился, когда тот по телефону рыкающим тоном приказал ему явиться в его кабинет. Иначе и быть не могло, два академика враждовали, говорят, со студенческой скамьи, а чахоточный вид Фаддеева объяснялся микроинсультом, который перенес он на полигоне, когда в блиндаж к нему — перед запуском ракеты — спустился Булдин, неся ящик, на котором черными буквами выведено было: «Тротил». Из ящика, кстати, торчал какой-то шнур, бикфордов, уверил сразу струхнувшего коллегу Булдин. Прощайся с жизнью, завопил он, я тебя приговорил к смерти за все причиненные тобою мерзости. Запалил зажигалкой шнур и выскочил наружу, завалив люк чем-то тяжелым. Никакого взрыва не последовало, но старик изрядно напугался, одно время страдал заиканием, стал частенько бегать в туалет по малой нужде.

С него, Фаддеева, и начал разгромную речь академик Булдин, обвинив того в плагиате, шантаже и вымогательствах. Выразил удивление: как мог кандидат наук Глазычев спутаться с этим вырожденком, не принесшим державе ни одной стоящей идеи! Другое дело он, Иван Евграфович Булдин, он, снизивший поголовье скота северных провинций Китая ровно наполовину! Да, да, это он в период обострения отношений с этими узкоглазыми построил компактный генератор, излучавший такие частоты, что яйца у быков отваливались! Он это сделал, он! И они, Булдин и Глазычев, что-то такое подобное придумают, имея в виду быков заокеанских, для чего надо обобщить результаты резервуарных наблюдений. Дело не терпит суеты и промедления, тип, называющий себя академиком Фаддеевым, гомосексуалист и прилипала, все молодые дарования института подвергались его атакам, и все они обворованы им дочиста, раздеты догола и пущены по миру. Фаддеев, наконец, просто ничто, человек без связей, без влияния, а он, Булдин, обладает обширными знакомствами во всех сферах жизни, что на руку ему, Глазычеву то есть, ведь, как это дико ни звучит, научный сотрудник всемирно известного института ютится в крохотной комнатухе жалкой коммуналки. Дико! Неправдоподобно! К счастью, у него, Булдина, хватит сил и умения переместить своего верного помощника, должностной оклад которого будет вскоре повышен, в более подходящее жилище. Короче, однокомнатная квартира Глазычеву обеспечена, новоселье через три месяца, нет, через два или, пожалуй, полтора. Для чего надо немедленно отмежеваться от Фаддеева, немедленно!

Согнутый напором разгромно-обличительных слов, подавленный и — одновременно — ликующий (близится час расплаты с Лапиными!), Вадим под диктовку Булдина написал заявление в партком, жалуясь на домогательства академика Фаддеева, который отбирает у него созданный им, Глазычевым, прибор «Тайфун» и запрещает работать в резервуаре; этот Фад-

деев попирает все нравственные устои нашего общества, строящего коммунизм, что выражается в... (следовало перечисление старческих грехов). Могучее пожатие руки Булдина — и торжествующий Вадим шел по коридору, потрясая кулаками и мстительно пиная кем-то брошенную сигаретную коробку.

И все-таки едкий червь сомнения точил душу, не давал насладиться будущим торжеством. Он, этот червь, распустился во всю скользкую, противную длину, когда наутро Вадима позвал к себе Фаддеев. Старик, скорбно согбенный, жалко повздыхал и с детской обидой воззвал к здравомыслию кандидата наук Глазычева. Кому вы доверились, слезливо вопрошал Фаддеев из уютных кожаных глубин кресла, неужто вам неизвестен тот механизм власти, который привел авантюриста Булдина на вершины академического и житейского благополучия? Небось слышались басен о китайских быках, которые очень вовремя пали от эпизоотии? А небылицы об аэродинамических характеристиках никому не известных модулей? Да чушь все это собачья, прикрытие обычного воровства и мздоимства, весь этот Булдин характеризуется одним словом: хапок. Он — хапает, хватает все подряд, а ненужное отдает взяткою. Семь квартир в Москве — и все на родственников записаны или на любовниц, применен хитроумный маневр: любовница меняет свою фамилию на его и становится как бы племянницей, а заодно и обладательницей однокомнатной квартиры. Вам, Вадим Григорьевич, он такую не обещал? Не даст, уверяю вас. Замытарит. А меня ценят мои ученики, среди которых есть и заместитель Председателя Совета Министров СССР. Держитесь за меня — и через три месяца, — кое-какие, сами понимаете, бюрократические барьеры надо преодолеть, — и через три месяца вы въедете в двухкомнатную квартиру... нет, не у метро «Новые Черемушки», где, я знаю, противно вам дышать одним воздухом с некоторыми вашими бывшими родственниками, — нет, квартира будет на Ленинском проспекте. И — забудьте об этом интригане, откристируйтесь от него, берите бумагу, пишите в партком, немедленно!

С глаз Глазычева спала пелена, он узрел наконец-то фальшивость благодеяний Булдина, подлость его даров — и под диктовку Фаддеева написал жалобу в партком. Подпись, дата — и червь сомнений сжался до микроскопического комочка. В душе звенело: квартира! Ленинский проспект! Двухкомнатная!

Дома он пересчитал деньги и возблагодарил себя за бережливость. Почти ничего не покупал для житья в этой коммуналке; постельное белье, полотенце, раскладушка — на все ушло двести рублей. В записке итогов — почти тысяча, могло быть и больше, но все сожрал «Тайфун»: приходилось платить монтажникам макетной мастерской. И все-таки — достаточно для вселения в двухкомнатную!

На следующий день сунулся было в подвал к резервуару, а на дверях — «Вход посторонним воспрещен», замок, кнопка звонка, дверь приоткрылась, знакомая физиономия лаборанта и: «А вас нет в списке!» То есть он, Вадим Глазычев, уже «посторонний!» И чтоб попасть в число достойных и допущенных, надо идти к начальнику отдела. А того — нет на месте. Глазычев грыз ногти, гадая, что могло случиться, ведь в подвал ходили все, кому не лень: ничего секретного там нет. Беготня с этим допуском займет день или даже больше, но что поделаешь.

Едва он взял разбег для хождений по инстанциям, как самая главная пожаловала к нему сама. Пришел секретарь парткома, выгнал всех из лаборатории, сел рядом, раскрыл папку с двумя заявлениями Глазычева, озабоченно почесал затылок.

— Нехорошо, очень плохо... Молодой коммунист, а уже... Склоку развели, до горкома партии скоро дойдет, а в райкоме уже навоят справки... Нехорошо, очень плохо...

Глазычев немо шевелил обескровленными губами. А безмерно сочувствующий парторг продолжал:

— Погано все выглядит... — Он притронулся пальцем к одной жалобе, затем переставил его на другую. — Уважаемые академики у вас — гомосексуалисты и растлители несовершеннолетних, что требует расследования в уголовном порядке, если они того пожелают... если партком обратится в соответствующие органы. Есть, кстати, статья в кодексе, карающая за клевету. Правда, тут сомнительные обстоятельства, клевета — дело не частное, общественное, а жалобы ваши носят узкоэгоистический характер, сугубо индивидуальны и, в сущности, бездоказательны... Но дело все равно принимает громкое звучание, партком не может стоять в стороне, предстоит разбор персонального дела коммуниста Глазычева Вадима Григорьевича... Последствия его, возможно, будут таковы, что, пожалуй, с билетом придется расстаться...

«Возможно» и «пожалуй» ничуть не избавили Вадима от страха. Расставание, причем навсегда, с партийным билетом означало лишение всего, не исключая и свободы. Такое, помнится, случилось в Павлодаре. Такое и здесь, в Москве, наблюдалось. А уж земляк при всех встречах настаивал: партия — твой спасательный круг, в любой шторм выручит. Приводил ужасающие примеры справедливости слов этих: можно грабить, насиловать, убивать, но, пока ты в рядах КПСС, — закон не заключит тебя в свои железные объятия.

В угрюмом молчании Вадима звучал вопрос: что делать? Парторг ответил: из той же папки извлек чистый лист бумаги, и на нем Глазычев написал отречение от собственных обвинений, а затем, уже на другом листе, — заявление с просьбой уволить его из института по собственному желанию.

Сдавая небольшое имущество, числящееся за ним, Вадим увидел в сейфе мозг «Тайфуна», еще вчера извлеченный, как обычно, из прибора. И сунул его в карман. Ни мозг, ни сам «Тайфун» ни в каких описях не значились, и бегунок был беспрекословно подписан. Еще час — и получена трудовая книжка, восемьсот рублей с копейками да еще примерно столько за неиспользованный отпуск.

Прощай, институт. Прощай, мировая слава!

Вадим Глазычев заткнул уши, спасаясь от дьявольского хохота, который сейчас сотрясал стены трехкомнатной квартиры, той, откуда он был изгнан.

Метро «Белорусская-кольцевая», троллейбус № 18, остановка у прудов — и Вадим Глазычев сел под окнами кухни коммунальной квартиры, где был прописан и откуда ему уже век не выбраться, прислонился к помойному баку: здесь отныне его место, как теперь догадался он. Пахло отвратительно, кислотной, прелостью, гнильем, сладкой отравой — отбросами человеческого быта, и сам он теперь — отброс большого города, ничтожная личность, вообще ничтожество, никчемный человечиска, до самой смерти ходить ему с расстегнутой ширинкой, с синяком под глазом, и как правы — о, как правы! — были мать Ирины и сама Ирина, когда распоследними словами поносили его за тупость, невежество, мелкую подлость, трусость. «Гаденыш!» — так, помнится, выразилась теща, и она же, забыв о родословной своей, сплошь из профессоров, костерила его словами павлодарских алкашей. Правы они были, тысячу раз правы! Дурак он, полный дурак! Его, глупца, специально освободили от умственного труда, подсунув тему об алгебраических моделях, которых никто еще никогда не находил и не найдет, а когда он начал соображать, так тут же объявились два академика. Около таких институтов, где он работает, то есть работал, всегда шакалами бродят эти старцы, для обмана честного народа скаля друг на друга зубы и дружно нападая на зазевавшихся мэнээсов.

Вадим Глазычев не просто прозрел. Он принял единственно правильное решение.

Шатаясь и покачиваясь, с радостью вдыхая смрадный запах одуряющего и вдохновляющего гнилья, передвигался он от одного помойного бака к другому. Липкими руками залезал он в них, ища там веревку, на которой можно повеситься. Но, зная, не один он уже рылся в баке, подлые академики наплюдили горемык, склонных к самоистязанию, веревку здесь не найдешь, ее надобно искать в другом месте, у соседки попросить, что ли. На время, конечно: записку напишет перед повешением, пусть, мол, веревку отдадут ей, мы, Глазычевы, люди честные. И пусть соберут с мэнэ-эсов деньги, которые он им давал в долг. И прежде всего — с лаборанта, который не открыл ему дверь в бассейн, эта сволочь брала у него до полочки одиннадцать рублей.

Спасительная мысль озарила его: электропроводка! Сплетенный шнур не выдержит тяжести удавленника, но если вырвать потолочное крепление и встать на табуретку, то на выступающий из-под штукатурки крюк можно набросить шнур, крюк не подведет, и есть какая-то услада, особая месть Лапиным, когда он повесится именно в той комнате, куда они его заключили, как в клетку. Не мешало бы выпить, чтоб безболезненно отправиться в мир иной, туда, где нет академиков и адвокатов. До магазина рукой подать, однако — плащ его вымазан чем-то гадким, а продавщице он уже дважды подавал глазами знаки, содержавшие призыв известно к чему.

Что делать? Как жить? То есть какой величественной смертью попать собственные дурости, заодно покарав ею все подлости академиков?

Догадался. Отряхнулся, гордо выпрямился, представляя уже, что увидит соседка и милиция, когда выломают дверь его комнаты. Неторопливо пошел к подъезду, на прощание глянув назад, туда, на помойку, которая подарила ему хорошие мысли о прошлом и будущем.

Соседки, на счастье, дома не было. Вадим похвалил себя за дальновидность: абажур он так и не купил. Выкрутил лампочку из патрона, дернул за шнур открытой проводки. С потолка что-то посыпалось, но шнур не поддавался. Видимо, кто-то из прежних жильцов намертво присобачил его к железному крюку, а тот приварен к балке. На шнуре, возможно, уже вешались обманутые академиками несчастные.

Но нельзя вешаться, как все необразованные люди, он ведь все-таки кандидат наук, и не пристало ему кончать жизнь просто так, сунув голову в петлю. Надо казнь над собой дополнить чем-то таким, чтоб ахнула милиция, чтоб соседка до всей Москвы донесла весть о смерти обманутого господами жильца. Что же тут придумать, что?

И было придумано. Решено — в отчаянном порыве мысли: самоубийство с самосожжением, то есть вздернуться на шнуре так, чтоб пятки ног лизал огонь костра, а горячий материал рядом, вот он — толстая папка с золотым тиснением «Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук...». Надо ее привести в вид, удобный для возгорания.

Вадим Глазычев открыл папку, встряхнул ее — и под ноги его опустились, бабочками попорхав над полом, бумажные листочки, исписанные мелким почерком, его почерком. Он поднял их, чтоб пустить на растопку, но вчитался — и едва не зарычал, потрясенный.

Это был полный список вещей и предметов, подробнейший перечень того, что находилось в трехкомнатной квартире, откуда его безжалостно вытурили. В памятный для него день составил он его, при обходе квартиры, которую грозились у него отнять. Ложки и вилки в серванте (и сам сервант, разумеется), скрупулезно пересчитанные простыни и наволочки в комод (и этот попал в список), разноцветные салфетки и пододеяльники там же; финский холодильник «Розенлев» и западногерманская стереорадиола «Грюндиг»; и многое, многое другое. Да что там перечислять: все! Он даже набросал тогда карандашные рисунки гарнитуров, коим не нашлось места в списке, и, тряхнув диссертацию, Глазычев нашел в ней и

чертежник квартиры с габаритами мебели в ней; отдельно, на четырех листочках, скрепленных зажимом, — названия всех книг в обоих книжных шкафах и на десяти полках.

Воистину полный список! Почти инвентаризационная ведомость! Документ, не заверенный, правда, нотариусом, но тем не менее — опись имущества, его имущества, реквизированного Лапиными, и вырвать это имущество из кроважанных рук латышей становилось отныне его жизненной задачей, целью жизни, в чем он поклялся, решительно отвергнув мысль о повешении над костерком из диссертации. Поклялся — стоя у окна, перед бетонными квадратами забора: да знайте же вы все, что свое он вернет, обязательно вернет! Для чего и составлен этот манифест освобождения трудящегося человека от пут академического капитала! «Я сделаю это! Сделаю!» — танцевал он над так и не вспыхнувшим костром, но пятки его уже поджигались неумным желанием отомстить, вернуть себе трехкомнатную квартиру и дочь какого-нибудь академика, другого, не Лапина.

И не все так плохо, оказывается. Какие козни ни строил всемогущий адвокат, а лишить его московской прописки не смог. И как ни старались академики отнять у него партийный билет — фигушки, вот он, в кармане, та самая книжица, которая, по уверениям земляка, и спасательный круг, и парашют.

Уверенность в торжестве справедливости возросла, когда под вечер в комнату его ввалился запыхавшийся курьер из института: высокое начальство бушует, неистовствует, «Тайфун» разукомплектован, прибор не работает, извольте вернуть недостающий блок, иначе — милиция, обыск! Угрозы, однако, никакого действия на Глазычева не возымели: ведь прибор ни за кем не числился, он бесхозный.

— Вон! — свирепо заорал Вадим Глазычев. — Прочь от моего дома, пока я вас сам не засудил!

8

Несколько дней он жил, выходя из дома только в столовую и за хлебом. Охающая соседка решила, что его обокрали, и робко предложила трояк до полочки. Пришлось купить литровый чайник и два стакана, в одном из них Вадим заваривал чай. Ничего больше приобретать он не желал. Он проживает здесь временно! — такое решение принято было. Вихревые потоки судеб вынесут его на середину людской реки, а там уж он доплывет до плодоносящего берега, обустроенного и малонаселенного, где сады и райские кущи. Судьба о нем позаботится, иначе быть не должно, судьба сама явится сюда.

И судьба пожаловала — дверным звонком, заглянувшей в комнату соседкой, а вслед за нею мелкими шажочками вошел сутуловатый гражданин: негрязное пальтецо, под ним — засаленный пиджачок; физиономия прибитого бедами пенсионера, голос тихий, но слова произносятся отчетливо, — человек, чувствуется, почитывал обывателям какие-то лекции по линии общества «Знание», а короче говоря — отец, Григорий Васильевич Глазычев собственной персоной, Вадим его лет десять не видел, как и мать, впрочем. Накануне свадьбы Ирина заикнулась было о приглашении отца и матери из далекой провинции, но Вадим отговорил. А сейчас папаша прикатил и попал — подивитесь, пожалуйста, — на квартиру бывшей супруги, до адресного стола еще не дошла измененная прописка, место жительства стало другим, на Пресню указала Ирина, но, оказывается, пугавшийся Москвы отец и сюда не добрался бы без поводыря, а им был уродец Кирилл, во дворе под грибком читавший какую-то толстенную книгу; Вадим увидел его из кухни, когда ставил на газ чайник. Проклиная идиота, ворвался в комнату. По возможности мягко спросил о том, что его интриговало много лет: почему отец развелся с матерью. Ответ поразил его глупостью:

— Она всегда страдала уклонами. Ты еще не родился, когда она идеологически неверно восприняла постановление ЦК КПСС о культе личности... Мы потом и про антипартийную группу Молотова, Кагановича и прочих обсуждали горячо. А после того, как она отрицательно отнеслась к октябрьскому Пленуму ЦК, — ты уже в детский сад ходил, — терпение мое лопнуло.

И этот недомерок, этот хлюпик, это ничтожество — по всем документам числится его отцом! Да любому человеку плевать на кремлевскую возню, а мать, видите ли, держалась какого-то особого мнения. Ну и родители. Кстати, оба — плюгавенькие, недоразвитые, вот и спрашивается, в кого же он, Вадим, ростом вышел?

— Да она умерла уже, давно.

Когда — Вадим спрашивать не стал, а вопросы копились и копились, да только что мог ему ответить этот тип. Из-за него вся его жизнь поломана, он виновник того, что Вадим сейчас торчит в этой конуре и целиком зависит от богатеньких. Он! Был же тип этот в годы войны начальником орс, попал на эту хлебную должность по инвалидности, на войне ранили, мог бы из рабочего снабжения кучу денег наворовать, как предшественник его, с такой значкой ушедший на пенсию, что сынок его, одноклассник Вадима, на переменах лопал булки с маслом. Нахапать, обеспечить себя на всю жизнь имел возможность отец, чтоб Вадим не кланялся в ножки каждому богатею в столице. Квартиру мог в Павлодаре получить, и получил было, да вдруг отказался в пользу многодетного зама. В кабинете ночевал, а сыну угол снимал в далеком пригороде, и пришлось Вадиму от шестого до десятого класса жить одному, отца перебросили на банно-прачечный трест в другой город, от матери приходили какие-то жалкие деньги, и если б не школьные обеды, по милости или дурости отца в бытность его председателем исполкома введенные, то окочурился бы. Так вот и получилось: все лучшее — чужим, а своему ребенку — шиш. От недоедания и слабаком вырос, мышцы дряблые, ноги хилые, как у дистрофика, дважды студентом записывался на выгрузку вагонов, чтоб подзаработать и хоть раз досыта наестся, — и понял, что не по нему эти физические лишения. Но мать, мать! С голоду померла, учителькой трудясь в таежной глуши, мешочек кедровых орехов прислала однажды, так мешочек отобрали старшеклассники, били и били до тех пор, пока проходивший мимо десятиклассник Сумков не отогнал их.

Налил отцу стакан, отрезал кусок булки, сказал, что холодильника нет, а потому и масла, и прочего скоропортящегося дома не держит. Старичок с удовольствием похлебывал чаек, покусывал булку, показывая хорошие зубы. «Полгода ходил по всем кабинетам собеса и райздравотдела, бесплатно поставили...» Едва не вытащил протезы и не показал их сыну. Вадим отвернулся. Одно утешало: конура позволяла сослаться на тесноту и отказать гостю в ночлеге. Притопай отец на ту, трехкомнатную, там бы уж пришлось изворачиваться в извинениях, выпихивая старика на улицу, «теснота» да «негде постелить» в трехкомнатной не сработают.

Но и в конуре не пришлось вымучивать небылицы о соседке с дурным нравом, не разрешавшей кому-либо чужому ночевать. Старикан бодренько эдак поднялся, сходил в туалет и распрощался, вручив гостинец (пачку сигарет) и клочок бумаги с номером телефона, по которому его можно найти в ближайшие две недели. Уродец во дворе взял такого же дурачка за руку, повел, до Вадима дошло: да ведь отец почти слепой! Зрение испортил, вчитываясь в примечания к какому-то там «Анти-Дюрингу». Потому и гостинец выбрал очень неудачный — сигареты без фильтра, а что на клочке бумаги — и смотреть не хотелось, какая-нибудь гостиница у ВДНХ, «Заря» или «Колос»; сам-то отец нашел пристанище в Калининской области. Но Лапины эти злопамятные — зачем убогого Кириюшу дали в проводники? Да затем, чтоб лишний раз унижить бывшего зятя!

Покусывая губы, растирая ладонями виски, морща лоб, шептал он проклятья всем богатеям, что покусались на его павлодарскую родину, на внушительный рост (182 сантиметра), на труды, слезами и потом написанную и защищенную диссертацию. Он покажет им, кто они такие, они еще вспомнят его и содрогнутся от причиненного ему зла.

И все-таки — встревожил его отец. Вадим ходил, думал — из комнаты на кухню и обратно. Вид на помойку всеял, однако, уверенность в светлом будущем, глянешь — и предстает картина: высокая башня с трехкомнатной квартирой Ирины Лапиной-Глазычевой рушится, погребая под собой бывшую жену с ее муженьком, которого сейчас нет, но который к моменту крушения дома объявится, чтоб уж судьба и воля Вадима Глазычева сразу его похоронила под руинами.

Мечты о крушении не только многоэтажных зданий, но и всей бывшей родни подвигли мысль к очень простенькому решению, которое окрепло, когда на полу нашлась бумажка, та самая, что осталась от отца, и на бумажке почерком Ирины выведен был до отвращения знакомый телефон той квартиры на девятом этаже, где он когда-то жил и который будет погребен под толщей многоэтажной башни.

Еще одна издевка! Еще одно оскорбление, пощечина, и Вадим Глазычев не толстолиц, вторую щеку он не подставит!

Наполненный угрюмой решительностью, он тщательно брился по утрам, из дома не выходил в ожидании часа, когда оба академика приползут к нему на полусогнутых и смиренно попросят вернуться в институт. О, как он поиздевается над ними! Какими словами обзовет этих прохиндеев! Но — простит, если они ему хотя бы однокомнатную квартиру сделают. Простит. Но уж если Иван Иванович Лапин-Лапиньш заявится — то он плюнет в его наглую латышскую морду, плюнет! Даже если тот вернет ему трехкомнатную со всеми вещами, но без Ирины.

Едкая радость от мстительных планов не убавляла, однако, трезвых расчетов, а они давали в итоге плачевный результат: он — в заточении. Не комната, а клетка! Клетка! Камера одиночного заключения, из которой век не вырваться! И амнистия не ожидается, и деньги почти на исходе. Уже ноябрь, и хорошо, что он так и не отклеил окна, скоро наступят холода.

Вернувшись однажды домой и захлопнув за собою дверь, Вадим долго стоял, прислушиваясь и внюхиваясь. Ему почему-то казалось, что кто-то к нему должен пожаловать с доброй вестью, потому что жизнь, — он верил, — еще явит себя чудом, надо смиренно ждать его — даже у помойки, которая чем-то влекла его к себе — тем хотя бы, что в ней, среди рухляди и гнили, он ощущал себя полнокровным, живым. Запах ее был сладостен, идя от автобуса к дому, Вадим частенько замирал у баков, вдыхая ароматы гниения. Странное было это чувство — и ожидания краха, и надежды на счастливое разрешение: многоэтажная башня, где некогда жил, представлялась то разваливающейся на блоки, то гостеприимно раскрывающей двери подъезда.

Однажды, — выпавший снег красиво лежал на баках, — созерцал и наслаждался, когда услышал свое имя, нетерпеливо повторенное не один раз. Поднял голову, увидел Сидорова — в окне кухни, махающего руками, — и поспешил к нему. «Быстро! Быстро! — заторопил тот. — Давай паспорт! Едем! Скорее!»

Во всем отныне чужая подлая лапища Лапиных, Вадим заупрямился, причину объяснил тем, что не брит и весь пропах помойкой, но обстоятельство это восхитило свободолобивого Сидорова:

— Тем лучше! Тем лучше! Паспорт хватай! Завтра у тебя будет отдельная квартира! Однокомнатная, правда. Был бы кто с тобой еще прописан здесь — досталась бы двухкомнатная. Вперед! Нельзя терять ни минуты!

Схватили такси, помчались в какое-то учреждение, по пути Сидоров многозначительно произнес: «Израиль, эмиграция!», но слова эти мало что

сказали Глазычеву, вообще ничего не сказали, и лишь поздним вечером, после общения со многими людьми в учреждениях, где полно адвокатов, похожих на знакомого Вадиму лапинского наймита, ему разъяснили суть махинации, которая принесет ему однокомнатную квартиру почти в центре столицы, на Профсоюзной улице. Скоропалительный обмен краснопресненской комнаты, где пристало держать только скотину, на меблированное жилище без соседей и с телефоном (к квартире прилагался еще и телевизор «Рекорд») никаким логическим объяснениям не поддавался, и сам Сидоров, знаток всего и вся, выразился грустно:

— Нам, русским, этого не понять... И татарам тоже неведомо. Здесь нечеловеческий мозг евреев потребен, мозг, иссушенный сорокалетними хождениями по синайским пескам. Они иссушенные мозги свои поливают грезами о земле обетованной. Один венгерский математик вывел: человеческий мозг — это клыки тигра, орган не мышления, а выживания. Современные советские евреи обмен этот задумали и организовали. Семья перебирается в Израиль, но оставлять нелюбимому государству трехкомнатную квартиру не желает, вот и начинается серия обменов, евреи положат в карман приличную сумму денег, каким-то путем переведут ее в валюту и переправят туда, за бугор. Обмен многообразный, многосерийный, семнадцать мгновений поздней осени, в кругооборот вовлечены многие еврейские и нееврейские семейства, а прикрыть весь этот мстительно-гениальный гешефт обязан кандидат наук Глазычев, за что получит кроме квартиры еще и некоторую сумму денег.

Не терявший бдительности Вадим осторожно осведомился: а почему сам Сидоров не воспользовался продуктом еврейского ума?

Тут Сидоров расчувствовался, чуть ли не всплакнул и сделал признание:

— Каюсь: виноват. Я во всех твоих бедах виноват. Я! Не учел, что над тобой — оба титана, Фаддеев и Булдин. Эти любого схавают, у них роли давно распределены... А мне квартира не нужна. Я довольствуюсь подвалом. Без него я перестану быть Сидоровым.

Оформление несколько затянулось, на него ушло еще двое суток, но минули они — и Глазычев со сладостным трепетом полистал паспорт, нашел штамп о прописке и без стеснения пожал руку прежнему хозяину квартиры на пятом этаже серого дома. Одно окно выходило в переулок, другое зорко следило за передвижением автомобильного стада по Профсоюзной. Кровать, диван, шкаф, пустые книжные полки — советские, а не чешские, как в незабываемой Вадимом трехкомнатной квартире. Старый и грустный еврей гостеприимно повел рукой — владейте, мол, все ваше, отбирайте, что нужно, а что не нужно, смотрите...

А Вадим Глазычев другое видел — башню, из-под обломков которой раздаются сдавленные голоса еще не задохнувшейся Ирины, ее мужа и всех родственников и знакомых, имевших несчастье прибыть к ним в гости.

Потому и было принято решение: мебель здесь не соответствует той, что в списке, который носится им, как боевое оружие, во внутреннем кармане пиджака, рядом с партийным билетом. Отрицательный жест его привел еврея в великую радость. Он побывал уже в комнате на Красной Пресне, проникся к Вадиму уважением и участием. Или, возможно, решил, что перед ним — человек, отрешившийся от всех благ цивилизации и готовый питаться мокрицами и тараканами, сидя в яме, как средневековый монах.

Он отвел Вадима в коридор и зашептал:

— Послушайте! Да, да, вы послушайте! Поступайте, как я. С чистого листа начинайте жизнь! Вот телефон, я, кстати, уже перевел его на ваше имя. Звоните! Увозите все отсюда!

Через полчаса прикатил грузовик, brave ребята бодренько принялись за мебель, громоздкий шкаф в лифт не влез, его снесли вниз на руках. Тронулись, выехали на кольцевую. Глазычев вспомнил про овраг не-

вдалеке от дома. Подъехали к нему, диван и кровать полетели вниз, кувыркаясь и разламываясь. Над полками пришлось потрудиться, Вадим с веселым остервенением бил по ним ломиком. Дошла очередь до массивного шкафа. Грузчики с некоторым страхом поглядывали на него, никто почему-то не решался крушить его. Вдруг мстительное чувство овладело Вадимом: чем больше он смотрел на шкаф, тем в большее негодование приходил. Шкаф, несомненно, принадлежал ему, достался ему волею судьбы, шкаф — его собственность, но чтоб им владели другие... Никогда! Ярость, с которой накинудся он на него, заразила и грузчиков: все понимали, что, даже сброшенный вниз, шкаф этот не развалится, не растрескается. Поэтому выпросили у шофера что-то вроде топора, Вадим набросился на шкаф, как на самого академика Лапина. Кровавая пелена застилала ему глаза. Никакие шурупы и клеи не смогли бы теперь скреплять составные части прежде непоколебимого, как утес, шкафа. Он полетел вниз, громыхая и разваливаясь на части, — под улюлюкание грузчиков и хохот Вадима.

В лифте пахло кошками, но по душе разливалась благодать и уважение к евреям, ключ плавно вошел в замок, дверь подалась, распахнулась. Пусто, голо. Но — приятно. Манифест в кармане, и опись подсказала первые и неотложные мероприятия. Раскладушка, кстати, еще сгодится, простыня и наволочка не так еще грязны, чтоб тащить их в прачечную, одеялом послужит плащ; когда стемнело, Вадим щелкнул выключателем, осветилась комната, абажур явно не тот, требует замены, вместо него в описи под номером 176 значилась пятирожковая люстра, но абажуру милостиво было разрешено повисеть некоторое время на прежнем месте, чтоб свет не слепил глаза кандидату наук, в сладостном изнеможении упавшему на раскладушку. (Что-то покалывало в бок, Вадим просунул руку под себя и обнаружил в заднем кармане блок «Тайфуна», все эти два сумасшедших дня мозг прибора, тот самый, за которым гонялись два академика, лежал в его «нажопнике» — заднем кармане брюк.)

9

Три тысячи рублей подарили евреи Глазычеву за переселение, да хозяин этой квартиры добавил ему за мученичество восемьсот рублей, втихую сунутые на лестничной площадке.

Да, на земле есть справедливость — к такому выводу пришел он, и, шаг за шагом, день за днем отступая от нынешнего вечера 2 декабря 1982 года, он искал первопричину чудесных превращений в жизни, где взлет неизменно завершался падением, а удар оземь возносил к небу. Строго логически рассуждая, в основе всего лежало семейство Лапиных, но тогда надо погружаться в самые недра, в павлодарское прошлое, а там безвозвратно утонет.

Парикмахерша! — к такому выводу пришел он. С нее начался горько-сладостный период, с этой продажной шкуры, за адвокатские деньги готовой на суде лжесвидетельствовать; это она подвела его к помойному баку, откуда стартовал он к пятому этажу дома на Профсоюзной. Он, правда, едва не набил ей морду, встретившись как-то, но рыжая сучка эта расплакалась, взмолилась, увела к себе, и в уютненькой квартирке ее он оттаял, простил, похвалил щи, она их готовить действительно умела. И потом не раз еще заезжал — на щи, на котлеты, на диванчик.

К ней он и приехал следующим утром, прямо в парикмахерскую, нестриженный и небритый. Ласково улыбаясь, подруга привела его в достойный вид, Вадим попытался было расплатиться с ней вечерком, из неиссякаемых запасов любви, но та нелюбезно промолвила, что сидит на строгой отчетности; на вечерок, правда, согласалась; Вадим не обиделся, однако обдуманно решил более к ней не приезжать, каждый вечерний визит обходился в десять рублей, а он без работы, то есть без регулярного поступле-

ния денег, и где эту работу найти — загадка, которую решит время. Нежданное и негаданное обретение отдельной квартиры сулило еще более просторное жилище, пора уже приглядываться к мебели, которая заполнит гулкую и прекрасную пустоту.

И ноги сами понесли его в мебельный магазин, он долго и придирчиво осматривал стулья, не решаясь подходить к кроватям и диванам, чтоб не бередить раны; покусился было на кушетку, но покупку отложил; уже собираясь уходить, вдруг решительно отвильнул и приблизился к дивану. Даже беглый осмотр этого предмета мебели насторожил его: чем-то он отличался от любимого и не возбуждал, не напоминал о часах, проведенных на упругом ложе в обнимку с Ириной. Внимательно присмотревшись, он обнаружил, что в нем всего два выдвигаемых ящика, куда после ночи упрятывались постельные принадлежности. Два! А у того, настоящего, дивана их три, в третий маленький ящичек Ирина что-то совала.

Подошедшая продавщица не смогла от него узнать, чем не понравился покупателю диван. «Размером», — выдавил наконец Вадим. По пути к дому он купил рулетку и тщательно измерил всю квартиру. Комната — 29,8 квадратных метра, кухня — 7,2, прихожая — 9,7. Далеко не те габариты, что в трехкомнатной, не та ширь. Когда им с Ириной поднадоедала любовь в спальном кабинете, они перебирались на кухню, которая размерами почти вдвое превосходила нынешнюю. Или в гостиную, та чуть поменьше этой комнаты. Или в кабинет, посматривая при этом на книги мыслителей прошлого. Со всей волнующей неизбежностью вставал вопрос: какой мебелью обставить эту квартиру, да так обставить, чтоб элементы еегодились при переезде в трехкомнатную?

Три дня обезджал он мебельные магазины столицы. Нашел кухонный гарнитур «Мцыри» (430 рублей) и записался на него, хотя ожидался он не скоро. На чертеже трехкомнатной квартиры значились два секретера «Хельга» по 980 рублей, Вадим обнаружил их на Ленинском проспекте. А книжных шкафов нигде не видать, их делали на заказ, где и когда — надо еще узнавать; выставлены только образцы, и здесь изволь встать в очередь. Никак не удавалось хотя бы издать глянуть на гарнитур «кабинет», в него входили письменный стол, два кресла, диван и журнальный столик. И стенка! Как он забыл! Стенка в гостиной!

Впрочем, ни один гарнитур не влезал бы в однокомнатную квартиру, а стенка, пожалуй, могла поместиться. Надо, короче, ждать того чудесного мгновения, когда трехкомнатная квартира образуется как бы из ничего. К счастью, удалось купить чешские книжные полки, Вадим дотащил их на себе, чтоб не тратиться на такси. Услышав как-то визг дрели, определил по звуку, где сверлят дырку в стене, попросил инструмент на полчаса, полки повесил, а поскольку ни одной книги, разумеется, в доме не было, на верхнюю полку лег мозг «Тайфуна», главный модуль прибора, который так и не состоялся, но был этот модуль чем-то ценен Глазычеву, берег он его, посматривал на полку, ждал чуда — не от самого модуля, а неизвестно от кого и чего. Оно, чудо, и принесет ковры, паласы, бра, обои, сантехнику, которая у Ирины, то есть у него, была импортной. А гарнитур «Ютта» — голова ведь кружится от скорого обладания этими вещами!

Манифест победы труда и трудящихся звал и гнал вперед, строки его стучали в сердце, приготовление же пищи насущной отодвигало уничтожение семейства Лапиных на все более поздние сроки. Надо же покупать кастрюли, миски и прочее, когда ведь еще приобретутся столовые приборы, мельхиоровые ложки и вилки. И кастрюли, в которых что-то варила Ирина, — где такие достать? На чем сидеть вообще? Со скрежетом сердечным пришлось покупать стулья, алюминиевые кастрюли, ложки и вилки, напоминавшие Павлодар.

А модуль, детище его воображения, плод ума прыткого Сидорова, который продавал себя только за 190 и премиальные, — мозг «Тайфуна»

продолжал пылиться на пустой книжной полке, присутствием своим указывая, в какой стороне искать работу, деньги и, следовательно, мебельные гарнитуры. В институт! На кафедре физики! Преподавателем! Там платят кандидатские, там хоздоговорные работы, там полно аппетитных студенток!

Приглашенный на новоселье земляк держал в уме все вакантные места в институтах, он и предупредил: марасть трудовую книжку учительством в школе нельзя, надо потерпеть и капитально пристроиться к денежной кафедре какого-нибудь немудреного института.

Институт и кафедра нашлись, но место освобождалось после сессии, то есть в конце семестра, где-то поздней весной. Узкие глазенки земляка (в роду его погуливала казахская бабка) были строги, он говорил отрывисто, позволяя в паузах домысливать намеки, будто случайно слетевшие с уст, и Вадим после его ухода долго поскрипывал раскладушкой; не спалось, думалось и думалось о предках, выискивались нерусские гены, по земляку выходило так: только чужеродцам хорошо живется на Руси, они спаяны уже тем, что — в меньшинстве, мы же, русские, москвичи в том числе, ленивы, разобщены, нечувствительны.

Эти четыре месяца ожидания были насыщенными; он ходил по универсам, рассматривал ковры, сравнивая их с теми, что устилали полы и прикрывали стены в квартире, временно принадлежащей Лапиным; паласы хорошо смотрелись в «Лейпциге», но ни ковров, конечно, ни паласов покупать он не собирался, даже если бы вдруг — такую возможность он не отвергал — на него с неба свалился бы набитый деньгами мешок. А в мебельные магазины заглядывал часто. Он жалел, что не выхватил когда-то из рук адвоката пачку товарных чеков и не прочитал, как правильно называются мебельные гарнитуры, те диваны и кресла, где располагались он и Ирина, шкафы, раскрываемые дверцы которых обдавали Вадима запахом чего-то чужеземного, сладостного.

Много разной мебели, много, но почти все — образцы, причем самые наилучшие гарнитуры вообще не показывались редким покупателям, они упрятывались где-то на задах магазинов, в просторных подсобках. Он научился распознавать истинных покупателей от любознательных завистников. Свободно продавались стулья (и то не всегда), тумбочки и столы; посреди просторного и запруженного мало кому нужными раскладушками зала высился в царственной позе старший продавец, который редко снисходил до поворота головы в сторону сразу становящегося боязливым гражданина; не достаивался сей гражданин и отрицательного кивка или жеста, однако кое-какие слова делал продавца почти любезным, он уводил клиента куда-то, откуда оба возвращались сосредоточенными на каких-то сугубо земных мыслях. Часто по манере разговора и позам можно было с абсолютной уверенностью признать: взятка — предложена, и она, взятка, не отвергнута, — чем и объяснялась покладистость неприступного и немного обладателя несметных мебельных сокровищ. Невесть откуда возникали слухи о скором (месяцев через пять-шесть) поступлении мебели, стихийно создавалась очередь, с переключкой по субботам или в иные дни. Однажды Вадим записался на «Ютту», дважды прибывал к переключке в назначенное время; звучание собственной фамилии (иногда путали: «Глазачов») ласкало уши; одно время он злорадствовал, наблюдая за бестолковщиной в кучке людей, норовящих купить гарнитур или стенку, — вот вам, москвичи, победствуйте, в провинции еще хуже, однако терпят. Но однажды опоздал на переключку и был вычеркнут из списка, поорал о безобразиях, чуть ли не с кулаками накинулся на какую-то горластую бабу, предводительница огрызнулась, и лишь появление милиционера остудило Глазычева.

Но подожди очередь — купить не стал бы, некуда втаскивать, жилплощадь не позволяла, не придумали еще мебельщики гарнитура для однокомнатной квартиры. Стенка? Где деньги на нее? Нет денег, нет!

Но как сладостен дух мебельных магазинов, особый запах — запах будушего! Эти пустые шкафы заполнятся когда-нибудь (причем в скором времени!) костюмами, пальто, брюками, есть перекладники для галстуков и ремней, на полках улягутся стопки выглаженного белья, в этих ликер-барах будут ждать опустошения бутылки с напитками красивых, в Павлодаре неизвестных названий, двумя рядами расположатся видные книго-фолианты, которые закупаются на преподавательские деньги, ожидаемые тоже в будущем.

Не меньшие мечтания возникали и в универмагах, Глазычев рассматривал постельное белье, ковры, посуду. Случались если не часы, то минуты, когда он не только видел себя в будущем, но и ощущал, и тогда казалось, что и ширинка на нем застегнута, и корвяк от подошвы отлип и от него уже не воняет. Сладостные взлеты с отрывом от настоящего почти всегда кончались неумолимым прозрением, и, хотя рука пробежала по гульфику брюк, все равно чудилось: он — только что выскочил из бани с единственным прикрытием, венником на срамном месте.

10

Работа наконец свершилась! Институт пищевой промышленности временно оповестил о конкурсе на занятие вакантного места преподавателя, имея в виду, что таковым станет он, Вадим Григорьевич Глазычев. Страх, конечно, был, страх провала на конкурсе, как беспардонно заметил земляк, «наличествовал».

К счастью, обошлось. Уже утвержденный преподавателем, зная отныне, что по универмагам больше не походишь, Вадим в почти пустом зале мебельного магазина столкнулся с миловидной женщиной, которой нравилось погружать свой кулачок в упругость матраца или поглаживать рукой спинку кровати. Познакомились, побродили по улицам, и как-то так получилось, что он оказался в ее квартирке, где, к его удивлению, стояла та самая кровать, которой женщина любовалась в магазине. До утра они с женщиной этой убеждались в добротности кровати, тем вся любовная история и закончилась: в полдень муж женщины возвращался из командировки. И женщина забылась бы, да заболел завкафедрой, а он обычно читал всему курсу вступительную, перед началом учебного года, лекцию по физике. Заболел ли, прикинулся хворым или решил подвергнуть нового неопытного преподавателя суровому экзамену — не было уже времени разгадывать. Ноги обмякли, колени разламывались, веки дрожали от страха, из глаз выпиравшего. Полторы сотни человек, не меньше, до последних рядов заполнена аудитория, на две трети — девушки, ни одну из них Вадим рассмотреть не мог, все они сливались в нечто волнуяще-женское, и вспомнилась недавняя знакомая, жена командированного, которую он неторопливо раздевал, которая, наверное, впервые изменяла мужу, краснела, всплакнула дважды, легла, закрыв лицо ладонками, — и тут же выплыла из недавнего прошлого бесстыдная Ирина, до корки прогрызшая все пособия, руководства и трактаты о сексе, едва однажды не сломавшая ему ключицу при отработке одного древнего приема, — жрица любви, ставшая неприятной, ненужной, ненавистной только из-за того, что не краснела, не смущалась и не противилась... Еще один взлет чувств — и на память пришли слова автора мозга «Тайфуна»: «Да физики как науки вообще нет! Она — своевольное обобщение наблюдений и экспериментов...» Вспомнились к тому же все неопытные, неловкие, суматошные и стыдящиеся невесты чего или кого женщины после Ирины, — и Вадим прозрел: зря затевали они с Ириной сексуальный хоровод с плясками, — эксперимент, впервые поставленный, значительно привлекательнее многожды проведенного, он таит в себе загадку, открытие!..

Студенческая братия угомонилась и приготовилась слушать, и услышала она то, что было сейчас в самом Глазычеве, в его мыслях об Ирине и недавней знакомой, но, разумеется, в сугубо научном смысле. Студенты с удивлением узнали, что физика — всего-навсего некий упорядоченный свод тысяч экспериментов, и поэтому он, эксперимент, — святая святых, его надо любить...

В обомлевшей аудитории — мертвая тишина. А Вадим, постепенно разгораясь, мысленно раздевая самую ближнюю студенточку, продолжал говорить о торжестве человеческого опыта над всеми теориями, о величии человеческого глаза и уха, которые в бессвязности протекавших событий обнаружили некоторое сходство и кое-какие несущественные различия. Представляя себе, как студенточка, сама того не подозревая, помогает, сближая лопатки и выгибая спину, мужским рукам расстегивать бюстгалтер, он рассказывал сотне девушек о том, как природа подставляет сама себя под человеческое восприятие, сбрасывая отяжелевшее яблоко с ветки прямо под ноги Ньютона; он упомянул о немислимой сложности теорий, о невосприимчивости их нормальному бытовому разуму — вот почему надо с чрезвычайной деликатностью проводить лабораторные опыты и всматриваться в суть рекомендованных учебниками заданий.

Еще до звонка на перерыв он успел мысленно раздеть трех студенток, и только оглушительные аплодисменты не позволили ему приступить к четвертой. Смахнув пот со лба, он сошел с кафедры, и декан горячо пожал ему руку, признательно сказав, что институт не ошибся в выборе.

О лекции этой по институту ходили легенды, девушки либо намеренно скромно опускали глаза при встречах с Вадимом, либо вопрошали ими неизвестно о чем. Земляку сразу стал известен триумф, он тепло поздравил Вадима, сказал прямо: нужна попойка для коллег, надо приживаться к институту. Немного покривившись, Глазычев выждал до первой полочки, организовал нужный и, по московским меркам, приличный стол (мебель одолжили у соседей). Все-таки — кандидат наук, платили хорошо, но и потратиться пришлось хорошо, коллеги его возраста последнюю каплю выжали из девяти бутылок водки, одну, правда, принес кто-то из них; подарки, как положено, были сугубо хозяйственного назначения. Тем не менее решение возникло: таких пьянок-гулянок устраивать нельзя, никаких денег не хватит, а еще сколько покупать надо!

Два шустрых ассистента кафедры, намаявшись на хоздоговорной теме, пристегнули к себе Глазычева, и теперь ежемесячно ему перепало пятьдесят — шестьдесят рублей дополнительно. После долгих раздумий, все тщательно вымеряв и рассчитав, купил все-таки стенку, грузчики (100 рэ пришлось им заплатить) втащили ее разобранной, соединили, заняла она почти все пространство слева от двери и почему-то поскрипывала по ночам, видимо, умоляла наполнить себя костюмами, рубашками и прочим, стенка будто голодала, и живот ее, требуя пищи, постанывал. В универмаге поблизости высмотрелся хороший костюм для лекций, хотя, как уже заметил Глазычев, молодняк из преподавателей одевался по-студенчески. Была в костюме одна неприятная особенность — шился он на московской фабрике «Большевичка», наносить оскорбление себе покупкою столичной продукции Глазычев не желал и выложил лишние сорок рублей за костюм похуже, но зато чешского пошива; исхитрись Павлодар делать костюмы хоть в полтора, в два раза дороже, но эту, родную, одежду он купил бы. Маленькое счастье накатывалось, когда распахнутые дверцы стенки наслаждали взор содержимым. А там уже две рубашки к чешскому клетчатому, три галстука. Но и обида показывала: в том шкафу, Иренином, костюм-то был — французский, где его сейчас найдешь, говорят, есть секция номер сто в ГУМе, там самое лучшее в мире по дешевке можно приобрести. Но — опять же — какой-то документ требовался, каким-то особым

людям выдавался он, и, представляя, как люди эти покупают *его* костюмы, Глазычев в ненависти к этим бессовестным типам сжимал кулаки.

А раскладушка жила и процветала. Ее изножье Вадим удлинял стулом, чтоб ноги не свешивались. Кровать покупать остерегался, кровать означала бы: ты здесь навечно, кровать двухспальная предполагает женщину рядом, зачатие, писк младенца, а с ним так и не осуществленное воссоздание статус-кво, конец мечтам и трехкомнатной квартире, где все как при Ирине, но без самой Ирины. Раскладушка к тому же усмиряла позывы плоти, студентки, возможные партнерши по кровати, были в метре или даже в сантиметрах от него, когда после лекций подходили с вопросами. На консультациях они подолгу сидели перед ним за столом, обдавая запахом духов, не хуже тех, что у Ирины. Девушки или уже не девушки, но все были женской породы, все жесты и позы, слова и мимика преследовали одну цель — обратить внимание мужчины, преподавателя то есть, на себя, ввести его в некое состояние разнеженности, так умягчить, чтоб рука его не поднялась на оценку ниже «удовлетворительно», а кое-какие девицы нуждались в более высокой оценке своих более чем скромных знаний. Да и кому они вообще нужны, эти знания, да еще, к примеру, на винодельческом факультете?

А девицы провоцировали, студентки тревожили, эти нагловатенькие особы догадывались о своей неуязвимости, ибо до всех преподавателей довели некоторые важные юридические казусы, а именно: ты можешь полюбить до гробовой доски студентку, она может поклясться тебе в верности, вы вместе можете совершить под одеялом акт совокупления за сутки до загса, но закон неумолим, закон предполагает, что ты принудил зависимую от твоих оценок девушку к сожительству, за что и понесешь заслуженное наказание.

Вот так вот, именно так, а не иначе! Студентка раскроет рот в деканате — и ты либо женишься на ней, либо вылетишь с треском, и путь тебе в другие институты закрыт. И они, эти подлячки, знают про этот казус, заигрывают, намекают, строят глазки, поводят плечиками, оголяя их.

Не жизнь, а страдание! Которому пришел конец, когда Глазычеву сделал одно чрезвычайно пикантное и выгодное предложение коллега из МАИ, пылкий ассистент кафедры теоретической механики. Какие-то дела позвали ассистента в пищевой институт, он рыбацким нюхом учуял собрата по обостренному влечению к иному полу и выложил Глазычеву идею, которая привела того в тихий восторг. Предложенная ассистентом схема называлась им так: перекрестное опыление. Как все гениальное, она была проста до ошеломления. Когда ассистенту разными способами — мимическими или вербальными — студентка давала понять, что готова отдаться за нужный балл в зачетке, ей в коридоре шепотком предлагали познакомиться с братом ассистента, и от успешности знакомства будет зависеть оценка и, само собой, стипендия. Такую же операцию проводил Глазычев, рекомендуя студентке встретиться с его племянником. Волнующий вопрос о месте знакомства, то есть квартире или комнате, тоже разрешился. Женатый ассистент побывал у Глазычева и убедился: на раскладушке знания не проверишь. На счастье обоих, нашлась временно бесхозная квартира убитого в Алжир инженера, дальнего родственника ассистента, изготовился дубликат ключей. Дармовую выпивку обеспечивал Ереван, ящики с коньяком не переводились в лаборатории физики: армяне пытались узнать, можно ли трехзвездочный напиток состарить облучением до более высокой выдержки.

Обмен студентками шел полным ходом, случались порою удивительные совпадения, некоторые студентки из МАИ обставляли получение хороших отметок разными фокусами, девушки желали, чтоб познакомились с ними позаправду да еще с букетиком цветов, встреча задумывалась как случайная, девушки умело изображали недоверие к приставшему к ним

незнакомцу, чтоб потом согласиться на кафе, откуда уже ехали «на зачеты». Некоторые желали переэкзаменовываться, но Глазычев был строг и неумолим, поскольку очередь напирала и подгоняла. Стал он замечать за собой и странность: ему были нужны исключительно москвички! Только после них он чувствовал: ему уже не кажется, что на коленке дырка и ширинка расстегнута. Студентки, правда, были аборигенами столицы первого поколения, а Глазычев жаждал коренной жительницы, предки которой обосновались где-либо в Замоскворечье или на Маросейке чуть ли не в позапрошлом веке. Такая была жена того самого командированного, он трижды звонил ей, всякий раз напарываясь на мужской голос и принося извинения; однажды все-таки вытащил ее из дома, она примчалась на квартиру инженера и первым делом ткнула кулачком в кроватный матрас.

Одной студентке с вечернего факультета МАИ так понравилась эта квартирка, что она, начинали догадываться и ассистент, и Вадим, намеренно проваливает экзамены и зачеты. Однажды Глазычев проводил студентку до двери, собирался было уходить, как раздался телефонный звонок, та самая двоечница говорила, что мечтает вырваться из-под родительской опеки и прибыть к нему незамедлительно, а вырвется или нет — жди звонка до шести вечера. Глазычеву уже она поднадоела: очкастая, худая, шепелявит, но — не отнимешь — всегда совала ему сотню-другую в пиджак. «Хорошо, до шести», — согласился он и, чтоб убить время, накрутил на диске номер жены командированного, на авось. Но трубку подняла она! И скороговоркою сообщила, что рада звонку, что муж сейчас с собакой на прогулке и что она будет там, где Вадим, вот только такси схватит. Положила трубку, раздалась частые гудки, отозвавшиеся в Глазычеве радостным перезвоном колоколов. Спыхватился, начал стремительно прибирать еще теплую кровать, чтоб не осталось следов только что ушедшей студентки. Едва управился — дверной звонок: двоечница нагрязнула, обещала до шести быть, а уже четверть седьмого. Что делать? С минуты на минуту придет жена командированного, живет она рядом.

Двоечницу он стал раздевать еще в прихожей, вытолкнул ее через десять минут и едва успел подготовиться к новой посетительнице. Та что-то натрепала мужу по телефону и задержалась до девяти вечера. Взмокший от волнений Глазычев поехал к себе на Профсоюзную, но по пути раздумал, выскочил на «Академической», здесь рядом с универмагом жила одна дамочка, с которой он познакомился недавно. Дразнящая мысль подогнала Вадима к кабине телефона-автомата: а четвертую женщину за четыре академических часа — сможет он поиметь? Да еще принимая во внимание, что москвичка эта вовсе не склонна поддаваться уговорам, небездетна, дома ничего не позволит, а на дворе — морозная зима, к любви погода не располагает.

Дамочку расположил все-таки, в телефонной кабине. Торжествующе ехал к себе и едва не позвонил из метро парикмахерше, чтоб уж и ее... Отмел это желание, когда вспомнил: парикмахерша-то — из-под Рязани!

11

Это был день его нового триумфа!

Он забыл о поставленном на огонь чайнике, ходил в одних трусах по квартире, размахивая руками, как при утренней разминке; он потрясал кулаками и тихо выкрикивал проклятья, грома Москву и мужскую часть ее жителей, благосклонно милуя женщин, которых он в состоянии всех оплодотворить, включая и дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Андропова, если таковая у него имеется и если на то он выкроит время. Или возьмет ее в жены, выйдет с нею из Дворца бракосочетаний, — он в смокинге, она в белоснежном, глубоко декольтированном платье, — они выйдут и попа-

дут под сирены поджидающих автомобилей свадебного кортежа, и над всей Москвой раздадутся сигналы...

Не сигналы, а свистки чайника, едва не раскалившегося на плите. Выключил газ, но к чаепитию приступил не сразу, слишком воодушевлен был победами истекавших суток.

И еще несколько дней длился праздник, планы мщения роились и множились, семейство Лапиных истреблялось чохом и по отдельным членам вездесущего академического клана, включая и адвоката, проявившего когда-то дьявольскую хитрость и прыть; тот же адвокат, нравственно и физически уничтоженный, успевал, однако, передать Глазычеву ордер на трехкомнатную квартиру и ключи от «Жигулей».

В эти дни преподавателей погнали на ежегодную диспансеризацию, Вадим Глазычев гордо раздевался перед врачами, чтоб те могли насладиться его мужскими доблестями, норовя надевать трусы и застегивать ширинку не спиной к женщинам, а так, чтоб те преисполнились уважения к дарам Павлодара, и когда одна из них одернула его, сурово напомнив о приличиях, он и не подумал поворачиваться.

Вновь Москва была повержена и растоптана! Вновь! Так было и так будет!

Так мыслилось, так мечталось, так грезилось в снегах холодного февраля. И по мечтам и грезам Москва нанесла сокрушительный удар, в очередной раз низвергнув Глазычева, едва не швырнув его к помойным бакам Красной Пресни.

Возвращаясь около девяти вечера домой, он, чтоб проветриться после душного заседания кафедры, вышел станцией раньше, на «Академической», в полукилометре от дома. Уже близился огороженный забором участок, где что-то строилось, как заметил он — не мог не заметить, зрение было отличное, в темноте видел отчетливо, — трех граждан, направлявшихся к пролому в заборе, причем средний из этих троих явно не мог самостоятельно двигаться, его попросту вели, изредка приподнимая и поддерживая, голова же этого еле волочащего ноги человека свешивалась. Заподозрив неладное, Вадим остановился, сделал шаг в сторону, спрятался за фонарным столбом и стал наблюдать. Не прошло и минуты, как из пролома выбрались те двое, что вели третьего. И деловито зашагали по улице, предварительно глянув по сторонам.

Вадим — за ними, было уже ясно, что двое москвичей ограбили приезжего, павлодарца возможно. Или убили, что тоже возможно. Что делать? Кричать? Звать на помощь? Кого? Полицию!

Она сама появилась: милицейский «газик» степенно ехал по Профсоюзной, ничего не зная, не ведая о том, что в двух шагах от них только что совершено преступление.

Глазычев чуть ли не на капот лег, распластавшись на нем, но задержал все-таки милицейскую машину, торопливо объяснил, рукой показав на преступную парочку. Машина рванула к ним, Вадим тоже. Из «газика» выскочили два сержанта, швырнули парочку на заднее сиденье, Вадим бежал и показывал, куда надо ехать. Машина развернулась, подлетела к пролому в заборе. Шоферу в милицейской форме было приказано: «Васька, если эти чего вздумают — стреляй!» Парочка как-то затаенно сидела, ни слова не произнося, и молчание ее становилось столь угрожающим, что шофер покрутил пистолетом под их носами: «Тих-хо!...»

В проломе появились сержанты, они поддерживали окровавленного — под фонарем было видно — человека. Откуда-то появилась «скорая», и, пока врачи перевязывали раненого, сержанты вывернули карманы сидевших сзади, нашли что-то весьма ценное для них. Еще одна милицейская машина подъехала, забрала перевязанного и Вадима, привезла обоих в отделение, где уже в наручниках сидели оба преступника. Кто-то кому-то

докладывал по телефону: «Товарищ подполковник! Ограбление... да... покушение на убийство... да...»

— Спасибо! — в две глотки гаркнули сержанты, благодаря Вадима за проявленную бдительность.

Он несколько дней гордился собой, а затем, перебирая в памяти услышанное в отделении, уразумел, что оба молодчика — не москвичи, а из какой-то глуши саратовской, не убитый же ими и спасенный Вадимом парень — коренной москвич.

Обидно стало, сомнения затерзали, и, чтоб развеять их, Глазычев пришел в то отделение милиции, где его пылко благодарили за бдительность.

На этот раз отнеслись к нему мерзко, наорали, обвинили в том, что он вмешивается в работу органов правопорядка и что никаких преступников 14 декабря сего года никто не задерживал — тем более с помощью самозванного гражданина, якобы проявившего бдительность. Глазычев стал было возмущаться, за что был брошен в камеру. Откуда его все-таки извлекли те самые сержанты, довели до порога, дали совет: больше сюда не являться.

Злость душила его, ненависть к этой милиции и к наглой столице. Гнев остыл к студенческим каникулам, и Вадим отправился в поход за книгами. Кое-что из списка было уже куплено, но только кое-что, не более дюжины наименований. У барыг по дешевке добылся Джек Лондон в синих томиках и Анатолий Франс в зеленых; тот и другой заполнили две чешские полки, что позволило кое-какие строчки из длиннейшего списка вычеркнуть; под номером 17 там числилась БВЛ, «Библиотека всемирной литературы», а в ней более двухсот томов, никаких полок не хватит, нужна трехкомнатная квартира и книжные шкафы.

С этим списком он добрался на метро до трамвая 11-го маршрута, поехал в сторону Богатырского моста; светило солнышко, погода великолепная, на аллеях Измайловского парка суетились любители книг, товар держа под полой или преспокойно покуривая с заткнутым в карман списком того, что нужно им или что имеется для продажи либо здесь, либо в месте, о котором договорятся. Книгами, короче, торговали заочно, милиция временами свирепствовала; Вадим ухитрился, однако, за сорок рублей купить двухтомник Гамсуна и сунуть его под свитер, недавно приобретенный за сто шестьдесят пять и ничем не отличавшийся от того, что некогда лежал в шкафу чуть выше Ирининой полки.

Довольный покупкой, походил еще по аллее, усмехнулся было при виде продаваемых лыж, но вспомнилось: точно такие же стояли на балконе трехкомнатной квартиры, незаконно занимаемой сейчас латышами, а ботинки лыжные — в прихожей, на верхней полке обувного комода. Но в список отобранных у него вещей лыжи не попали! Недоразумение вышло! Надо было немедленно исправлять оплошность, давнюю забывчивость!

Он свернул от аллеи на тропку, примостился на каком-то ящике, достал полный список (он постоянно таскал его с собой в напоминание о цели жизни), стал вносить коррективы: вписал и ботинки лыжные, и сами лыжи, и мазь лыжную, название которой запомнил, потому и ограничился кратким «м. л.?». Затем достал «книжный» список, тот тоже подвергся изменениям: надо было подкупить и какую-нибудь брошюрку о правильном уходе за спортивным инвентарем.

Солнце распалилось, ветерок увял, снежок поскрипывал под ногами библиоманов... Хороший денек!

Вот в этот денек вновь судьба свела его с выдающимся человеком редчайшей профессии, но был он не спецом по радиоэлектронике, как Сидоров, а социологом, который случайно оказался позади Вадима, через плечо его глянул на список, многозначительно цыкнул, спросил разрешения вступить в разговор и соболезнующе заявил, что со списком этим — нама-

ешься, в нем весьма редкие книги, найти их в Москве — дело почти гиблое, а некоторые только в Ленинке пылятся, нет их в продаже. Но лично он («Позвольте представиться: Рушников Леонид Сергеевич, социолог... чрезвычайно признателен...») благодарен любезному (Глазычев назвал себя) Вадиму Григорьевичу за ценнейшую информацию, заключенную в стыдливо припрятанном списке. Ведь учет того, что читается в стране, производится только через библиотеки, но какие книги требуются населению, что хотят читать граждане Страны Советов — это тайна, загадка, вот и приходится путем моментальных опросов у мест книготорговли, в том числе и полулегальной, допытывать до правды.

Лет сорок было социологу, излучал он доброту и предупредительность, кое-что подсказывало Вадиму, что Рушников — человек с положением и достатком; обладал социолог и внушающим доверие голосом. В дни, свободные от студенток, Вадим заглядывал в книжные магазины, где однажды испытал злость: какой-то парень, по виду рабочий, из-под носа его выхватил числившуюся в проскрипционном списке книгу. Зачем она ему? Ему пить положено, а не читать!

Эти мысли он выложил социологу, Леониду Сергеевичу Рушникову, который живо возразил: а как же быть с тем, что рабоче-крестьянская и социалистическая страна наша — самая читающая в мире? И получил ответ: 15 процентов населения должны читать только газету «Труд»!

Мысль эта показалась социологу забавной, он тихо посмеялся, уважительно посматривая на Глазычева. А тот, преисполненный доверием к нему, разрешил глянуть на листочки обширного списка. Что ищет Вадим — это мгновенно усвоил социолог и уверенно заявил, что кое-что постарается достать, причем — за весьма умеренную цену. Вопрос в том, как сообщить это.

Вадим продиктовал ему номер своего телефона, который Рушников не стал записывать, поскольку запомнил. Вадим еще раньше отметил выдающуюся память ученого.

— Насколько я понимаю, вы живете где-то в районе метро «Профсоюзная»?

Вадим подтвердил это. И (в нем еще держалась злость на милицию) спросил: а как социологи оценивают отношение советских людей и отдельных граждан к органам общественного порядка? Вот с ним недавно...

И рассказал про обиду, более того — оскорбление, нанесенное ему гнусными сержантами из отделения милиции, — ему, который чуть ли не самолично раскрыл преступление!

Так пылко и гневно высказал обиду, что Рушников встревожился, долго вглядывался в него светлыми добрыми глазами.

— Вы уж простите их, верных слуг государевых... Они ведь не со зла, а по жестокой жизненной необходимости. Есть такое в милиции понятие — инициативное задержание. То есть они сами, сержанты, без подсказки, по внутреннему позыву хватают подозрительных граждан и оказываются правыми, граждане-то — преступники, в розыске. За такие инициативы и премии дают, и в званиях повышают, и в должностях. А если кто-то, как это вы сделали, направил их, навел на преступников — так это ваша гражданская обязанность...

Он сокрушенно покачал головой, скорбя о несовершенстве мира и тупости милиции. Повздыхал. Тепло попрощался с Глазычевым, обещав достать Стендаля и Метерлинка и еще раз попросив книголюба Вадима простить милицию.

— Да и меня тоже простите, пристал вот к вам... Иначе нельзя. Не жалуют разные сержанты науку нашу — социологию. Цифру от книжного товарооборота получают — и думают, что все запросы населения удовлетворены.

12

Что ж, он простил милицию, потому что ему очень понравился новый знакомый, он поверил социологу.

Но и милиция одумалась. Неделью спустя раздался звонок, Вадима приглашал сам начальник отделения, говорил уважительно и так же, как социолог, осуждающе покачивал седой головой. «Еще раз благодарим!» — сказано было. А затем прибавил, — в некотором смущении, — что с Вадимом хотят поговорить товарищи из вышестоящих органов.

Их было двое, этих товарищей, они ожидали его в соседней комнате, было у них какое-то чрезвычайно таинственное и секретное дело к Глазычеву, они даже просунули головы в коридор, прежде чем закрыть дверь для уединенного разговора, посвящать в суть которого воспрещалось кому бы то ни было, о чем они предупредили деловым тоном людей, озабоченных важностью чрезвычайно серьезного разговора. Беда в том, сказали они Глазычеву, что блестяще проведенная, не без участия его, Глазычева, операция по поимке преступников провалена, поскольку обоим задержанным удалось бежать при перевозке их в следственный изолятор. А преступники они опасные, очень опасные, и прикидывались обычными грабителями, чтоб усыпить бдительность милиции. Теперь их надо поймать — и поэтому нужна помощь Глазычева, поскольку он, считай, почти единственный, помнящий в лицо врагов советской власти, потому что преступники, совершая побег, убили обоих сержантов, тех, кто участвовал в задержании их. Согласен ли Глазычев Вадим Григорьевич помочь органам общественного порядка изловить злостных врагов?

Можно бы и не спрашивать, Глазычев от помощи отказаться не посмел. Ему протянули листок бумаги с машинописным текстом, обязывающим Глазычева Вадима Григорьевича информировать органы правопорядка в случае, если он встретит и опознает виденных и опознанных им 14 декабря 1983 года преступников. И бумагу эту он подписал, запомнив номер телефона, у которого не спит и не дремлет сотрудник, руководящий поимкой врагов советской власти.

Товарищи тепло простились с ним, а Вадим, из милиции выйдя и пройдя пару кварталов, не удержался и расхохотался. Экие дурачки! Ну и кретины! Сержанты, которые будто бы убиты, живы и здоровы, толстые ряшки их мелькнули, когда он подходил к отделению милиции. Потому-то и предложили ему два товарища переехать в другой район, если поиски беглецов затянутся. В тот, где ориентировочно прячутся преступники. Дурачки полные! Бумагу ему подсунили на подпись — ему, которого однажды обманул адвокат. Поэтому так тщательно изучил он текст. Ничего обязывающего или вредящего в бумаге нет. Можно утешения милиции ради раз в два месяца позвонить и доложить: нет, не встречались похожие на преступников люди. Да и преступников никаких нет, это уж точно. Просто милиции надо сохранить, так сказать, лицо, убрать подальше человека, который истинный герой, а не эти красномордые сержанты.

Вновь судьба протянула ему руку помощи, и грех было бы не отвечать ей взаимностью, в очередной раз призывая себя к бдительности. О скором переезде надо помалкивать, и позвонившему социологу Вадим ни слова не сказал о грядущем.

А встретились у метро «Кутузовская», посидели на скамейке, социолог принес обещанное — три книги из списка, не очень дешево, но и не так уж дорого. «Это мой домашний», — протянул Рушников клочок бумаги с телефоном. Поинтересовался, вносит ли Глазычев, глаголя студентам о законах физики, святую и чистую струю высокой нравственности.

Ответа не получил. Вопрос безобидный и его не касающийся, и все же вошло в Глазычева сомнение: каким-то путем догадывался социолог о возможном переселении, не хотел обрыва связи, расчетливо давал свой телефон.

Минула неделя, и охотники за сбежавшими преступниками позвонили Вадиму, приехали за ним, показали квартиру на Нижней Масловке, напомнили о том, что научным работникам со степенью полагаются дополнительные двадцать квадратных метров, вот он их и получил, надо лишь оформить на новом месте жительства.

Теперь, возрадовался Вадим, с Профсоюзной можно попрощаться, с райисполкомом тоже, куда он дважды заходил, требуя улучшения жилплощади; девица, на заявлениях граждан сидевшая, однажды процедила ему сквозь зубы: «Люди еще в подвалах живут, многосемейные ютятся в клетушках, а вы...» Дура душой, не понимает, кто он такой.

В полной уверенности, что судьба отныне повернулась к нему светлым ликом, Вадим — глаза опущены, губы сжаты в пренебрежительную усмешку — осматривал будущее жилище. Выдержка изменила ему, когда увидел кухонный гарнитур «Мцыри», тот самый, что в списке. Он возрадованно поблагодарил себя за расчетливость: не зря тянул с покупкой, не зря! Старые хозяева оставили его здесь за ненадобностью — или прознали о мечтах вселявшегося жильца?

Грузчики бодренько втащили пожитки и мебель, Вадим остался один в квартире, глянул в одно окно, в другое, зашел на кухню. Где-то неподалеку Академия имени Жуковского, вокруг — дома, дома, дома... Не на чем глазу остановиться, в Павлодаре хоть какое-то разнообразие было.

Но — двухкомнатная квартира. Уже прогресс. А радости не было. Судьба не может тянуть его ввысь безнаказанно, какую-то подлянку жизнь да подстроит, не все люди такие дураки, как эти сотрудники органов, напомнившие ему тут же, едва он вселился: надо приглашать к себе людей, зазывать их, прельщать чем-то — уж не поить ли их и кормить за свой счет? Дудки!

Не доверяя смотровому ордеру, рулеткой перемерил всю жилплощадь. Комнаты: 18,7 и 14,8, прихожая 6,4, туалет и ванная обычные, стандартные, зато кухня, кухня-то — 12,6! За столом человек десять рассядутся, «Мцыри» так и требует посуды, какой в магазине нет. Пришлось довольствоваться старой: послужит еще, послужит!.. Залез в долги, но купил те самые, Иринины, книжные шкафы, то есть заказал их, нарисовал одному товарищу на мебельной фабрике книжные вместители так, как они ему привиделись в светлом озарении. И оказалось, что книг-то — с гулькин нос! Надо бы позвонить Рушникову, да вдруг мысль пришла дикая, неправдоподобная, смешная. Такая: вот он покупает с рук книги, на них ни чека, ни квитанции, а вдруг жизнь так повернется, что женится он и придется жену из дома выгонять, да так, чтоб она на имущество его прав не имела. То есть надо все делать по-лапински, на все покупаемое — чек, документ, свидетельства того, что такая-то вещь приобретена до заключения брака. До!

Но как это сделать? Пришлось, краснея и смущаясь, обо всем рассказать чуткому социологу Рушникову. Леонид Сергеевич слушал со страдательно, временами вздыхал, покачивал головой, порицая академическую жадность. Долго думал. Затем вскинул глаза, встал даже со скамейки (встречи происходили в том же скверике у метро «Кутузовская»).

Им найдено было гениальное решение запутаннейшей ситуации. Гениальное! Леонид Сергеевич все доставаемые Вадиму книги будет оформлять через букинистические магазины, где товарные чеки и квитанции обычны. Это, кстати, и дешевле обойдется.

Тепло простились, разошлись, разъехались, и уже через неделю на той же скамейке того же сквера Вадим получил две связки книг и пачку квитанций с чеками. Глаза Вадима пробежались по корешкам: да, все правильно, но несколько книг вне списка, как бы в нагрузку, так всегда ведь делается, когда на предприятиях выдают что-то по заказам, а в дополнение к ним никому не нужный товар. И в букинистическом, оказывается, тоже.

Вадим дома рассмотрел эту нагрузку: Амальрик, Зиновьев, Авторханов, Оруэлл, Пименов, Лимонов. Таких авторов Ирина не держала, но ничего опасного нет и не может быть, через букинистический прошли ведь, не какой-то там Солженицын, о котором все трещат и которого боятся. Глянул в Авторханова («Технология власти») — а там сплошные цифры: число делегатов на таком-то съезде партии, кого в ЦК избрали... Скука! «Присуществует ли СССР до 1984 года?» — так назвал свою книгу Амальрик. Так уже этот 1984 год, дорогой товарищ!

Книги все-таки прочитал: почти бесплатно ведь, вдруг придется с рук покупать — сколько денег вылетит! В который раз изучил список, что в кармане, рядом с партбилетом, — не было там этих авторов.

Раскладушку он сложил, увязал покрепче, накрыл ее полиэтиленом и перенес на балкон, там ей теперь место: по хоздоговору обломилась крупная сумма, удалось заказать кушетку, точно такую, как в трехкомнатной квартире. Отныне Вадим спал на ней. Присмотрел гарнитур, похожий на «кабинет», — стол, два кресла, диван, журнальный столик. Но в лапинской квартире письменный стол — особой формы, бывшая супруга называла его «бюро». Так где теперь доставать это «бюро»?

До конца сессии еще далеко, двоечницы не убывали, и чуть ли не ежедневно Вадим отправлялся к месту свидания; бывало, и по две студентки приходились на вечер. Коллега по этому промыслу признался, что на пятки наступает конкурент из Политеха. И совсем неожиданно возникла на ниве просвещения пожилая преподавательница из МГУ — Вадим возненавидел эту каргу, желавшую облегчить участь всех двоечников столицы: для этой охочей до молодняка профессорши надо теперь находить мужской аналог в своем институте. Система перекрестного опыления иногда давала сбои, но при хорошей организации труда неудачи были чрезвычайно редки, а провалы исключались. Но однажды с Вадимом случилось нечто непредвиденное, в отлаженном чередовании безмозглых студенток произошел срыв, отозвавшийся в душе Глазычева болью, потрясением, страданием, которое, однако, так и хотелось продлевать и продлевать, упиваясь им...

13

Времени у него в тот теплый апрельский день было в обрез, на двоечницу из МАИ отводил он часа полтора, не более. Поэтому к назначенному коллегой месту свидания (метро «Смоленская», Филевская линия) приехал пораньше, двоечницу, по описанию коллеги, определил с ходу, она, брюнетка среднего роста, стояла у газетного киоска. Предусмотрительно обойдя ее и еще раз сверив внешность брюнетки с полученными на нее данными, радуясь тому, что тупоголовая девица весьма привлекательна, Вадим, наученный всем приемам любовных игр, уже заправски болтавший с такими по виду неприступными особами, подошел ближе, уставился на студентку, только что купившую эскимо.

— Оставила бы малость алчущему и страждущему... мужику, сгорающему от нетерпения... юноше, вождедеющему на...

— На!.. — Двоечница сунула эскимо в рот Вадиму. Тот, и не к таким вольностям привыкший (некоторые студентки из каких-то непонятных ему соображений обставляли первичное знакомство матерными словечками, едкими расспросами о семейном положении), — тот спокойно откусил мороженое, завел, как полагается, речь о погоде, о весне, способствующей торговле напитками и мороженым, а затем спросил (это входило в опознавательные словечки):

— Где учишься-то, бедняжка?..

— Бедняжка учится в МГУ, — ответила черноволосая девушка, начинившая Вадиму нравиться все более и более. — А ты куда наострил лапти? Консультация требуется?

Тут уж сомнений не оставалось: двоечница! Та самая, о которой говорил коллега.

— Ага. Поедем ко мне. Подучишь меня кое-чему. — Вадим звякнул ключами от квартиры убитого в Алжир специалиста. — Только давай побыстрее. Дел уйма. Да и у тебя тоже, в вашем МАИ вечная запарка.

Двоечница вылупила на него глаза:

— Постой, постой... МАИ? Почему — МАИ?.. Тут что-то не то. Сказала же тебе: я из МГУ.

Не выругаться Вадим не мог: произошла явная накладка, если не ошибка. МГУ! Да там же эта педофилка Анциферова, которой надо подавать двоечников мужского рода. Но здесь-то — лицо явно женского пола, да еще со всеми вторичными признаками, отчетливо выраженными! Груди, глаза, губы, ножки, о которых говорят так: «закачаешься». Но, быть может, он что-то не так понял и карга из лесбиянок? Или она вместо себя подослала эту девицу, которая ей что-то задолжала? Или, наоборот, она, Анциферова, задолжала этой красотке?

— Слушай, девочка, а ты не от Анциферовой?

Девица ахнула, услышав знакомую, несомненно, фамилию. Схватила Вадима за руку, увела подалше от метро, к скамейке, посадила рядом. И учинила ему допрос: откуда ему известно про Анциферову, какая связь между профессоршей МГУ и МАИ, из какого института он сам.

Под напором впивавшихся в него слов Вадим пролепетал:

— Из пищевого я... — И хотел было подняться и уходить, но студентка из МГУ вцепилась в него намертво:

— Как тебя зовут?.. Вадим, да?.. Так слушай: если ты мне сейчас честно не расскажешь про Анциферову, а у меня на нее большой зуб, то я заору сейчас, милиция примчится, узнает, что ты склонял меня к незаконному сожительству. То есть хотел изнасиловать, страшая Анциферовой, а ту старуху вызовут, потрясут ее. И все твои делишки с МАИ вылезут наружу! Твое спасение — в абсолютной честности. А я тебе гарантирую полную безопасность, потому что буду — молчать.

И Вадим выложил голую правду. Не сразу. Девушка дубасила его кулачками, потаскала за волосы, но своего добилась. Узнав, какими сетями профессорша заманивала в свою постель молодняк, девушка грустно молвила, произнеся совершенно непонятные Вадиму слова:

— Вот оно — эвихь вайблихь...

А затем вскочила на скамейку и чуть ли не заорала:

— Это не она, а я хочу молоденьких! Я хочу первокурсников! Абитуриентов!

Одумалась. Села. Потом воздела красивые полные руки к небу:

— Вот это удача! Прибежали в избу дети, второпях зовут отца: тятя, тятя, наши сети притащили... Кого притащили? Вот это да!

Она обняла утерявшего дар речи Вадима, расцеловала его.

— Значит, ты уже не один месяц ведешь, так сказать, параллельный курс физики... И ты к тому же кандидат! Великолепно! Пересдача зачетов и экзаменов. Консультации были?

Вадим вынужден был признаться: да, и не однажды.

— А собеседование?

Такого не встречалось в практике.

— Бедный ты мой! — сокрушалась студентка МГУ. — Ты очень устал. Я тебя подкормлю. Я здесь не случайно, у меня на три часа заказ в гастрономе, что напротив. Поможешь мне дотащить до дома, не так уж далеко. Клянусь тебе: никому ни слова не скажу о вашей системе взаимных расчетов через подставных сучек или не знаю даже, как назвать это... Я о таком еще не слышала. А много чего знаю. Будем знакомиться: Фаина. Звучит слишком необычно. Давай поэтому попроще: Фанни Каплан. Да меня так и зовут все знакомые.

Страх потихоньку отходил от Вадима, появилась вера в то, что дурашливая девица эта и в самом деле не развяжет язык. Кроме того, она его обнадежила: придет время, и я пересдам тебе зачет по сопромату. Вадим пытался ее поправить: откуда ей, с факультета психологии МГУ, знать о сопромате? В ответ она захохотала: «Господи, какой ты еще наивный!..»

Дошли до гастронома, в отделе заказов получили два плотных и тяжелых свертка, Вадим храбро взял их, понес; на троллейбусе прикатили к Дорогомилловке, лифтом поднялись на третий этаж. Вадим дрожал от нетерпения, в унынии догадываясь, что ничего-то он сегодня не получит. Фаина достала ключи из сумочки.

— А теперь — топай. Канай, как говорят в высшем свете. Родители у меня строгие. Да и ремонт. У тебя что завтра — зачеты, — она хмыкнула, — или переэкзаменовки?

— У меня — ты, — вымолвили дрожавшие губы Вадима. — Навсегда.

И попытался ее обнять. Она его мягко отстранила.

— Тогда я посвящу тебя в рыцари. Целуй. Вот сюда. — Она распахнула плащик, подняла ногу, отставив ее, задрала подол платья и пальцем ткнула в место, что много выше колена и чуть ниже края трусиков. — Сюда.

Пришлось — для поцелуя — сперва наклониться, а потом и стать на колени. После чего Фаина произнесла:

— И ты теперь мой. Навсегда.

Ничего не видя перед собою, мысленно строя разговор с коллегой из МАИ (с просьбой поставить тройку так и не дождавшейся его студентке) и вознося думы к небу, которое милостиво дало ему наконец любовь, ту, которой он не верил и которая пришла взамен той неуклюжей мерзости, что была у него с Ириной.

14

Не зная телефона Фаины, с рассветом подался он на Большую Дорогомилловскую, нажал на кнопку звонка. Она выглянула — в халатике, сонная, ничуть не удивленная. Растопыренными пальцами показала, через сколько минут окажется внизу. Сошла уже одетая, с чемоданчиком.

— Ты живешь один?.. Так я и думала. Поживу пока у тебя, с месячишко. У меня от купороса и лака голова трещит.

Спустились в метро, доехали до «Динамо», пошли к дому. По пути Фаина несколько раз заголяла бедро и показывала Вадиму, где обязаны губы его оставить свои нетленные следы. «Все выше, и выше, и выше...» — приговаривала она на мотив авиационного марша, смехом оглашая уже начинавшие оживать улицы.

Вадим стоял в прихожей на коленях, пока Фаина обходила комнаты, кухню, осматривала ванную.

— Вполне, — одобрила она. — Решено: не месяц, а полтора!

— Навсегда!

— Да ладно уж... Сколько раз слыхала... Вечность у мужиков — это период до новой бабы. Но вообще-то приличия ради надо как-то узаконить мое присутствие, какую-нибудь пьянку организовать. Повод есть?

Повод был: новоселье, причем те сотрудники, что гонялись за преступниками, настаивали на широком застолье, и не на одном, им почему-то казалось. что бандиты захотят познакомиться с человеком, который их и выдал. Как бы не так, про себя решил Глазычев, но сотрудников, этих дурачков из милиции, в мысли свои не посвящал, они ведь на пьянки-гулянки обещали выделит две тысячи рублей, дав пока всего пятьсот. И Леонид Сергеевич мягко осведомлялся, как оценивают знакомые Вадима труды Авторханова, Зиновьева и Амальрика, — ведь всюду охотно берут эти книги, читают, спорят!

От преподавателей он скрыл переезд в двухкомнатную квартиру, чтоб избежать расспросов; а кого приглашать на новоселье — этим распорядилась Фаина, у которой оказалась уйма друзей во всех институтах столицы.

И новоселье состоялось, и не одно, серия застолий с обильной выпивкой, кое-кто принес подарки двойного назначения: и новоселу Глазычеву, и молодоженам Глазычевым. Кухня просторная, рассадить в ней можно человек пятнадцать, не вместившиеся расселись на полу большой комнаты: обеденный стол туда (в списке он был под номером 57) Вадим не мог нигде достать. Споры шли отчаянные, кто за что и о чем — непонятно, Вадим, рядом с Фаиной сидевший, слышал только ее голосочек, изредка прикасался губами к оголенному плечу возлюбленной, и ноги его загружались приливом крови. Он любил эту женщину, он любил и желал ее так, что ей приходилось временами остужать его окриками, ударами по ногам.

И, охлаждаемый, начинал понемногу прислушиваться к речам. За месяцы преподавательства он научился определять, кому из студентов что интересно в лекции, а кто вообще сидит в аудитории только в ожидании звонка на перекур; распознавал на зачетах и экзаменах лодырей, тупиц и умников еще до того, как рука студента потянется — порывисто, в тяжелой думе или в полном равнодушии перед неотвратимостью судьбы — к вееру билетов на столе; и по сонным бараньим глазам угадывались те, о ком вполголоса говорил декан: «Вы Васильеву не топите сегодня... И помягче будьте с Кондаковым...» Рука еще не вывела формулу на доске, а крошение мела и вздрагивание ушей показывают невежество; неизвестно почему и откуда, но студенты пошли такие, что павлодарские школьники годились бы им в репетиторы. И все хитроумные приемы подброса и чтения шпаргалок изучены, иногда Глазычев, переводя взгляд от стола к девичьей шее на второй скамье справа, с абсолютной уверенностью пресекал: «Студент у доски!.. Что вы там в кармане ищете?» И когда однажды Рушников осведомился, какого мнения молодые люди о Зиновьеве и Авторханове, Вадим ответил честно:

— Да троечники они!.. Я же вижу. Вершки бы схватить да на экзаменах похвастаться ими.

— Кто же, — выразил сомнение Рушников, — экзамен им устраивает?

— Сами себе. Перед собою выпендриваются... — И передразнил новых друзей, употребив их словечки: — «Старик, ты гений!», «Наташечка, за что тебя люблю, так за мужской ум! Нет, не за стихи, ты, конечно, выше Цветаевой, но...».

В другой раз ответил более резко:

— Да мелкие хулиганы они! То в праздничную демонстрацию хотят со своими плакатами втесаться, интересно, кто там плакаты эти заметит, кто прочитает... Хотят предупреждать заранее корреспондентов всяких там... Партия им не нравится, хотя пункт шестой какой-то конституции отметить, без партии все, мол, получится. Ну а свою партию — тоже ведь им создавать придется!

Новых друзей своих он не стеснялся. Однажды зашла речь о притеснениях евреев, о препонах, которые ставят им, когда те желают перебраться на историческую родину, — так Вадим выразился честно:

— Зеленую улицу им дать, пусть уезжают... И оставляют свои квартиры нам, русским. Вот когда решится квартирный вопрос — тогда можно будет и ограничивать.

Рукоплескания последовали...

Его уважали все компании за столом. Редко высказывался, но, оказывается, метко. Когда увидели на его полке Авторханова, Зиновьева, Набокова и еще кого-то — многозначительно переглянулись, умолкли. Вадим показал им квитанции из букинистического, вертели они их так и эдак, даже на свет смотрели, не подделка ли, потом успокоились. Один студент (из МИФИ) сказал:

— А что, вполне возможно... При нашем-то бардаке... Я в стройотряде был, коровник в колхозе возводили, так в сельской избе-читальне Пильняк был, ранний Булгаков, даже брошюрка Троцкого завалилась...

И его Фаину любили все. Изредка называли ее Фанни Каплан, но чаще окликали так: Маша Рябоконь, и грозно спрашивали, почему она стреляла в какого-то Кузьмича.

Как-то Глазычев проезжал на автобусе мимо «Кутузовской» и увидел в скверике Рушникова, ведущего беседу с рыженьким Ромой с филфака МГУ, частым гостем кухни. Был Вадим несколько удивлен, не мог не вспомнить, где назначал ему встречи социолог, и стал на эти места навещаться, издали посматривал и сделал открытие: по крайней мере треть гостей как-то связана была с Леонидом Сергеевичем. Конспираторы хреновы! Телефон из кухни вытаскивают в прихожую и накрывают подушкой — чтоб никто не подслушивал их бредни. Наибольший смех вызывал парень по прозвищу Антоша-Книгоноша, этот всегда заваливался на Нижнюю Масловку с чемоданом, полным того же Зиновьева и Авторханова, быстренько распродал — явно не из букинистического магазина — творения в мягких обложках и уносился куда-то за новой порцией. Скорее всего, полагал Вадим, к Рушникову, — и не только полагал, однажды засек обоих на обычном месте инструктажа.

На кухне собирались не просто студенты или инженеры, а москвичи. Однажды в этой московской среде оказался парень из Кустаная — вот его-то Вадим, давно догадавшийся, что на кухне всегда одним человеком больше, потихоньку отвел в комнату и шепнул: «Друг, ты особо не болтай здесь... Народ разный, сам понимаешь...»

Зашел как-то приглашенный земляк, по-вражески оглядел компанию на кухне, пожевал что-то, вкуса не чувствуя, слова не сказал, кроме «а тесновато здесь»; попросил Вадима проводить его и уже на лестничной площадке прошипел: «Гони ты эту сволочь! Как она сюда попала?» На жалкие оправдания Вадима («Это все Фаиныны друзья...») ответил взглядом, прочитать который мог каждый («И ее гони!»); земляка весьма интриговало двухэтапное превращение конуры на Пресне в очень приличную квартиру: точно такая ему досталась после многолетних мытарств.

Через новоселий редела с каждой неделей, время отнимали и двоечницы. Фаина проявила редкостное отсутствие ревности. Вадим заикнулся было, что не может он, любя ее, отдаваться каким-то дурехам, но Фаина прикрикнула: «Не обижай девочек, не все такие в СССР умные, как я!» Призналась: ей самой очень интересны эти двоечницы как психологу, с чисто научной точки зрения. Провожала Вадима до метро «Смоленская», издали наблюдала, как он кружит коршуном над дурехой и увозит ее. Потом уже, дома, расспрашивала, как очередная студентка ведет себя в постели, и пыталась обнаружить какую-то связь между поведением и родителями студентки и вообще — кто они, родители, как живут, как зарабатывают и чем. Слушала — и глаза ее поблескивали, грудь поднималась глубокими вдохами, губы объясняли: «Это — для диссертации...»

Застолья кончились. Фаина отбывала практику в больнице, приходила злая и голодная. Но — любящая. Однажды она нашла мозг «Тайфуна», расспросила, узнала о резервуаре-бассейне в институте, о том, как академики сговорились и вытурили научного сотрудника, посягнувшего на незыблемость законов мироздания. Не умолчал и о Сидорове, который за 190 рэ и премии — ежемесячную и ежеквартальную — кого угодно опровергнет. Фаина и подала мысль: а не возобновить ли эксперименты, Сидорова же всегда можно найти.

Она изредка и скупой рассказывала о себе. Призналась: из неблагополучной семьи, отец в прошлом — второй секретарь обкома, а это похуже сифилиса. О друзьях, которые называли ее Машей Рябоконь, отзывалась с горечью.

— Никак там наверху не поймут, что нигилисты эти — их опора. Иначе рухнет все. Ни одна страна долго не продержится без оппозиции. Вот эти, что на кухне витийствуют, и настоящие устои нашего славного ЦК. Их, ребят этих, надо холить и лелеять.

Вадиму ничего не хотелось делать: поток двоечниц к лету иссяк, а в жизни его продолжается счастье, лучшая и самая полная часть земного бытия его — под вечер, когда Фаина приезжала из Сербского, торопливо ела и засыпала на кушетке, рядом с Вадимом, а тот слышал ее тихохонькое дыхание. И вспоминалось, как повезло однажды: весь пятый класс с завучем выехал к морю, он тогда, в день приезда, заснул ночью, и сквозь сон слышалось море, чудилось что-то, от чего всплакивать хотелось...

15

Однажды на кушетке этой, разлепив веки, Фаина поворочалась и спросила, почему Вадим не покупает кровать. Объяснения того, подкрепленные списком вещей в лапинской квартире, повергли Фаину в долгое молчание.

— Ужас какой-то!.. — разрыдалась она. — О, ужас! Да ты же нищий!

Вадим начал оправдываться: никакой он не нищий: в октябре по договору получит полторы тысячи рублей, вообще на кровать давно хватает, но, как он уже сказал, все дело в том, что ему нужно именно то, что когда-то было его, ему принадлежало, да! И пора, пора им определиться, в загс надо подавать заявления!

Она сглотнула комок застрявшего в горле воздуха и еще пуше разрыдалась. Утихла, умолкла. Сказала, что пора домой возвращаться. Ремонт давно уже кончился, родители интересуются у подруг, справки наводят, у кого и с кем дочь живет.

Побросала в чемоданчик вещи и укатила. Сердце Вадима сжималось в смертной тоске. Сказался в деканате больным, хотел было с горя выпиться, но коньяк забыл прихватить с работы, а тащиться в магазин за водкой — лень, да она уже редкостью стала, тем более самая дешевая, «Андроповка».

Двух дней не прошло, как Фаина вернулась — без вещей, без позывов к любви: взгляд дикий, рука дрожала, набирая телефонный номер, принесенные трубкой новости могли кого угодно обратить в паническое бегство.

Анциферова (да, та самая карга из МГУ) — повесилась! И, начинали догадываться и он, и Фаина, — не без их содействия.

Ужасающая размерами картина бедствий! Коллега из МАИ не все рассказал Вадиму про систему перекрестного опыления. Им была создана не только параллельная структура, в основании которой была профессорша из МГУ, но и ответвления с анклавами, студентки, короче, дополнительно подрабатывали у нее на дому, принимали высокопоставленных клиентов; за одним из них, как выяснилось, велась слежка, она и накрыла систему. В какой-то связи с провалом этим был мальчишка, которого они, Вадим и коллега из МАИ, по просьбе Фаины подсунули профессорше.

Выговорив все эти новости, Фаина расплакалась и ушла. Вадиму оставалось ждать продолжения. В МАИ приступили к расследованию всех сторон кипучей деятельности бесперебойного поставщика студенток, до пищевого института еще не добрались, Вадима пока не трогали, и он попытался возобновить опыты в резервуаре. А повод к этому сам собой нашелся, один из заказчиков чуточку изменил техническое задание, под отпущенные деньги заказали датчики, умельцы быстренько сделали регистраторы к датчикам, получился «Тайфун» в цельном виде, Вадим остался верен себе и мозг прибора продолжал хранить дома: по утрам уносил модуль в институт, вечером возвращал его книжной полке над кушеткой. Коллега из МАИ успел дать прощальный звонок из автомата, Глазычев не пострадал и вообще не мог быть уличен ни в чем, поскольку при знакомствах с

девицами из МАИ назывался разными именами. Да и копать вглубь и вширь следствие не могло и не хотело, дабы не подрывать основы высшего образования СССР.

16

Вдруг что-то случилось — возможно, были наконец пойманы оба преступника, какие-то другие события, вероятно, произошли, но социолог напросился к Вадиму в гости, забрал Зиновьева, Авторханова и прочих, постоял перед кухней, отступил на шаг, второй.

— Ценители изящной словесности, — так назвал он кухонных гостей. — Нет бы классиков читать... А то... Как вам девочки понравились?

Уже зная, что словам его придается особый вес, Вадим подумал:

— Переспать с какой-нибудь не помешало бы, да уж очень они занозистые и с гонором.

— Побойтесь бога, Вадим Григорьевич!.. Какой там гонор? Раскудахтались куры, а яйцо никак не снесется... По ребеночку каждой — и вся дурь вылетит. Жалко мне их, жалко... Придет время — и прокрутим по телевизору многосерийный документальный... — рука Рушникова протянулась к навесному шкафчику из гарнитура «Мцыри», — ...фильм о юных народных вольцах... Как Петя Верховенский одной рукой «Архипелаг ГУЛАГ» листал, а другой массировал задние полусферы Веры Засулич... Между нами говоря, БАМ — это наиподлейшая глупость, но уж куда лучше там рельсы укладывать, чем здесь дерьмо разное почитать. И при этом охаивать органы. А им они всем обязаны. Не будь их — болтунишки эти не возвысились бы в собственных глазах, органы навесили нимбы на их пустяковые сути, без комитета они — ничто.

Теперь следовало ожидать визита тех сотрудников, что организовали эту двухкомнатную квартиру. Вадим приготовился. Снял ксерокопии со всех товарных накладных, квитанций и чеков, опасаясь, что после поимки преступников квартиру у него отберут. Опасения были не напрасными, оба сотрудника, посвящавшие Вадима в милицейские тайны, сперва вызвали его к себе, а затем сами прикатили. Осмотрели, посоветовались, переглянулись, пожали руку Глазычеву и сказали, что квартира эта — в особом фонде, но если Глазычеву нравится здесь — пусть живет. А не нравится — организуем переезд. Тем более что живет-здравствует хозяин квартиры, ему, кстати, принадлежит кухонный гарнитур.

Вадим решил на переезд, ему показали двухкомнатную квартиру в часе езды от института, но что на этой работе он долго не продержится — яснее ясного, студентки уже начали шантажировать его. Близилось, правда, величайшее открытие, «Тайфун» выбрасывал на самописец поразительные цифры, их обрабатываешь — и без всякой защиты дадут доктора наук.

Новая квартира оказалась несколько просторнее прежней, солнечнее, этаж седьмой (чуть ниже девятого, того самого, но выше пятого — уже прогресс!). Новоселья не намечалось, от слова этого веяло опасностью, никому не дано было знать, где живет теперь Вадим Григорьевич Глазычев, но Фаина приперлась, узнав откуда-то адрес, мрачно молчала, дымя сигаретой (начала курить), сидя на кушетке, потом поднялась и сказала на прощанье:

— Марека арестовали.

— Какого еще Марека? — удивился Вадим.

— Да пил который у нас на кухне...

А он не помнил, кого как зовут: Фаина рядом — и достаточно.

Гарнитур «кабинет» покупать рано, но размеры украденного адвокатом дивана хорошо соотносились с квадратными метрами большой комнаты. Выпадали свободные часы — и Вадим шнырял по мебельным магазинам, разочаровываясь все более и более. Была постигнута наконец горькая ис-

тина, голая правда бытия: тот диван, который ему нужен, ни одним мебельным комбинатом СССР не изготовлялся и не выпускался! Естественно, не мог и продаваться ни в одном магазине великой державы. А тот, Иринин, мало того что был идеальной конструкции, ящички его нутра выкладывались крохотными подушечками из чудодейственных трав; свежее белье, догадался Вадим, оказывало, видимо, на женщин благотворное влияние, оно еще более усилится, прозрел Вадим, если белье запахнет теми подушечками, — да, академики умели жить, черт возьми!

С эскизом будущего дивана ходил он по магазинам, допытывался, где способны изготовить такую красоту. Пожимали плечами, молчали. Однажды наудачу в ЦУМе, где продавались всего-то кресла, попал он в административный коридор, спрашивал, получал неутешительные ответы, пока ему не шепнули, что есть у них Танечка, которая все знает, все, — но, сами понимаете...

Таню эту он нашел. Из двери вышла белокурая девка лет тридцати, выслушала и отогнутым большим пальцем правой руки ткнула во что-то, находящееся над ее головой. Постояла, подождала чего-то и скрылась за дверь. Вадим, теряясь в догадках, понимая лишь, что от него чего-то ждут, нервно расхаживал по коридору, тыкаясь в двери, ведущие вверх, туда, куда указывал отогнутый большой палец Танечки, но этажом выше был только чердак, на который не проникнуть. Вновь постучался он в комнату, где сидела всезнающая Танечка, и вновь ее большой палец направился на нечто, а указательный покрутился около виска, и мат едва не сорвался с языка Вадима, уязвленного очередным напоминанием о собственной тупости. Еще раз осмотрев место, где, по мнению Танечки, находился ответ, изучив это место, он обнаружил скромную табличку с номером комнаты, и номер был — 50. Тут его осенила догадка: требовалась взятка, пятьдесят рублей, Танечка эта хорошо устроилась в жизни, заняв именно комнату под этим номером, и третья появление белокурой девицы завершилось клочком бумаги с указанием подмосковной фабрики, где такие диваны могли сделать по заказу. Вадим немедленно позвонил туда, на завтра съездил, встретил полное понимание, эскиз перевели в конструкторский чертеж с размерами. Длина, ширина, высота, габариты ящичков — все было вычерчено. Дела с обивкой обстояли хуже: материя блеклая, рисунок примитивный, однако имелась надежда, что со временем...

Время могло укоротиться, если заказчик кое-что подбросит, и пришлось еще выложить тридцать рублей, диван с доставкой обойдется, подсчитал он, в тысячу двести; о специальных прокладках в форме крохотных подушечек речи и не шло, вместе с бельем они потянут за полторы тысячи, зато Лапины будут посрамлены.

Из Подмосковья он возвращался затемно, вышел из лифта — и увидел сидевшую у двери фигуру согбенного болезнью или алкоголем человека. При неярком свете лампы не разглядишь кто, но явно — алкашу или бродяге здесь не место. Брезгливо отвернувшись, открыл дверь, надеясь, что недочеловек очнется и унесет ноги вон. Выпил чаю. Довольно потирал руки, вспоминая удачно прожитый день, хотя и точила досада: большие деньги у него все-таки умыкнули, но, чего никак не отнимешь, какое обхождение, какую улыбочку изобразила крашенная стерва, и на фабрике выслушали наилюбезнейше, и черновой набросочек дивана приняли так, будто принес дипломную работу на ватмане, тушью.

Удачный, более того — прекрасный день! И все же что-то царапало, какое-то недоразумение, какая-то оплошность, что ли...

Открыл дверь: человек дремал, привалившись к косяку, и человеком был отец.

Вадим взял его под мышки, втянул в квартиру. Отец был теплым, и отец был живым. Что-то прошамкал. От влитой в него водки закашлял, открыл глаза. Что-то в нем происходило, грозясь либо вырваться наружу,

либо затаиться, чтоб когда-нибудь взорваться. И какая-то пугающая неправильность, как от пьяного хулигана, вольного и в морду тебе заехать, и вдруг проявить ширь душевную. Мычанием отвечал на все вопросы. Вадим дважды звонил Фаине, наконец она подняла трубку. Вошла, сняла пальто: дымящаяся сигарета в зубах, свитер до коленок, глаза жестокие. Положила руку на лоб отца, посаженного на стул в кухне, вгляделась.

— Кто это?

— Мой отец.

Брови ее вскинулись:

— Почему же он здесь?

— Не знаю, откуда он появился. Я его не видел полтора года. На лестничной площадке нашел.

— Я о другом спрашиваю: почему он здесь, на кухне, а не на помойке? Вот уж чего от тебя не ожидала...

Помойные баки — в ста пятидесяти метрах, один он не смог бы дотащить отяжелевшего отца до низкого кирпичного ограждения зловонного места. Да и не захотел бы. Что-то мешало, останавливало. Более того, забрезжило чем-то новым, какими-то чувствами, которые помнились с детства.

Фаина осторожно выпустила дым изо рта и произнесла:

— Инсульт. Не в самой тяжелой форме. Вызову «скорую».

Молчали. Вывернули карманы отца. В них — деньги (четыре рубля с копейками), партийный, профсоюзный билеты и паспорт.

— Прописан в Калининской области. Был. — Фаина полистала загаженную какой-то краской книжицу. — В больницу могут не взять. А могут взять.

Взяли: она пошептала с врачом «скорой». Санитары уложили отца на носилки, но грузовой лифт не работал, и отец стойким солдатиком отправился в дальний путь на пассажирском лифте.

— Если не умрет, то через три недели привезут его тебе на долгое умирание.

Что-то еще хотела добавить, безжалостное, почему и не хотелось слушать ее. Ушла. Вадим выругался. Долго сидел неподвижно, уставясь в угол, где потемнее.

Утром мрачно перебирал бумаги, думать не хотелось, вообще ничего не хотелось. Спустился вниз, к резервуару, здесь его встретил заместитель ректора, выставил ультиматум: допустить к работе одного товарища, ему срочно надо какие-то цифры извлечь из вихрей и потоков. А товарища, сына какого-то академика, Вадим уже заметил в коридоре, тот нервно расхаживал — как человек, которому не терпится в туалет по большой нужде, а тот занят, кто-то в нем засел надолго... «Сейчас», — сказал Вадим и понес лежавший в кармане мозг «Тайфуна» в подвальную лабораторию другого корпуса, где в два ряда стояли муфельные печи. Открыл одну из них. Дохнуло жаром девятисот градусов по Цельсию, туда и полетел мозг.

Теперь надо было ждать увольнения, и не было сомнений, что день этот наступит. В субботу Вадим съездил в больницу, в палату не заходил, уж очень скверно пахло, передал отцу через медсестру кулек с яблоками, вздохнул освобожденно, глубоко, наслаждаясь на улице свежим воздухом. Как отец, что с ним, узнавать не стал, и так все ясно — скоро помрет.

Вечером воскресного дня чей-то девичий голос взволнованно и чуть ли не рыдающе сообщил по телефону малоприятные новости: автору системы перекрестного опыления удалось отвертеться от суда, прокуратура пошла на мировую с МАИ, ассистента выгнали с треском, он и предупреждал через «опыленную» особу Вадима: беги!

Через три дня получил он на руки вполне пристойную трудовую книжку, под расчет — почти полторы тысячи рублей, и самое главное — слух о нем прокатился по Москве: не по собственному желанию уволился, а выгнан за связь с арестованными диссидентами.

Слушок не мог не дойти до земляка. На правах опекуна он внимательно изучил трудовую книжку Вадима Глазычева. Обошел квартиру. Осуждающе покачал головой: седьмой этаж — это высоковато, часто лифты откачиваются работать, уж лучше, по примеру бывалых москвичей, пятый или четвертый, тем более что вид из этого окна убажывать взор не будет. Ну а насчет работы — так это пустяки, все образуется. Завтра или послезавтра. А Григорию Васильевичу, кстати, передавай большой привет и наилучшие пожелания.

Сумков не мог не поспособствовать, не помочь земляку, сыну того Григория Васильевича, который пятнадцать лет назад был единственным членом бюро Павлодарского горкома КПСС, отказавшимся изгонять из партии Сумкова-старшего.

17

Земляк мигом пристроил Вадима к журналу — настолько незначительному, что земляк поостерегся произнести его название по телефону. Сообщил коротко: шпаргалка для учителей средней школы и техникумов. Кандидатских не жди — предупредил сурово. Добавил все же: в журнальчике этом люди, обжившие его, себя не обижают, какие-то выплаты, неизвестно за что, перепадают каждому...

Вадим освоился быстро. В день приходило по семь-восемь статей, читать их начинали с конца: кто написал, какие ученые должности и звания; если писатель, то имеет ли государственные премии и за что. Мало кто верил, что журнал вообще читается учителями и школьниками, разве только последний раздел, где на трех страничках излагались решения заковыристых задач. Пролистывая журналы за прошлый год, Вадим в разделе этом увидел знакомую фамилию: К. Лапин. То ли тот дурачок Кирюша, то ли совпадение, допытываться Вадим не стал, бегло пробежал глазами по тексту, задачка действительно была решена весьма оригинально. Если это тот полоумный братец Ирины, то, зная, кто-то из прихлебателей этого подлого семейства помог недоумку прорваться к читателям.

С заказанным диваном началась какая-то проволочка, полагалось подбросить кое-что изготовителям продукции по индивидуальным заказам, Вадим сгоряча пообещал, но ехать на фабрику не спешил, денег стало жалко, обоснованно жалко, потому что впереди или похороны отца, или, в худшем случае, взятка за взяткой, чтобы определить его в какую-нибудь богадельню.

Дважды мимоходом заглядывал земляк, наставлял, и за пару недель Вадим стал в редакции своим человеком, да таким человеком, что однажды его вызвали к главному редактору, вопрос решался пустяковый, заместитель главного уходил в отпуск на месяц или больше, обязанности его возлагались отныне на Вадима, чему тот противиться не стал: кто-то ведь должен отвечать на звонки и подписывать верстки.

Зам передал Вадиму ключи, пожелал удачи и укатил на юг. Кабинет его был тих и уютен, звонили сюда мало, редко-редко заходил кто. Перед обеденным перерывом в дверях вырастала грозная уборщица с метлой: «Хозяин, в пищеблок ступай!..» На всех четырех этажах здания — такие же маленькие редакции крохотных журналов, кухня и столовая общие, кормили хорошо и дешево. И вообще здесь очень мило — так думал Вадим Глазычев.

И ничто не предвещало беды. Академики сюда не хаживали, партгрупп порг какой-то вялый, с поручениями не пристаёт. Кое-какие неприятности доставила Ирина. Медсестры в больнице шепотом сказали, что к больному отцу ходит какая-то молодая женщина. Вадим подумал было с облегчением, что объявилась родственница, уж не из Павлодара ли? Земляк решительно отверг эту версию, более того, заявил, что знает, кто на-

носит визиты. «Кто?» — поинтересовался Вадим. Земляк ответил просто и обидно: «Да бывшая жена твоя...» Разозленный Вадим заорал: какого черта она... Ответ последовал странный: «Да потому что она тебя любит, дурень. И не теряет надежды. До сих пор не поймешь».

До конца отпуска зама оставалось три недели, до выписки отца из больницы — чуть меньше, когда из типографии в журнал пришла верстка статьи под ничего не значащим названием «Реакционная сущность римско-католической церкви». Такие статьи, понятно, никем и никогда в школах не читались, но почти в каждом номере помещалось нечто подобное, Главлит и отдел науки ЦК настаивали. Таков был обычай, и такова была норма, если, конечно, соблюдались дополнительные условия, освобождавшие редакцию от какой-либо ответственности.

Статья легла на стол Вадима, который ее еще не читал и не мог читать, поскольку работал всего месяц.

Теперь он, прочитав название статьи, глянул на концовку. Автор заявлял о себе на первой странице малоизвестной фамилией, зато потом добавлял к ней достоинства весьма убедительные: доктор философских наук, лауреат Государственной премии (в соавторстве за учебник для высшей школы), кандидат в члены ЦК.

Такие статьи если и читаются в редакциях, то никак уж не проверяются — это Вадим понимал. Такие статьи визируются с пометкой, чтоб корректоры быстренько определили, где автор по нечаянности или в спешке не там, где следует, расставил запятые.

И тем не менее Вадим решил статью прочитать, поскольку каким-то неприличием веяло от названия. Заведующий кафедрой никогда не проверял конспектов преподавателей, любую чушь можно нести на лекциях, но, однако же, всегда говорили с оглядкой на учебники и на то, что даже в небольшой аудитории сыщется, черт знает откуда, склочный студент, чуть больше «препода» знающий тот раздел физики, о котором идет речь. И к версткам Вадим относился поэтому настороженно.

И эта верстка была им прочитана внимательно.

Прочитал — и задумался. Что-то здесь не то.

Или он, не сведущий в делах журнально-издательских, чего-то недопонимает? Вот, к примеру, с точки зрения чистой науки — к чему «Рим» в названии церкви? Папа Римский держит свои хоромы в Ватикане, а не в Риме. Во-вторых, упор на реакционную сущность этой самой римско-католической церкви означает, что православную церковь в реакционности уже обвинять нельзя. В-третьих...

В-третьих, он представил себе, как заржали бы пировавшие у него диссиденты, статью эту прочитав.

Нет, в статье что-то не то, какая-то ошибка скрыта.

Он вчитался в статью, проникая в смыслы слов и связи их глазами земляка, знавшего толк в политической публицистике, строго по наставлениям его. Римско-католическая церковь, внушал автор, тормозила развитие физики (следовал набор давно известных примеров, начиная с Джордано Бруно). Но где-то в последнюю треть статьи ужом вползала фраза: «И ныне Ватикан исполнен звериной злобы ко всему прогрессивному, зато с упоением поддерживает любые антисоциалистические акции (поставки оружия так называемой „Солидарности“ в Польшу»).

Статья дочитана, статья изучена. В ней чуетя стилистический ляп и еще что-то.

Вадим Глазычев задумчиво посматривал на телефоны. Кому звонить? Кто внесет ясность? Ведь земляк напутствовал: из политики печатать в журнале можно только то, что слово в слово повторяет публикации центральной прессы. Но в том-то и дело, что нигде — ни в «Правде», ни в «Известиях», насколько помнил Вадим, — ни словечка о том, что католики доставляли оружие польским профсоюзам. Ни слова! Нигде!

На всякий случай позвонил земляку, уж тому-то известно, о чем пишет каждая газета в Советском Союзе. Тот молчал так долго, что Вадим встревожился, заорал: «Что у тебя там с телефоном?» Земляк ответил: «Все нормально. Сейчас приеду».

Приехал, утрюмо прочитал статью. Заставил Вадима немедленно позвонить автору. Тот был в заграникомандировке, за него говорила жена, строго запретившая заменять слова и даже переставлять запятые.

Что в таких случаях делать — земляк знал, сказал и удалился, не скрывая недобрых предчувствий. А Вадим послушно пошел к главному редактору, предъявил верстку. Последовал вопрос: а где сама статья, где машинописный текст — авторский и редакционный?

Авторский текст нашелся. На нем красовался вопросительный знак справа от абзаца, где говорилось о роли церкви в поставках оружия. Правда, чей-то карандаш знак этот перечеркнул. Точные сведения о прохождении рукописи мог дать только убывший в отпуск зам главного редактора, он же и подсказать, где редакционный экземпляр. Но добраться до зама невозможно, он где-то, как выразилась его дочь, «в степях под Херсоном». А редакционный экземпляр в типографии затерялся.

Прошел час, другой. Что делать с абзацем — никто не знал. Наконец главный редактор созвонился с кем-то, была вызвана разъездная машина, Глазычева заставили срочно уплатить членские взносы за текущий месяц, и получасом спустя он и главный редактор вошли в здание ЦК на Старой площади. Предъявили партбилеты, оглядели себя в лифте, поднялись, пошли. Остановились перед дверью, знакомой главному. Не постучались, а поцарапали ногтями дерматиновую обивку. Секретарша улыбнулась так, будто с утра еще горела желанием увидеть их. Ласково указала, куда идти. Вошли. За столом — плотный человек, куратор журналов, среди которых и «Физика в школе». Главный редактор говорил веско, в завершение своей краткой речи предъявив верстку и машинописный текст автора. Толстым кончиком карандаша куратор прошелся по абзацам там и там, нигде не задерживаясь. Подозрительные строчки не вызвали у него никакого замешательства. Он лишь пожал плечами в знак того, что не видит ничего крамольного в обоих текстах. Заговорил о тиражах и подписках. Излом бровей — и руководители журнала поднялись, отклонялись. Там же, в машине, Вадим расписался на верстке, и уже на следующее утро типография приступила к работе. А через неделю упаковками по пятьдесят экземпляров журнал начал попадать в узлы связи, оттуда его доставили на вокзалы, и почтовые вагоны повезли во все концы необъятной Родины. Завучи первыми получили журнал, полистали его, и в зависимости от того, как налажена работа с учащимися, страницы журнала либо штудировались, либо так и остались непрочитанными.

18

Однако в тот день, когда почтовый вагон увозил в сторону Бреста упаковки с журналом, произошло событие, наступление которого можно было предположить, но занятый журнальными хлопотами Вадим так и не учел, что больничная койка должна пропускать через себя не одного пациента, а строго по норме, и звонок на работу застал его врасплох: отца выписывали, отца вот-вот привезут, и что делать дальше с ним — неизвестно и непонятно. Поводырь же в медицинских делах, Фаина то есть, покомандовала санитарями, носилки опустили в большой комнате. Тут-то до Вадима и дошло: отец — уже не ходячий! Не помогла медицина!

Он так ошеломлен был, что молчал, не отвечал на вопросы санитаров: а на что его, больного то есть, перекладывать? Не на пол же!

Издевательски скрестив на груди руки, Фаина ждала, когда немая сцена прервется чьим-то голосом. Взбешенный Вадим метнулся к балкону,

вытащил раскладушку. Человек, лежавший на носилках в сером костюмчике и коричневых детских ботинках, был перекантован на нее и улегся носом вниз. Санитары потоптались еще немного в надежде на червонец, если не больше, и удалились. Никем ранее не замеченная женщина в белом халате скорбно поведала об инсульте, дала список лекарств. Вадим догнал ее на лестнице, узнал: жить отец будет еще месяца два-три, частичная парализация левой половины тела и мозга, говорить станет не скоро, а возможно, и не начнет вообще.

Белый автомобиль фыркнул и укатил, оставив медицинскую бумагу. И Фаина не выразила желаний ухаживать за паралитиком. Изучила бумагу и ничего не сказала.

Всего несколько часов пробыл отец на квартире — и сразу же с него потекло, он писал и какал. Вадим раздел его догола, но что толку: по виду — сморчок, а до ванны не дотащишь, да и не хочется к нему притрагиваться. По квартире расплзался ядовитым облаком запах мочи и кала, — нос, так получалось, особо противился восприятию именно человеческих экскрементов: они, видимо, испускали нечто раздражающее, запах давал знать, что неходячий человек этот обречен, но его, к сожалению, уже не выбросишь из квартиры, соседи наступчат в милицию.

А выбрасывать надо. Нашлись кое-какие тряпки, он протер голого отца, попрыскал одеколоном, отбивая запахи гнусностей, уже начинавших въедаться в обои, впитываться в стену. Вадим сел рядом с раскладушкой, вглядываясь. Перед выпиской отца побрили, стала заметной худоба лица, тело начинало скукоживаться, кое-где одрябло настолько, что превратилось в какую-то телесную бессмысленность. Глаза держали в себе какие-то мысли, шепот выдавал бывшее умение говорить, мычание не было монотонным, слова, так и не произнесенные, теснились, напирала на язык и невесомо проваливались в колодезь горла. Молчание угнетало, и Вадим громко выругался. Он стоял на краю финансовой катастрофы. Денег мало, очень мало, а какими-то тряпками надо отца протирать! Чем-то кормить! Или — такая идея мелькнула — вообще не кормить, все равно ведь подохнет! Месяцем раньше, месяцем позже — да какая разница?! И хоронить он его не будет, не будет! Пусть из морга отправляют сразу в печку. Ни копейки не потратит он на мертвого отца!

Утром он вызвал врача из поликлиники, чтоб вытрясти из него бюллетень по уходу за больным, но получил отказ. Провалом окончилась попытка пристроить отца в дом престарелых, ибо Григорий Васильевич Глазычев оказался как бы уже не гражданином СССР, поскольку выписался из поселка Кулагино Калининской области, но так и не объявился ни в одном отделении милиции. Отпросившись на денек с работы, Вадим висел на телефоне, сбавляя отца, но никто не соглашался брать его на прокорм и проживание.

И вдруг — звонок, Вадим открывает дверь, ожидая увидеть Фаину, час назад оповестившую о скором визите, а на пороге — Ирина. Притворно жалостливым голосочком бывшая супруга спросила о здоровье Григория Васильевича (Вадим не сразу понял, что речь идет об отце), сунула нос в комнату и застыла у раскладушки; выгнать ее вон Вадим постеснялся при отце, хотя тот уже мало что соображал; глаза старика выразили узнавание, рука шевельнулась, но и только. Ирина с сумкой прошла на кухню, погрела кастрюлями, проверяя наличие еды, что-то сунула в холодильник. Отцу не терпелось говорить, пробулькались какие-то звуки, Ирина произнесла — скорее отцу, чем Вадиму:

— Мы поздно узнали о выписке, иначе бы приютили... И сейчас не поздно...

— Не отдам! — заорал Вадим, полчаса назад умолявший госпиталь ветеранов на Преображенке забрать отца. — Не отдам!

Его душила ненависть к ней, к Фаине, только что вошедшей, ко всем людям. Трехкомнатную квартиру у него отобрали! Работу! Алгебру турбулентных вихрей! Студенток лишили! А теперь на отца зарятся!

Ирину он выгнал. Ибо отец отныне становился его собственностью, кровной собственностью, и более того, прозревалося некое предчувствие: отец — его спасение. Этот жалкий, сморщенный, воняющий полутруп — воздушный шар, летательный аппарат, который поднимет его, Вадима Григорьевича Глазычева, ввысь, и те будто бы стальные канаты, что придерживают Вадима у земли, не позволяя ему достичь желанных вершин, эти канаты — из тряпичного гнилья, они лопнут, как только отец испустит последний вздох.

Едва это предчувствие озарило его, как руки сами нашли ножницы. Отец был чуть ли не смахнут на пол, раскладушка разрезана посередине, ножницы выстригли овал, на клеенке проделана дырка, совпавшая с овалом, отец восстановлен в прежнем лежачем положении, под раскладушку поставлен таз, и теперь эта композиция позволяла надолго уходить из дома, отец мочился и какал бы не под себя, а в таз.

Он отошел, глянул на раскладушку, на отца, он понимал, что совершил нечто, подобное разрубанию гордиева узла или Колумбову эксперименту с яйцом.

Жаль, конечно, портить мебель, даже если она — брезент на трубчатом каркасе. Тринадцать рублей — это деньги в любых обстоятельствах, тем более что расходов прибавилось, непредвиденными стали траты на парфюмерию. Правда, кормежка отца обойдется дешево, овсянка да минералка, но все же.

Трижды напрашивалась Фаина в помощники, настаивала, попрекала черствостью, и Вадим уступил, разрешил, вслед за нею и Ирина получила доступ к отцу; поладили обе, подружились даже, однажды Вадим услышал их бабские всхлипы.

— Ты-то чего сюда ходишь? — удивлялась Фаина. — Я, понятно, грехи свои замаливаю, а ты?

— И у меня грехи, — призналась Ирина. — Себя не послушала... Мать, думала, умнее... И отец...

По выходным дням они кудахтали над отцом, будни же принадлежали Вадиму. Он доставал припрятанные им протезы, вставлял их в разомкнутые челюсти и приступал к допросу коммуниста Глазычева Г. В. Несколько раз тот порывался встать, руками показывал, что ему надо учиться ходить, но все уже было Вадимом решено. Пусть помирает лежа, все равно ведь обречен. А что нагадил — так не беда, к помойкам сын твой, коммунист Глазычев, привычен, ты его к ним приохотил.

— Так где же твоя учетная карточка? — грозно вопрошал Вадим и закуривал. — Как я сниму тебя с учета, когда ты окочуришься?

Отец вздыхал и признавался в тяжком грехе: нигде он в последние месяцы на учет не становился.

— Тогда скажи мне: не пытался ли ты этим способом покинуть славные ряды Коммунистической партии, рожденной и взлелеянной нашими вождями?

Отец разевал рот, выдавливал из себя слова, в совокупности означавшие невозможность такого поступка.

— Так я тебе и поверю! — хохотал Вадим и стряхивал пепел на лоб отца. — Ну-ка поведай единомышленникам из твоей партии, сколько наивных девичьих душ совратил, а? Я ведь от тебя кое-что перенял, не мог ты, так кажется мне, проходить мимо женской юбки, не задрал ее.

Как ни горько было ему признаваться, но отец повинился в легком распутстве. Правда, все происходило по доброму согласию и любви, и ни на чью девичью честь он не посягал.

— Лжешь! — прокурорским тоном изрекал Вадим и разминал окурки на шее отца. Извлекал изо рта протезы, швырял их в надколотый, ни на что уже не пригодный стакан. (Как-то утром обе — Фаина и Ирина — нашли отца в сигаретном пепле и с окурком на теле, вечером спросили Вадима и получили ответ: старик шалит, старик покуривает.)

— А на что ты жил последний год, тунеядец? Милостыню просил? На людскую жалость бил? Отвечай!

Отец молчал... Так и не удалось узнать, где получал он пенсию и дышит ли воздухом Земли хоть одна родная ему душа (Вадим себя к таковым не относил). Какие-то имена вышамкивал отец, какие-то адреса, — но чего добиваться, о чем хлопотать, умрет ведь через неделю-другую.

19

А между тем на него, кандидата физико-математических наук В. Г. Глазычева, надвигалась беда, страшная беда, и если она из тучки на горизонте превратится в черное облако, то не о трехкомнатной квартире мечтать надо, а впору готовиться к возвратному вселению в комнатуху той коммуналки, что на Красной Пресне.

Тучи сгушались, солнце давно закрыто ими, глухой рокот раздавался откуда-то, но молнии пока не блистали. Пока.

Тот самый журнал со статьей о реакционной сущности римско-католической церкви, изданный в количестве 20 000 экземпляров, погруженный в пакки по 50 штук в каждой, достиг удаленных уголков СССР, почтальонами разнесся по школам и отделам просвещения, по квартирам, где проживали подписчики, и крохотными партиями достиг — поездами, автомобилями и самолетами — крупных университетских центров, частных и государственных библиотек: международный книгообмен вовлек в себя печатную продукцию великой державы, все издаваемые книги, журналы и газеты поступали во Всесоюзную библиотеку имени В. И. Ленина, то есть в Ленинку, которая для СССР имела то же значение, что, к примеру, для Англии Британский музей, где неделями и месяцами просиживал сам Владимир Ильич. Каждая уважающая себя библиотека мира держала на стеллажах или в иных местах хранения хотя бы пару экземпляров той печатной продукции, которая издавалась в других странах. Кое-что попадало в закрытые фонды, для избранных и редких читателей, но всякий раз попаданию в них предшествовало краткое и решительное рецензирование, после чего журнал или книга погружались на дно хранилищ.

И в город-государство Ватикан попал журнал из Москвы, поначалу не вызвавший никакого интереса. Однако Его Святейшество давно уже носился с идеей примирения церкви с наукой, некогда попираемой и отрицаемой. Дежурный библиограф Апостольской библиотеки Ватикана, основанной в 1475 году, вчитался в оглавление и уже собирался отправить журнал в то книгохранилище, где печатное слово запиралось в несырой темнице на долгие годы, — но благочестия ради решил все-таки извлечь что-то новое к вящей славе Господней. Натолкнувшись в статье о реакционной сущности на слово «Солидарность», он насторожился. Папа Римский был поляком, звали его Карелом Войтылой, и спекуляции на сей счет были не редки. По укорененной веками традиции глава католиков национальности не имел, поэтому следовало с особой осторожностью относиться к мирским публикациям, где затрагивалась Польша. Абзац о причастности Ватикана к поставкам оружия в Польшу чрезвычайно заинтересовал библиографа. Он, о мире насущном судивший по печатной информации, ничем не отличался от Вадима, его павлодарского земляка, главного редактора журнала и куратора из ЦК КПСС. То есть все они, от дежурного библиографа до куратора, прежде всего и всегда задавались

вопросом: а какой авторитетный орган первым поставил проблему, в читаемом тексте освещенную?

Короче, где официально, до статьи этой, заявлено, что профсоюзы Польши получают оружие из Ватикана или покупают его на деньги Ватикана?

Библиограф связался с кардиналом, который ведал внешнеполитической деятельностью римско-католической церкви, и католический министр иностранных дел потребовал журнал.

Статью перевели на три языка и предъявили ее кардиналу. Тот впал в задумчивость. Никакого оружия никаким «Солидарностям» не поставлялось — это было ясно, понятно и не нуждалось в опровержениях. Но и оскорблять Его Святейшество никому не позволено. Встал вопрос: как ответить на пощечину? Нунция в Москве нет, поскольку большевики-безбожники признавали только православную церковь, да и ту с оговорками и сквозь зубы.

Дипломатический демарш все-таки был сделан — через Польшу, оставшуюся, несмотря ни на что, в лоне католицизма, истинной веры.

Польский МИД не отреагировал напрямую. Посол Польши в СССР имел частную беседу с заведующим одного из европейских отделов МИДа СССР, и два дипломата тонко улыбнулись друг другу. Смоленская площадь позвонила Старой площади, та — ни бровью, ни ухом не повела.

А раз так, то Ватикан решил не церемониться, и одна из римских газет перепечатала статью (о гонораре и речи не шло в надежде на скандал) с язвительным вопросом о способах переправки автоматов Калашникова из окрестностей Рима в Гдыню.

Через неделю в редакцию журнала приехал цензор из Главлита. Заместитель главного, как выяснилось, к статье никакого отношения не имел, поскольку был в отпуске; ни от кого не скрылось, что его он получил в день, когда поставил красными чернилами знак вопроса сбоку от абзаца. Цензор уехал ни с чем, поскольку автор красочернильного знака стал сомневаться: а он ли вывел знак этот или кто-то другой, Глазычев, возможно; сам же он, заместитель, статью в машинописном, редакционном то есть, исполнении не читал. Да она и пропала, кстати.

Ясность внести мог только сам автор, доктор философских наук, профессор и кандидат в члены ЦК. Тот, однако, заявил после недельного раздумья, что злосчастный абзац принадлежит не ему, а безымянному провокатору, в доказательство чего представил ту же статью без абзаца, на пишущей машинке автора напечатанную. Предыдущую же подпись свою — на якобы поддельном тексте — посчитал тоже поддельной.

Вместо безвольного цензора прикатила комиссия из ЦК, она поставила диагноз: «политическая безответственность». Не уточнялось, кто все-таки проявил эту безответственность и в чем она выразилась. Глазычева поймал в курилке член комиссии, поговорил с ним, но как-то не обязывающе, будто мимоходом. Разговор кончился тем, что Вадима спросили, где здесь туалет — в том конце коридора или в другом?

И все. Комиссия благополучно скрылась. Вадима пока никто не дергал и не тащил на расправу, да и за что казнить? Про абзац он в свое время сказал главному редактору, вместе ездили в ЦК к куратору, и тот — при том же главном редакторе, свидетеле то есть, — разрешил статью напечатать.

О больном отце в редакции знали и покидать работу разрешали пораньше. Незадолго до семи пришел Вадим домой и почувал беду, а потом и услышал ее. Отец валялся на полу, раскладушка перевернута, тазик сдвинут, моча и кал на виду, оба кулака угрожающе сжаты; немощный отец стал вместо мычания издавать вполне различимые проклятья, знакомые, павлодарские. И нагло попросил помыть его.

Пришлось поколотить старика легонечко, чтоб не дергался и о помывке забыл бы. Новая проблема: чем привязывать теперь его к раскладушке?

Ремнями или веревками? Ни того, ни другого нет. Разрезал прохуdivшуюся простыню на полоски, скрутил их, связал, ими примотал уже зазябшее тело к раскладушке — в наказание за буйство. Подсчитал, что недели две еще старик проживет, не больше: эти всплески энергии — как огонь из за-тухающего костра, последние свидетельства еще не уснувшей жизни. Но от вонии не спастись, и, чтоб ею не пропитывалась квартира, Вадим дверь на балкон держал открытой, хотя старик и подавал ему знаки: холодно, холодно! И тем не менее вонь не убывала, Вадиму чудилось, что он — внутри сортирно-вокзального облака, к которому подмешана щиплющая ноздри хлорка (в ней вымачивались отцовы тряпки).

20

Понимая, что творится в квартире, где умирает бывший городской голова Павлодара, когда-то сохранивший Сумкову-отцу партбилет и должность, земляк в гости не напрашивался, но как-то заглянул в редакцию, присел к столу Вадима и молчал, как бы этим уже сочувствуя.

И не только. Хотя и знал, в каких концах здания благоухают туалеты, вытащил Вадима в коридор и злым шепотом сказал, что дела его плохи, очень плохи, потому что разразился международный скандал, Москве надо как-то выкручиваться, жертвовать ферзем или фигурой поменьше. Старой площади не к лицу, а вот на пешечке, то есть Вадиме Глазычеве, партия отыграется.

Сказал — и к выходу, к лестнице, туда, вниз, на улицу. А Вадим пошел в буфет подхарчиться, ничего он дома не мог есть. Угроза расправы немного напугала его, но не более, буфета этого ему не видать месяца через два, с работы выгонят, его уже дважды выгоняли с работы, он знал, что предшествует изгнанию и как оно происходит, какие красивейшие слова изрекают — о повышении морального уровня, бдительности, об укреплении партийных рядов.

Пришел домой — и впервые захотелось послушать отца, порасспросить его о разных житейских мелочах. Ведь, подумалось, обреченный, парализованный на половину или треть отец продолжал оставаться свидетелем жизни, мимо него пролетевшей. И отец (ему возвращали протезы) вспоминал, отец говорил чуть ли не кудахтающе, но в последние годы уши Вадима приспособились к спотыкающимся речам Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева, который условно жил, и если сам передвигался, то не без помощи охраны, а временами впадал — о чем открыто говорили все — в полубеспамятство.

Еле шевеливший языком отец вспоминал свою жизнь, свою эпоху, и оказалось, он, мыслями возносясь к светлому будущему, существовал полуголодно, нищенски, но так интересно, так интересно! Скрюченный червяк этот родился в шахтерском городе Сучане, то есть на Дальнем Востоке, о котором пелось: «И на Тихом океане свой закончили поход». Отец же оттуда начинал свой бесславный путь, и если Ленин тащил на себе коммунизм с запада, то отец продвигал идеи всеобщего благоденствия с востока, Москва, таким образом, была обречена, обкладываясь со всех сторон грозными теориями. Семья — с буржуазным привкусом, родители отца — конторские служащие, благодаря чему он не безграмотным вырос, книжки читать умел, во всяком случае, и с пылом, жаром пошел строить социализм в отдельно взятой стране, освоив к двадцати годам несколько профессий. В бессвязных монологах его (ни единого вопроса не задавал Вадим!) мелькали женские имена, отец умел сладко петь в девичьи уши. Ушел на фронт добровольцем, после ранения налаживал рабочее снабжение на Урале, там и женился — на матери Вадима, разумеется, но та не торопилась укреплять семью детьми, да и муженек начал серию измен; либо врал отец, либо умалчивал, но так получалось, что в турбулентных

потоках его идеологических исканий прослеживалась все-таки некая тенденция: отец, в отличие от сына, разрывы с женщинами объяснял только политическими и отнюдь не бытовыми причинами. Он, возможно, так задуривал бабам головы, что тем ничего не оставалось, как расставаться с Григорием Васильевичем, жертвуя собой ради его идейных терзаний. Вадиму и года не исполнилось, как отец выбрался из-под крылышка супруги, матери Вадима, громко обвиняя ту в недооценке антипартийной группы Маленкова — Молотова. В чем обвинена была девка, к которой причалил фанатично преданный коммунизму папаша, сие не дано знать, возвращение к матери объяснялось распрями в ЦК КПСС. Они же, распри, и вышвырнули мать из насиженного Павлодара в таежный поселок, где она недолго учительствовала, скончавшись, когда никому не нужный сын ее исправно писал заявления о материальной помощи.

Жалкая жизнь человечка, осеняемая грезами о трехкомнатной квартире, той, к которой стремился сын его, — и Вадиму становилось жалко себя. Ведь все родительские склоки сводились к тому, что отец призывал к наделению каждой семьи в СССР трехкомнатной квартирой, а оппортунистка мать соглашалась всего на двухкомнатную. Ну как тут не вспомнить девицу из жэка, которая всегда пресекала попытки Вадима прибавить себе кандидатские двадцать метров стенами по поводу невыносимого житья в подвалах.

Впалые щеки отца надувались приливом слов, собиравшихся на языке; отец спрашивал, что пишет сегодня «Правда».

— На Камчатке успешно идет сев хлопчатника, — с удовольствием отвечал Вадим. — А труженики Краснопресненского района столицы собрали рекордный урожай кедровых орешков.

Тайга и земледелие были уже далеки от Григория Васильевича. Его живо интересовало другое, и после многочасовых попыток он все же нашел нужные слова, нашедшие живой отклик у сына:

— Да, да, я тебя понял, дорогой папаша... Еще бы не понять: партийные взносы уже шестой месяц как не уплачены... Не беспокойся, родной.

Вадим щелкал по крутому и холодному лбу отца и шел к телефонному аппарату, поднимал трубку:

— Это морг?.. Здравствуйте, пожалуйста. У вас там лежит без движения коммунист Глазычев, взносы у него не заплачены... так вы уж, будьте добры, отправьте его на кладбище, квитанцию об уплате взносов мы вышлем в следующем квартале, и ваша отчетность не пострадает.

21

Земляк Сумков все знал, все разнюхал, он примчался к двери провогнавшей квартиры Глазычева, вызвал его на лестничную площадку и сказал, какие события последуют вскоре и что надобно делать.

А делать надобно простейшее и мудрейшее в наш век: соглашаться с руководством и во всем винить себя. Только себя! И никак иначе! Правда, можно бросить камешек и в огород редакционного начальства, ему, это уж точно, не поздоровится от высшего руководства, а тому нужен предлог для оргвыводов.

Выглянула на площадку соседка, так напугав земляка, что он поволок Вадима внутрь, в его квартиру, на кухню, — и наконец посвятил в голую правду.

Была же она в следующем. Весь этот балаган со статьей и абзацем задуман давно, еще при восхождении на трон Андропова, чтобы опорочить того, но пущен в ход позже, гибель южнокорейского лайнера отсрочила обвинение Ватикана в поставках оружия, а недавняя смерть Андропова вообще опустила бы занавес над задуманным. Но раз машина раскрутилась, остановить ее уже невозможно, и теперь — после серии консультаций на

разных уровнях — решено: наказать! Кого? Вот тут-то и вновь интрига, всем известно, что виноват куратор, не сам, правда, затеявший весь этот подлог, но удар на себя должен принять он, Вадим Глазычев, причем секира палача просвистит мимо, Вадиму надо лишь признать себя виновным, партия осудит его, но не настолько, чтоб лишать коммуниста Глазычева членства в своих рядах... Короче, надо покаяться на собрании: не расслышал, мол, мудрого указания ЦК, нарушил партийную дисциплину и так далее... Ибо сражаться до конца — бессмысленно, надо любым путем удержаться в партии. Любым способом! Иначе — гибель.

Затем земляк почтительно постоял у порога комнаты, откуда несло тлением и гниением. Обнял Вадима и решительно шагнул к двери.

А тот пребывал в полном недоумении. Про Андропова много говорили Фаинины друзья на кухонных посиделках. Будто и стихи пишет этот бывший глава Госбезопасности, и демонстративно на заседаниях Политбюро читает по-английски Шекспира, и друг поэта Евтушенко, и даже, есть такие сведения, еврей. И такого человека хотели опорочить его партийные сотоварищи!

22

События нарастали с угрожающей быстротой. Было разыграно подобие очной ставки. Вадима вызвали к главному редактору, где уже полукругом расселись члены комиссии. В седьмой или восьмой раз за истекающий месяц Вадим рассказал про абзац, про то, как он, молодой сотрудник журнала, этот абзац показал главному редактору здесь, в этом кабинете, как тот позвонил куда-то, потом еще раз позвонил, вызвал машину, забрал Вадима, успевшего заплатить партийные взносы, с собой, и они поехали в здание ЦК КПСС на Старой площади, к человеку, фамилию которого он забыл, и человек этот, статью прочитав, — да, да, именно эту статью, с этим абзацем, — не высказал никаких замечаний и всем своим видом показывал примерно следующее: ну что за мелочи, подумаешь, какая-то церковь тут, печатайте, конечно.

Несколько иначе изложил ход событий главный редактор. Статью ему принес исполнявший обязанности зама здесь присутствующий Вадим Григорьевич Глазычев. Абзац насчет оружия, не подкрепленный упоминанием об источнике данного факта, ему тоже не понравился, он снесся с ЦК, взял статью и Глазычева, предъявил абзац товарищу...

Досказать дальнейшее не дали — при Вадиме. «Вы свободны!» — сказано было тому, и решение избить отца пришло само собой, кулаки зачесались. Избил и устыдился: отец побоев будто ждал, радостными слезящимися глазами смотрел на него. Решил: отца больше не трогать, пусть подышает и благодарит его за то, что смотрит в потолок, а не в тазик с мочой и калом.

А мог бы и туда смотреть, в тазик, — после того, как Вадима одного, без главного редактора, привезли все к тому же товарищу в ЦК, и товарищ, подняв глаза от чрезвычайной важности бумаг, с некоторым удивлением глянул на стоявшего по стойке «смирно» Вадима.

— Как слышал, вы распускаете обо мне всякие небылицы... В частности, будто я разрешил вам печатать какую-то галиматью...

Ожидалось, что после таких слов провинившийся испарится или замрет в такой мертвой одеревенелости, что его, обессиленного и обезволенного, придется уводить, приподняв за локотки, ибо ноги не станут мерзавцу повиноваться.

Но Вадим Глазычев поддержал честь Павлодара. Ничто не дрогнуло в нем: сухо, бесстрастно выслушал он куратора, не вымолвив ни словечка. Твердыми шагами пошел к двери, осторожно прикрыл ее. За час до приезда на Старую площадь земляк шепнул ему в коридоре: в ЦК есть люди,

ампула которых — бессовестное, наглое, выпадающее из всех бытовых и прочих рамок приличия вранье, и куратор — один из них, чем Политбюро и Секретариату ЦК ценен.

В редакции на него посмотрели как на вернувшегося с того света. А он, зная, что ждет его, хорошо пообедал, порылся в столе своим, ничего лично ему принадлежащего не нашел и ровно в 17.00 покинул редакцию.

Была среда. В запасе два дня, на выходные прикатят Ирина и Фаина, при них не будет времени обдумать меры по предотвращению катастрофы.

23

Отец, после больницы тощий, на раскладушке исхудал до прозрачности, крови в нем осталось мало, и текла она вяло. В эту среду, с работы приехав, Вадим поднял его почти невесомое тело и понес в ванную. Он опустил отца в теплую водичку, приправленную хорошо пахнущими солями. Старик лежал и наслаждался. Вадим бережно помыл его, перенес на кушетку (раскладушка полетела с балкона вниз), побрил его; когда седенькая щетинка исчезла, когда с век и глазниц вода и полотенце унесли что-то спекшееся, то подумалось: тело отца готовится вступать в мир иной — очищенным. И Вадим помог ему, с удовольствием вымыл зубные протезы, выклянченные коммунистом Глазычевым Г. В. у партии. Вычистил их, промыл — и опустил в надколотый стаканчик, оттуда они вынуты, когда отец уже будет в гробу. Паспорт умирающего в наличии, по медицинской справке милиция и загс дадут еще какие-то бумаженции, на могилу Григорию Васильевичу рассчитывать не приходится, никто ему ни на каком кладбище кусочек земли не даст, выход один — через трубу крематория, гори ты синим пламенем, коммунист и труженик. Был бомжем — и остался таким. Еще живому бомжу Вадим сварил — впервые! — высококалорийную кашу, хотя здравый смысл подсказывал: пора ускорять течение ворвавшейся в тело старости и болезни, расширять зону обезжизнивания, ибо смерть отца для него, Вадима Глазычева, благотворна. Отец мешал борьбе сына за светлое будущее — не человечества, а Вадима Григорьевича Глазычева.

Ибо: не отец умирал, а — партия! Коммунистическая партия Советского Союза! Когда-то призраком бродил коммунизм по Европе, приткнулся было к России, устроился на ночлежку, да и с нее погонят скоро.

Эта мысль — о тождестве хилого стариковского тела и могущественной державы — давно вызревала в нем, но оформилась в четкое понимание, обрела форму программы, что ли, в тот момент, когда он выходил из кабинета куратора, и стоило протезам бултыхнуться в надколотый стакан, как Вадим Глазычев понял — в долю секунды, — что ему следует делать и о чем ему думать.

КПСС умирала на глазах Вадима Глазычева. Она могла еще устроить сеансы буйного помешательства, понимая, что дни ее сочтены. Говорить она давно уже разучилась, временами вскрикивала, приподнималась, мочи и кала с каждым днем становилось все меньше и меньше, но вонять отходы некогда процветающего организма стали резче, сколько ваты в ноздри ни затыкай. Даже пресную, обезжиренную пищу не принимал организм отца — и государственный организм тоже не в силах уже переваривать миллионы рублей, сколько в него их ни вбухивай.

С жадным вниманием всматривался он, стянув с отца одеяло, в скелет, обтянутый кожей: была она на три-четыре размера больше скелета и — свисала. Грудь при вдохе не поднималась, ребра проступали резко, словно нарисованные; глаза беспокойно осматривали потолок, стены, увиденное сравнивая с тем, что было час или два назад, потому что тело не верило глазам и уже не привязывало себя к какому-либо определенному месту;

человек уже ощущал себя в будущем, в гробу, на катафалке, примерял себя к новому, вневременному, пространству.

Лампы в большой комнате Вадим погасил, освещалась она луной за окном, кушетка с отцом будто провалилась в тень, и Вадиму казалось, что он у края разверстой могилы. Что-то тикало, а ведь в квартире — только наручные часы. Ходики настенные остались в памяти, тикание их, они, павлодарские, и отбивали время в московском доме — последние дни, часы и минуты коммунисту Глазычеву Г. В. и, пожалуй, его сыну тоже, Глазычеву В. Г., потому что оставаться в рядах КПСС Вадим не желал, более того, он стремился как можно скорее соскочить с поезда, летящего под откос.

В эту лунную ночь со среды на четверг он вспоминал и продумывал. Он восстановил в памяти разговоры друзей Фаины и вновь мысленно пролистал все те книги, которыми те упивались. Он и Марека вспомнил, тихого и скромного, молчаливого и любившего пиво; он догадался, почему КГБ всех Фаиновых болтунов пощадил, даже на собеседование никого не вызвав, а молчуна Марека упрятал в тюрьму. Опасен был этой партии Марек, тем опасен, что не звал ни к бунту, ни к протестам против чего-то там. «Напрасно вы это все затеваете, — так выразился он однажды. — Все само собой развалится. Мы живем в саморазрушающейся системе, и своим бездействием мы способствуем естественному ходу событий...» Но, возможно, другое слово Марека болезненно ударило по КГБ. Как-то он об Андропове отозвался просто: «Комсомольский выкидыш».

А откуда вообще эти диссиденты в его квартире возникли? Вадим прокрутил обратную неделю и месяцы, вплоть до того дня, когда он у метро «Смоленская» принял Фаину за присланную ему студентку из МАИ. Еще два-три рывка памяти — и вот он, вечер новоселья, когда к нему завалились эти веселые и умные ребята.

24

И весь следующий день, и всю следующую ночь сидел он у еще не вырытой могилы и слышал голоса еще не погребенных людей. Отец вдруг заговорил и сказал то, что не расслышал он там, в конуре на Пресне: «Давно уже замечал: дух еще способен на порывы, а тело уже избегает резких движений...» Внятно произнес, отчетливо, будто никакого инсульта не было. Вадим держал теперь его зубные протезы в другом, предательском, сосуде, специально для них купил за семнадцать рублей расписную китайскую чашку.

Он умирал легко и беззлобно. Глаза стали тяжелыми и опустились на дно глазниц. Зачесались кончики пальцев, стали теревить край простыни. Побелел нос, кончик его заострился. Жизнь еще не ушла, а вонь улетучилась, в квартире даже запахло весенними цветами. Пульс едва прощупывался, Вадим смог все же уловить вздрагивание крови, молящее и скорбящее.

Пятничным утром позвонили с работы, пробубнили что-то о партсобрании. «Я буду!» — сказал Вадим и понял, что голос выдал его, голос заранее приобретал уже не просительные оттенки, а угрожающие, в редакции догадываются, что раскаяния не будет, что паршивая овца не станет умильно блеять. Вадим счастливо заснул, калачиком свернувшись на составленных стульях. Какой-то шум заставил его вскочить на ноги, броситься в большую комнату.

Там было тихо и слышался всего лишь плеск да журчание. Это отец медленно погружался в реку, где нет ни дна, ни течений, ни вихрей, — в реку мертвых, и, готовясь к погружению, отец учился не дышать и не двигаться. Луна светила за окном, хотя, кажется, был день; редкие волосенки на ужавшемся черепе отца шевелились под ветерком из приоткрытого окна. Оставался час-другой до смерти, и пора уже думать о будущем.

Через несколько лет умрет и партия эта, и самое время готовиться к новой могиле и новой эпохе. В нее надо вступать беспартийным, и так

вступать, чтоб беспартийность была заслугой, чтоб она давала ему право выживать, продвигаться вперед, захватывать высоты, до которых ему не дала подняться партия. Не те вершины, у которых толпятся кандидаты наук, а иные, потому что «Тайфун» высоко не унесет, Сидорова уже не найдешь в подручные. Другие вершины манят, те, что сами собой засияют снежными утесами после того, как партия испустит дух. Настанут другие времена, и приблизятся другие берега. Что будет со страной после кончины этой самой КПСС, в которой он доживает, как отец, последние часы? На следующей неделе — партсобрание, его будут выгонять из партии, дружным ревом обвинять... В чем? Да какое ему теперь дело до них!

Итак, что же будет со страной?

Нетрудно догадаться. Эти оракулы и провозвестники будущего, что пили и жрали на его кухне, все сплошь бездельники, среди них и физики, и химики, и биологи, но своими науками они только тогда занимаются, когда ими, науками, можно плюнуть власти в лицо. Интересный народец, сплоченный, нахваливают друг друга, песню сочинили: «Давайте говорить друг другу комплименты...» Один из них хвалился как-то, что он — на привилегированном положении в своем НИИ, на него будто бы нажаловались: вот, мол, есть у нас свой диссидент, что с ним делать. И жалобщику руководство дало совет: вы к диссиденту не придирайтесь, работой не обременяйте, а то завопит на всю Европу об эксплуатации людей при социализме... Да, сущие бездельники и трепачи, но за ними какие-то силы, время от времени на кухне появлялись ребята постарше, поопытнее, без трепача, говорили редко, и то, что они говорили, сейчас Вадим вспоминал и переваривал. Они-то и придут к власти, молчуны эти, и страна, пожалуй, свернет с социалистического пути куда-то в сторону. Партия, это уж точно, будет лишена всех ее прав и полномочий, их передадут другим людям в урезанном виде. На какое-то время заводы и фабрики останутся без какого-либо руководства. Что тогда? Развал. Крах. С которым можно бы справиться, да кто будет справляться? Сплошные митинги начнутся. Слишком долго всем закрывали рты, на улицы не выпускали. Отыграются, с каждого холма произносить речи начнут, громить власть советскую. Но уж троечники будут отираться около новой власти, за своих хлопотать они могут, да еще как. Вот они и позаботятся о Вадиме, когда его вытурят из партии. И дадут ему дорогу в жизнь. Очень им нравятся буржуазные порядки, разные там парламенты, сенаты да палаты. Туда они и Вадима изберут депутатом, в свободный парламент свободного Союза, неизвестно, как будет он называться, но Ирина подскажет, как при царе именовался Верховный Совет. Уж в новом парламенте он наговорится, а говорить он умеет, ему только зажечься на трибуне, ему подай в этом ихнем законодательном собрании женщину посмазливее да с выставленной ножкой — вся страна ахнет. Сущий пустяк требуется: снизить возрастную ценз для народных избранников да достаточный процент молоденьких баб туда сунуть — и ножка найдется, ножка выставится, воспламеняя заслуженного и уважаемого депутата Глазычева.

И евреев надо пожалеть, рассуждал будущий депутат Вадим Глазычев. Пусть массаи отваливают на свою историческую родину, пусть, — тогда больше квартир достанется парням из Павлодара, Усть-Илимска и Качавеево. Снять, к чертовой матери, все ограничения, отменить разные там прописки!.. Ну а эту подлую контору, КГБ то есть, разогнать к такой-то матери! Да и милицию пошерстить.

Что еще в программную речь включить? Про секцию номер сто в ГУМе — обязательно. Но привилегии разные отменять глупо, кому-то всегда надо больше иметь, чем соседу, — это известно по родному городу. Квартирный вопрос?

Вадим задумался надолго. Он громко посмеялся над собой, над своей павлодарской наивностью. Зачем тратить силы и деньги, которых пока бу-

дет мало, на мебель, ковры и прочее, чем он некогда владел в трехкомнатной квартире? Все просто: переехать туда, предварительно сходяв с Ириной в загс. Она — верная подруга, и только сейчас понимается: семья — это не «Кама-сутра», не сто сорок восемь способов интимного общения, а нечто иное, то, что сейчас в Ирине, которая нежна и ласкова со всеми. Ну а чтоб тесть видел в нем спасителя, надо ему, пока не поздно, устроить кислую жизнь, член-корреспондент Академии наук СССР Иван Иванович Лапин обязан пострадать за торжество каких-то новых идей. На академика, короче, надо натравить органы, разных там рушниковых. Иными словами, написать донос. Как раз две недели назад принесена с работы списанная пишущая машинка, жаль стало вполне исправную «Оптиму» выбрасывать на помойку. Теперь она туда и полетит, но предварительно на ней надо отстучать письмо в ЦК КПСС, который пока функционирует.

Текст сложился в голове сам собой. «Дорогие товарищи! Будучи проездом в городе Тукумсе Латвийской ССР, в краеведческом музее я случайно наткнулся на удивительный документ, лежащий под стеклом, а недавно, как я выяснил, отправленный по чьей-то просьбе в архив. Этот документ свидетельствует, что некогда свирепствовавший в Тукумском уезде Латвии крупный кулак Лапиньш Ивар является отцом проникшего в советскую науку и скрывающего свое происхождение Ивана Ивановича Лапина...»

Но эту квартиру он не отдаст! Слишком дорогой ценой она досталась ему. Здесь будет жить Фаина, расставаться с которой он не намерен. И законная супруга возражать не станет, Ирина когда угодно может приезжать сюда, она и его, Вадима, застанет здесь с Фаиной — и словечка не скажет, потому что не какая-то там парикмахерша шататься по квартире будет, а известная ей женщина. Она — как охранный грамота в будущей жизни. И если от законной супруги — Ирины — не будет детей, то появятся они у Фаины. А родит Ирина — Фаина тут как тут, поможет.

И много чего начертил в воображении Вадим Глазычев, расхаживая по квартире и поглядывая на отца, который не умирал, давая сыну возможность обдумывать будущее жите свое.

А заодно и оценить себя.

Вадим глянул в зеркало перед тем, как на него набросят черную ткань.

Он видел стройного, поджарого мужчину, рано поседевшего, сурового, полного сил, способного идти вперед, круша все легкое и обходя все тяжелое, пока неприступное. Перед ним стоял воин, рвущийся на битву, и нет уже в нем ощущения расстегнутости ширинки; он уже не провинциал, не москвич даже, а деятель всероссийского масштаба, и хотя, назад оглядываясь, он видел загаженные дворы и улицы Павлодара, помойные баки Москвы и тазик с дерьмом, что из отца исходило, — несмотря ни на что, он верил, что будущее не ввергнет его в отхожие места.

25

Отец умер в понедельник. Всю субботу и воскресенье Ирина и Фаина обставляли кушетку цветами в горшках и корзинах; у соседа одолжили проигрыватель, и в квартире звучала музыка, подобранная женщинами, — Верди, Бах, Шопен. Все-таки умирала партия, владевшая пока шестой частью планеты и сотнями ядерных зарядов. Пальцы Григория Васильевича перед смертью обрели подвижность и силу, они вцепились воистину мертвой хваткой в руку Вадима, питаюсь минуту или две теплом живого тела. Было это глубокой ночью.

Они обе, Фаина и Ирина, вошли одновременно, звонок в звонок. Они уже поняли, кто будет их хозяином впредь. Они поплакали, захлопотали, приехал агент, потом отца увезли. Вадим бросился с партбилетом отца в райком партии, хотел уплатить взносы — ничего не получилось. Он стал звонить в горком, еще куда-то, пока его не одернула Фаина:

— Опомнись! Ты что, не видишь?.. Им ни мертвые, ни тем более живые уже не нужны...

На три часа назначено было партсобрание, Вадиму советовали: скажи о смерти отца — перенесут судилище.

Он отказался. Не послушался Ирины и Фаины, не стал отмываться и отбивать одеколоном запах кала, мочи и смерти. «Зачем? — пожал он плечами. — На помойку иду».

Собрание уже дважды откладывали, надеясь на то, что коммунист Глазычев согласится признать свои ошибки. Перенести это, на понедельник назначенное, никто не осмелился, никакие слезы не помогли бы: торопил МИД, которому надо было побыстрее оправдаться.

Высоко подняв голову, вошел изгоняемый из партии коммунист Глазычев в зал. И, так же гордо держа голову, покинул его. Закрыл за собой дверь и пошел навстречу светлому будущему.

— Ты мне сломал жизнь! — с гневом сказал ему по телефону земляк и отказался идти на похороны, о чем впоследствии горько, очень горько пожалел.

Зато появился адвокат, тот самый, что раздел когда-то Вадима догола и вышвырнул вон из трехкомнатной квартиры. Подобострастно изогнувшись перед Фаиной, он трепетно поцеловал ей руку; они уединились и долго говорили. О чем — Вадим не спрашивал, знал точно: усопшему не положено покоиться в земле столичной, но где «не положено» — там адвокаты, уверяющие в обратном со всей силой закона. К Кремлевской стене покойного не допустят, путь на Новодевичье преградит милиция, с Ваганьковским тоже сложности, но два квадратных метра земли отыскались на Введенском кладбище, куда не всякого положат.

26

Адвокат оправдал возложенные на него надежды: не только насчет землицы распорядился, но и гроб сколотили по его заказу такой, что туда не постыдился бы лечь участник маёвки 1905 года.

Похороны были пышными и многолюдными. Сбежались все диссиденты столицы, они и несли гроб, почтительно и величаво. Студентки МАИ, числом более сорока, сбились в пеструю кучку и жадно посматривали на Ирину и Фаину, гадая, кто они, из какой аспирантуры. Покойный за время шатаний по стране и болезни много месяцев не платил членских взносов, тем самым сам себя выгнал из партии, чего диссиденты знать не могли. И они считали поэтому, что сын пошел по стопам отца, что покойник при жизни был исключен из партии за порочащее КПСС поведение и активную антисоветскую деятельность. (О чем не преминули отметить зарубежные голоса.)

Устроили поминки. Много незнакомых людей подходили к Вадиму и украдкой пожимали ему руку, благодаря за мужество и принципиальность. Соизволил появиться и сам Иван Иванович Лапин-Лапиньш, тепло обнявший Вадима, вернувшегося в лоно его семьи, и объятие это зачтется академику — и в близком будущем, и отдаленном.

Назавтра Вадим Глазычев переехал в хорошо знакомую ему трехкомнатную квартиру.

Ничто не изменилось в ней. Та же мебель, те же ковры и паласы. Книгами заполнены оба шкафа и полки, ничего уже доставать не надо. «Грюндиг» в стенке, «Розенлев» на кухне. Ирина немного пополнила, но стала чуть выше ростом. Те же бедра работящей латышки, грудь колыхается от волнения, когда голубые глаза смотрят на обретенного наконец мужа. У нее есть деньги, с ними можно пересидеть этот мутный период всевластия тех, кого Фаина называла нигилистами.

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

*

СВЕРЧОК

* *
*

Хорошо, что светится экран,
Что за рифмой бегают курсор,
Как за визой в область южных стран,
Где цикад не умолкает хор,
Перекрикивая океан.

Мой сверчок, ревниво не сверчи.
Это только рифмы да мечты
Оторваться от твоей печи,
От заиндевелой черноты
И от снегом вытканной парчи.

Не окно — Малевича квадрат.
Оттого, мой родненький сверчок,
И строчу о пении цикад.
Впрочем, здесь и ты не новичок
В смысле упований и утрат.

14 сентября 2003.

* *
*

Если что я и знаю о времени наверняка,
Только то, что минута всегда обгоняет века.
И из редких гостей тороплюсь в одиночество: в нем
Кресло ждет своего неподвижного седока,
Ждет тахта своего лежебоку, забытого сном,

Ждет окно созерцателя леса, который пылит
Всей пылью, всей трухой, да и всем, что поет и болит.
Ждет компьютер таинственной правды о нашем житье,
Но все мысли о жизни брезгливо стирает delete,
Так со стойки когда-то стирал чаевые портье.

Впрочем, речь не о львовской гостинице, где я с тобой
 Незаконно жила и была недовольна судьбой,
 Да и речь не о смерти твоей. Так о чем же, о чем?
 То, что вечности было жерлом, нынче стало трубой —
 Ржавый дым из нее пахнет порохом и кирпичом.

27 августа 2003.

* *
 *

Встал над тобою черный гранит,
 Необработан камень с торца.
 Ангел, который меня хранит,
 Обрел черты твоего лица
 В нимбе седого венца.

Голосом, как окисленная медь,
 Он говорит мне: кончай скорбеть,
 Это тебе не к лицу.
 Ты рождена, чтоб любить и петь
 Землю и славу Творцу.

Я ставлю на стол стаканчик винца
 И сыр твой любимый «дор-блю»
 И ангелу, плача, долблю:
 Я буду, молясь, скорбеть без конца,
 Пока ты являешь черты лица,
 Которое я люблю.

28 августа 2003.

* *
 *

Твержу себе: не помни ни о чем!
 И с каждым новоявленным лучом
 Жизнь начинаю с чистого листа,
 Но он настолько тонок и прозрачен,
 Что мне видны и дальние места,
 Над коими твой профиль обозначен, —
 И плачет память за моим плечом.

Забыва я, что память — серафим,
 Что мной ты больше Господа любим,
 Что в этом главная моя вина,
 И я такую памятью казнима,
 В которой и одесская волна
 Вдруг превращается в лохмотья дыма
 И вьется над надгробием твоим.

Седой золой становится арык
 Под деревом, где ели мы шашлык
 В ступенчатом предместье Душанбе,
 И вся зола, похожая на хлопок,
 Стекается на кладбище к тебе,
 Где ты, мой свет, самолюбив и робок,
 Лежишь к корням осиновым впрытк.

Так начинается мой чистый лист.
 О нет, не дым, а дождь осенний мглист,
 Да и не хлопок бел, а снежный наст,
 А профиль твой — лишь солнца подмалевок.
 Но нет, пощады память мне не даст, —
 И по избе, под шорохи полевов,
 Брожу, как обезумевший турист.

3 сентября 2003.

* *
 *

И сидя на месте, не нахожу себе места.
 Пурпур и золото — царственно и скандально
 На фоне мокрого неба цвета асбеста.
 Кто говорит, что обратно пропорционально
 Время пространству, того не срывало с насеста,

Того не несло, как с этих деревьев лохмотья.
 Время летит, но разве листок не время,
 Хоть и летит не по своей охоте?
 Да и моя обувка разве не стремя,
 В особенности при головной ломоте.

Голову ломит от мыслей, что надо вскоре
 Свидетельство предъявлять о твоей кончине
 И прилагать к нему в нотариальной конторе
 Множество справок. Слово бы смерть твоя ныне
 Мероприятие некое, а не горе.

Снова бреду я к могиле с охапкою клена,
 Чтобы на черный гранит положить тебе пурпур.
 Голову ломит и давит асбест небосклона.
 Громко орет ворона в картавый свой рупор
 Что-то про вечный сон. А вечность бессонна.

7 сентября 2003.

* *
 *

Попытаюсь привыкнуть к тому, к чему невозможно привыкнуть:
 В опустелом доме не к щеке, а к подушке приникнуть.

Может быть, птичьи сны в перьевой воскресают набивке,
 Может быть, мне послужат они чем-то вроде прививки

Против тягостных снов, где ты каждую ночь умираешь,
 Пятипалые крылья в надежде ко мне простираешь,

Но ничем не могу я помочь, несмотря на усердь
 Жизнь твою сохранить ну хотя бы ценой своей смерти.

Не способен никто и ни с кем поменяться местами.
 Может быть, птичьи сны под щекой обернутся крестами

Легких звезд. И я птичьи виденья спросонок окликну —
 И к тому, что нет рядом тебя, может быть, и привыкну.

10 сентября 2003.

* *
*

Голову я не могу оторвать от подушки.
Нет никакого внутри и снаружи тепла.
В памяти накипь. А в батареях воздушки.
Не по карману уже мне такие дела.

Память и отопительная система
Вышли из строя. Необходим капремонт.
Ты бы сказал: для виршей подобная тема
Вовсе не мельче, чем всеми воспетый Понт.

Ты бы сказал... и в памяти накипь пробило
Ластом дельфиньим, кипеньем морской воды,
Галькой приморской, где так я тебя любила,
Что отогреть бы смогла подмосковные льды.

Ты бы сказал... И вижу я, как на картине,
Клавиши моря, берушего верхнее до
Наших объятий, цепкие когти глициний,
Мглу в чебуречной и Ласточкино Гнездо.

Ты бы сказал...

16 сентября 2003.

* *
*

Письма пишу умершей своей половине.
Сегодня о том, как сегодняшние деньки
Память затягивает, уподобившись паутине.
Согласись, научили нас многому пауки —

Вязать кружева и рыболовецкие сети,
В электрической лампе связывать волосы
И миры разобщенные связывать в интернете,
Но влезать в паутину всеобщую мне не с руки.

Бьется листва в паутине дождей сентябрьских,
Бьется неровный мой пульс в паутине тоски, —
В памяти, принадлежащей тебе по-рабски, —
Так помнят только младенцы и старики.

25 сентября 2003.

* *
*

Выезды в город мои и случайны, и редки,
Особенно по вечерам. В сердцевине города
Вечерние здания от макияжной подсветки
Выглядят на удивление броско и молодо.

Румянец на стенах, как на ланитах путаны,
Голубоватые тени блестят над глазами оконными,
Зазывалы рекламные — банки, кафе, рестораны —
Пахнут деньгами и сделками полузаконными.

Полузакон — это норма сегодняшней жизни, —
Гладкость фасада с траченной молью изнанкою.
Полузакон — это то, что крепчает в отчизне
Свежеморозным наркозом над ржавую ранкою.

Я возвращаюсь в обитель березок и свалок.
Спрятанной скорби моей выхлопного нет выдоха.
Я возвращаюсь, и мнится: с пучочком фиалок
Ты ожидаешь меня у подземного выхода.

8 сентября 2003.

* *
*

Посредине дворовых галактик
То ли травы, то ль звезды цветут.
Но, однако, мой серый собратик,
На мякине нас не проведут.

Как себя мы сомненьем ни точим,
Дар наш прост, как трава иван-чай,
Дар о жизни сказать между прочим
И о смерти сказать невзначай.

Клюй зерно, и летай, и чирикай!
Только скорби моей не тревожь.
Над моею любовью великой
День встанет, на себя не похож.

9 октября 2003.



БОРИС ЕКИМОВ



РАЛЛИ

Рассказ

Ясным июльским утром в безлюдном степном Задонье объявился вертолет. Точнее — вертолетик: невеликий, хрупкий, прозрачный, похожий на голубую стрекозу. Летел он почти бесшумно, стрекоча словно кузнечик. Летел и летел, никого не тревожа. Оставив позади станицу Сиротинскую, поплыл он вовсе местами глухими, держась степной дороги, на которой лишь суслики порой суетились да грелись степные серые змеи.

Спустившись в долину невеликой речушки Быстрица, дорога стала петлять вместе с речкой. Вертолет летел ровно и невысоко, но, заметив людское жильё — хутор, он и вовсе снизился, почти задевая маковки тополей. И от первого дома, где жила одинокая Надя Горелова, с вертолета стали сыпаться листки белой бумаги; они словно голуби кувыркались и реяли, медленно опускаясь на дорогу, во дворы, на левады, на воду, в которой намокали не вдруг, а уплывали вниз по течению.

Хоть и негромко стрекотал вертолетик, но его кое-кто углядел. Старый Катагаров огород поливал и узрел с неба летящие белые листки. Опешив, он вначале принял их за стаю каких-то птиц, напавших неожиданно, и начал кричать: «Кыш, проклятые! Кыш!» Но потом понял и, голову задрав, увидел улетающую голубую машину. Ему почудилось в ней что-то ненашенское, даже неземное. И потому листки, упавшие прямо к ногам его, он не сразу взял, опасаясь.

А потом в голову пришло реальное. «Выборы... — догадался он. — Либо выборы заходят, вот и листовки... Кандидаты да депутаты...»

Раньше приезжали, собрания собирали. Теперь дорога плохая, кидают с неба. Он поднял с земли листок, близко поднес к глазам, шурился. Нет, вроде не выборами пахло, а другим, не больно понятным.

— Бабка, неси очки! Тут чего-то...

Жена его, старушонка худенькая, бегучая, приказ исполнила, а потом, углядев разбросанные по двору листки, закудаhtала:

— Это что за страсть?.. Откель чего?

Старый Катагаров, очки на нос поместив, прочитал листовку, не вдруг понял, а разобрав, не поверил написанному. Посреди двора уселся он на скамейку, надевал очки, снимал их, хмыкал да чмокал губами, раздумывая. Еще один листок поднял. Там — то же самое. И еще один. Та же песня, точь-в-точь.

Бабка на него глядела-глядела и стала допытываться:

— Чего молчишь? Откель они взялись, эти бумажки?

— С неба, — коротко ответил старик.

— Тьфу! С тобой говорить...

— С неба. Вертолет пролетал и кинул тебе привет.

— Когда прилетал? Я не видала.

— Он в хату должен к тебе влететь? Просвистел — и нету...

— Ну и чего?..

— Да ничего!! Брехни какие-то!! — разозлился старик. Он хоть и прочитал, но ни единому слову не поверил. Какие-то гонки автомобильные, какое-то ралли, просьба освобождать дорогу... Какую дорогу... Чего освобождать?.. Тут и дорог не осталось.

— Какие брехни? — допытывалась старуха, а потом сама догадалась: — Либо выборы? Не будем голосовать!! — постановила она. — Прошлый год обещали раз в месяц привозить товары и обдурили! Абманаты проклятые. Не будем голосовать!!

Старик Катагаров, небольшой, но грузный, сидел посреди двора с листовкой в руках, с очками и не мог ничего сообразить. Старуха рядом кудахтала, пока он ее не укоротил:

— Зась! Бумажки сberi. Пойду к Любане. Может, она чего слыхала. Был бы телефон, в сельсовет бы позвонить... А так... Надо к Любане идти.

Старуха собирала листовки, ругалась:

— Не будем голосовать! Автолавку не присылают. Ни соли, ни керосину, ни спичек... Волки по хутору ходят. Сначала коз да коров, а потом нас поедят. Разорили совхоз! Не будем голосовать!

Таким же трудом, собиранием листовок, занимались в этот час, считай, все хуторские жители, которых, впрочем, по пальцам можно было перечесать. Хутор носил громкое имя Большие Чапуры. Теперь это звучало словно насмешка. Это когда-то, при советской власти, при колхозах-совхозах, Чапуры были и впрямь большими, на две сотни дворов. А нынче — лишь малое селенье в далеком глухом Задонье.

Невеликая речка Быстрица; по берегам ее — густая зелень тополей да верб; и ветхое людское жилье редкой цепочкой тянется по ложбине. Каждый дом от соседнего — за версту. Меж ними — дома и усадьбы пустые, брошенные, а то и вовсе руины, скрытые гущиной задичавших садов.

Крайний, совсем на отшибе, домишко Нади Гореловой — одинокой пенсионерки. У нее, как у всех, — огород, картошка, кур десяток, которых лисы проклятые что ни год половинят, четыре козы да козел — одним словом, домашность, колготы, без которой не проживешь. Надя во дворе возилась, слышала негромкий вертолета звук, но подумала, что это урчит далекая машина. А тут как снег на голову эти листовки посыпались. Надя испугалась, бросилась в хату — прятаться. Потом выглянула: все тихо, спокойно, но белые листки лежат там и здесь. Она с опаской взяла в руки листовку, повертела: бумага приглядная, гладенькая. Печатные буквы крупные, читать легко. Прочитала. Но ничего не поняла. Какую дорогу освободить?.. Какие автомобили?.. Петербург... Новороссийск... А откуда взялись эти листки? Ни ветра, ни тучи нет, ясное небо. Правда, что-то гудело негромкое. Но что? В голове всякое мешалось. И ничего не понять. Либо дорогу грозятся построить... Ее хата мешает. Вот и пишут «освободить». А куда освобождать? Хату не перетянешь, тем более — рухлядь. В конце концов она решила бежать к людям: к Володе Полякову, к Любане. Может, они чего знают.

Листовки, по двору рассеянные, Надя все до единой собрала. Нехорошо глядится: словно разгром какой. Собрала бумажки, передник надела да чистый платок на голову. Все же — в люди идти. И заторопилась. Путь неблизкий: не меньше двух километров до Володи бежать. Максаевых подворье да Калинкиных подворье, деда Парфена, Трофимовых — все жили просторно: сады, левяды немереные. Когда-то жили, теперь ушли. В станицу, в райцентр, а кто и на кладбище. Осталась зеленая пустынь.

А нынче еще эти листки проклятушие лежат, и ветром их несет поперек дороги. Нехорошо все это.

И у двора Володи Полякова такая же картина: там и здесь бумажки белеют.

— Володя! Володя!! — закричала Надя, подойдя к воротам усадьбы.

Ответа не было. А калитка раскрыта настежь.

— Володя... Ты где?!

Опять — молчанье. Хозяин мог и увестись. Он — вольный казак: ни семьи, ни живности. А мог и спать среди бела дня. И тоже не враз его сыщешь.

Поляковское подворье просторное. Глядеть на него без привычки — божий страх: конопля, лебеда да колючий татарник лесом стоят. Там и здесь по двору торчат всякие железяки: тракторная кабина, зубастое полотно травокоски, мотоцикл, желтый «Москвич»-«пирожок», на каком Володя ездил еще при совхозе, бригадиром. Да еще — сараи, старая кухня. И все заросло тернами да дикой травой. Тут целый взвод потеряется — и не сыщешь.

— Володя! Володя! — прокричала Надя и прошла к дому, который был на замке. А рядом на перилах крыльца кошка дремлет, старая Мурка, на всю округу известная, потому что мастью она трехцветная: белые, черные и желтые пятна. Такие кошки, по старому поверью, дому сулят богатство. Вот и стараются люди кошек таких заиметь.

— Где хозяин? — спросила Надя. — Листков полон двор. Может, и не видал?

Мурка лишь глаза приоткрыла, но ничего не ответила, даже мяу.

— Придется к Любане идти, — вслух решила Надя. — Куда же еще.

Кошка продолжила сладкую дрему на солнышке, на солнцепеке, хотя могла бы рассказать о том, как ее хозяин бесился.

— «Мерседес-бенц»!! — орал он. — «Судзуки!» — надрывался. — «Катерпиллер»!..

— Ты понимаешь!! — доказывал он кошке за неимением собеседников. — Вот здесь вот они! Мимо нашего двора поплывут, как на параде. Соображаешь?! Как в кино! Или вроде мы за границей... Поняла! — тряс он бумажным листком, целая стая которых на его дворе опустилась.

Глаза у хозяина горели огнем:

— «Форды»! «Мерседесы»!

Пролетавший над хутором вертолет Володя видел. Слава богу, он не какой-нибудь глухой Катагаров или бестолковая Надя Горелова. Володя в свое время закончил техникум, по нынешнему колледж, работал на всех тракторах, комбайнах, какие в совхозе были, любую машину водил. Он издал вертолет услышал и сразу его признал по звуку. А потом глядел и дивился: ненашенская машина... Наш вертолет — словно ураган: крыши срывает. А этот будто стрекоза легонький, с прозрачной кабиной, видно, спортивный. Даже вертолетчика видать: молодой мужик. Володя рукой ему помахал, приветствуя. Машина прошла низенько, даже старая Мурка ее увидела, голову задрала.

А листовки, какие с вертолета сыпались, — одну из них Володя прямо на лету ухватил. Он проводил вертолетик взглядом: не сядет ли? Но голубая стрекоза, пролетев над хутором, истаяла в синем же небе, уходя влево от речки, к Клетскому грейдеру, к асфальту. Исчезла, словно радужный сон. Володя, вздохнув, сказал Мурке:

— Вот это техника. Ты видала? И больше не увидишь. Спортивный. Нам бы такой... Мы бы...

Он говорил и разом пробежал глазами листовку, одну из многих, сброшенных с вертолета. И ахнул. Стал перечитывать. От волнения руки тряслись и мельтешило в глазах.

Володя сел на ступени крыльца и перечитал медленно и внимательно. Раз и другой. Головой потряс, ущипнул себя. Нет, это был не сон, а счастливая явь. В листовке сообщалось: по этой «трассе», по хуторской дороге, через Сиротинскую, Евлампиевский, Большие Чапуры пройдут международные автомобильные гонки Петербург — Новороссийск, в которых принимают участие Россия, Германия, Франция, Италия, США, Япония. Просьба в этот день не выезжать на машинах, не занимать дорогу.

Вот тут он и заорал от радости, так что Мурка шарханулась прочь.

— «Мерседесы!» «Вольво!» «Катерпиллеры!» Вот здесь вот пройдут, понимаешь! — внушал он кошке, потому что иных слушателей не было. — Вся заграница здесь будет!! Ралли называется!! По-нашему — гонки!

Листовку он прочитал и перечитал. Другие листки по двору собирал: там то же самое. И сразу же со двора подался. К Любане. Куда же еще. Потому что неожиданная радость буквально распирала Володю. Поговорить нужно было, обсудить. Раз в жизни такая удача: вся заграница, вся техника на хутор явится: «катерпиллер», «судзуки»...

С Любаней поговорить. С Пашкой, сыном ее. Пусть он и глуповатый, но молодой мужик. Не с Муркой же толковать...

И убедиться хотелось. Вроде все прочитал, все понял, и вертолет ненашенский не зря пролетал. Но как-то не верилось... А уж Любаня-то точно все знает...

Любаня — она для всех была Любаней: для молодого ли, старого, своего ли, приезжего. За пятьдесят лет к ней никакое прозвище не прилипло, и по батюшке никто не величал. Любаня да Любаня... Бегучая, шумоватая, в просторных халатах да юбках, словно кочан капусты. Прежде срока беззубая, но с молодым румянцем на щеках. При ней — младший сын Пашка, парень молодой, крепкий, но разумом дитя дитем.

Живут они, как говорится, «на бою»: перекресток дорог и кладбище. Ни в хутор, ни из хутора мимо не проедешь. Правда, некому теперь ездить. А вот на кладбище люди бывают: станичные, из райцентра, даже из города. На Троицу ли, на Родительскую субботу, а то и просто по теплomu времени могилки проведать.

Любане такие приезды — праздник: не столько рюмочку выпить, сколь с людьми поговорить, пожалиться: «И подыхать здесь буду! Посеред степи! Как волчица... Работали, работали, а теперь никому не нужны...»

Возле Любаниного двора под большим белокорым осокорем стоят врытый стол и скамейка. Подзакусить, помянуть или просто отдохнуть после долгой дороги, слушая шелест листвы, вдыхая горький степной ветер и глядя на просторную долину, безмолвную и безлюдную, курганами да увалами уходящую в далекую даль, в синеву.

Нынешним днем возле двора Любани кипели страсти. Вертолет, листовки, автомобильное ралли... Вчера подъезжал чеченец Муса, который совхозные остатки на хуторе к рукам прибрал — скотину да ферму. И он подтвердил, что действительно именно по этой дороге пройдут автомобильные гонки, называемые «ралли по бездорожью». Грузовые и легковые машины из многих стран. Это было неожиданно и просто немисливо: глухомань, Большие Чапуры, куда лишь чеченец Муса наезжает раз в неделю, а то и реже. И вдруг — Америка да Германия, Италия, Япония... Прямо здесь, по этой дороге, которая уже травой поросла.

Вот все и сбежались к Любане с листовками в руках. Катагаров, Володя Поляков, за ним — тихая Надя Горелова.

Старик Катагаров — он мудрый, он в прежние годы газету выписывал и на колхозных собраниях шумел. Катагаров все сразу понял и разоблачил:

— Иностранцы едут, значит, поглядеть. Ближний свет нашли, гонки устраивать. Это они едут подглядывать. А как же!.. Такое богатство! Сколь мы зерна намолачивали. До десяти бунтов на току насыпали. А скотины сколь?! Одной овцы до двенадцати тысяч! А гуляк?.. А кони?.. Такое добро не будет валяться. Наши кинули, другие подберут. Для вида, мол, гонки, гонки... А то негде им ездить по белому свету, бензин жечь. Подглядят, разведают — и на кукан! Под чужую власть уйдем!

— Может, тогда автолавка будет ездить, — вставила свое слово Надя Горелова.

— Вы как хотите, а я буду жалиться! — доказывала Любаня. — Начальство обязательно будет! Кинусь прямо на дорогу и по-пожарному зареву:

«Найдите мой стаж! всю жизнь здесь провела! И в доярках, и в свинарках, и на поле, а говорят — стажу мало!»

— Это называется ралли по-международному... «Мерседес-бенц»... — свое гнул Володя Поляков. — Мощнось дуриная... «Катерпиллер»... — втолковывал он Пашке, молодому и глуповатому Любаниному сыну. — «Катерпиллер»... Четыре ведуших... Ты понял?

Пашка соглашался. Он соглашался со всеми. Лет ему было уже под тридцать. На лицо — моложе. Послушный и работящий. Любил музыку, носил с собой маленький приемник. Горевал, когда батарейки садилась. Лишь тогда начинал ругаться с матерью, требовал: «Батареек давай!» А в остальном — золотой парень: за скотиной ходил, огородом занимался, сеном, дровами. И все это в охотку, по-молодому, подгонять не надо. С малых лет такой.

И теперь он улыбался, радуясь людям. И старому задышливому Катагару, который грозил: «Поглядят — и все скупят!», и Володе Полякову, толкующему про «мерседесы». Пашка всех слушал, но, издали заметив хромого Дорофеича, который выше по речке жил и далеко вато, — заметив старика, Пашка устремился ему навстречу с вопросом:

— А Рая где? Почему Рая не пришла?

— Скотину она пасет. Чего она бегать по хутору будет? — не больно ласково ответил ему старик.

— У меня музыка играет, — похвастался Пашка, включая на полную громкость висящий на груди приемничек. — Батарейки Муса привез.

— Вот и пляши... — ответил старик, вовсе не радуясь Пашкиному вниманию.

У него жила молодая внучка, которую пришлось забрать из города, из непутевой сыновьей семьи. Третий год жила, кормилась, помогала в делах. Но дальше-то что — без школы, без людей? А в городе, у сына, — вовсе грех.

Отмахнувшись от Пашкиного внимания, Дорофеич к народу подошел, спросил, белую листовку показывая:

— Взаправду, что ль? Или чего напутляли?

Ответили ему хором:

— Ралли! Гонки по-нашему!

— Вот так-то вот: по-над речкой, а потом на гору, на шлях. И с тем до свиданья.

— Из шестнадцати стран! Грузовые и легковые! Со всего мира, считай!

Дорофеич поверил, снял матерчатую кепчонку, потную лысину вытер, спросил:

— Ну а нам-то чего?

— Глядеть будем! Раз в жизни такое! — объяснил Володя Поляков. — Международные.

— Глядеть можно и в телевизоре, — остудил его Дорофеич и предложил дельное: — Может, пуховые платки вынести? У бабки два готовых. Или рыбки вяленой? Молочка.

Народ смолк, озадаченный таким поворотом мысли.

— Ты чего?! — первым опомнился Володя Поляков. — Международное ралли! Со всех стран! А ты им платки да рыбу...

— Живые люди, — объяснил Дорофеич. — Тоже есть-пить хотят.

— А то у них нет харчей. Там запасов. Все приготовлено.

— Эти запасы, консервы. День-другой — и обрыднет. А тут свеженькое. Ты в Калаче мост проезжал? — перешел Дорофеич в наступ. — Ты видал там? Там машин... Тоже со всего света. Едут и едут. И тоже не из годоводных краев. А все останавливаются, покупают. Пирожки да котлеты. Рыба жареная да запеченная. Молочное. Всего много. Вот и нам надо вынести.

Дорофеич толковать долго не любил. Может, потому, что и в прежние времена жил на отшибе. Да и чего толковать: приедут машины, а там — каждому своя воля. В ладоши хлопать или копейку добыть.

Недолго побыв возле людей, Дорофеич распрощался: «Пойду, там бабы одни». И захромал восвояси. Ему далеко шагать, тем более — нога калеченая. А еще беда: прошлой осенью у Дорофеича угнали десять голов скота — быков да телок. Он их растил-растил... Последняя была надежда: разом продать скотину и в станице домишко купить. Самим с бабкой спокойно дожить, а главное, внучку Раю определить поближе к людям. Ей еще жить да жить.

Но украли скотину, концов не найти. Теперь вокруг не хутора казачьи — аулы, чеченские да иные. Скотину угнали, последняя надежда рухнула. Будешь тут разговорчивым.

Дорофеич ушел, галда обрзалась.

— Вечно удумает, смысленый... — проговорил вослед старый Катагаров, не то осуждая, не то завидуя, и тоже подался к дому, к бабке своей, потому что один ум — хорошо, а два — лучше. Может, и впрямь...

— Пойду и я, — сказала Надя Горелова. — Кабы лиса не нашкодила, так и зырит... Это, значит, не завтра, а на тот день, — уточнила она, — в обедах. Чего же поднести?.. Дынки такие сладкие.

Но время еще было думать.

— Пошли, соседка, — решил и Володя Поляков. Его хозяйство к дому не призывало. И на торг нечего выносить. Разве что кошку Мурку? И получалось как-то неловко: все выйдут с делом, люди как люди, а он — вроде пришей-пристебай. Не нравилось ему это.

Шли той самой дорогой, единственной, какая тянулась вдоль хутора. Когда-то по ней ездили. А нынче колеи заросли муравой. Как-то не верилось, что скоро по этой дороге заревут и помчатся машины, тем более из других стран.

Полуденная тишь, густая, уже годами настоящая, вязкая, в которой гложет звук, никого не тревожа. Серая большая змея-желтопуз греется на дорожной меловой проплешине. Щекастый суслик, лениво кидая задом, держит свой путь от кормежки в прохладную нору. Летний день.

Надя Горелова думает вслух, ища у соседа поддержки: «Ячеч ведро набрала... Картошка такая рассыпчатая... Малосольные огурчики есть. С картошкой разве не хорошо?.. Пирожков можно напечь, с морковкой, с капустой...»

Она словно оправдывается, вздыхая: «Какие из нас торгаши...» Но теплится в душе: «Может, и впрямь чего купят?»

Дело не в жадности, в жизни: пенсия невеликая, а куда ни кинь — деньги... От хлеба печеного давно отвыкли. Вместо него — пышки. Мука нужна. Пшено для каши, постное масло, мыло... Свое пробовали варить, но уж больно вонючее. И голым-босым не будешь ходить. А магазины далеко. Машину нанять — пятьсот рублей. Чуть не вся пенсия.

Володя Поляков остался у своего двора несколько озадаченный. Этот черт хромой, Дорофеич, подпортил праздник. Теперь засуматошатся, целый базар устроят вместо того, чтобы получше все разглядеть да запомнить. Раз в жизни такая удача бывает: вся заграница прибудет, все марки машин. А они со своими платками да картошкой с огурчиками.

Володя вздохнул, вспомнив, как завлекательно соседка Надя о картошке говорила: рассыпчатая, сахарная да еще с малосольными огурцами. Слюнки потекли.

Вспомнилась мать. Хорошо с нею жили. Он работал в совхозе, неплохо зарабатывал. А мать — по дому да в огороде. Придешь, на столе — щи горячие, картошка с мясом. Уток держали, кур, свиней, корову... Все было: бельишко стираное и поглаженное, в доме, во дворе порядок. С матерью было хорошо, хоть и ругалась она порой. А схоронили ее — и всему конец. Бестолково женился. Совхоз рухнул, жена куда-то испарилась. До пенсии еще далеко. Работы на хуторе нет, лишь у чечена Мусы, за скотиной глядеть. Но Муса не платит. Водки, да сигарет привезет, да затхло

пшена и говорит: «В расчете». Летом хоть тепло и можно рыбы наловить, наняться сено косить к людям приедем. А зимой — худо. Телевизора нет. Еда — лишь пшено. Про зиму и думать не хотелось.

День стоял солнечный, знойный. Возле хаты, в тени, на старой кровати с матрацем Володя прилег, задремал и заснул. Приснилась ему сначала мать, а потом работа, спешный ремонт: комбайн он налаживает, а потом трактор «Кировец».

А потом ему привиделся послезавтрашний день: международное ралли, машина за машиной летят. И вдруг, как раз возле Володиного двора, одна из машин остановилась, поломка. А Володя Поляков тут как тут: инструмент у него, а главное — ловкость. Раз-два — и снова машина завелась. И вот уже его с собой забирают, механиком. Он, в синем комбинезоне и белой рубашке, на красном джипе летит с надписью «Техпомощь».

Проснувшись, Володя подумал: «А сон, может, и в руку?.. Вполне возможно...» И засуматошился, собирая в одну кучу ключи всех размеров, рожковые, накидные, напильники, молотки да зубила, гайки да болты, шайбы, прокладки — словом, все, что может понадобиться при срочном ремонте. Ручная тележка у него была на ходу. Не на себе же тягать все эти железяки. Получилось удобно и аккуратно, только что мотора нет и надписи «Техпомощь».

Захотелось погордиться, похвалиться, просто рассказать. Бывало, мать его слушала, делами интересуясь и одобряя: «Головочка у тебя золотая и руки делучие, только вот...» Но последнее о другом.

А нынче лишь с кошкой беседуй. Володя решил проверить сетчатку, может, попало что, а заодно и к соседке Наде зайти, рассказать о своей придумке.

— Вот и правильно, — одобрила Надя. — На случай... Мало ли чего... Сломается — ты рядом, под рукой.

Домик у Нади невеликий, дворик малый, но чистенький, прибранный. Даже цветы росли, «зорька», которые белого дня не любят и раскрывают пахучие свои граммофончики лишь в ночную пору — от вечерней зари до позднего утра. Но сейчас был день. Зато сладко пахло во дворе свежим борщом, только что сваренным. Хозяйка предложила:

— Пообедай. Горяченького похлебай...

Отказаться Володя не мог, слюнки глотая.

Борщ еще допевал в белой кастрюле, прикрытый полотенцем, на низенькой дворовой печке-«горнушке». Когда-то при совхозе готовили на газовых плитах, а ныне — к «горнушкам» вернулись, к дровам да кизьякам. Баллоны с газом далеко, да и стоят они теперь дорого, не подступишься. Лепешки ли, пышки, которые хлебу замена, тоже на «горнушках» приновились печь.

Хорошие Надя пышки пекла, высокие, мягкие. Крошенные огурцы с помидорами, луком плавилась в желтом горчичном масле. А уж свежий пахучий борщ с чесночком для Володи был праздником в его не сильно трудовой жизни.

Для Нади накормить мужика разве трудно?.. Тем более, что в ее одинокой жизни всякий гость — радость. Это прежде была семья да работа, соседи. Тракторы гудят, машины мыкаются, громяют телеги, людской говор, голоса ребячьи, их далеко слышать, коровий мык да собачий лай. Все это — в прошлом.

А нынче встанешь — одна и заснешь — одна; за день ни людского голоса, ни гула машинного не услышишь, словно в могиле.

На неделе приходила волчица, по светлому, лишь за вечерело. Пришла и зарезала комолую молодую козочку прямо у двора. Надя и кричала на нее, и палкой махала. А проку?.. Волчица распоролла брюхо козе, заглотила все сладкое: печенку, сердце, легкое — и тогда лишь ушла. Вот и живи...

Володя борщ хлебал с мягкой пышкой и успевал о завтрашнем говорить:

— А может, им понравится и они начнут сюда ездить? Тогда мы заживем...

— Может, и так, — соглашалась Надя.

— Даже базу здесь можно устроить. Тренируйся и живи. Тогда обслуживающий персонал понадобится. Это не то что Муса... «Висе мое, я висе выкупил, — передразнил он чечена. — Зэмля, скотина и рэ-эчка». Даже речку он, видите ли, купил. А мы всю жизнь прожили и всю жизнь в совхозе проработали. А теперь вроде лишние. Бесплатно работай на нового хозяина.

— Уж такой нахальный, — поддержала Надя. — Не дай бог...

— Речкой завладал... А я ловил рыбу и буду ловить. И никто не запретит. Если в сетке будет красноперка, серушка, то лучше, наверно, пожарить, — о завтрашнем вспомнил Володя. — Им жареная лучше, они же на машинах.

— Конечно. Принеси, я пожарю.

— И раков надо попытать, ночью, со светом. У моста раков по двести рублей за ведро, с руками отрывают.

— Раки — это хорошо, — одобрила Надя. — Городские их любят. А вот я в рот не беру, гребаю. Говорят, что они дохлину сосут: скотину ли, человека, какие потонут.

— Это все брехни... — возразил Володя.

— Может, и брехни, а я вот услышала когда-то и с тех пор их в рот не беру...

Глядя, как истово хлебает сосед, с пышкой вприкуску, Надя позавидовала и себе налила миску борща, поела в охотку, за компанию.

А потом сказала, углядев:

— Ты бы принес рубахи свои да штаны, я бы прокрутила в стиралке. Все же гости приедут, — усмехнулась она.

Володя смутился, начал отказываться:

— Да у меня есть чистое... В сундуке... Это вроде рабочее...

Он отказался, но как-то разом увидел себя будто со стороны: грязная рубашка с закоженелым воротом, недельная щетина, уже с сединой, разбитые опорки на босу ногу.

Вернувшись к себе во двор, Володя устроил день банный, добро что летняя душевая еще не рухнула, хоть и покосилась.

Он помылся и, облачась в чистую одежду, даже съездил на велосипеде к старому Катагару, который имел парикмахерскую машинку, ножницы и кое-какой навык.

Нужно было готовиться. Гости приедут, со всех стран.

Вот и готовились всяк по-своему.

И в день обещанный, поутру, на хуторе Большие Чапуры, торопясь, заканчивали последнее. Володя Поляков раков варил, запуская их в бурлящий, сдобренный укропом и солью кипяток. Надя Горелова жарила красноперок на легком духу до розовой аппетитной корочки. А еще пышки пекли, тоже на воле, варили картошку.

По ложбине, по речке, над водой, по всему хутору стелился ли, плыв кисловатый печной дым, дух пресного хлеба, острый укропный да рыбной, с луком, поджарки.

Тот же погожий день просыпался на всем Придонье. С утренним холодком, с легким туманом ли, паром над заводами и озерами, с пеньем жаворонков.

Но лишь поднялось над займищным лесом красное солнце, от станицы Старогригорьевской стала накатывать с ревом и гулом чужая сила.

Первым неслышно скользил над степью голубой вертолетик. Легкая тень его бежала по склонам курганов да балок, никого не тревожа.

Но следом, чуть приотстав, валом катилась по земле белая пыль, словно при степном буране. Там рев и рокот многих моторов. Разноголосый истошный хор для здешних мест непривычен и потому страшен. Он приближается, накрывая округу. Глубже забиваются в норы осторожные лисы, корсаки да тушканы — земляные зайцы. Старая хромая волчица загоняет подросших головастых волчат в темное логово.

Катит рев по земле. В пыльном облаке, догоняя, а порой обгоняя друг друга, мчатся могучие грузовики, приземистые, словно жуки, вездеходы, юркие мотоциклы. Ревущую армаду прикрывают сверху, добавляя страху, два армейских вертолета, пугая видом и гулом сторожкую степную птицу.

Грохот. Рев, бензиновая гарь, смешанная с едкой глинистой да меловой пылью, — словом, света конец.

Это — автомобильные гонки, которые, с недолгими передышками, держат путь через всю страну, от Балтийского моря к Черному. Международное ралли, специальное — по бездорожью, чтобы надежность машин проверить да нервы пощекотать. Словом, гонки.

Уже недалек один из промежуточных финишей, он возле малого районного центра с длинным именем Калач-на-Дону. Там будет короткий отдых, ночевка. Там уже который день местные власти готовятся к встрече, чтобы все было как положено в случаях торжественных: приветствия, хлеб-соль, памятные подарки, концерт казачьего донского хора со свистом и приплясом. Но впереди еще Сиротинская, Евлампиевский, Большие Чапуры, Голубинская станица.

К Большим Чапурам гонка подошла уже за полдень. А на хуторе ее ожидали раньше. Володя Поляков, боясь опоздать, первым прикатил со своей тележкой; за ним — старый Катагаров вдвоем с бабкою. Надя Горелова подошла. Стали ждать.

Товары свои не открывали, поставив рядом укутанные да увязанные ведра, плетеные корзины, кастрюли. Но чуялось жареное да пареное, щечка нюх.

Расселись возле Любаниного двора: кто за столом, в тени, а кто и на солнышке, кости погреть. Хозяйка вышла из дома и, оглядев, похвалила:

— Чисто Первомай или Октябрьский. Начапурились — и не угадаешь. Откель такие красивые? Либо из города?

— Тутюшние мы, — отозвался Катагаров. — Дюже не боись.

Прибежали ребятишки своего, хуторского, чеченца Хамзата — Ахмет, Зарина и даже старший, уже подросток, Али.

Последним прибыл хромой Дорофеич, тоже не один, а с внучкой Раей, взрослой уже девушкой, с крашеными губками. Любанин сын Пашка тут же закружился рядом, включив приемник:

— Музыка у меня, Рая, музыка...

Пашка нынче был, как говорится, при параде: джинсы, белые кроссовки, яркая рубаша, чисто выбритый, с душистым ароматом. Жених женихом.

Гостей ждали долго, начиная покой терять:

— Может, заблудились?

— У них — карты! И вертолет впереди летит.

— А может, ушли напрямую, через Найденов хутор?

— Обозначен маршрут, — успокаивал Володя Поляков. — Значит, обязаны быть!

Ждали долго. А окончилось все очень скоро.

Прострекотал маленький вертолет низко над хутором и ушел.

— Будут! Приедут сейчас!

Засуматошились и потащили свои корзины да ведра к дороге, раскрывая и разворачивая каждый свое. И вот уже стояли рядком запотевшие банки квашеного молока и топленого, с коричневой пенкой, свежий каймак, а рядом — высокие белые пышки, поджаристые пирожки, плетеные

корзины с яблоками и грушами, свежие яички, огурчики, помидоры... Не хуже, чем на станичном базаре...

Тяжелые пятнистые вертолеты прошли низко, оставляя за собой пыльный мусорный вихрь.

И понеслись друг за дружкой с ревом машины, словно из мешка.

Одна проревет; чуть стихнет, а вослед — другая. Ярко, диковинно разрисованные, с чужими буквами, каких не прочтешь. Грузовые и легковые и дурум оружие мотоциклы.

— «Мицубиси»! — кричал Володя Поляков. — «Катерпиллер»! Канадский «мэн»!

Ревели моторы.

Визжали чеченские ребяташки, а их сестренка, испугавшись, заплакала. Любаня ее на руки взяла, отойдя в сторону. «Не бойсь, моя хорошая. Не плачь, ну их к черту с такими гонками и с такой торговлей...»

О торговле и речи не могло быть. Машины пролетали, даже не при- тормаживая.

— Наш «КамАЗ»! — кричал Володя. — А это «вольво» немецкий! «Судзуки»! Голову наотрез!!

Но, слава богу, все кончилось. Последними проскочили две легковые, вроде наши гаишники. Прогудели, мелькнули на бугре — и нет их.

Такая тишина разом легла, что уши заложило. Играла тихая музыка, приемник Пашкин. И все.

— Вот это гонка! — восторженно ахал Володя Поляков. — Ралли так ралли!

— Пропади оно... — ругался Катагаров, обтряхивая пыль. — Бабка моя живая? — искал он глазами старуху. — Слава богу, не увезли... Дорофеич... — позвал он ехидно. — Купец Иголкин, не стоптали тебя?.. Как барыш? — И рассмеялся, закашлявшись.

Дорофеич лишь сокрушенно в затылке чесал.

Собирали свои котомки, укладывались, вздыхая. Как всегда, вовремя сообразив, зашумела Любаня:

— По домам, что ли?! Как тараканы?! Стыду! Сроду раз собрались — и на побег? Правда, что дикими стали. Быстрее в нурё! А то не успеем! Паша! Неси стаканы да бутылку, на печке стоит, в домах. Садись, Катагаровна, сто лет тебя на лицо не видала. Сколь новостей! И ничего доброго. Тебе хоть пожалюсь, родная... Тем более нынче праздник престольный. Какой? Грешная Любаня. Поляк мне серушек да красноперок наловил. Дай тебя поцалую, моя сирота. Садитесь, родные. Поглядим друг на дружки, пока живые... Вон рукомойник. Обмойтесь, кого дюже припылили. Паша! Неси со двора большую скамейку!

После таких речей не уйдешь. Да ведь и впрямь прежде в магазине встречались, потом у автолавки. А нынче лишь смерть собирала.

Расселись. Дощатый стол, словно майский луг, расцвел помидорной да яблочной аlostью, белизной вареной картошки да яичек, солнечной желтизной каймака.

Чеченских ребяташек угостили пирожками да вареными раками, они умчались, довольные.

А за столом выпили по рюмке и заговорили о гонках.

— Мне один помахал, — похвалилась Любаня. — Чернявый такой, зубатенький...

— Ты сроду цыганов любила... — припомнил ей былые грехи Катагаров. Любаня лишь вздохнула.

— Наш «КамАЗ» может всех победить, — доказывал Володя Поляков. — Это особая сборка, каждый болтик проверенный.

— Сколь техники... — сокрушенно качал головой Дорофеич. — Без дела мыкаются. А нам муки не на чем привезть. Ездили бы и попутно по хуторам товары возили.

— Керосину, кричи, надо...

— И керосин можно привезть. Такая мочь, а гоняют порожняком.

Но скоро про гонки забыли. Что в них? Просвистели — и нету. Чужое.

— Помните, как при совхозе гуляли? На Майские праздники, на Октябрьские.

Любаня дишканила:

— А праздник урожая? На току столы ставили, в клубе не умещались. Сколь же было народу?..

Начинали считать — и сбивались. Вспоминали уехавших и в иной мир ушедших. Сколько их... Целый хутор ушел, оставив после себя это тесное застолье. Куда ушел? И зачем?

Ой да сон мой милай,
Сон счастливый!
Ой, воротися, сон, назад!

Пели как в годы старинные. И горько было до слез, и тепло на душе.

Лишь молодым, Пашке да внучке Дорофеича, Рае, о прошлом не было нужды вспоминать. Они жили нынешним, сидя рядом и слушая музыку.

— А ты любишь Земфиру?

— Люблю.

— А я еще Алсу люблю. Она хорошая. Я три песни ее выучила, — похвалилась Рая и запела.

Голосок ее звучал негромко, да еще люди мешали. Пришлось молодым уйти от застолья.

Дорофеич заметил уход внучки, но не стал ее трогать. Молодая... Пашка хоть и с глупцой, но парень спокойный, работающий. Где другого возьмешь?.. Разве лучше, если сманят девку какие-нибудь абреки? Побалуют — и бросят. Сколько таких случаев...

Каким ты был, таким остался,
Казак донской, казак лихой!
Зачем, зачем ты повстречался,
Зачем нарушил мой покой!

Сидели долго и ладно, нехотя разошлись лишь к делам вечерним, которых не отставишь в хуторском быту.

И прощались долго, понимая, что такая встреча будет теперь не скоро. Пашка провожал Дорофеича с Раей, веселя их музыкой. А Надя Горелова с Володей Поляковым поднялись от застолья вместе и, миновав поляковскую усадьбу, дальше пошли. Такой уж выдался день, сердцу милый, отогрелась душа. И зачем ей стыть в одиночестве, тем более что зима впереди. Заметет, занесет, не то что людей, света божьего не увидишь до самой весны.

Теперь еще было лето — жаркий день, а потом — долгий вечер. Но в долине, где речка текла и лежал хутор, темнело быстро. На окружающих холмах да курганах долго светит вечерняя заря, разливаясь по небу алым да розовым. Внизу зелень приречной уремы быстро темнеет; клубятся и густеют сумерки; и прежде вечерней звезды пробивается неяркий светляк лампы или багровый зрак открытого зева дворовой печурки, на которой греется ужин, а после будет долго, до красноватой пенки, томиться молоко в круглом казане.

Неспешный степной ветер на высоте курганов даже в пору вечернюю свежее, понижывает, а потом замирает в тихой долине, словно боясь погасить тихие огни и развеять по миру запах кизячного дыма, теплого молока, хлебного печева.



ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ

*

ТОРОПЛИВЫЕ СНЫ

* *
*

Огнедышащая оттепель
Плавит ледяные сны.
Ах, Вертинский, ничего теперь
Нам не жаль: ни белизны,

Обнимавшей ветки серые,
Прижимавшейся к щеке,
Ни пурги, что просо сеяла,
Прораставшее в руке.

Под небесною коростою
Пролетает, мельтеша,
Снега, тающего в воздухе,
Нерожденная душа.

* *
*

Я хочу сказать, что кожа твоя смугла
И без солнца, — мой рот заливает мгла,
Будто день потух:
А на самом деле ты замыкаешь слух,
И слова, вздохнув, поворачивают обратно,
Как прозрачные тени, когда пропоет петух.
Задыхаясь, летит над пропастью птица Рух,
Чтобы не рухнуть, — сключает седока, и ладно.
Из лабиринта выведет Ариадна
Старца — вместо кудрей — тополиный пух:
Время сбивается с мысли, считает мух
И на месте кружится многократно.
Я хочу сказать, как губы твои темны,
Как на плече твоём торопливы сны,
Как прильнула бабочка к занавеске,
Как по белым обоям стекает свет,
Обнаженный сдвоенный силуэт
Уподобив фреске.

Я хочу сказать — но не слышишь, нет,
 И слова срываются, словно с лески
 Рыбы — падая снова в пруд,
 Где к зиме замерзнут они, умрут,
 По себе оставив круги и всплески:
 Если речь к тебе не обращена,
 То она, конечно, обречена.
 Ты глядишь на часы и садишься резко.

* *
 *

Снег умер и воскрес —
 И прямо в сердце мне
 Спускается с небес
 В холодной тишине

Ольховый ствол кривой,
 Увечных трав мятеж —
 Прозрели от его
 Блистающих одежд.

И за его спиной
 Прохожие идут —
 Не то в ларек пивной,
 Не то на Страшный Суд.

* *
 *

Раз слова виновны — значит, они уйдут
 В изгнание. Ты произвел свой суд —
 И они потянулись растерянной вереницей,
 Словно пленники в Вавилон.
 Хоть бы напиться и погрузиться в сон,
 Чтоб не видать их лиц, не шептать имен,
 Но не берет алкоголь, не спится.
 Слова уходят. Вышел их провожать туман,
 Звезды высыпали, у обочин
 Столпились травы, причитания по кустам
 Побежали, негромко, впрочем.
 Слова уходят, не поднимая взор
 От стыда, — конечно, один раздор
 От них — и поделом изгоям.
 Они, как дым, рассеются до утра,
 Не потревожив ни твоего шатра,
 Ни домочадцев, не погасив костра, —
 Можешь быть спокоен.

* *
 *

Скрещены кости проспектов — белым-белы,
 Ветром обглоданы, бешеным, словно волк,
 Серые крыши — зубья тупой пилы —
 В сердце врезаются. Выпьем — а будет толк

Или не будет, сможет ли алкоголь
 Перенести через огненную реку,
 Став ковром-самолетом, — и через боль,
 Скорость развив, — сказать тебе не могу.

Быстро откупорив тайную дверь, — глоток
 Выпьем, пока не заметила нас сама
 Старая ведьма, мотающая клубок
 Пухлого снега в темном углу, — зима.

* *
 *

Здесь, у берега пустого
 С хриплым лесом на краю,
 Все, что я имею, — слово —
 Слышишь, Боже, — отдаю:

Лишь бы тот, кто стал мне светом,
 Жизнью, обмороком, тьмой,
 Ничего не знал об этом,
 Тихо говорил со мной,

Лишь бы плоть его живая
 Проросла во мне зерном,
 Лишь бы я, земля сырая,
 Стала хлебом и вином.

* *
 *

Благословенны, Господи, Твои луга,
 Даже с сеном, загубленным на корню,
 Благословенны отвесные берега
 Оредежа, закованные в глиняную броню,
 С купальщиками в ледяной воде.
 Благословенны монотонные, как стихи,
 Тополя у дороги, старик с соломиной в бороде,
 Благословенны, Господи, Твои лопухи,
 Прихотливыми храмами стоящие вдоль шоссе,
 Желтая пижма, седая крапива, чужой сад
 За новым забором, благословенны все
 Слова, что нам любимые говорят,
 Даже когда, говоря, убивают нас.
 Благословенна, Господи, ветреная заря,
 Несмотря на слезы, льющиеся из глаз,
 Или скорее благодаря.



ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ

*

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

Святочный рассказ № 13

Беседка в дальнем парке освещалась лучами заходящего солнца. Незнакомец вышел на середину и стал плясать:

— Кадоним-элохим, гадор-хадор шелдоним.

Под его грузным телом прогибались доски пола. Запахло несвежими носками.

— Калтонай-малтонай, ширин, вырин, мардехай.

Маленький Розанов смотрел на сумасшедшего вытаращив глаза.

— Ты тоже танцуй, — сказал незнакомец.

— Не буду, — испуганно сглотнул рыжий мальчик.

— Не будешь? — зловеще улыбнулся бородач. — А вот мы тебе лекарство. — Он вытащил из кармана пузырек водки, нацедил столовую ложку: — Пей, мальчик.

— Не буду, — сжал зубы Вася.

Незнакомец одной рукой ловко сдвинул щеки гимназиста, а другой влил водку. Розанов закашлялся. Незнакомец тем же манером влил еще ложку. Внезапно Васе стало тепло и легко. Незнакомец взял его за руки, вывел на середину беседки.

— Кадоним-элохим...

Розанов стал в такт подпрыгивать, потом кружиться. Его партнер качал свастикой согнутых локтей: кадоним-элохим; бил в ладоши под задранными ногами: гадор-хадор шелдоним. Розанов прохаживался уточкой, махал белым платочком. Потом пошли вприсядку, парой, скрестив руки на груди: калтонай-малтонай, ширин, вырин, мардехай.

Таким манером танцевали долго, по-разному. Наконец Розанов в изнеможении рухнул на скамейку. Солнце закатилось за горизонт. Разгоряченное лицо мальчика овеяла вечерняя прохлада. Откуда-то появились комары.

— Приходи завтра в это же время. Потанцуем. А теперь беги домой, уже поздно.

Вася молча кивнул головой и побежал.

Завтра он танцевал снова, через два дня пришел опять. Спустя некоторое время учитель перестал давать водку, она уже была не нужна.

Однажды бородач пришел к беседке с маленькой некрасивой девочкой:

— Вот, Вася, познакомься, это моя дочка, Сапфира.

Сапфира сделала книксен и спросила:

— Мальчик, что у тебя в сумке?

Дмитрий Евгеньевич Галковский родился в 1960 году в Москве. Окончил МГУ. Автор философского романа «Бесконечный тупик» (М., 1997), статей, рассказов, пьес. Составитель антологии советской поэзии «Уткоречь» (Псков, 2002). Лауреат литературной премии «Антибукер» за 1997 год (от премии отказался). В 1996 — 1997 годах издавал журнал «Разбитый компас» (вышли три выпуска). Сайт Дмитрия Галковского: www.samisdat.com В «Новом мире» печатались обширные фрагменты «Бесконечного тупика» (1992, № 9, 11), статья «Поэзия советская» (1992, № 5) и сценарий фильма «Друг Утят» (2002, № 8). О «Бесконечном тупике» см. новомирскую рецензию Татьяны Касаткиной (1997, № 10). Святочные рассказы печатались в 2001 — 2003 гг. в «Литературной газете», «Независимой газете», «Дне литературы», в газете «Консерватор».

Вася солидно объяснил, что это не сумка, а ранец. В ранце лежат учебники, по которым он учится в гимназии. Девочка попросила учебники показать и, пока Вася с папой танцевал, начала их разглядывать. В этот вечер танцевали немного, около часа. Когда танцы закончились, Вася хотел положить учебники в ранец, но Сапфира прижала стопку книжек к груди и стала противно хныкать.

Незнакомец предложил оставить учебники девочке. Маленький гимназист ушам своим не поверил:

— Как же я буду учиться?! Ведь это учебники!

— Хм. А ты, оказывается, жадный.

— Я жадный? Я совсем не жадный. Просто вы не понимаете. Это казенное. Мне учиться надо. Меня накажут.

Вася дернул учебники из рук Сапфиры. Пара книжек шлепнулась на землю. Сапфира заплакала во весь голос.

— Стыдно, Василий, обижать даму... Ну что тебе стоит. — Бархатный голос незнакомца был очень убедителен. На Васину голову легла теплая тяжелая ладонь. — Ну же.

— Хорошо. Я подумаю... Может, что-то можно будет отдать.

— Вот и хорошо, Вася. А пока книжки пусть останутся у Сапфиры. Ладно? И ранец оставь, а то нести книги неудобно. Если завтра захочешь танцевать, приходи ближе к вечеру.

Так совершенно неожиданно и против воли симбирский второклассник лишился всех своих книг.

На следующий день Василий проснулся в ужасе. Как так получилось? Что я наделал! И арифметика, и история, и чистописание. А греческий? В гимназию идти нельзя.

Мальчик с трудом дождался условленного часа, бросился к беседке.

Бородач, сидя на скамейке, надевал танцевальные ботинки.

— Господин, — Вася вдруг понял, что не знает даже имени своего учителя, — господин, дайте мне, пожалуйста, мои учебники.

Бородач, сделав вид, что не расслышал, продолжил возиться с ботинками.

— Дяденька, миленький, ну пожалуйста. Господи, меня же из гимназии выгонят.

Вася встал на колени.

— А ты, батенька мой, подлец. Бери свой учебник. — Незнакомец вытащил из кармана и швырнул учебник греческого языка. — И чтоб я тебя больше не видел.

Греческий в гимназии преподавал болгарский грек Димитропуло. Порусски Димитропуло говорил плохо, первый урок начал так:

— Знаете, дети, как мы, греки, называем людей, которые знают греческий язык? Таких людей мы называем счастливыми.

К шестому классу в организме Розанова произошли некоторые весьма неожиданные изменения. Новость под большим секретом была рассказана в гимназической уборной Губе — второгоднику Ваньке Губину. Губин солидно принял сказанное к сведению и на следующий день принес в класс немецкую педиатрическую энциклопедию. Выложил толстенный том на парту, небрежно процедил:

— Посмотри статью «Онанизмус».

Вечером в лунном свете Вася тайком читал теряющийся готический шрифтом. Волосы вставали дыбом: «От напряжения резко прогрессирует близорукость... никогда не оставлять детей одних... нередки случаи устойчивого слабоумия... привязывать к краям кровати руки бинтами». Особенно потрясли «размягчение мозга» и «сухотка позвоночника». Подросток физически почувствовал, как ссыхается позвоночный столб, а содержимое головы превращается в студень, почему-то пахнущий рыбой.

— Ой-ёй-ёй-ёй, господи. Никогда, никогда не буду, — спрятался под подушку намертво перепуганный львенок.

Сияла полная луна, страшная книга таилась за стоящим под кроватью горшком.

Дней через десять с Розановым снова случился позорный конфуз, потом еще. Наконец однажды мальчик проснулся в ужасе — трусики были перепачканы выделениями спермы. Началось! Вот оно — *размягчение!!!* Жизнь расщепилась на два мира. Днем — разумный мир древнегреческой учебы, ночью — постыдный ужас перед патологической практикой, заканчивающийся всеми силами отдаленной, но неизбежной развязкой. В немецкой энциклопедии было предусмотрено и это: *привычный* онанизм. Приступы болезни происходят все чаще, пока половые органы не начинают раздражаться рефлекторно, без участия сознания. Рука, не контролируемая сознанием, сама расстегивает ширинку, изо рта свешенной набок головы течет струйка слюны, закатываются мутные, безумные глаза. Васю стал преследовать кошмарный сон: несчастный дурачок с расслабленной волей и мозговым разжижем, под хохот одноклассников, во время урока... Куда я качусь? Очередной приступ заканчивался слезами, горящими ушами и клятвенным обещанием «никогда больше». Но проклятая природа требовала своего все больше и чаще. Как нарочно, Розанов стал учиться лучше, появилась какая-то умственная зоркость и цепкость. Однако червь сомнения, так и не успев толком зародиться, был безжалостно раздавлен каблуком реальности.

В седьмом классе среди гимназистов пошел шепот: «Губа заболел. Сифилис. От проститутки».

Ох как не хотелось Васе навещать друга. Но не навестить было нельзя — предательство. Против ожидания, Губин был одет, встретил его в прихожей, пригласил в свою комнатку. Комнатки Розанов боялся больше всего — близко. Но, стиснув зубы, вошел. Немного поговорили ни о чем. Розанов смотрел в угол, иногда бросал косые взгляды на товарища: пытался найти на лице *следы*. Следов не было. В неверном сумеречном свете показалось, что лицо припудрено. Губин зажег керосиновую лампу. Розанов с облегчением увидел, что ошибся.

Наконец дошли до главного. Губа вздохнул:

— Эх, Васька, Васька. За что меня?

— Ведь грех, — нерешительно начал Розанов.

— Сам знаю. Поделом дураку. А все-таки как-то жестоко так сразу. Вроде пришел в первый класс, на первом уроке неправильно ответил — и меня сразу в три шеи с волчьим билетом.

Розанов встрепенулся, Губа остановил его жестом.

— Знаю, что и это грех, глупость сказал.

Розанов кивнул, начал петь «калтонай-мардехай».

Друг пытался подпевать, но что-то не получилось. К тому же Розанов стеснялся плясать, опасаясь, что Губе будет больно. Губа же не пригласил Васю на танец, так как боялся близко подходить к здоровому другу.

Помолчали.

— Знаешь, Вась, я вот мечтаю сейчас, чтобы был такой порошок волшебный. Чтобы выпить — и как рукой сняло. А еще лучше, чтобы были такие предохранители из пленки, что ли. Ну чтобы надеть и... Я слышал, есть у медиков такие. Чтобы их можно было покупать везде и как-то незаметно. Ну, там, по почте заказывать. И если все пользоваться будут, тогда не будет сифилиса. Я, знаешь, не столько смерти боюсь, сколько позора. Веришь ли, о туберкулезе мечтаю. Болезнь благородная. Белинский болел, Добролюбов. А тут... как бурбон какой-то... Она и некрасивая была. Дура деревенская. Я не очень-то и хотел. Сама зазвала. Я пьяный был... Господи, Васька, за что?..

Возвратившись домой, Розанов долго мыл руки пемзой и даже прополоскал рот спиртом.

После «немецкой педиатрии» и бациллофобии Розанов потерял девственность только в двадцать три года, с сорокалетней размахайкой. Как честный человек, женился. Размахайка была умеренной садисткой, любила бить партнеров по щекам, царапать спину ногтями. Из-за «педиатрии» никто этого не понимал. Вместо того чтобы переломать сучке пару ребер и спустить с лестницы, цивилизованные самцы уныло терпели сексуальное хулиганство. Смиренно плакали перед фотографией, просили неизвестно за что прощения, дарили цветы...

У размахайки для мужа было два устойчивых прозвища: «м...ла грешный» и «хорек вонючий». По утрам «хорек», чтобы скрыть слезы ночных унижений, долго плескался у рукомойника...

В конце концов Розанов нашел «колоду» — некрасивую вдову, тоже русскую, но не наглуую, а пуганую. В постели она его благодарно боялась, днем же, по обычаю русских баб, иногда поддразнивала, но сторожко, всегда понимая, кто она и кто хозяин. «Хозяин» в благоприятной обстановке немного разгулялся и время от времени позволял себе жалкие литературные эскапады вроде абстрактных разглагольствований о свободной любви. От критики коллег-недодекадентов прятался за широкую спину «колоды». В общем, Розанов никогда никого так и не любил, до конца жизни оставаясь сексуально забитым интеллигентом. Детишки вот спасали многое. Курая в постели и смотря в потолок, он себя успокаивал:

— А что, ничего. Дети хорошие. Да и сифилисом не заболел.

Карьера Розанова тоже, по его мнению, наладилась. Проработав долгие годы провинциальным учителем и затем мелким столичным чиновником, он в конце концов оказался литературным талантом и смог жить на зарабатываемые гонорары. Определить его взгляды, впрочем, было весьма трудно. Постепенно все сошлось на том, что Розанов «парадоксалист». На самом деле его тексты были просто мыслями вслух необыкновенно умного человека. Точнее, физически необыкновенно умного и идеологически необыкновенно забитого. Это сочетание ума и забитости и придавало текстам Розанова истинный трагизм — неотъемлемое свойство любой гениальности.

В сентябре 1917 года, понимая, что все кончено, Розанов уехал из столицы в Сергиев Посад. Вскоре начался голод. Василий Васильевич терпел до последнего, но в конце концов покусился на святая святых — решил продать часть нумизматической коллекции. Для продажи отобрал монеты с умом — дубликаты, но ценные — из золота. Тщательно упаковал, составил подробный ценник. Отрекомендовавшись в предварительном письме Константиновым, поехал в Москву к известному коллекционеру Кармаго. Кармаго имел бронь от Моссовета и активно скупал ценности у «недорезанных буржуев».

Москва встретила Розанова неприветливо. Вокзал превратился в огромный азиатский базар. Из его круговерти он выбирался почти час: обходил какие-то заборы, рытвины, кучи мусора, вповалку лежащих людей, невесть откуда появившиеся ларьки и бараки. Розанов заметил, что после революции люди разучились ходить прямо. Всех вело в сторону, каждый норовил обойти другого и был перекошен какой-то неудобноносимой кладью. Часто люди натыкались друг на друга, столкнувшись, сцеплялись как репейники и начинали драться. Казалось, мир сошел с ума. Пошел Бирнамский лес, и каждое дерево этого леса считало себя человеком, а окружающие живые заросли — взбесившимися деревьями, которые надо любой ценой обогнать, обойти, обмануть.

За пределами вокзала, на улицах, больше всего поразили крашенные матросы. На всех был толстый слой пудры, у многих — подведенные бро-

ви, покрашенные губы, даже румяна на щеках. С обозленными лицами, винтовками, пулеметными лентами и бомбами они напоминали каких-то фантастических, злых клоунов.

«Невероятно, — подумал Розанов. — Пройдет год, и никто в это не поверит».

Вскоре «Константинов» подошел к особняку Кармаго...

Начали резко. Кармаго развернул сверток, почти не глядя хмыкнул: фальшь.

Розанов вспыхнул как рак: позвольте...

Кармаго блеснул пенсне:

— Если не ошибаюсь, господин Розанов? Знаете, как мы между себя вас звали? Васька-дурачок. За вас люди *боролись*. Постоянно кормилось три мастера. Два из Одессы, один из Харькова.

Розанов растерянно захлопал глазами.

— Позвольте, я же советовался у специалистов...

— У Яшки Эрлихмана? Этот назовет.

— Господи, господа. Что же делать? Семья голодает. В конце концов, это золото.

— Золото? — хмыкнул Кармаго. — Самоварное! Я же вам говорю: Васька-дурачок. То есть не просто подделки, а подделки дешевые. Вы никогда не задумывались, почему монеты вам продавались всегда в полтора-два раза дешевле коллекционной стоимости?

— Но ведь я не с улицы, у меня связи...

— Какие связи? Вы что, великий князь? Так... бумагомарака.

Вдруг Розанов обхватил голову руками и заплакал. Хозяин, не ожидавший такой реакции, замер на полуслове. Не разбирая дороги, натываясь на выступающие углы дорогой мебели, Василий Васильевич бросился к выходу...

Кармаго схватил забытый на столе сверток, ринулся вслед за гостем:

— Вы все-таки возьмите. Право, не ожидал, что так. Что, совсем денег нет?

— Господи, я же всё... все деньги на это. — Посетитель безуспешно дергал ручку входной двери. — Я же хорошо зарабатывал. Думал, развлечение. И для науки полезно, и на черный день. — Розанов остановился, как утопающий хватаясь за соломинку: — Позвольте, я ведь несколько монет продал, даже с барышом. И Эрлихману.

— Так я и говорю — с вас кормились. Зачем же резать курицу, несущую золотые яйца. Вы один троим половину годового дохода обеспечивали... Знаете, по большому счету скажу: какие вообще «древние монеты»? Не было никаких монет в Древней Греции. Дай бог тысячу лет монеты появились, и то навряд ли. Я думаю, лет пятьсот. Сами подумайте. Две с половиной тысячи лет, а многие чуть ли не на вес продают.

— Так это же деньги, денежная масса. Особенно мелочь. Римские сестерции тоннами должны сохраниться.

— Да какими тоннами. За двести лет все в пыль стирается. За сто. Много вы хороших монет столетней давности видели? Я — очень мало, и то, полагаю, большинство фальшь. А уж античность... Хорошая подделка из настоящего золота — это и есть подлинник. Конечно, если сделана до начала прошлого века.

Розанов схватился за сердце, сполз на прислоненную к стене банкетку.

— Что, совсем есть нечего? Дети?

— Шестеро, жена больная. Я больной. Господи, Господи, за что.

— Знаете, вот что. Подождите. — Кармаго вышел из прихожей в кабинет, вернулся и, кашлянув, дал Розанову два полуимпериаля. — Этого на месяц должно хватить. Не обижайтесь на меня. Я злой человек, нехоро-

ший человек. У меня вчера брата на улице убили. Четверо детей осталось. Нас всех убьют. Мы интеллигенты, и нас убьют. Возьмите монетки.

В полубессознательном состоянии Розанов опустил золото в карман пальто, вышел на улицу. Тяжелый сверток выбросил под забор, не помня себя, как-то добрел до вокзала. Извозчиков в городе давно не было.

В поезде Розанову приснился 1903 год и Чехов. Чехов грустно смотрел на Розанова сверху вниз и говорил бархатным глубоким голосом:

— Ах, Василий Васильевич. Вы даже не представляете, как будут жить люди через двести лет. Какой это будет математически совершенный и эстетически прекрасный мир. Из 2103 года 2003 будет представляться примитивной архаикой, стоящей лишь на пороге смутно угадываемых удивительных чудес. Мы же в своем 1903 предстанем троглодитами, о нас просто никто не вспомнит. Ведь современный цивилизованный мир не обеспокоен бытием туземцев Патагонии или Конго. Кому мы будем там нужны со своими несчастьями и болезнями.

И Розанов почему-то чувствовал себя нашкодившим гимназистом, стоящим перед величественно-счастливым Димитропуло.

От нахлынувшего чувства вины Розанов резко проснулся, засунул руку в карман пальто — нащупать полумимериалы. Карман был аккуратно срезан.

Несчастный старик еле-еле добрел до дома, упал на кровать. Неделю лежал повернувшись к стене, молчал. На расспросы домашних буркнул, что деньги украли на вокзале.

Постепенно Розанов стал оживать, отводить душу за письменным столом:

«Давно нет хлеба, спичек, мыла. Стоят заводы, транспорт. Страна умирает. Все обработали немцы... Как ходили до войны эти „зоциаль-демократы“. Тысячные толпы, красные тряпки. Всенепременно красные — реклама должна быть яркой. А я не обращал внимания, что на меня не обращают внимания, не видел, что всякая „зоциаль-демократическая“ сволочь получает за свой лепет тысячные гонорары. И ведь ни одной мысли. Барабанная глупость, умственная шагистика. Как сделали, а? Бросить на подкуп *миллиард*, превратить духовную жизнь великой страны в дегенеративный лепет „зоциаль“-демагогов. А наши дурачки поскакали на палочке... „Катедер-зоциализмус“, социалистическая партия Германии *сделала заявление*.

Ладно. Ваша взяла. Вы рассчитали. Но как подло! Ведь этот „зоциализмус“ подл, и то, что связались, пускай понарошку, в большой политике с социал-демократической сволочью, — позорно. Это онанизм. Хуже — Европа занялась скотоложством. „Барышня и осел“».

Солнце зашло, писать дальше было нельзя. Розанов встал из-за стола, потянулся и рухнул на пол. Его окружила ночь.

— Да какие немцы. Пошли теперь немцы вслед за нами в тот же английский «уотерклозет». Англичане все устроили.

Розанов вздрогнул, повернул лицо на голос. В кресле между двух оконных проемов кто-то сидел.

— Пруссия — государство-проститутка, жила не по средствам, на английские дотации. Другие немецкие государства продавали солдат для английской армии, Пруссия пошла дальше и стала за деньги продавать себя. После франко-прусской войны и создания германской империи отношения с Англией испортились. Социалистическая дрянь, до этого пакостничающая противникам Пруссии, стала поливать грязью самих немцев.

Глаза Розанова привыкли к темноте. В межоконье сидел матрос в бескозырке с надписью «Правда». В темноте поблескивали буквы, лица почти не было видно. Через окна слепила луна. Однако по угадываемой сквозь мрак схеме движений, выговору и всему прочему чувствовалось — морячок ряженный. Матрос продолжал спокойным, ровным голосом:

— Маркс-Энгельс как продукт англо-прусской кооперации должны были сделать выбор. Можно было встать на сторону рейха, резоны для

этого имелись. С точки зрения социальной, Маркс был «мужем жены», воспитанником своего тестя барона Людвиг фон Вестфалена. Сын Людвиг был прусским министром внутренних дел. Однако со стороны матери Вестфален был шотландский аристократ, Маркса воспитывал в духе крайнего англофильства. Что касается Энгельса, то ведь это крупный британский капиталист. У него фирма в Манчестере... Да не в этом даже дело. Весь этот марксизм английский морской офицер придумал.

— ?

— Годжскин. Милль сначала не понял, стал кричать, что Годжскин сошел с ума, это будет хуже монгольского нашествия... Миллю в тайной полиции промывли мозги, он понял и заткнулся. А Маркса сделали рупором.

Старик в ужасе отводил взгляд от незнакомца. Но что-то к нему притягивало, Розанов бросал взгляды вскользь, пытаясь рассмотреть черты в лунном свете. Собеседник закурил. Зажигалка подсветила нижнюю часть лица. Василия Васильевича прошиб холодный пот: сифилис. У морячка не было носа.

— Немцы разозлились, послали ё...я. Красивого, интеллигентного. С рекомендациями. Чтобы он Марксу поганую глотку м...ёй залил. Пускай потом месяц в потолок смотрит и плачет от счастья. — Рассказчик похабно хмыкнул. — Дали чемадан денег. Он приезжает в Лондон, за ним двое в штатском. Одинаковые котелки, усики, ботинки. Он налево — они налево, он направо — они направо. Подъезжает к апартаментам. У подъезда в котелках стоят еще четверо, на другой стороне двое прохаживаются. Он все понял, рассмеялся и уехал. Немцы думали, что гады с английской тайной полицией сотрудничают. А они там работали. В погонах. И немцы поняли — хватит в игрушки играть. На «хи-хи, ха-ха» работорговцев не возьмешь. Надо флот строить. Только потопят теперь германский флот хваленый без единого выстрела. Как окурок в заплеванной пепельнице. Они потопили наш, а англичане потопят их.

— Какая гадость. Что же теперь делать?

— Что делать? Делать нечего. Как говорят кронштадтские братишки — кранты. АМБА. Теперь Россия колония. Впереди голод, десятки лет каторжной работы. Эти высосут все соки. Английские феодалы не успокоятся. Они сумасшедшие. Вас еще хорошо обслужили в гимназии с вдвойне не существующим греческим. Англичанин — это сирота-педераст, вышедший из приюта мстить миру. Его забрали от родителей, поместили в казарму. В казарме изнасиловали, дали тумбочку. Он в тумбочку яблоко положил домашнее, маечку. Сосед яблоко у новичка съел, майку засунул в ночной горшок. Такой вырастет — будет мстить. Поэтому англичане не успокоятся никогда... Хотя рано или поздно дождутся. Взорвут им в метро архибомбу, от Лондона кратер останется. Уж больно много желающих.

— Что будет с детьми? Неужели рабство?

— Сына не спасете, и не думайте. Англичане убьют всех умных. Через пятьдесят лет Россией будет править кретин, не умеющий писать. Через сто — у власти поставят человека со средним образованием. На него будут молиться как на уберменша, показывать фильмы, как он с горки на санках катается и не падает.

— А евреи?

— Что евреи — резидентура в новой колонии. Зиц-председатели. Сначала из них будут формировать администрацию, как из парсов в Индии. Лет через десять — двадцать убьют. «Мавр сделал свое дело». Хотя с этой стороны дочерей спасти можно. Напишите евреям письмо, что всю жизнь жили за их счет, вы негодяй и просите у них прощения. — Ряженный морячок хохотнул. — Самим девочкам скажите, чтобы сотрудничали с Чека. Местную тайную полицию англичане будут контролировать параллельно, независимо от центрального аппарата, и из снобизма дочек могут сохранить. Только пускай детей не заводят. Мальчиков убьют — интеллект передается по мужской линии.

Кажется, собеседник был грубо покрашен. Вокруг скул краска облупилась, и... Розанов похолодел от ужаса. У морячка были пустые глазницы.

Разбитый параличом старик пришел в сознание.

— Странно, вот как умирают. Интересно, все так или у меня по-особенному? Хмурый день. Кто-то сидит у изголовья. Кажется, этот переимчивый армянин, которого считают «русским мыслителем». Его, наверное, тоже убьют. Или вывернется? — Розанов пристально посмотрел. В углу глаза Флоренского блеснула слеза. — Хитер-хитер, а прост. Убьют.

Розанов снова провалился в предсмерть. Внезапно вся жизнь предстала перед ним как на ладони. Вот бродячие танцоры, вот рукомойник, первая публикация... И это все? Больше ничего никогда не будет? «Колода», беседка, Димитропуло со счастливыми монетами, немецкая педиатрия... Все так. И даже согласен. Пускай. Эх, мои монеточки, грузила свинцовые, жуликами позолоченные, эхе-хе, а сколько счастливых, тихих вечеров просижено в кабинете над ними, сколько мыслей и озарений дала нумизматическая игра. Табак дрянь, а сладок... Табачок-окурочек, эхе-хе. В уборной покурить-подумать. Славные мысли приходили в голову. Великие мысли. И все записано, все останется. Так что прав Поэт, прав: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». И в основе не так глупо. Просто *средств не было*. Дали две пушчонки. А я и из двух пушчонок, как капитан Тушин. В предложенной ситуации оборонялся, и оборонялся изворотливо. Грецией защитился от «калтонай-малтонай», на пружине «калтоная-малтоная» балетным прыжком перепрыгнул тушу немецкой педиатрии, бегемотьей лапой педиатрии раздавил греческую нумизматику. А мысль — осталась. Свободная мысль. И останется. Вот так вот. Жил на окраине Европы, по краю всех и обошел. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...

Угасающий мозг, подобно перегорающей лампе, работал с утроенной силой. Все быстрее, быстрее, времени почти не осталось. И наконец все озарила последняя вспышка.

Пейзаж собственной жизни плыл вниз с убыстряющейся скоростью. Не совсем обычный ракурс, но, в общем, до боли узнаваемо. СТОП! Пейзаж замер. Какая-то во всем этом таилась Подмена. «Элохим-кадоним». Разве так? Совсем нет. Операционная система, регулирующая вербальные основания индивидуального мира. Стимуляция при помощи психотехнических приемов. Вызывает чувство умеренной эйфории, а в общем, непродуктивно. Придумали итальянцы в начале семнадцатого века. Как это... «калтонай-мардехай»... Нет же, совсем не так.

Геометрический узор жизни щелкнул и изменился. Головоломка наконец сложилась.

Богородице Дево, упование христианом,
Покрый, соблюди и спаси на тя уповающих.

Плачущий несчастный старик сидел у стены брошенной церкви. На нем было пальто со срезанным карманом. Старик пел... И этот плач уходил в великую, вечную звездную ночь... В ледяном небе сверкал геометрический ковш Большой Медведицы, сито Плеяд, огромный Юпитер...

Богоносе Симеоне, приди подыми Христа,
Его же роди Дева Чистая Мария.

Флоренский смотрел на угасающего друга и одним углом сознания писал будущий некролог:

«Перед смертью Василий Васильевич четыре раза причащался, один раз его соборовали, над ним три раза читали отходную, на него надели шапочку преподобного Сергия Радонежского...»

Пускай ничего этого не было... Только беззвучное шевеление губ агонизирующего старика... На подушке лежал ссохшийся череп с высоким выпуклым лбом мыслителя. Как Флоренский шутил: монада-колобок. Все равно — тьмы низких истин нам дороже...

А Розанов беззвучно пел:

Объемлет руками Старец Симеон
Советеля закона и Владыку всяческих.

Не старец Мене держит, но Аз держу его:
Той бо от Мене отпущения просит.

Маленький мальчик в заливаемой солнечными лучами беседке...



ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

*

РАСТВОРЕНИЕ В БЕЛИЗНЕ

* *
*

«Петушок или курочка?» —
голос из дальней дали.
В майке и трусиках дурочка,
снова в игру не взяли.
Переоденусь в платье я,
косу стяну тесьмой.
«Дачная аристократия» —
год сорок восьмой.
Я не в обиде: отроки
чужды самокопанию,
я в стороне, и все-таки
тянет в эту компанию.
Мальчики там щедушные,
но по развитию взрослые,
девочки там воздушные...
Ночи стояли звездные,
дни на цветах настояны...
года даже не минет —
будут отцы арестованы,
детство детей покинет...
Нету у нас «Победы»
лаковой — первый выпуск,
дачу снимаем у деда
в потной рубахе навыпуск,
нету у нас скочтерьера...
Папе и маме моим
не задалась карьера.
Дом наш несокрушим.

Иноходец

Памяти Владимира Корнилова.

Был у меня друг.
Нету таких в округе.
Я не сразу, не вдруг
друга узнала в друге.

Что душой одинок, —
все друзья перемёрли, —
что соленый комок
у насмешника в горле,
что без матери рос
и, во всем независим,
подпадет под гипноз
женских строчек и писем,
что живая вода —
чувство сестринства-братства —
мне открылось, когда
начинало смеркаться...
Не Урбанский, но с тем
было внешнее сходство:
не удержишь в узде
нервного иноходца.
Иноходью среди
чинных, как на параде,
шел. А ему: «Гляди,
вышколим ты, дядя!»
Школили. Били в лоб,
и по глазам, и в темя,
не выделялся чтоб,
в ногу чтоб шел со всеми.
Тошно от холуев,
им бы заняться случкой...
За него Гумилев,
и Есенин, и Слуцкий.
Честь родимой земли —
личное его дело.
С двух концов подождли —
так в нем совесть горела...
Что дожало его,
я не знаю: имейлы,
по само Рождество,
путались и немели.
В боль свою заточен...
Ни малейшей надежды...
«Говорить с ним о чем?»
Обо всем, как и прежде...
Лишь восьмого числа
дух из темницы вышел.
Запоздала хвала.
Думаю, он не слышал
траурных передач,
что звенели в эфире.
Сдавленный женский плач
все же созвучней лире.

* *
*

Лебедиха у спуска
в пруд, в студеную сырость.
Поработала гузкой,
а потом раскрылилась,

перевесила через
край свое опахало,
чтобы яйца прогрелись,
ни одно не пропало.
Молодец, пионерка
из самых отчаянных!
Распласталась, как грелка
на фарфоровый чайник...
Где же лебедь? А лебедь
бьет крылами о воду,
он достроит, долепит
домик Богу в угоду,
он старается тоже:
из травы одеяло
подтыкает под ложе,
только б не замерзала,
носит ветки, былинки
с верностью лебединой
и сдувает дождинки
со своей половины...
Лебедиха на яйцах —
значит, надо встряхнуться,
а не спать на полатах —
можно и не проснуться.
В мире взрывов и пыток,
лжи, предательства, мести
пусть свершится прибыток
хоть в лебяжьем семействе.

Сон

Как же я не заметила
ни авто, ни трамвая?
Маму только что встретила —
и уже провожаю.

Но не в мрак крематория —
в край, где небо и солнце,
на машине, которая
здесь иначе зовется.

Все другое: иначе я
и люблю, и прощаюсь.
Пассажиры сидячие,
я одна возвышаюсь.

Расцелуемся с мамою.
Говорят, это плохо,
но не может душа моя
дочку вызвать до срока.

Вот спасибо, что двигались
по такому маршруту,
чтоб мы с нею увиделись,
пусть всего на минуту.

Гармиш

Памяти о. А. Меня.

Только во сне
веру свою
встретить могу —
воплощена
в том, кто рожден Русской землей
в самый ее полуночный час
мрак разгонять
словом любви...
Русской землей он и убит.
Сколько убито после него.
Яблоку негде в шеоле¹ упасть...

В Гармише, той части его,
где стадион, радуга лиц,
джинсы, кроссовки —
всё, как везде, —
руки Вселенной вскинуты вверх,
вознесены над мельтешней.
Дух протестует.
Нам же, слепым,
Альпами видится ярость Его.

Но приглядитесь:
в дикой скале,
возле ущелья,
как медальон,
с белым Младенцем
Божия Мать,
еле видна, белая вся.
Кто-то сумел, вправил в базальт
веру свою.

Фуникулеры выше скользят,
твари двуногие ниже идут,
каждый устал, ищет привал
пивом залить жирный шашлык.

Остановлю бег свой и взгляд.
Тропы альпийские —
ниточки. Мать
держит Младенца
и всех, кто в пути.

Собственной веры
вспомнится лик.
Он растворен
в их белизне.

¹ Преисподняя (*др.-евр.*).



ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ

*

К БАБУШКЕ, В БЕКАЧИН...

Рассказ

1

После полудня лучи солнца обжигают, но воздух ледяной. На уровне верхушек деревьев стены у зданий, кажется, обрезаны ножницами, обрезаны неровно, будто ребенком, иногда отхвачены и верхушки, — приходится переступать через завянувшие ветки, которые остро и терпко пахнут на горячем асфальте. Валерия перепрыгивает, переступает через эти ветки — одна огромная, как дерево, — едва взобралась, увидела сверху Реброва с Ритой. Он смотрит в одну сторону, а девушка, отвернувшись от него, переминается с ноги на ногу и — замирает. Ребров шагает в ускользящую тень от забора, Рита — за ним, не глядя; тут Лере показалось, что он махнул ей рукой, спрыгивает с *дерева* — и бросилась назад.

Она бежит, пошла; оглядывается — никого. На фоне синего неба кирпичный забор кажется картонным — в нем проломана дыра. Валерия пролезает туда. Дорога в голом поле приводит к мосту. Под ним пролегает шоссе, в вырытой траншее несутся автомобили.

Валерия спускается по склону и поднимает руку. Все машины мимо. Лера растопырила пальцы и нетерпеливо машет. Наконец тормозит грузовой автобус с длиннющей кабиной в два ряда сидений. Он такого же огненного цвета, как волосы у девушки. Сразу автобус не может остановиться. Валерия сбрасывает туфли и бежит за ним в носочках по асфальту. Волосатая ручища открывает дверку в кабине. Валерия запрыгивает на сиденье — короткое платьице задралось до трусиков, и тогда она увидела: в автобусе одни мужчины и так пялятся на нее — здоровые, краснорожие, — что все тут сразу ясно, и — невольно слезы на глазах, но уже поздно — автобус едет, *а может*, думает Лера, *обойдется; всегда же надеешься, что не тронут*.

Они в вытуженных костюмах, некоторые при галстуках, а один даже в шляпе, только шофер в рваных цветастых трусах и в грязной майке. Едут молча, с серьезными лицами; рядом с Валерией развалился толстяк, сопит и причмокивает во сне. Его грузное тело съезжает на плечо того, что в шляпе; дальше парень в очках пытается читать газету.

Несмотря на свистящий из окон свежий воздух, в кабине пахнет почему-то шкафом. Валерия удивляется старомодным костюмам на мужчинах. От этой «пронафталиненной» дедовской одежды и белых воротничков возникает ощущение праздника.

По обе стороны шоссе — тополя. С них летит пух и на солнце блестит, как снег. На сизом асфальте он загрязнился и сваялся в клочья ваты, что пролетают за каждой машиной.

Петкевич Юрий Анатольевич родился в 1962 году. Закончил Белорусский институт народного хозяйства и Высшие сценарные курсы. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Континент» и др. Живет в Белоруссии, в деревне Новый Свержень Столбцовского района Минской области.

— У меня такое впечатление, — сказал *в шляпе*, — что мы не туда едем. Девушка, — спрашивает, — мы попадем в Бекачин?

Валерия подняла плечи и опустила.

— Рыжая, — восхищается шофер.

Девушка отворачивается и видит в окне трубу над городом. Из трубы клубами дым; его сносит по направлению к лесу, только ветер раньше дул иначе — и на небе вопросительный знак. Автобус выехал из траншеи — неожиданно появляется кирпичный дом без крыши, за стенами которого выросли густо, как трава, березы.

— Что-то я не помню такого дома, — сказал *в полосатом галстуке*, — и этой «дуры», — показывает на трубу.

— Тем не менее, — сказал *в шляпе*, — не пора ли нам пообедать, Казимир?

— Может быть, и пора; извини, — Казимир подмигивает девушке, — как звать, рыжая?

Валерия задумалась — в березах, за кирпичными стенами, шелкает соловей.

— Наверно, я не там свернул, — сокрушается шофер. — Девушка, почему ты молчишь?..

Она наклонила голову, якобы дремлет, — в это время неуклюжие толстые пальцы пытаются расстегнуть пуговичку у нее на платье. Валерия, не открывая глаз, хлещет ладонью по широкой потной щеке.

— Эй, ты! — просыпается толстяк. — С ума сошла?

— Да! — отзывается наконец Валерия.

— Это не я! — вопит толстяк и показывает на мужчину в шляпе. — Это Анатолий!

— Я?! — делает Анатолий изумленное лицо. — Разберись сначала, — пихает толстяка. — Может, это Петрович? Наверняка это он. Посмотрите на его лицо! Только посмотрите на него!

— Извините, — проговорила Валерия.

— А я думал, ты — немая, — хихикает Казимир.

— Действительно, — объявляет шофер, — не в ту сторону едем... — и выворачивает руль. — Вот это да! — Он скашивает глаза *на рыжую* и восхищается.

2

— Она не придет, — решил Ребров.

— Нет, — качает головой Рита. — Ты Валерию не знаешь. Осторожно, — девушка тянет его за рукав, — не видишь? — На них мчится автобус.

— Я, — удивляется Ребров, — не знаю ее?

— Осторожно! — кричит Рита, и они не сговариваясь вскочили на выступ в кирпичном заборе, и тут же автобус пронесся мимо.

— Наверняка пьяный за рулем, — догадался Ребров.

Поднявшись на цыпочки, Рита заглядывает с забора на другую сторону, где гудят автомобили. Глаза ее бегают, не успевая проследить за иными, самыми яркими. Однако такого электрического цвета, как у автобуса, который промчался за спиной, ни у одной из машин на шоссе не отмечает. Вдруг они съехали на обочину и остановились; оторваться от этого зрелища невозможно — замедление оказалось завораживающим, как в кино. Стало тихо — разве что продолжал тарыхтеть автобус, а когда он скрылся за поворотом, наступила тишина мертвая — в ней отчетливо прозвучал неприятный ноющий звук, подобный жужжанию осы; он непонятно откуда приближался — со всех сторон одновременно, — пока не сузился в точку, и — по шоссе пронеслась милицейская машина с сиреной, и где-то в деревне за лесом завыли собаки. Тут *электрический* автобус, развернувшись, проехал обратно. Ребров осмелился и поцеловал Риту.

Она не знает, как себя повести, и — прислушивается, специально с таким выражением на лице — отсутствующим, что Ребров обернулся.

Каблучки Леры глухо стучат по асфальту, как капли воды по ржавой прогнившей жести. Ребров издали машет ей и спрыгивает с забора. Валерия тоже махнула, но глядит в сторону, и — по выражению ее лица, когда девушка подходит к нему, — Ребров догадался, что она не ему махала. Он целует ее в щечку и оглядывается — улицу перебежал мальчишка в красной рубашке.

— Извини, — говорит Реброву Валерия, отстраняясь с кислой ухмылкой. — Забыла запить таблетку — присохла к языку. — И совсем другим голосом подруге на заборе: — Ты сегодня Вера или Соня?

— Нет, Рита, — отвечает та, глядя сверху, как по шоссе мчится за эскортом мотоциклистов длиннющий черный автомобиль и за ним сразу еще один, и — спускается вниз.

— Что у тебя болит? — с нарочито преувеличенным вниманием спрашивает у Леры Ребров.

— Эй, Сережка! — кричит она мальчику. — Пошли с нами погуляем!

— Сейчас не могу! — отвечает Сережка. — А куда вы?

— Сначала к роднику, — задумалась Валерия и тут же — Реброву: — Я запью таблетку — что-то с головой не в порядке.

— Почему-то у всех именно там не в порядке, — ворчит тот.

— У кого, — выясняет Лера, — у всех?

— У очень многих, — пробормотал Ребров себе под нос, но Лерка догадалась:

— Ну не у всех же.

— У всех вас, — уточняет Ребров.

— Понятно.

Они идут вдоль забора, затем пролезают по очереди в дыру. Движение автомобилей на шоссе возобновилось, гул — невообразимый, и лучше помолчать.

Перейдя по мосту на другую сторону, Лера нагнулась и сорвала цветок. Лицо у нее оживилось, порозовело — может, оттого, что нагнулась и кровь прилила к лицу; тут же взгляд меркнет, когда девушка заметила, как Ребров смотрит на нее.

— А я, — говорит он, — решил, что ты не придешь!

— Извини. — Лера сама не знает, о чем задумалась. — Не рассчитала время. — Она бросает цветок и достает из кармана яблоко. — Совсем забыла. Можно яблоком заесть таблетку. На, — подает его Рите.

— Не хочу, — отказывается та.

— У тебя красивые тубельки, — замечает Ребров, как Лерка ковыляет на высоких каблуках по изрытому кротами полю. — Раньше не видел.

— Вчера купила.

— И платье новое, — продолжает Ребров. — Только почему черное?

— Может быть, — говорит Лера, — мне идет черный цвет. Возьми, — протягивает Реброву яблоко. — Целый день в кармане болтается!

— Пусть будет тебе.

— Когда во рту таблетка, яблока совсем не хочется.

— Сначала запьешь таблетку из родника-а-а, — растягивает Ребров слова, наблюдая за Лерой. Она смотрит в сторону, где за деревьями все громче голоса. — Потом съешь яблоко.

— Оно кислое, — с разочарованием говорит Валерия.

Ребров берет у нее яблоко. Лера тут же поглядела на часики.

— Что — у нас мало времени? — спрашивает Ребров, откусив от яблока.

— Нет, — покачала она головой, — времени полно, неизвестно куда деть его.

— Ты со мной встречаешься, — догадывается Ребров, — потому что тебе надо убить время, да?

— Да, — кивает Валерия.

— А я и смотрю, что это ты вырядилась для прогулки в лесу, — пристально смотрит на девушку Ребров.

Лера осторожно спускается по обрывистому берегу. Внизу струится из жестяного желоба ручеек, дальше отражается в озере солнце. Старые березы выгладывают из кустарника. Горячие лучи весеннего солнца пробиваются сквозь новую листву и становятся бархатными, расплывчатые тени скользят под ногами. Лера осторожно переступает по бревнышку, затем прыгает на камень и нагибается к желобу.

Ребров смотрит на пышную фигуру девушки и замечает из-под нового очень короткого ее платьица трусики — переводит взгляд на другой берег, где воздвигаются шикарные особняки. Там что-то визжит, стучит, и время от времени бухает, словно пушечный выстрел, железная дверь, и спустя вздох отзывается гулкое эхо в огромных пустых помещениях. Величественные постройки отвлекают Реброва, и, когда он снова замечает черную склонившуюся фигурку у желоба — и трусики светятся в сгущающейся тени под березами, — невольно опять думает о ней и не знает, как выразить свои чувства, если рядом еще одна девушка, а Валерия, кажется, читает его мысли и так кричит, что слышат рабочие на дачах:

— Я не знаю, зачем морочу тебе голову!

Ребров бросает огрызок яблока в кусты.

— Все хорошо, — заявляет он Валерии, спускаясь вниз. — Оглянись, посмотри, как хорошо!

— Нет, — говорит она. — Скоро и на этом берегу построят дачи, а озеро засыплют, и негде окажется погулять.

На это нечего ответить, и он предлагает:

— Не надо думать, что будет, — лучше послушай жаб.

— Это дрель.

— Послушай внимательно, — просит Ребров.

Лера только слышит звон стаканов. Она опять смотрит в ту сторону, где за деревьями что-то сверкает — яркое, огненное, — и при беспоконном мельтешении листвы на ветру кажется, что вспыхивают фейерверки один за другим.

— Это дрель, — повторяет Лера, — или отбойный молоток — где-то там, — показывает, — на дачах.

Ребров прислушивается к странному рокоту, который непонятно откуда доносится.

— Да, действительно, дрель или отбойный молоток, — соглашается. — Однако как похоже.

— Эй, Васька! — машет Валерия. — Плыви сюда!

Красная рожа подплывает — рука хватается за траву, но берег обрывистый, и после нескольких неудачных попыток, измазавшись песком, Васька снова бросается в воду.

— Кто это? — спрашивает Ребров.

Лерка не отвечает ему.

— Рита! — зовет подругу. — Где ты?! Почему одна? Спускайся к нам быстрее. — И когда та сбежала вниз, предлагает: — Давай съездим к твоей бабушке в Бекачин.

— У меня нет денег. — Рита немного запыхалась. — А что?

Валерия и ей не отвечает.

— Нет. — Ребров оживился, глаза у него заблестели. — Никакая это не дрель. Это все-таки жабы. Послушай, — теперь дергает Риту за рукав, — действительно, как похоже! — Передразнил: — Др-р-р-р...

— Не трогай меня. — Рита вспомнила его поцелуй.

— Посмотри на них, — показывает Ребров. — Если на них внимательно будешь смотреть, тогда...

— Не прикасайся ко мне.

— Тогда поймешь, что это не дрель! Чего ты дрожишь? — замечает.

— Расстегнулась, а сейчас пронизывает ветер, — жалуется Рита. — Не прикасайся...

— Это просто солнце зашло за тучу, — объясняет Ребров. — Как они надуваются — посмотри!

— Точно!

— Слышишь — это здесь, совсем рядом: др-р-р-р, — а кажется, что далеко.

— Да, — передергивает Рита острым своим плечиком, не стесняясь громкого голоса, совсем не соответствующего этому моменту, когда лучше разговаривать шепотом. — Эти звуки исходят отовсюду, со всех сторон; непостижимо! — восхищается она. — Тише! — встрепелась.

— Как они надуваются...

— Извини! — Девушка отходит в сторону. — Лерка!

— Подожди, — хватая ее за руку Ребров.

— Я сейчас. — Рита спешит за подругой. — Куда ты?

Ребров шагает за ними, зевает и возвращается назад. По тропинке едет на велосипеде Сережка в развевающейся красной рубашке.

— Ты купила вина?! — кричит сестре.

Валерия, не оборачиваясь, орет:

— Купила!

— Какого?

Она не отвечает. Сережка съезжает вниз к роднику.

— Тише, — просит Ребров. — Слышишь?

— Ничего я не слышу, — недоумевает мальчишка.

— Слышишь — это здесь, совсем рядом: ддр-р-р-р, — а кажется, что далеко.

— Нет, не слышу.

Ребров сам затаил дыхание и — оглядывается. На берегу трясется Васька. По всему телу гусятая кожа. Мокрые длинные трусы облепили костлявые ноги.

— Никакого вина она не купила, — объявляет Ребров мальчику. — А ты совсем замерз, — пожалел Ваську. — Где твоя одежда?

— Там, — показывает шофер. — Ничего, сейчас у костра выпью.

— Скорее! — кричит Валерия.

— Не могу, — вопит Рита, но бежала еще быстро и догнала свой голос — облачко ее горячего дыхания не успело раствориться в воздухе, и девушка почувствовала, как оно растеклось по лицу. Решила передохнуть, оборачивается и внимательно слушает — приложила палец к губам. — Нет, — шепчет. — Это все-таки дрель!

Валерия хватая подругу за рукав и увлекает за собой; бегут прямо по полю, непонятно зачем, казалось бы... Рита пытается понять, куда ее Лерка тянет, тащит, и — ничего не понимает, однако, когда увидела *тот* автобус, начинает что-то соображать — ей становится весело, но она заставила себя поднять голову — смотрит далеко: на линию горизонта, на облака в небе и птиц — и под деревьями ощущает крышу над головой.

3

Берег сначала — высокий, с ласточкиными гнездами; за ним дым от костра валит через озеро, на солнце — блестящий, сияющий, — однако, попадая в тень от берез, он исчезал, словно бы растворялся. Его сладкая горечь развеивалась полосами подобно тому, как чередовались в озере холодные и теплые потоки. Затем берег опустился.

— Эй, давай сюда! — зашумели у костра.

Как Сережка отчаянно ни махал руками, ему казалось: он не плывет, а барахтается на месте; и вода не обжигала, разве что сердце от восторга

поднималось к горлу и вдруг обрывалось. Мальчик вылез из воды — ищет на берегу сестру. Она напоминает подруге:

— Мы едем к твоей бабушке!

— Да, — подтверждает Рита, — действительно, у меня в Бекачине живет бабушка. — Но говорит таким тоном, что можно засомневаться. — Только у нас нет денег.

— Чепуха. — Петрович похлопал Валерию по попе, а Сережка у костра невольно оглянулся.

— Дядя! — возмутилась Лера. — Ну что это вы?

Из кустов Васька волочит к огню жердь, наступает на нее, а рукой ухватил за другой конец. Она трещит, но не поддается; шофер бросает ее и подходит к девушкам. Те захотали, глядя на рваные трусы. Васька потребовал, чтобы ему поднесли стакан; тут солнце показалось из-за тучи — он разбегается и прыгает в воду.

Валерия смотрит, как он плывет, и чувствует у себя на бедре скользкую руку.

— Ну, дядя! — изумляется в который раз она.

— Меня зовут Володя, — показывает толстяк на пузо.

— Володя, прекратите, пожалуйста, — просит Лерка. — Рядом мой брат.

— Извини, — ухмыляется толстяк, — это не я.

— Вас так много, — пробормотала Валерия, — что я могу, конечно, ошибиться, когда вы все тянете ко мне руки; только вы, Казимир, не отпирайтесь.

— Извините, пожалуйста, — сказал Казимир.

Вдруг Рита заплакала. Мужчины внимательно посмотрели друг на друга.

— Вытрите ей слезы, — зашевелились они. — Петрович, вытри ей скорее слезы!

Анатолий подал салфетку Рите. Девушка вытерла слезы, но они продолжали течь по щекам.

— Петрович! — умоляет Валерия. — Ну что же это вы?

А на Риту никто не обращает внимания, и она завидует подруге, ее пышной красоте, когда у самой вместо фигуры будто доска и еще курносый нос пипочкой на широком, как блин, лице. Поплавав, Рита отвлекла Валерию в сторону и призналась:

— Мне страшно, пойдем отсюда!

— Чего ты боишься? — удивилась Лерка.

— Разве ты не понимаешь, — Рита оглядывается невольно на Сережку, — что такие мордороты могут с нами сделать?

— Куда ты?! — спрашивает у брата Лера.

— За топором!

— Зачем?! — кричит она, но Сережка умчался прежде, и Валерия повернулась к подруге: — Я думаю, не стоит переживать по этому поводу, потому что у них у всех не стоит. — И повторила: — Между прочим, я точно тебе говорю: не стоит!

Рита ничего не ответила на это, только посмотрела с недоумением, как ребенок.

— Зато мы съездим к твоей бабушке, — напоминает Лера.

Оставшись одни, мужчины заскучали и потянулись за девушками — якобы полюбоваться на озеро; топчутся на берегу — и в который раз ощущается праздник.

— Что-то мне нехорошо стало, — призналась Валерия подруге и у края оврага оглядывается на мужчин. — Чего пялитесь, надоели! — кричит и, цепляясь за тонкие гибкие деревца, спускается вниз.

Парень в очках подходит к Рите. Он заметил, что девушка грустит и какие у нее большие глаза. Ему стало жаль ее. Рита по-прежнему мяла в руках салфетку — иногда ею по привычке вытирала щеки, и — *в очках*

вздумал сдуть с ее лица бумажные крошки, а она не понимала, что он делает, и умоляюще шептала:

— Прекратите!

Тучу увидели сначала в луже на дне оврага. В зеленых берегах она надвигалась, иссиня-черная, а когда разразился гром, мужчины не успели стаканы собрать, как с неба полилось. Они бросились к автобусу. В суете чьи-то пальцы расстегнули у Риты застежку на бюстгальтере, и за одну минуту потемнело.

— Ха-ха-ха, — смеется Анатолий.

— Ну что, поехали? — Васька осветил фарами мокрые газеты на траве и дымящийся костер.

— А где Валерия?! — завопила Рита.

Казимир ущипнул ее, приоткрывая дверку, и закричал, но там, во мраке, так шумело и гудело, что слов его нельзя было расслышать. С полминуты сидели молча, дождь барабанил по жестяной крыше кабины. Рита опять заплакала. Мужчины посмотрели друг на друга.

— Вытрите ей слезы, — засуетились они. — Петрович, где салфетка?

Анатолий подал другую салфетку. Рита вытерла слезы, но сейчас, когда подруги не было рядом и мужчины наконец обратили на нее внимание, она ревела, почувствовав, что им все равно — с кем. Это ее горько возмутило, и салфетка быстро намочла.

Валерия, оглядевшись одна в мокром темном овраге, услышала, как ее зовут, — из бычьего рева мужчин выделялся голосок подруги; наконец Рита засмеялась после слез. Валерия услышала шаги, хруст веток и закрыла глаза, не желая никого видеть. Но когда рядом кто-то шморгнул носом — девушка не выдержала и посмотрела. Сначала она не узнала парня, а потом догадалась, что он, расчувствовавшись, снял очки, и это сильно ее смутило.

Их звали все настойчивее, и Валерия с облегчением вздохнула:

— Ну что, пошли, надо ехать...

Дождь перестал, но ручьи еще бежали по дороге. Листва беспокойно шумела на березах, и с каждым порывом ветра на землю осыпались буйные капли. Валерия и парнишка в очках вернулись к автобусу мокрые, но в кабине им стало хорошо, как на кухне. Автобус занырял по ямам и буграм, словно поплавок на волнах, и захотелось выпить опять.

Петрович шепнул шоферу:

— Ты забыл, кого везешь?

Васька засмеялся в ответ.

— Нельзя смеяться! — возмущается Казимир.

— Если думать единственно об этом, — Анатолий сдвинул шляпу на затылок, — можно свихнуться.

— Все можно, — заявил Петрович, — при одном условии.

— Каком? — интересуется шофер.

— Пусть она скажет, — показал на Валерию толстяк.

— Я не знаю, о чем речь, — изумилась она.

— Скажи, пожалуйста!

— Я не знаю, что сказать.

Толстяк полез к ней обниматься и забыл, о чем разговор, но повторил:

— Врешь, врешь...

Лерка снова залепила ему пощечину.

— Правильно! — раздался голоса. — Так ему. Пусть знает, как распускать руки. — А сами распускали еще откровеннее, ухмыляясь при этом в глаза. — Так ему... Вот так, так!

Рита наклонилась к Валерии:

— Куда ты меня затащила?

— Я точно тебе говорю: у них у всех не стоит, — повторила Лерка, — можешь не сомневаться.

— Ты же прекрасно знаешь, — одними губами прошептала Рита, — у меня нет никакой бабушки в Бекачине.

Наконец выехали на шоссе; под колесами зашелестел мокрый асфальт. Пьяный Васька повел автобус с бешеной скоростью, и невольно девушки вцепились в сиденья. Снова Рита расплакалась, и парнишка в очках, когда рядом мужчины, преобразился, с лицом как маска, и очки благоприятствовали для этого; между прочим, любой из них наедине с женщиной, самой распушенной, не вел бы себя так, как позволяли они сейчас в компании.

На повороте фары высвечивают разрушенный дом с березами за стенами. Он пропадает во мраке, но соловья слышно еще долго.

— Опять я не там свернул, — сокрушается Васька и сигналист.

С краю дороги брела парочка. Сопливый кавалер оглянулся и поцеловал такую же барышню. Глянув искоса на свет фар, она ответила на поцелуй своего ухажера, сцепив руки у него на шее.

— Все-таки куда мы едем? — спрашивает у Валерии шофер.

— Откуда я знаю? — недоумевает она.

— Если бы ты могла знать, — качает головой Казимир и тут же: — Раз, два, три, четыре... — пересчитывает у Леры ребра. — Чего смеешься?

— Щекотно.

Васька останавливает автобус и шлепает босиком по мокрому асфальту. Мальчишка подбегает к нему, а девочка осталась во мраке смутным, тонким силуэтом, который, как травинка, колеблется и вдруг исчезает.

— Давай назад, — растолковывает шоферу этот сопляк. — Не доезжая до города — сворачива-а-ай... — И не договаривает — увидел в кабине распушенные рыжие волосы.

Васька заскакивает на подножку и хлопает дверкой.

— Действительно, — выворачивает руль, — не туда едем.

Фарами освещается туманная даль, воздух, кудрявая трава с заснувшими цветами. Еще раз увидели пацана с фингалом.

— Катька! — кричал он, заметавшись один на дороге. — Эй, ты, дура...

4

Едва переступив порог, они устроились где попало и уснули; впрочем, девушки положили отдельно на диван и укрыли ватным одеялом, а Петрович нашел перловой крупы и кастрюлю и, прежде чем варить кашу, отправил Ваську на автобусе в Крулевщизну.

Анатолий слышал гудение мотора и обо всем догадался, но встать не смог — его неумолимо, будто течением на реке, снесло куда-то в другую жизнь; появился священник и спрашивает:

— Чем от вас пахнет?

Смутившись, Анатолий поправил на себе костюм и шляпу; смахнул с них пылинки:

— Одеколончиком.

— Нельзя!

— Для души, — оправдывается Анатолий и слышит голос вернувшегося за одну минуту из Крулевщизны шофера, просыпается наконец и выходит на веранду; от несоответствия времени во сне и в реальности голова у него гудит, как саксофон.

Петрович наложил ему в тарелку каши и плеснул в стакан водки.

— Вы купили одну бутылку? — завопил Анатолий. И разбудил толстяка. — Надо было обязательно меня поднять, — не мог он успокоиться. — Придется вам снова ехать в Крулевщизну! — И он полез в карман за деньгами.

Начинало светать, и про электрическую лампочку на потолке забыли — ее жалкий свет потерялся в розовом сиянии, а из разбитых стеклышек веяло острым, жгучим холодом, и — увидели за окнами яркую зелень, плотную приступавшую к дому.

Трава вокруг по колено; если выйти — возвратишься в мокрых от росы штанах, а после того, как поели каши, — в чугунных, словно ядра, головах образовалась гулкая пустота, и когда появился человечек с шарфиком на шее и в кепочке, в рваном под мышками клетчатом пиджаке, никто не обратил внимания на него, пока он не зацепился за чьи-то ноги на полу в спальне и не упал.

Анатолий заглянул в комнату.

— Тише, пускай девчонки поспят! — И ему понравилась на стене сабля.

Так они маялись в ожидании выпивки, а когда брызнули первые лучи солнца, из Крулевщизны приехал в другой раз Васька. Здесь щеголяли в праздничной одежде, и — если бы не дыры под мышками — незнакомца не заметили бы. А он выпил сто грамм и — вместо того, чтобы закусить, — выключил горевшую зря лампочку. Тогда им *тюкнуло*, что вернулся хозяин.

— Извини, — сказал ему Казимир, — мы тебе замок сломали.

— Я рад случаю познакомиться с вами, — пролепетал этот человек. — Вы не похожи на других. После подобных посещений у меня всякий раз чего-то недостает, а вы...

— Мы даже посуду за собой помыли, — добавил Анатолий и, в одну минуту окосев, вдруг упал, а поднявшись, не мог согнуть ногу.

И все же уезжать отсюда, где перекаптовались пару часов, оказалось тягостно — будто прожили здесь жизнь, будто навсегда покидали отеческий дом... или бывает вот так ребенку, когда просыпается, и взрослые мужчины это почувствовали — им стало жутковато среди оглушающе пронзительного щебетания птичек и стремительных лучей над яркой цветущей зеленью.

Пошли будить девчонок; на диване спала одна Валерия.

— Вставай, поднимайся скорее, — потрогал ее Казимир, ощущая под одеялом млеющее в тепле роскошное тело. — А где Рита?

Валерия, не открывая глаз, что-то пробормотала.

— Где? — переспросил Казимир.

— Еще немножко, — повторила Валерия.

Казимир потянул с нее одеяло:

— Пришел хозяин, неудобно.

Она не сразу сообразила, где находится, однако если бы Казимир не упомянул о хозяине, так быстро девушка не вскочила бы.

— А где Рита? — спросила она у Казимира.

Тут выяснилось: куда-то подевался и парень в очках.

— Как он мог, — удивился Казимир, и мужчины переглянулись в недоумении, пожимая плечами.

— Я не понимаю, — схватился за голову протрезвевший Анатолий, — разве это возможно, когда завтра, вернее, уже сегодня...

Валерия, наблюдая за ними, осознала в который раз тайну и по-настоящему проснулась. Мужчины вышли из дома и стали искать парнишку, вместе с ними даже хозяин заглянул в сарай:

— Федя, Федя! Отзовись!

Солнце поднималось, от его горячего блеска становилось муторно после сна на полу и от выпитой водки, и, помяв траву возле дома, мужчины решили ехать дальше.

— Ах, — вспомнил Анатолий, — забыл шляпу. — И, не сгибая ног, волоча ее, будто специально показывая, поднялся по ступенькам на крыльцо и через минуту вернулся из дома в шляпе на бровях, заковывал к автобусу, еще сильнее прихрамывая, и едва взобрался в кабину.

Когда отъехали немного от деревни, Анатолий рассмеялся. Его товарищи, с непричесанными волосами и небритые, еле повернули тяжелые головы. Анатолий расстегивает брюки, а девушка, ослепленная вязкими лучами за толстым стеклом в окне, не смогла пошевеливаться от лени. Наконец он вытаскивает из штанины саблю.

— Зачем она тебе? — изумился шофер.

— А ему зачем?

Чтобы не выдать овладевшего ею испуга, Валерия заверещала:

— Дайте мне посмотреть!

Анатолий медленно, с наслаждением, достает саблю из ножен. Сталь сверкнула на солнце, и от нее зайчик прыгнул по потолку кабины. Тут же Анатолий вогнал саблю со звучным стуком обратно, причмокнув языком от восторга, — никакого внимания на просьбу Валерии, и девушка не стала ее повторять, снова уставилась в окно.

Она будто задремала наяву. Впрочем, и шофер за рулем не переставая протирал глаза кулаками. Дорога запетляла среди полей, лишь на горизонте синели леса рваной узорной каемкой. Мужчины начали перекликаться между собой ничем не примечательными фразами, а дышали так, будто воздуха не хватало, и слова из их уст выплевывались без окончаний, и хотя бы это указывало, что подъезжают к Бекачину. По сторонам все больше попадалось построек, столбов, и больше машин ехало туда и назад по дороге. Становилось как-то торжественно — у мужчин задержались сердца в груди, их томление и Валерии невольно передалось, однако почему-то становилось страшно находиться рядом с ними, когда прежде ничего подобного девушка не ощущала. И вот тут праздник почувствовался особенно ясно. Как только показались вдали многоэтажные дома в пепельно-бурой дымке, Валерия попросила Ваську остановиться. Ее слова прозвучали среди хриплого шепота мужчин — будто что-то порвалось, затрещала какая-то материя, и никто у девушки не поинтересовался, почему она пожелала — именно здесь, в поле, где нет ничего.

Шофер остановил автобус. Валерия поблагодарила и выпрыгнула из кабины.

— Посмотрю, все ли в порядке, — сказал Анатолий и прошел вслед за шофером вдоль автобуса.

Валерия не ожидала, что и они вылезут, и — растерялась. Шофер открыл сзади дверки. Валерия увидела внутри гроб. Анатолий взобрался по лесенке, и шофер — за ним; они вдвоем сняли с гроба крышку. Шляпа на Анатолии зацепилась за крюк на потолке грузового отсека и упала в гроб. Анатолий поднял ее, но на голову не нацепил, повертел в руках и зажал между коленями. Валерия отвернулась и быстро пошла вдоль изгороди, за которой земля истоптана в черную вязкую жижу, и в отпечатанных на ней копытах блестело солнце. К девушке тянулись морды, жевали и глядели с тоской. Она спряталась в стаде и вздохнула с облегчением. Вокруг хлестали по изъеденным до крови бокам хвосты и мелькали ожесточенные злые слепни. Она зажмурилась, чтобы этого ничего не видеть, и, сосредоточившись невольно на одних заунывных звуках, стала напевать, сама не зная что, повинувшись сердцу — и не своему, а какому-то чужому, далекому, — очень тихо, не своим голосом, пропела колыбельную, — не осмеливаясь открыть глаза, пока автобус с покойником не уехал; затем повернула назад.

По дороге несется такси. В нем Валерия узнала Федю — он почему-то без очков, будто снова прослезился; и его лицо промелькнуло так быстро, что девушка усомнилась — он ли?. Перебегая шоссе, она необыкновенно остро почувствовала ускользающую жизнь, когда на сизом асфальте под ногами разжигалась на ветру сигарета, которую выбросили из такси. На другой стороне шоссе Валерия поднимает руку навстречу первой машине из Бекачина.

В стене — окошки, одно над другим на каждом этаже. В окошках дерево. Чем выше — ветки переплетаются сильнее. Наконец на лестничной площадке столы и стулья, друг на друге, последние — вверх ногами. Сережка

поворачивает по коридору, нажимает на кнопку у двери без номера — прислушался, еще раз нажал. Напротив выглядывает из квартиры старуха.

— У меня каждый раз, — заявила она, — телевизор мигает.

Рита видит сон.

Я, моя подруга и ее друг идем, будто в театральной декорации, по картонному переулку — без крыши; в окнах верхних этажей — не потолки, а небо. После полудня палящее солнце. В тени от домов лежат огромные собаки со вспоротыми животами. Кровь из ран не льется — ее просто не существует. Собаки судорожно дышат, высунув языки, — очень жарко, даже в тени. Выходим из города, за стеной нет ничего и гул.

От ощущения звенящей пустоты Рита просыпается и выбегает в коридор, чтобы открыть дверь. Затем они садятся на диване с неприбранной постелью. Рита положила руку малышу на плечо, а он выпятил губы, чтобы поцеловать ее, — вдруг девушка вскакивает, ее рука проскользнула по Сережке — он не успел даже поцеловать ее, и — там, где она проскользнула, — осталось очень теплое приятное ощущение, еще мальчик почувствовал, какие у нее длинные пальцы, и — отодвинулся от девушки, испугавшись себя. Тут без звонка стучит каблуками Ребров.

Увидев Сережку, он засмеялся — как-то странно смеется! — и мальчик отметил, что Ребров в растерянности — не знает, какой предлог найти, чтобы быстрее удалиться, и — смеется он в отчаянную минуту, и чем громче смеется, тем положение его — *труба*, а он вида не хочет показать. Все же Ребров оборвал хихиканье и заговорил вкрадчиво с Ритой. При этом вел себя так, будто не знает брата Валерии, и мальчик не стал напоминать о вчерашнем знакомстве. Наконец Ребров вынул из кармана деньги и попросил Сережку, чтобы он принес вина.

Мальчик в недоумении оказался на улице. Старуха, у которой мигает телевизор, вывела на весенний воздух больного мужа. Сережка поздоровался — она головы не повернула, а старик, улыбаясь, поклонился.

На стене реклама: человек с поднятой рукой. К ладони приклеена бумажка, и на ветру кажется, что он машет рукой. Сережка тоже помахал в ответ, как раз в этот момент из-за угла появилась учительница.

— Почему ты не в школе?

— Я болею, — пробормотал мальчик, взъерошив чуб.

— Тогда чего ты не в постели? — Матрена Ивановна дотронулась до его лба и, не дожидаясь ответа, вспомнила, что Сережку ожидает в школе «какая-то красавица».

Мальчик, размечтавшись, никак не мог придумать ее, пока на школьном дворе еще издали не увидел среди толкающейся ребятни ожидавшую его Валерию, и — разочаровался. Заметив брата, Валерия направилась к нему, а он обратил внимание, как старшеклассники таращатся в ее сторону. Сестра попросила ключ, и ей пришлось повторить два раза.

— Какой ключ? — изумился Сережка.

— От дома.

— А где твой?

— Потеряла.

— В Бекачине? — полюбопытствовал он.

К сестре подходит молодая женщина с ребенком на руках.

— Что? — отвлекшись, не расслышала Валерия. — Не знаю. Какое это имеет значение? Давайте поддержку, — взяла розовощекого карапуза.

Женщина перелезла через забор, и Лерка передала малыша на другую сторону. Ребенок проснулся и заплакал. Женщина стала успокаивать его:

— Ну чего плачешь, тебе что-то страшное приснилось? Да?

Карапуз разрыдался сильнее.

— Да? Страхное приснилось? — повторяла женщина, унося его с собой. — Да? Может, пойдешь ножками? Нет? Расскажи, что тебе приснилось.

Валерия отправилась домой, а Сережка перемахнул через забор и побрел к магазину вслед за женщиной.

— Гольш? — переспросила она у ребенка. — Огромный?!

— Да, оглемьный, — повторил тот, обливаясь слезами у нее на руках.

Сережка догнал женщину и поинтересовался, что это за *гольши*. Она снисходительно улыбнулась:

— Голая кукла.

Сережка вообразил ее огромной, и ему тоже стало страшно. Он заскочил в магазин за вином, а потом у дома, где жила Рита, не поленился еще раз поздороваться со стариком на лавочке.

— Ты знаешь, — пожаловался тот мальчику, — жена изменяет мне.

— Почему вы так думаете? — спросил у него Сережка.

— Она покупает *ему* мороженое.

— А вам, неужели?..

— Когда я получаю большую пенсию, — с горечью признался старик, — и до копейки отдаю ей.

Не дожидаясь лифта, Сережка на одном дыхании взбежал по лестнице и позвонил. Тотчас Рита открыла. Ребров сидит за столом, будто все это время ожидал вина. Он взял у мальчика бутылку, открыл ее и опрокинул в стаканы: себе и Рите, а Сережке едва капнул.

— Почему грустит? — спрашивает у мальчика.

— Я не знаю, — признался Сережка, еще не отдышавшись после того, как взбежал по лестнице. — А какое вам дело? — неожиданно грубит и, чтобы не показать слез, выходит на балкон.

Между домами гуляет ветер; парусом надулась на веревке простыня — наискосок перерезана тенью от стены, а другая половина — розовая. За кирпичным забором шелестит зелень. По луже с хрустом ломаемого ледка проезжает машина. Из нее вылезает Валерия.

Рита выскакивает на балкон:

— Ты была права!

— О чем ты? — Лера недоумевает внизу.

— Вспомни!

— Ах да...

Вдоль забора женщина тянет шланг. Из него хлещет вода — на сером асфальте вслед черная полоса, а выше косые лучи обгагривали стены домов и верхушки деревьев, которые еще не подрезали.

Когда пришел лифт, Валерия перепутала кнопки — цифры на них стерлись, не разобрать, — поехала не вверх, а вниз. Лифт остановился. Она нажимает на другие кнопки — ничего. Испугалась, но дверки раскрылись, и — выскочила в подвал. Здесь, на потолке, часто мигает электрическая лампочка, так что больно глазам, к тому же стены вымазаны в два слоя белой краской — и такие же белые трубы вдоль стен. Вдруг она почувствовала себя не то что нехорошо, а как-то необычно, и опять затоснило. Валерия подумала, что это после лифта; дальше в стене проход — над ним труба буквой «П». Валерия, нагнувшись, проходит под ней; снова закружилась голова, и в мыслях что-то промелькнуло, но так быстро, что не ухватить.

Валерия поднимается по лестнице — навстречу из подъезда шаги, она узнает их — и тут вспомнила, как недавно взяла ребеночка на руки, и — поняла, отчего кружится голова.

Ребров оставил Сережку — приближается к ней.

— Ты знаешь, — прошептала ему Валерия, — кажется, я...

— Что? — Ребров затаил дыхание.

— Кажется, у меня... — И неожиданно, с резко изменившейся интонацией, громко заявила: — Ах, не притворяйся, ты все прекрасно понимаешь, ты всегда понимал меня с полуслова! Что же ты молчишь? — изумилась она.

Он захохотал. Сережка никогда не слышал, чтобы так громко смеялись и так долго.

Наконец Ребров вздохнул.

— Я очень рад, — объявил он. Тем не менее на лице его оставалась растерянность. — Как я рад, — повторил дрожащим голосом и хватал воздух, подобно рыбе на берегу.

Тут вышла из дома Рита. Валерия заметила у нее платье навыворот и сама засмеялась. Рита не могла сообразить, почему над ней потешаются, затем спохватилась и поспешила домой переодеваться. Ребров пытается улыбнуться, а Сережка почувствовал, осознал, что еще не все понимает в жизни.

— Пошли с нами гулять, — предложила ему Валерия.



МАРИАННА ГЕЙДЕ

*

КОРАЛЛОВЫЕ КОЛОНИИ

* *
*

и не было ни одного среди всех
живущих, кто мог бы всерьез исповедовать мне свой грех,
говорит железная печка: не трехногому коту
исповедовать мне свою хромоту,
не одноглазому скворечнику на сосновом шесте
исповедоваться в своей слепоте,
тот, кто был гостиницей для перелетных
птиц, пастбищем для животных,
вместилищем легиона, —
ни один не карается по статье
известного мне закона.
ни девочка, бегущая в шкуре
тысячи лесных тварей,
ни тот, кто из ласточкиных перьев
целебное зелье варит,
ни тот, кто разговаривает на непонятном наречье,
не будет услышан железной печью.
то лукавый королевич скрывается за заслонкой
и слушает, что-то ему расскажет
девчонка, вымазанная в саже.
то королевна с пескариками в решете
за портьерой прячется в темноте:
только люди слушают, добровольно приняв
тяжесть ненаследованных ими прав,
а больше никто не будет
слушать того, кто сам себя неустанно судит.

* *
*

коралловые колонии, выстраивающие остов,
к двадцати пяти годам почти вымирают, после
себя оставляя почти скелет, на котором после
невидимые ткачи непрерывно латают ткани
вплоть до того момента, когда их стянет
влажная гниль и меня наконец не станет.

укладчики мозга в черепные коробки
 вначале сгибают трос, податливый и подвижный,
 затем в искривленьях его пролагают тропки,
 вкладывают на дно, прилаживают как нужно
 и сверху смыкают створки.

стеклодувы легких по шажку отпускают дыханье,
 садоводы кишечных полостей высаживают растения,
 прядильщики нервов смачивают слюною
 нити свои, обрывают и снова тянут,
 и все они были землею, а стали мною,
 а когда не станет меня, то снова землею станут.

* *
 *

спит дитя, накрыв щекой разжатую руку,
 словно к этому лбу никогда ни пяди
 не прибавит еще неведомая наука
 или сказанное другими забавы ради,
 спит и видит сон, как к нему подходит
 ягненок или какое-нибудь другое
 животное, и по ребрам его проводит
 своей безрогою головою,
 и в ладонь шершавую морду прячет.
 а проснувшись, дитя не вспомнит, что это значит.

спи и ты, моя голова, и вы, руки, и вы,
 ноги, впитавшие бурю кровь травы,
 и жирный ил, и сухую глину,
 от которых в изножье белая простыня
 запечатлеет охоту на мраморного коня,
 а мстительное полотно разрисует складками спину.
 спи, правая ступня, спи, левая ступня,
 спи, самая мелкая часть меня.
 спи, простуда, усни, ангина,
 молчите, последние хрипы в бронхах,
 ум уснет, голова побежит вдогонку,
 голова Горгоны, запрятанная в кошелке,
 бессовестно подглядывает сквозь щелку.
 а ей навстречу кто-то, перстом грозя,
 отвечает: за снами шпионить нельзя,
 они пугливы, как влюбленные
 в затонувшем монастыре,
 они удаляются на заре,
 а у тех, кто ходят всю ночь, бессонные,
 они засиживаются до полудня
 (в будни это особенно неприятно),
 и оставляют под глазами синие пятна,
 и оставляют на шее вампировые укусы.
 а по ночам не спят только кошки и трупы:
 они боятся дня, любят электрический свет,
 они зависят от движения разных планет,
 у большинства из них довольно странные вкусы.

лучше спите, брови, спите, веки, спите, ресницы,
 вам ничего не приснится, я за это ручаюсь,
 вчерашний сон сегодня не повторится,
 потому что так почти никогда не случается,
 вчерашний день сложится, как бумажка,
 в чашку, или кораблик, или прыгающую лягушку,
 и ты удивишься тому, что ночью из прожитого
 получается совсем на него не похожее,
 и то, что было внутри, становится кожей.

* *
 *

так внутрь глины целой, надавливая слегка,
 гончар опускает сведенные пальцы, пока
 не образует вмятину, а после разводит, пока
 пустота внутри не достигнет размера задуманного горшка.

так нога мерно и мерно снует вперед и назад,
 а затем взлетает, потому что скорость и так велика.

так сжимает горлышко, чтобы стало уже,
 и острый нож прижимает к ножке, чтобы стала ровней,
 так смачивает ладонь водой и оглаживает снаружи.
 а после сушит, подрезав донце струной.

а после, боже мой, что после станет со мной —
 могла бы подумать, если могла бы думать
 чашка, ожидающая свой страшный суд,
 потому что ее поставят в печь и на ночь запрет
 и двести, триста, четыреста градусов выставят на табло,
 вплоть до градуса, при котором плавится стекло,
 до градуса, при котором плоть превращается в прах.

ты ведь прахом была, и больше чем прахом тебе не быть,
 сказал бы чашке гончар, если бы мог говорить.

* *
 *

пусть руку мою раскрошат, как воскресный хлеб,
 на двенадцать и две фаланги, из коих
 пять о пяти щитах, высеченных из кости,
 и пусть пребывает так, пока не придет покой и
 мой хлеб опять притворится моей рукою.

ты, пальмовая ветвь в ладони,
 ладонь в ладони и пальмовая ветвь,
 сама себя свивающая в вервь,
 сама себя снетающая в твердь,
 сама себя вжимающая в плоть,
 ты, колесо, раздирающее не меня, —
 раздирай сильней,
 ты, пальмовая ветвь, обратишься в плеть
 и будешь петть над моей спиной до скончанья дней.

но вы будете, будете, а все равно меня не забудете
и ничего не забудете, потому что ничто не забудется,
и за вашими спинами будет — когда вы будете
совсем другими, и сами себя разлюбите,
и прибудите к старости с кроткими головами,
а я и тогда останусь стоять за вами.

**Выступление на торжественной церемонии награждения лауреатов
независимой литературной премии «Дебют-2003»
18 декабря 2003 года**

То, что я скажу, может показаться и поверхностным, и чрезмерно общим, но, к сожалению, сам жанр краткого публичного выступления предполагает эти недостатки.

Всякий род творческой деятельности предполагает акт самовыражения, самореализации, но литературное творчество парадоксальным образом совмещает в себе этот акт с совершенно ему противоположным — актом самоотчуждения, метафорически, а иногда и неметафорически представляющим собой своего рода самоубийство. Дело в том, что всякая деятельность человека — художественная, техническая, производственная — предполагает отчуждение продукта, получаемого в результате. И всякий продукт, кроме формообразующего акта человеческой воли, имеет нечто в качестве материи — даже если речь идет о музыке или математике, в основе которых лежит чистое время. Но для литературного творчества материей является язык, то есть та стихия, которую Мартин Хайдеггер назвал «домом бытия», в которой только и раскрывается человек в своей человеческой сущности. Поэтому за любым состоявшимся литературным текстом всегда прозревается трагический конфликт между языком и автором, осмелившимся сделать его чуждым по отношению к себе самому, и этот конфликт, в сущности, является главной формообразующей компонентой, обеспечивающей целостность текста. Литература — или ее наиболее радикальная часть — может объявлять о смерти того или иного жанра, о смерти автора, говорить о невозможности высказывания от первого лица или, напротив, утверждать необходимость такого высказывания, она может идти по пути механической фиксации языковых изменений или, напротив, развивать усложненные повествовательные конструкции, но главное свое противоречие — невозможность и необходимость сделать язык из среды обитания объектом своей деятельности — она никогда не будет в силах решить. И опять-таки парадоксально, однако именно по этой причине любой человек, одержимый созданием текстов, — а присутствие такой одержимости я считаю необходимым, хотя, разумеется, и не достаточным условием литературной деятельности, — любой такой человек должен осознавать свой долг разрешить эту задачу по-своему, именно в индивидуальности этого волевого усилия заключается возможность самореализации в литературном творчестве. И в бесконечной аппроксимации к разрешению этого конфликта, возможно, заключается сама суть динамики литературного процесса.

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

РЕВЕККА ФРУМКИНА

*

ТАМ, ГДЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ЗАТЕРЯЛОСЬ ВРЕМЯ...

О пользе когнитивного диссонанса

Существует стереотип, согласно которому обоснованное мнение можно иметь только о том, что ты *видел своими глазами*. Москвичей упрекают в том, что они судят о России на основании жизни «в пределах Садового кольца»; жителю Вологды ставят в вину провинциальность, а южанину, дабы понять, *что почем*, советуют пожить в Норильске.

Но ведь жизненный опыт любого отдельного человека ограничен. Да и вообще дело не столько в объеме опыта, сколько в возможностях его осмысления. И потому опыт завзятого любителя странствий нередко не более содержателен, чем бесконечный ряд цветных фотографий, хранящихся в его компьютере. Смотрим-то мы глазами, но видим мозгом.

Привилегия усмотрения невидимого приобретается «потом и опытом». Географы, этнографы и антропологи для того и описывают свои наблюдения столь детально, чтобы и мы могли увидеть неочевидное и расшифровать невнятное. И то, что обычному взгляду представляется набором случайных фрагментов, для профессионала являет упорядоченную структуру.

Я не географ и не этнограф. Но применительно к реалиям повседневной жизни у меня своя привилегия: это умонастроение, которое в психологии называется *когнитивный диссонанс*. В его основе лежит сильнейшая потребность вписать неизвестное в область известного, то есть объяснить его. Понятно, что для этого надо не только очертить важную для себя область неведения, но и испытывать по этому поводу внутренний конфликт. Это состояние я считаю продуктивным для всякого думающего человека. Отдельный вопрос — как такие конфликты разрешаются.

Можно избежать когнитивного диссонанса, рассматривая только те *вопросы*, применительно к которым уже есть *ответы*. В силу этого очевидным считается то, что вовсе таковым не является. Мы принимаем за объяснения мифологемы и стереотипы и тем удовлетворяемся. Это ни хорошо, ни плохо — это естественно, пока жизнь идет своим чередом. Все меняется, когда обыденное сознание сталкивается с необходимостью осмыслить то новое, которое прежде как проблема существовало для одних лишь специалистов.

Вот в деревню Илейкино, куда из Москвы поездом с пересадкой доберешься не меньше чем за три часа, приезжает автолавка. Раньше в радость было купить там постное масло. Теперь привозят что угодно, в том числе — дорогое немецкое пиво. Пива я не пью, но мне интересно, *почему это стало возможно*.

Фрумкина Ревекка Марковна — лингвист, эссеист, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН. Автор научных книг и статей на русском и английском языках, учебника для вузов «Психолингвистика» (2001), мемуаров «О нас — наискосок» (1997), книги эссе и мемуарных очерков «Внутри истории» (2002) и книги «Мне некогда, или Осторожные советы молодой женщине» (2004). Постоянный автор «Русского Журнала» (www.russ.ru).

У моих ворот, вблизи метро «Аэропорт», успешно торгует вагончик, где в крошечной витрине умещается не менее десяти сортов сыра, в том числе — адыгейский, действительно привозимый из Адыгеи. И это при том, что на расстоянии ста шагов уже несколько месяцев, как открылся супермаркет с изрядным ассортиментом и умеренными ценами.

Не менее интересно, почему в райцентре Перелюб, что в Саратовской области, стоящем прямо-таки «на нефти», такое ужасающее запустение, что телевидение отключено за неуплату, городского транспорта нет, а кругом полно факелов, причем в каждом из них сгорает газ, которого бы хватило на год для каждого из районов, окружающих этот городок.

А в то же время в ничем не примечательном городке N., где по улицам бродят козы и куры, есть Интернет, детский кружок по лепке из теста, автовокзал покрашен, а мужское население хоть и пьет, но по российским масштабам — умеренно. Отчего это?

Почему даже от «лежачего» колхоза крестьянам есть определенная польза, а от «лежачего» завода его рабочим пользы решительно никакой?

Почему в традиционных районах льноводства перестали сеять лен?

Правда ли, что на ранних огурцах кое-где можно разбогатеть не хуже, чем в южных краях — на мандаринах?

И наконец, почему мы так гордимся своей бескрайней территорией, если благополучие целых регионов зависит от пресловутого «северного завоза»?

Аргументированный и вместе с тем общепонятный ответ на подобные вопросы требует иного формата, чем статья в журнале. Статей таких не видно, поэтому считается, что у нас вообще нет аналитики. Однако аналитика есть, но не в статьях, а в книгах, написанных специалистами, но адресованных всем, кто хочет *понять*. Почему-то наша читающая публика этими книгами не слишком интересуется. А зря.

Три таких книги я, что называется, проглотила. Одна из них — о российской «глубинке»¹, вторая — о российской деревне², третья — о нашей городской бедности³. Все они убедительно документированы и основаны на полевых исследованиях самих авторов. Иными словами, это факты из первых рук с тщательно обоснованной интерпретацией. В результате на некоторые мои вопросы я получила неожиданные, но оттого не менее впечатляющие ответы.

Столица, провинция, захолустье

Разумеется, Москва — не Россия. Но более важно, что Москва — это вообще не совсем город, а «сверхгород», почти государство, по численности — примерно две Грузии. Здесь, как подметил В. Л. Глазычев, мы перестали встречать людей, с которыми должны бы давно познакомиться просто по роду занятий. Теперь мы видим их по телевизору, читаем их тексты в интернет-изданиях или слышим о них по радио.

Это и признак метрополии, и ее несчастье. В середине 60-х американский коллега, сидя у нас на кухне, спросил, где живут мои друзья. Пока я искала способ объяснить, где находятся Кузьминки, Измайлово и Черемушки, наш гость сказал, что вот этим Москва и отличается от Вашингтона, где пристойно зарабатывающие граждане живут в собственных домах в пригородах и потому вне работы общаются преимущественно с соседями.

Признак подлинного города — главная улица и праздная толпа на ней. Тверская была главной улицей, пока из выходящих на нее переулков не отселили обычных жителей. Одновременно с Тверской исчезли не только обычные

¹ Глазычев В. Л. Глубинная Россия: 2000 — 2002. М., «Новое издательство», 2003, 328 стр. («Новая история»).

² Нефедова Т. Г. Сельская Россия на перепутье. Географические очерки. М., «Новое издательство», 2003, 408 стр. («Новая история»).

³ Тихонова Н. Е. Феномен городской бедности в современной России. М., «Летний сад», 2003, 408 стр.

магазины, но и много знаменитых, «отмеченных» мест, будь то потерявшая свою былую роль булочная Филиппова, обжитые несколькими поколениями букинистические магазины или некогда знаменитый коктейль-холл.

Года два назад в яркий весенний полдень я шла пешком по четной стороне улицы от Васильевского переулка до Тверской заставы. За пятнадцать минут мне навстречу попало четыре человека! Но ведь главная улица любого города — это символическая, а не экономическая необходимость. Равно как и площадь, центральный рынок, собор, театр, кафе, трактиры и рестораны. Если эти объекты распылены, расплзлись, пустуют — город перестает существовать как целое. Нам могут категорически не нравиться усилия московской мэрии по реконструкции центра, но в самом стремлении хоть как-то этот центр зафиксировать мы всего лишь повторяем путь, которым в разные годы шли (и идут) другие города — Париж, Детройт, Вена.

Если Москва — скорее государство, чем город, то огромное количество наших городов, в особенности новых, — это «недогорода», то есть слободы. Слобода — это поселение, которое в свое время было создано для каких-то конкретных целей. Дух слободы — неоседлость, прикреплённость не к месту, а к ремеслу (заводу, руднику, НИИ). Не знаю, сколько в точности сегодня жителей в пермской Мотовилихе, но эта историческая слобода при знаменитом оружейном заводе и сегодня сохраняет свои черты, хотя Пермь — большой город.

Так что мало поставить на карте точку и написать «город Набережные Челны». Мало понастроить там многоэтажные кварталы, где свищет ветер и не приживаются саженцы деревьев. Пока там нет ни городского сообщества, ни городской среды, сохранится и безразличие к тому, на поверхностный взгляд, малозначительному факту, что в большом *якобы городе* не видно уголка, где было бы приятно назначить свидание.

А ведь по сути это значит, что всяк живущий в таком «городе» — чужеземец и окружающий мир ему заведомо враждебен. Зачем, в таком случае, заботиться о благоустройстве? Разве что начальство выгонит на субботник с лопатой. И не важно, сколько в слободе жителей — полторы тысячи или двести тысяч. Важно, что личное пространство слобожанина ограничено забором его личного участка.

Слобода по определению не может самоуправляться — ее жители и в самом деле могут сказать о себе «мы люди маленькие». Реальная экономика слободы определяется совокупностью экономики, сосредоточенной «за проходной» родного завода, и экономики приусадебного хозяйства или огорода, в свое время отведенных тем же заводом слобожанину. Как только завод, НИИ, «фирма» перестали дотировать столовые, детсады и турбазы, как только исчезли изощренные формы внеденежного снабжения всем, от меховых шапок до книг, так «недогорода» начали чахнуть, а их жители оказались перед необходимостью уповать только на свои подворья, дачные участки и огороды.

На моих глазах так рос, развивался, богател — а потом стал стремительно нищать подмосковный город Жуковский. Признаки упадка те же, что отметил В. Л. Глазычев в своих описаниях депрессивных городов Приволжского федерального округа: заросшие газоны, нестриженные кусты, облупившиеся фасады, исчезающие автобусные маршруты, полуразбитые памятники, неухоженное кладбище, неорганизованный рынок.

Конечно, в Подмоскowie даже «просевшие» поселения не выглядят так драматично, как где-нибудь на окраине Саратовской губернии, потому что экономика Московской области ориентирована на метрополию. Но вектор тот же: везде возможные источники перемен к лучшему пребывают вне влияния жителей. Ведь по большому счету, то есть с точки зрения возможности граждан изменить ситуацию, не столь важно, что Жуковский зависит от «оборонки», управляемой из Москвы, а Перелюб — от саратовских чиновников, перераспределяющих налоги от нефтедобычи.

Выходит, что администрация, как правило, преследует свои цели, а жители — свои. При этом во многих городах выделяются группы жителей не про-

сто с разными, но с непересекающимися и даже с противоположными интересами.

Например, в небольшом городке есть военное училище, где курсанты регулярно получают немалую для этих мест стипендию. Поэтому все цены на рынке здесь выше, чем в соседних поселениях. Но существенно другое — по некоторым оценкам, до миллиона рублей в месяц будущие защитники родины тратят на героин. Наркоторговля — это всегда не просто огромные деньги. Это образ жизни: наркокурьеры, наркоторговцы по мелочи и крупные дилеры, долги, шантаж, бандитизм и «крышевание». В результате в городе параллельно протекают две жизни — одна в коттеджных новостройках с автономным водоснабжением и канализацией, другая — в ветхих домах, с которых ветер сносит, как листву, бесценные наличники с русской прорезной резьбой.

Не менее любопытную картину В. Л. Глазычев наблюдал в Калининграде еще в 1995 году. В процессе проведения там своего проектного семинара (о технологии проектной работы см. его книгу⁴) он выявил несколько сообществ горожан, куда в равной мере входили и рядовые жители, и специалисты, и всякого рода начальники.

Одно такое сообщество состояло преимущественно из военных пенсионеров, ориентированных на идею противостояния всякой памяти о том, что Калининград не так уж давно был Кёнигсбергом, а вокруг лежала Пруссия.

Другое сообщество было меньшим по численности, и входили в него гуманитарии и отчасти деловые люди. Среди них, напротив, культивировался *genius loci* как момент уже *нашей* родовой памяти: это мы теперь живем на улицах, по которым некогда прогуливался Иммануил Кант. А значит, откроем-ка мы старые карты и вспомним об остатках отличной инженерной инфраструктуры, о фортах и каналах, о былом первоклассном сельском хозяйстве региона — и будем приглашать сюда ностальгирующих немецких туристов.

Третье сообщество сложилось в основном из людей, занятых в бизнесе. Их интересовало исключительно настоящее — близость к Западу, ради чего они и переселились в Калининград. В целом большинство горожан тяготело к идее Калининграда как «русского европейского города», но при этом само было пассивным.

Очевидно, что какие-либо продуктивные совместные действия при столь контрастирующих ценностных установках невозможны, разве что эксперты-профессионалы сумеют выделить хоть что-то, что объединит интересы здесь и сейчас, притом именно самих горожан, а не чиновников. Собственно, на этом пути только и можно надеяться на эволюцию сознания от слободского к гражданскому. Очень важно понять, что подобная *штучная* работа ожидает каждого специалиста, готового объединить свои усилия с усилиями других.

«Глубинная Россия» Глазычева содержит (среди прочего) краткие «портреты» многих малых городов Приволжского федеративного округа. Каждое поселение, каждый городишко на свой лад красив или убог, перспективен или безнадежен, чтит свою историю (нередко многовековую, как, например, мало кому известные Балаково или Торопец) или этой истории почти не имеет, как многочисленные ЗАТО (закрытые административно-территориальные округа).

При этом, хоть и по разным причинам, не просматривается никакого единого основания для их типологизации. Одна из причин — это разница в уровне и структуре доходов. Если в США разница по душевому продукту между двумя штатами не превосходит двух с половиной раз, в Европе (без стран бывшего соцлагеря) — 4,5 раза, то в регионах России эта разница может быть в 20 раз и более.

В пределах все того же ПФО даже *бюджетная обеспеченность* на душу населения «городов» различается в тридцать раз! Так можно ли единообразно

⁴ Глазычев В. Л. Городская среда: технология развития. М., «Ладья», 1995.

трактовать само понятие «горожанин»? Очевидно, что житель Мышкина *горожанин* совсем в ином смысле, чем житель Сызрани, тем более — Самары или Вятки. И это еще один принципиальный аргумент, не дающий больших надежд на возможность единой для всей России схемы местного самоуправления.

Так как же быть тем, кто страстно желает жить *иначе*?

Прежде всего надо осознать, что такой цели невозможно достичь в одиночку. Чем активнее будут объединяться локальные элиты — бизнесмены, врачи, образованные молодые люди, жаждущие самоопределения, — тем больше шансов на выработку эффективных стратегий управления территорией.

Россия между городом и деревней

Набившая не одному поколению оскомину фраза о «стирании граней между городом и деревней» применительно к сегодняшней России имеет под собой серьезные основания. С той разницей, что «стирание» осуществилось akurat в обратном направлении, нежели предписанное марксизмом.

В России произошла не урбанизация деревни, а *рурализация* города. Хотя, по данным официальной статистики, 73 процента населения России проживает в городах, но из предыдущего раздела ясно, что многие из них — это «недогорода». А если принять во внимание условия жизни в городах (один из существенных показателей здесь — наличие канализации), то уровень российской урбанизации понизится до 60 процентов, а во многих районах не достигнет и 50.

Более пятой части всех россиян не отнесешь однозначно ни к городским жителям, ни к сельским. Если же сюда добавить горожан, погруженных в сельские заботы на своих дачных участках, то это уже четыре пятых населения. Так что в целом мы живем в *переходном* обществе — где-то между разными эпохами и цивилизациями, между городом и деревней.

Стоит ли удивляться тому, что квалифицированный наблюдатель, путешествующий по России, не только каждый раз попадает как бы в *разные страны*, что при нашей территории и этнокультурном разнообразии скорее закономерно. Более удивительно — и принципиально, — что путешественник попадает в *разное время*. Географические очерки Татьяны Нефедовой «Сельская Россия на перепутье» убедительно это показывают.

Рента, аренда, ипотека, ссуды и кредиты, биржа и акции — это где-то «у них». «У нас», правда, огород уже не всегда копают лопатой, а нанимают трактор. Но туалет во дворе, пьют все, кроме малых детей, а надой молока от коровы в год нередко не превышает полторы тонны.

Как удачно выразился географ В. Л. Каганский, «за порогом квартиры [советского человека] сразу начинался Советский Союз»⁵. За последние пятнадцать лет это мироощущение мало изменилось. По наблюдениям Нефедовой, даже для жителей Подмосковья сельскохозяйственные угодья «вообще» и свой приусадебный участок — это вовсе не одна и та же *земля*. Поэтому на вопрос о том, кому должны принадлежать сельскохозяйственные земли, люди отвечают — государству (30 процентов) или колхозам (еще 30 процентов), а на вопрос «Нужна ли частная собственность на землю?» те же респонденты отвечают — да, нужна.

Здесь истина вовсе не лежит посередине. Отвечая на второй вопрос, люди имеют в виду *другую* землю, а именно — участок под своим окном, свой огород и сенокос на окраине поселка. Вот за все это хозяин костью ляжет. И крестьянину все равно, находится ли эта земля в аренде или является частной собственностью. Под окном и при социализме, и сейчас — *его* земля, а остальная — ничейная.

⁵ Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., «Новое литературное обозрение», 2001, стр. 149.

Это почти сакральное отношение к «своей» земле особенно поражает, когда богатый фермер, владеющий тысячами гектаров, не разбивает на приусадебном участке цветник и не сажает в палисаднике какие-нибудь экзотические целебные травы, а продолжает выращивать для себя картошку и держать корову, хотя почти в каждом доме той же деревни есть излишки картофеля и молока и стоят они копейки.

Не менее поражает и то, что при *сегодняшней* ситуации с продовольствием жители больших российских городов, включая москвичей, не склонны на своих дачных участках ограничиваться флоксами и астрами, причем это касается отнюдь не только горожан в первом-втором поколениях. А ведь несложно подсчитать, что в Подмосковье на шести сотках устраивать теплицы, чтобы выращивать там помидоры и огурцы, экономически бессмысленно.

Как показывают социологические опросы, даже в Подмосковье лишь каждый четвертый думает, что земля должна принадлежать крестьянам и фермерам. Видимо, это и есть та часть сельского населения, которая могла бы самостоятельно крестьянствовать. Но в окраинных районах даже на плодородных землях активная часть населения нередко не превышает 5 процентов. Преобладает же бедность и установка на минимизацию потребностей.

Показательна рассказанная Нефедовой история о том, как менеджеры компании ЭФКО, купившей масложировой завод, не смогли активизировать местное население. Алексеевский район Белгородской области — это глубинка с «лежачими» колхозами и беспросветной бедностью, где любая гарантированная возможность заработать, казалось бы, должна порождать конкуренцию. Однако социологическое исследование показало, что тамошнему населению как бы ничего и не надо: ни туалета в доме (50 процентов), ни увеличения земельного надела (60 процентов). И те же 60 процентов не видят ничего зазорного в воровстве. В целом же неготовность хоть что-то сделать тем сильнее, чем беднее человек.

Книга Татьяна Нефедовой позволяет проститься с укоренившимися в общественном сознании штампами, согласно которым «Россия может/не может прокормить себя», «колхозы вредны/необходимы», «наше спасение в фермерстве/фермерство не для России», «продуктивность хозяйства определяется широтным поясом / наличием крепкого хозяина», «дайте денег — и мы поднимем Нечерноземье/все российское сельское хозяйство было и останется черной дырой» и т. п.

Приведенные выше клише иллюстрируют противоположные позиции, что закономерно, ибо стереотипы не опираются на логику. На самом деле Россия может прокормить себя хлебом и отчасти молоком, но — при существующем положении дел не может прокормить себя мясом. Однако обсуждать эти и им подобные предметы надо не на уровне деклараций и благих пожеланий и даже не на основе данных одной лишь официальной статистики, а исходя из опыта многолетних наблюдений и их разносторонней интерпретации. Недаром Нефедова не только объездила, но нередко и *исходила* места, ею описанные.

Один из самых интересных разделов книги называется «Зачем нужны колхозы?». Не думаю, чтобы далекие от сельских проблем люди об этом задумывались.

Да, убыточную колхозную продукцию нередко некому продать даже по дешевке. И людям там годами не платят зарплату, а они почему-то выходят на работу. Почему? А потому, что хотя нынешний колхоз, как правило, неэффективно взаимодействует с государством, но его связка с отдельно взятым крестьянином — это совсем иной сюжет. Колхоз уже давно служит подсобным хозяйством для хозяйства индивидуального, а не наоборот.

Читатели постарше еще помнят слово «приписки» — это мифические миллионы тонн зерна и мяса, километры ткани и тысячи пар обуви, которые существовали только на бумаге, в отчетах о выполнении и перевыполнении плана. Сейчас широко практикуется обратное: в отчетах объем продукции *занижается*, чтобы не платить налоги. Даже для среднего, а тем более для бедного

колхоза прямая выгода — выдавать крестьянам продукцию *натурой*: не надо искать, кому все это продать, не надо платить налоги с выручки, зарплату и налог на фонд оплаты труда.

В Саратовской области 40 процентов пенсионеров отметили, что они бесплатно получают от колхозов зерно и корма для скота — а как же иначе, если комбайны и трактора может купить и обслуживать только колхоз или совхоз? Любопытно, что там, где у колхозников на подворьях свой хороший скот, добавленные колхозом в виде ежедневной натуроплаты 5 — 6 литров молока позволяют крестьянам перерабатывать молоко на творог и сметану и торговать ими на рынке за «живые» деньги.

Именно колхоз обеспечит ветеринара и поддержит (если не деньгами, то транспортом и натурой) в случае болезни, похорон, свадьбы. Ну и весьма существенны услуги, связанные с техникой, — они, конечно, не бесплатны, но колхоз у «своих» никогда не запросит за косилку даже по себестоимости.

Что касается третьего уклада — фермеров, то эта форма хозяйствования функционирует в сложном взаимодействии с индивидуальным и колхозным укладами. Тем более не имеет смысла обсуждать перспективы фермерства «*вообще*»: фермер-то хозяйствует не вообще, а занимается или зерном, или скотом, или товарным огородничеством, притом не вообще в России, а на Псковщине или Кубани.

У географов есть такое понятие — «западно-восточный градиент»; о нем писал еще П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Это падение с Запада на Восток культуры землепользования и урожайности сельского хозяйства, измеряемых совокупными показателями. Кстати говоря, в их число входит — и это очень важно — протяженность дорог с твердым покрытием.

А. И. Трейвиш показал, что аграрная Россия на протяжении своей истории отставала от Запада в агротехнологиях примерно на 500 лет, а от Восточной Европы — на 200. Во многих российских регионах трехполье, с которым Европа простилась 600 лет назад, доминировало еще в начале XX века.

К 80-м годам перепад градиента проходил в точности по современной границе Российской Федерации. Я имела случай с середины 60-х и до конца 70-х годов ежегодно «ощущать» этот самый градиент, пересекая на автобусе границу между Псковской областью и Эстонией. Ухабы на дороге кончались ровно там, где кончался русский город Печоры и начиналось эстонское поселение Петсери. Дальше повсюду, где лес не подступал вплотную к шоссе, трава была аккуратно выкошена, а с интервалом в несколько километров в окне автобуса мелькали придорожные деревянные сооружения, напоминавшие большие стремянки. Как оказалось, это были подставки для фляг с молоком, которые после утренней дойки выставляли хозяева, чтобы их забрала машина ближайшего молокозавода. В тогдашней России ничего подобного не наблюдалось.

Кстати сказать, еще А. Н. Энгельгардт в очерках «Из деревни» писал, что экспорт дешевого зерна из России был возможен именно за счет нищенского уровня личного потребления в деревне. Как оценить тот факт, что мы одновременно ввозим и вывозим зерно? Чтобы иметь на этот счет обоснованное мнение, надо понять, что в нынешних российских условиях выгоднее купить мясо за рубежом, чем покупать фуражное зерно и переводить его на корм бесперспективному скоту.

Широтный градиент тоже значим. Немалая часть наших сельскохозяйственных угодий слишком сдвинута к северу, чтобы можно было ожидать от земли эффективной отдачи. Известный географ Б. Б. Родоман считает, что лесная нечерноземная часть России самой природой предназначена вовсе не для земледелия, а для рыболовства, охоты и животноводства, а активное земледелие там сложилось как историческое следствие внеэкономического принуждения.

Нефедова с коллегами из Англии и из Перми обследовала один из районов Коми-Пермяцкого автономного округа — Косинский, расположенный

примерно на широте Петербурга. Все коллективные хозяйства там убыточны, да и вообще в районе некому работать. Полусгнившие черные избы. Каждая третья смерть связана с алкогольным отравлением: население пьет технический спирт Березниковского химкомбината.

В мае еще лежит снег, сажать можно только в июне, а в июле уже стоит тяжелая таежная жара с гнусом и оводами. Все зерно идет на корм скоту, который приходится держать по восемь месяцев в коровнике.

По «бумагам» посевная площадь с 1975 года уменьшилась в 3 раза, но на самом деле тамошняя пашня в основном — давно заброшенная земля, которая через пять лет будет навсегда потеряна для обработки. Сеять в этих местах если и стоит, то только клевер. Жители живут сбором грибов и ягод, которые сдают перекупщикам. Но и это возможно лишь там, где есть дороги. Там, где их нет, — ловят рыбу, подрабатывают у своих же пенсионеров, которые нынче оказались самыми богатыми людьми в вымершей деревне, потому как имеют регулярный доход.

Косинский район — типичная «черная дыра» в сельском хозяйстве Европейской части России. Это явление системное, хоть и определяемое в каждом отдельном случае корреляцией нескольких факторов. В качестве опорных показателей Нефедовой выбраны надой молока на одну корову, урожайность зерновых и динамика общественного поголовья крупного рогатого скота, рассчитанная путем сравнения данных на 1990 и 2000 годы.

Как оказалось, определяемые таким образом «черные дыры» занимают 31 процент территории Европейской части России (без Крайнего Севера). Это хорошо видно на приведенной в книге Нефедовой карте — она испещрена черными заплатками, за которыми — 17 процентов сельского населения. Еще 21 процент территории — это «проблемные» районы. Это значит, что к 2000 году половина общественного сельского хозяйства у нас уже развалилась.

Здесь самое время вспомнить, что «прощание с Матерой», символизирующее три демографические катастрофы в российской деревне (две войны и коллективизацию), состоялось задолго до нынешних реформ. В 60-х — 80-х годах наше сельское хозяйство получало 20 — 28 процентов всех капиталовложений вместо прежних 7 — 10. При этом самой выразительной стратегической ошибкой была программа подъема Нечерноземья. Закачанное туда деньги в принципе не могли дать отдачи: там уже некому было работать, а пренебрежение агротехникой в угоду «плану» истощило и без того скудные земли.

Показателен рассказ Нефедовой о том, как в одной из экспедиций встретился ей мужик, распахивавший землю с неубранным льном, чтобы там же лен и посеять. На вопрос географа, то есть как бы неспециалиста, как же можно сеять *лен по льну* — почва же вконец истощится, мужик ответил: сказали — *лен*, он под лен и пашет.

Только и остается, что вспоминать А. Н. Энгельгардта, повествующего в письмах «Из деревни», как он ночей не спал, когда на его льнах появились вредные насекомые...

Кстати о льне. К концу XIX века на российский лен приходился 81 процент мировых посевов и 70 процентов сборов. Этот пример любят приводить в доказательство того, что еще и *это* мы потеряли. Но расцвет льноводства возможен лишь при избыточном сельском населении и дешевизне его труда: ведь лен — культура трудоемкая, к тому же требующая сложной технологии (читайте, читайте Энгельгардта!). Механизация здесь требует современного оборудования, а оно доступно лишь крупным и высокоспециализированным агропредприятиям.

Хотя колхозы лен заставляли сеять вплоть до 90-х годов, он систематически уходил под снег неубранным. Когда хозяйства получили возможность самим решать, что и когда сеять, так стали появляться небольшие локусы, где льнопроизводство рентабельно. Но и в перспективе наши льнокомбинаты смогут работать только на привозном сырье.

Зато там, где сеют и сажают то, что реально можно вырастить в товарных количествах и продать, обнаруживаются целые «огуречные», «луковые» и «ка-

пустные» страны. Вот нищий и убогий город Зарайск, который до сих пор не сумел воспользоваться своими преимуществами исторического города-памятника (там сохранился уникальный кремль и многое другое). А рядом — богатый «город» Луховицы — по сути, процветающее село, живущее выращиванием ранних огурцов. При 20 — 30 сотках парников (огурцы — трудоемкая культура, и больше одна семья не может обработать) доход от огурцов достигает 400 процентов. В последнее время возить огурцы в Москву стало накладно из-за подорожания бензина, но зато появились постоянные перекупщики, так что товар можно продать у собственной калитки.

В Саратовской области есть огромные капустные, луковые, арбузные поля, обрабатываемые преимущественно приезжими «советскими» корейцами, к которым местное население нанимается на сезонные работы. Любопытно, что местные хоть и ропшут, что платят им корейцы мало, но сами особой инициативы не проявляют.

Кстати сказать, этнокультурный фактор вносит немалую лепту в разнообразие сельской жизни на территории Европейской части России. В среднем чувашские, татарские и казахские села лучше обустроены, там больше каменных и вообще крепких домов, меньше пьянства, больше личных автомашин; в хозяйствах больше скота, выше товарность, среди сельских татар больше и не-сельскохозяйственные заработки.

Из книги Нефедовой и других работ этой школы географов⁶ можно сделать вывод, что недавние реформы лишь обнажили и ускорили тот процесс деградации сельской России, который начался еще в 70-е годы. Именно тогда, несмотря на все капиталовложения и дотации, урожайность и продуктивность скота перестали расти. К 1980 году убыточными были уже $\frac{3}{4}$ колхозов и более $\frac{2}{3}$ совхозов. Если бы начиная с 60-х годов те же деньги вкладывались не в «гектары», а в людей, в культуру хозяйствования на земле, в бытовое обустройство, в обеспечение сельской местности дорогами и связью, результат мог бы быть иным.

Как удачно выразился А. И. Трейвиш, «перескакивать в пространстве не менее опасно, чем во времени»...

Бедность: экономика и психология

В коммунальной квартире бывшего доходного дома Смирнова на Тверской, где я выросла, электрический счетчик фирмы «Сименс и Шуккерт» не меняли как минимум со времен нэпа. С тех же времен, видимо, бездействовала газовая колонка в ванной, а о горячей воде в кухне никто и не слыхал. Холодильника у нас тоже не было, но его не было ни у кого из наших родных и знакомых. Когда я в 1949 году поступила в университет, мой зимний гардероб составляла одна пара непромокаемых туфель, одна шерстяная юбка, одна вязаная кофточка, две блузки и «выходное» платье, сшитое еще в школьные годы. Мама, известный в городе врач, у которой, на ее беду, был отменный вкус, в торжественных случаях надевала джемпер, привезенный ею из Берлина во времена Веймарской республики.

Тем не менее *бедностью* считалось что-то другое. Вот если бы наша комната освещалась лампочкой без абажура, или в праздник на столе не было бы скатерти, или не было бы денег на новогоднюю елку...

С тех пор сменилось несколько эпох. Оказывается, сегодня наличие в доме цветного телевизора ничего не говорит о материальном положении семьи. С другой стороны, *отсутствие телевизора* несомненно свидетельствует о глубокой нищете.

А можно ли назвать бедной семью российских горожан, где есть не только холодильник, кухонный комбайн и стиральная машина, но еще дача на

⁶ «Город и деревня в Европейской России: 100 лет перемен». Под редакцией Т. Нефедовой, П. Поляна, А. Трейвиша. М., О.Г.И., 2001.

«шести сотках»? Оказывается, можно — и притом именно бедной и даже почти нищей, а не просто малообеспеченной. Потому что в огромном числе случаев это имущество было нажито до реформ начала 90-х.

Тем временем подрастали дети, дряхлели их дедушки и бабушки, люди теряли сбережения и работу, ветшало жилье, обучение становилось платным, а лекарства недоступно дорогими.

Что же, в таком случае, считать богатством? И что — просто обеспеченностью, то есть не бедностью? Понятия бедности и богатства всегда относительны, а в российских условиях — тем более. Так что пословица «у одних щи жидки, у других жемчуг мелок» весьма точно отражает нашу сегодняшнюю жизнь.

Как видно из книг Глазычева и Нефедовой, российские города и села обретаются в крайне неоднородном экономическом и историческом пространстве. К тому же городская и сельская бедность — это принципиально разные виды бедности.

На селе лес, пруд или речка, где-то холмы и дали, где-то цветущие по весне степи, но везде свой огород и, как правило, свое молоко и яйца, то есть относительно нормальное питание. Дрова для бани всегда найдутся, а отсутствие канализации, как видно из данных Нефедовой, для села правило, а не исключение, поэтому это и не воспринимается как лишение. Зато «живых» денег нередко просто нет, а «культура» доставляется только телевизором. Правда, телевидение есть практически везде.

В городе, где есть хоть какая-то промышленность, непременно будут дым, гарь и свалки; нередко и вода, и воздух мало пригодны для жизни. Голода в России нет, но в городах экономят прежде всего на еде и часто питаются из рук вон плохо. За счет этого «живые» деньги в городе есть даже у бедных, хоть и в заведомо недостаточном количестве. Видя по телевизору учителей или медсестер, которые годами сидят без должной зарплаты, я всякий раз отмечаю, что у меня нет ни такой шубы, ни такой меховой шапки.

Правда, все горожане зависят от «своего» центра: то не топят, то не подают воду. Но поскольку в подобные ситуации попадают сразу все жители города или района, то здесь скорее наблюдается равенство в беде, чем контрасты. Впрочем, богатство и бедность всегда определяются применительно к «нормальным» для данной местности условиям. В провинции на мою академическую зарплату и пенсию можно спокойно жить, а в Москве — только сводить концы с концами.

Но и в пределах Москвы обеспеченность и бедность — понятия относительные.

У меня есть знакомая семья, где присутствуют все принятые в науке показатели обеспеченности — хорошая квартира в центре, немаленький дачный участок с садом, большая домашняя библиотека, фортепьяно и даже фамильное серебро. Меж тем семья эта является откровенно бедной, поскольку в ней один кормилец (мама-учительница) и двое иждивенцев (бабушка с грошовой пенсией и дочь-школьница), а все упомянутое имущество, кроме видеомэга-тофона, унаследовано от предыдущих поколений.

Любопытна реакция двух моих собеседников на рассказ об этой семье. «Раз они такие богатые, пусть продадут библиотеку и свое серебро», — сказал юноша, приехавший из провинции в Москву учиться. «Надо сдать квартиру и переехать на дачу», — заключила энергичная приятельница, работающая в большом банке.

Юноше пришлось объяснить, что старые книги теперь сложно продать даже по бросовой цене, а за старинное серебро будет предложена и вовсе оскорбительная сумма. Приятельнице я ничего объяснить не стала, раз уж она не сообразила, что обычная старая дача — это не «новорусский» коттедж. К тому же при таком раскладе маме-учительнице пришлось бы изъять из своей жизни минимум четыре часа, ежедневно проводимых в электричке, лишить дочь детской библиотеки и встреч со школьными друзьями, а бабушку — еще и медицинской помощи.

Однако же мои собеседники отчасти правы. Только правы они *вообще*, а не в частности. Юноша вырос хоть и в российской глуши, но в традиционной армянской семье. Его отец, скромный фельдшер, за свою жизнь сумел собрать большую библиотеку. Естественно, что, с точки зрения сына, много книг — это прямо-таки сокровищница, равно как и все то, что унаследовано от поколений предков.

Что касается переезда на дачу ради жизни за счет сдачи внаем московской квартиры, то этот вариант с некоторых пор перестал быть экзотикой. Но он хорош для крепких пенсионеров — умельцев с машиной «Нива», но никак не для «безлошадных» семей со старыми и малыми, да еще с кормильцами, привязанными к Москве работой.

Впрочем, дело не только в работе как таковой и не только в особой ценности жизни именно в центре Москвы. И работа, и место жительства существенно влияют на ту систему социальных связей, в которую человек включен и на которую во многом опирается. В описанной мною семье девочке долго не покупали почти ничего, кроме обуви, — в малодетных семьях ребенок вырастает из кофточек и курточек быстрее, чем они изнашиваются, поэтому детская одежда дрейфует по друзьям, знакомым по работе и друзьям знакомых вместе с коньками для фигурного катания, детскими колясками и стульчиками.

То же касается и многих других, вовсе не детских, вещей. В разные семьи по очереди переехали моя механическая пишущая машинка, потом — электрическая, потом — стиральная машина, позже — мой первый компьютер. Да и мне тоже кое-что перепало: ведь обмениваются не только вещами, но яблоками, вареньем и услугами.

Среди моих друзей никто не пользуется парикмахерской. Я стригу мужа, меня стрижет подруга, ее стрижет ее муж, а своего ребенка она стрижет сама. Стрижка — процесс довольно долгий. Однажды, пока я терпеливо сидела под простыней, мы с подругой разговорились о бедности. Как раз тогда ее брат-музыкант и отец-профессор одновременно потеряли работу, а я обнаружила, что моя «докторская» зарплата в Академии наук меньше, чем сумма, которую наша семья вынуждена ежемесячно тратить на медицину.

Мы пришли к выводу, что бедность — это феномен психологический в той же мере, что и экономический. Не случайно так тяжело переживается именно не абсолютная, а относительная бедность. Тем из моих знакомых, кто работает в процветающих фирмах, глянцевого журнала или рекламных агентствах, нередко приходится напоминать, что я вынуждена выбирать между Интернетом и парикмахерской, между покупкой кофе и подпиской на журнал. Меня это не задает — но в избытке примеры, когда именно чувство *униженности бедностью* блокирует всякие попытки противостоять обстоятельствам.

Тем более любопытно было узнать из книги известного социолога Н. Е. Тихоновой, что этот феномен давно изучается и называется *социальной эксклюзией*. Под социальной эксклюзией понимается именно процесс сползания в бесперспективную бедность, сопровождающийся разрывом социальных связей.

Однако не все бедные, испытывающие чувство «отверженности», действительно переживают особые лишения (разумеется, я не имею в виду одиноких стариков, беспомощных больных, семьи беженцев и потерявших кормильца). По-видимому, можно *быть* бедным, но нельзя *считать себя бедным* сколь угодно долго, ибо именно истощение психологического ресурса приводит к сползанию в «отверженность». В частности, если доминантой является осознание себя жертвой обстоятельств и ощущение бессилия перед жизнью, если человек склонен считать *именно свою* ситуацию безвыходной, то эксклюзия ему гарантирована.

Хотя данные социологов говорят о том, что наше население определяет «черту бедности», равно как и «черту богатства», в зависимости от собственных доходов, важную роль в оценке себя и других имеет обладание тем, что Бурдые назвал «символическим капиталом». Можно спорить о том, есть ли у нас *общество*, но несомненно, что субъективно человек как-то определяет для

себя свое «положение в обществе» — например, через свою референтную группу.

Мне случилось наблюдать сползание в глубокую социальную эксклюзию семьи, по российским понятиям отнюдь не бедной, но неожиданно потерявшей прежнюю референтную группу. В семье из трех человек (супружеская пара с сыном-школьником) главой семьи была жена, работавшая в весьма престижном отраслевом институте, хотя и на малозначительной должности. Муж зарабатывал примерно столько же, но трудился он в какой-то конторе с не слишком звучным названием, так что знакомые семьи «вербовались» только из круга жены, ценности которого и культивировались.

К концу 90-х институт полностью реорганизовался, и в новом коллективе для моей знакомой уже не нашлось места. Однако главным ударом для нее оказался не сам факт потери работы, а неготовность примириться с тем, что прежние сослуживцы обзавелись хоть и подержанными, но иномарками и отныне ориентировались не на байдарочные походы, а на поездки в совсем другие места и за другие деньги.

Эта ситуация переживалась как «отверженность», из которой не просматривалось никакого выхода. Мое робкое замечание, что приятельница моя виртуозно вяжет и изобретательно шьет, было воспринято как оскорбление...

Вместо эпилога

Я попыталась поделиться с читателем своими попытками узнать больше о стране, где мы живем и которую не так уж хорошо знаем. Россия по-прежнему необъятна, разнолика, по-разному бедна и по-разному богата. Как известно, Родину, как и времена, не выбирают, но несомненно выбирают способ осуществления так называемых «ценностей отношения». Ценности отношения — это тот ресурс, который свободная личность может использовать в противостоянии всему, что навязано судьбой. Надо лишь помнить, что ничего нельзя сделать «с широко закрытыми глазами».



О П Ы Т Ы

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

*

ПОЛИТИКА

* *
*

амелин
как ты смеешь
писать стихи
после 11 сентября

* *
*

русский
лес

шорохи
сороса

* *
*

приходит лектер к медиамагнату

* *
*

I
что делать
похоронить мертвых

II
что делать
поднять курск
похоронить мертвых

III
что делать
поднять курск
выиграть /вариант проиграть/ войну
похоронить мертвых

IV

что делать
 поднять курс
 выиграть/проиграть войну
 заломать березу
 забить гуся
 похоронить мертвых

V

что делать
 хоть что-нибудь
 слетать на марс
 похоронить мертвых

* *
 *

демократ: фашист фашист фашист

фашист: ну фашист

демократ: фашист фашист

фашист: ну фашист

демократ: что ты сказал фашист

фашист: я фашист

демократ: ?!

фашист: да

пауза

демократ: можно вас спросить

фашист: спрашивайте

демократ: а почему вы фашист

фашист: потому что фашизм это хорошо

уходит

демократ остается погруженный в глубокую задумчивость



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЮРИЙ СААКОВ

*

ВЫСОЧАЙШАЯ ЦЕНзуРА

Два эпизода из истории кинематографа

I

НЕДОСТАТОЧНО ОТРЕДАКТИРОВАННЫЕ «ТРОФЕИ»?

В ж как ни блюла партия строгость по отношению ко всему, что просачивалось после войны на советский экран под видом «трофейных» фильмов, многие из них вызвали неподдельное возмущение некоторых наиболее ортодоксальных зрителей.

Но сначала о партии и ее строгостях.

Агитпроповский предпросмотр

30 августа 1948 года начальники Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Д. Шепилов и Л. Ильичев докладывают секретарю ЦК Г. Маленкову (РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, ед. хр. 88):

«Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) просмотрел 69 зарубежных фильмов трофейного фонда, представленных Министерством кинематографии для выпуска на широкий и закрытый экран.

В результате проведенного просмотра Отдел пропаганды и агитации считает возможным выпустить на широкий экран 24 фильма немецкого и итальянского производства.

На закрытый экран предполагается выпустить 26 фильмов американского и французского производства.

Отдел пропаганды и агитации при этом считает, что ни один из названных фильмов не может быть выпущен без специального вступительного текста, правильно ориентирующего зрителя в содержании фильмов, и тщательно отредактированных субтитровых надписей. Кроме того, по отдельным фильмам необходимо произвести монтажные сокращения, технически легко выполнимые.

Из числа просмотренных 69 фильмов 19 вообще не могут быть допущены на советский экран как политически вредные.

Министерство кинематографии представило расчет, по которому каждый из зарубежных фильмов, выпущенных на широкий экран, может дать в среднем 45 — 50 мил. рублей валового сбора, а каждый выпущенный на закрытый экран (то есть в клубах и Домах культуры. — Ю. С.) 30 мил. рублей. Исходя из этого расчета следует обязать Министерство кинематографии собрать в течение 1948 — 49 гг. от проката 24 зарубежных фильмов на широком экране валовый сбор в сумме не менее 1 миллиарда руб. и обязать ВЦСПС собрать валовый сбор с проката 26 фильмов на закрытом экране в сумме не менее 600 мил. рублей.

Д. Шепилов
Л. Ильичев.

Сааков Юрий Суменович — режиссер телевидения. Родился в 1937 году в Москве. Окончил ВГИК. Автор многочисленных публикаций по киноведению. Настоящая статья продолжает тему, начатую в № 9 «Нового мира» за 2003 год (Юрий Сааков, «Два упущенных полугодия»); редакция просит извинения у автора за неточное написание его фамилии в публикации 2003 года).

А ведь могли бы поиметь еще как минимум 800 млн. рублей от тех 19 фильмов, которые признали непригодными для советского зрителя по идейным соображениям. Но последнее посчитали важнее и немалым «валовым сбором» пренебрегли.

«Из фильма следует исключить...»

В чем же конкретно состояла работа Агитпропа по редактированию кино-трофеев? Об этом говорят аннотации к некоторым из разрешенных им фильмов. Они, кстати, свидетельствуют об относительной терпимости партийных цензоров: из пятидесяти разрешенных ими к открытым и закрытым показам фильмов только в двадцати предлагалось что-то «исключить» и «устранить». Остальные тридцать могли демонстрироваться в своем первоизданном «трофейном» виде, с обязательным, конечно, вступительным, объясняющим, что к чему, текстом. Многие из этих «нетронутых» фильмов и подверглись впоследствии резкой критике снизу.

Впрочем, остановимся на двадцати фильмах, из которых, по мнению т.т. Шепилова и Ильичева, в обязательном порядке необходимо что-то изъять. Вот подлинный текст рекомендаций.

„Песнь одной ночи”. Музыкальная комедия с участием известного певца Яна Кипура. Знаменитый тенор, прибыв на швейцарский курорт, выдает себя за секретаря певца, уговорив случайного знакомого играть его роль. После ряда комических положений фильм заканчивается романом между певцом и дочерью директора курорта, а выдававший себя за известного певца человек оказывается не менее известным жуликом и попадает в тюрьму.

Из фильма следует исключить только один кадр — с фотографиями любовниц жулика.

„Маленькая ночная серенада”. Музыкальный фильм, главным персонажем в котором выведен Моцарт. Сюжет строится на любовных похождении Моцарта во время его поездки в Прагу. Под впечатлением этого мимолетного романа Моцарт пишет финальную часть своей оперы „Дон Жуан”.

Из фильма следует исключить отдельные пошлые кадры в сцене ночного балетного представления в саду.

„Индийская гробница”. Действие происходит в Европе и в Индии. Жена магараджи Цита бежит со своим возлюбленным в Европу. Магараджа отправляется в погоню и возвращает жену в Индию. Далее происходит заговор против магараджи и восстание, в котором Цита гибнет. В фильме хорошо заснята природа Индии, замечательная индийская архитектура.

Из фильма необходимо устранить упоминание о русском происхождении любовника индийской принцессы. (Это, видимо, бросает тень на моральный облик русского, а следовательно, и советского человека. — Ю. С.)

„Грезы” („Мечты”). Фильм посвящен жизни Р. Шумана и пианистки К. Вик, ставшей его женой. Известная ценность состоит в музыкальности фильма. В картине исполняются произведения Шумана, Листа.

Необходимо исключить кадры, в которых в разговоре действующих лиц проводятся утверждения о несовместимости искусства с реальным миром. (Как не соответствующие, видимо, принципу социалистического реализма. — Ю. С.)

„Мадам Бовари”. Фильм — инсценировка романа Г. Флобера. Главную роль исполняет известная актриса Пола Негри. По сравнению с романом фильм отличается упрощенным сюжетом, схематизацией образов и лишь благодаря хорошей актерской работе смотрится с интересом.

Необходимо исключить кадр подглядывания старика за раздевающейся Бовари, пошлый кадр примеривания мужчиной дамских панталон, а также значительно сократить религиозную по своему характеру сцену, в которой священник читает молитву над умирающей Бовари.

„Нора”. По одноименной драме Г. Ибсена. Фильм во многом искажает произведение. В драме Ибсена Нора покидает семью, гневно изобличая гнилые основы буржуазной морали. В фильме вся трагедия семьи показана в том, что Нора подделывает подпись на векселе. Когда компрометирующий документ был возвращен и угроза разоблачения подделки отпала, Нора возвращается к мужу.

Необходимо исключить финальную сцену примирения Норы с мужем. Не следует также указывать, что фильм поставлен по драме Ибсена, которая широко известна советскому зрителю.

„Три Кадонас”. Сюжет фильма, показывающий личную жизнь цирковой труппы „Три Кадонас”, развертывается на фоне цирковых представлений. Показаны виртуозные номера воздушной акробатики под куполом цирка.

Из фильма необходимо исключить пошлые кадры в сценах кутежа артистов в ресторанах, удалить исполнение вульгарной песенки перед началом представления (Марион Диксон в александровском „Цирке” это, между прочим, было позволено. — Ю. С.) и значительно сократить сцену „Америка” в аттракционе „Страны мира”. (Даже „цирковая” Америка нежелательна в больших дозах! — Ю. С.)

„Премьера ‘Мадам Баттерфляй’”. Музыкальная мелодрама о женщине, покинутой своим другом. Во время новогоднего маскарада оперная актриса знакомится с начинающим музыкантом. Знакомство переходит в любовь, через несколько месяцев музыкант уезжает на гастроли в Америку и забывает об обещании вернуться и жениться на актрисе. Тем временем у актрисы рождается сын. Проходят годы, актрису приглашают сыграть героиню в опере Пуччини „Мадам Баттерфляй”. Сюжет оперы полностью совпадает с судьбой актрисы. На премьере случайно присутствует музыкант, который вернулся из Америки с молодой женой.

Необходимо исключить пошлые кадры кутежа за столиками во время маскарада, исключить в финале сцену, в которой актриса после премьеры объясняется с музыкантом и прощает ему измену. (Советские люди измену, видимо, прощать не должны. — Ю. С.)

„Кого боги любят”. Фильм посвящен жизни Моцарта. Она показана сквозь призму его трагической любви к Алоизе Вебер. Отвергнутый Алоизой, Моцарт женится на ее сестре. Но в конце встречается и вновь любит Алоизу.

Достоинством фильма является то, что он построен на музыке Моцарта. Показаны отрывки из опер „Похищение из Сераля”, „Дон Жуан” и др.

Необходимо изменить название фильма и исключить из него связанное с этим названием рассуждение: „Кого боги любят, того они рано к себе забирают”.

„Принц и нищий”. Фильм из истории Англии по роману М. Твена. В фильме изобличается жестокость английских законов, художественное оформление и игра актеров находятся на высоком уровне.

В фильме необходимо значительно сократить сцены коронавания короля на престол Англии, в частности, исключить кадры религиозных обрядов, а также исключить сцену, в которой молодой король обещает отменить все несправедливые законы.

„Капитан Ярость”. Американский приключенческий фильм. Группа доставленных в Австралию каторжников передается крупному плантатору для

работы в его хозяйстве. Не выдержав бесчеловечного отношения, один из каторжан, прозванный „Капитан Ярость”, бежит с группой своих товарищей. Они организуют вооруженный отряд и защищают мелких фермеров от плантаторов, пытающихся завладеть их землей. Плантатору удается поймать „Капитана Ярость”, но губернатор Австралии спасает героя.

Необходимо исключить сцену „справедливого правосудия” губернатора. От этого фильм в большей степени подчеркнет звериный облик английских колонизаторов.

„Президент Хуарец”. Фильм посвящен мексиканской аванюре Наполеона III. Хорошо изображена борьба мексиканского народа против гнета французских колонизаторов (и неплохо, следовало бы добавить, играет Хуареца знаменитый, игравший в фильмах „Я — беглый каторжник”, „Луи Пастер” и др. актер Поль Муни. — Ю. С.).

Из фильма необходимо исключить кадры, где Габсбург изображается в качестве „защитника” мексиканского народа, его выдуманные авторами фильма благородство, либерализм и смелость. Необходимо также исключить кадры, показывающие американцев в роли „спасителей” мексиканцев.

„Суэц”. Приключенческий фильм из истории строительства Суэцкого канала. Фильм хорошо поставлен, изобилует кадрами трюковых съемок (самум в пустыне, разрушение водохранилища), смотрится с большим интересом.

Необходимо исключить сцены с участием Наполеона III, изображенного в самом приукрашенном виде.

„Лондонский Тауэр”. Исторический фильм, показывающий кровавую борьбу между отдельными знатными родами за престолонаследие Англии. Фильм построен на занимательном сюжете, актерское исполнение и режиссура находятся на высоком уровне.

В фильме необходимо сократить финальную сцену, убрав из нее акценты о том, что на престол наконец водворяется „благородный король”.

„Под рев толпы”. Из жизни боксеров. Хорошо показаны гангстерские нравы и грязная закулисная сторона американского спорта. Сюжет увлекательный, хорошо засняты сцены на ринге.

Из фильма необходимо исключить сцену бракосочетания дочери темного дельца с боксером. В ней делается попытка придать благородные черты отцу невесты, а он на протяжении всего фильма показан как гангстер.

„Почтовый дилижанс”. Действие фильма происходит во время освоения западных штатов Америки. В почтовом дилижансе, пересекающем пустыню, столкнулись разнородные пассажиры: девушка, высланная из города за плохое поведение (попросту проститутка. — Ю. С.), банкир, ковбой, арестованный за убийство из мести, опустившийся пьяница врач, фабрикант виски, жена офицера, шериф. Дилижанс попадает в зону, охваченную восстанием индейских племен. В обстановке лишений и опасности, когда им приходится бежать от напавших индейцев, развиваются характеры каждого из пассажиров. Наиболее благородными оказываются изгнанная из города девица и влюбленный в нее ковбой.

(Даже эта всемирно признанная классика Дж. Форда, которую взалхлеб, по многу раз смотрели тогда мы, послевоенные пацаны, нуждается, по мнению Шепилова и Ильичева, в „доработке”. Она, правда, коснулась не самого существенного в фильме, так что и на том спасибо бдительному Агитпропу:

„В фильме необходимо сократить сцены, где ковбой ищет по кабакам убийцу своего отца. Эти сцены с излишним натурализмом показывают жизнь ‘дна’ американского города и романтизируют убийство из-за мести”. — Ю. С.)»

А между тем тот же Дж. Форд в том же 1948-м, раскритикованный Комиссией по антиамериканской деятельности за свои левые фильмы — «Гроздь гнева» и другие, — признавался: «Если я стану им возражать, они меня вообще раздавят и не дадут снимать. Так что я постараюсь ставить фильмы, которые хотя бы не очень гадили демократии...»

И снял мистический фильм «Моя дорогая Клементина».

«„О мышах и людях“». Показывается жестокая эксплуатация батраков богатым фермером. Издевательства со стороны сына фермера доводят одного из батраков до его убийства. Друзья спасают батрака от неминуемого линчевания, застрелив его собственными руками. В фильме хорошо показано безвыходное положение американских сельскохозяйственных рабочих в условиях капитализма.

Фильму необходимо дать другое название и исключить эпиграф „Мыши и люди одинаково размножаются, но ничего хорошего от жизни не получают“.

„Да здравствует Вилья!“ О борьбе мексиканского народа за демократию. Панчо Вилья ненавидит испанских плантаторов, убивших его отца. С отрядом смелых людей он борется за возвращение земли крестьянам. В Мексике вспыхивает революция, во главе которой стоит демократ Мадеро. Вилья вступает со своим отрядом в армию Мадеро. Войска одерживают победу, и Мадеро провозглашают президентом Мексиканской Республики. Вскоре реакционеры убивают Мадеро. Узнав об измене, Панчо Вилья вновь собирает народную армию и мстит предателям за смерть президента. В финале Вилья умирает от рук своего врага, брата испанской девушки, случайно погибшей по вине Вильи.

Из фильма необходимо исключить сцену убийства испанской девушки, а также кадры, в которых показаны бесчинства Вильи и его отряда.

(„Трофеем“ оказался призер 1-го Московского международного кинофестиваля 1935 года американский фильм „Вива, Вилья!“). Тогда никого не смутила ни случайно погибшая по вине Вильи испанская девушка, ни „бесчинства его отряда“. А скандал, возникший по поводу обвинения И. Дунаевского в плагиате музыки этого фильма в „Марше веселых ребят“, конечно, не в счет, да и вряд ли Шепилов с Ильичевым помнили о нем.

В годы войны, в знак „союзнчества“ с Америкой, отдельной книжкой издается даже сценарий фильма, написанный знаменитым голливудцем Бенем Хектом и снабженный восторженным предисловием режиссера Л. Трауберга. За которое последнего меньше чем через год после „трофейных“ изысканий Агитпропа обвинят в „безродном космополитизме“. — Ю. С.)».

И наконец, последний отредактированный Агитпропом фильм 1936 года — американская картина Ф. Капры «Мистер Дидс переезжает в город» с Г. Купером в главной роли. О том, как простодушный провинциал попадает в большой город с абсурдными, на его взгляд, законами. И как здравый смысл и добросердечие побеждают цинизм, зло и сам мистер Дидс, устыдив горожан, возвращается в свое захолустье.

«— Как? В мире „желтого дьявола“ можно победить зло?! — возмутились (по рассказу редактора Н. Морозовой) те, кому предстояло „переделать“ картину. — Подать сюда авторов на расправу! Ах да, фильм иностранный... Тогда расправимся с его героем. Если этот простак воображает, что при американском образе жизни может восторжествовать справедливость, — за решетку его!»

В результате картину перемонтировали так, что американское «зло» торжествовало, а герой оказывался в тюрьме: крупный план Купера за решеткой в одном из эпизодов был размножен и повторен в конце фильма. Земляки Дидса не ликовали, как в фильме, по поводу его возвращения, а выражали якобы возмущение его арестом. И все это — вместо «Мистер Дидс переезжает в город» — называлось «Во власти доллара».

И так «искусно», надо сказать, было изуродовано, что воспринималось советской, искренне сочувствующей герою Купера аудиторией на чистом глазу...

«В духе нездоровой эротики...»

Таковы полсотни «трофеев», разрешенных Агитпропом к показу советскому зрителю. Тридцать из них — музыкально-развлекательные в основном — ему разрешалось узреть в их первоизданном виде, двадцать — с соответственной перелицовкой.

Что касается девятнадцати запрещенных фильмов, то о них вроде нет надобности распространяться: их все равно никто, кроме Шепилова и Ильичева, не увидел. Приведем аннотации лишь к нескольким, чтобы понять, что заставило неумолимый Агитпроп отказаться от столь необходимого тогда, в 1948-м, «валового сбора» в 800 млн. рублей.

«„Последний из могикан“». Приключенческий фильм по роману Ф. Купера. Фильм является типичным образчиком низкопробной голливудской продукции. Быт и нравы индейских племен показаны искаженно, в духе нездоровой эротики. Фильм изобилует грубыми натуралистическими сценами, изображающими драки, убийства, снятие скальпов».

«„Крестовые походы“». Исторический фильм из эпохи Крестовых походов. Сарацины захватывают Иерусалим и надругаются над гробом господним (со строчной буквы. — Ю. С.). Святой отец отправляется с крестом в далекое путешествие по Европе, призывая народ и королей различных государств освободить святыни от надругательства. Полчища рыцарей отправляются в поход на сарацин. В тяжелых сражениях им удается подойти к стенам Иерусалима. Возглавивший Крестовый поход не верящий в бога Ричард Львиное Сердце в финале фильма преисполняется верой. По своей теме и содержанию фильм глубоко религиозный и является проповедью христианства».

«„Летчик-испытатель“». Во время дальнего перелета летчик-испытатель делает вынужденную посадку в сельской местности, знакомится с девушкой и через сутки женится на ней. Далее показывается испытание различных типов военных самолетов, связанных со смертельным риском для летчика, и переживания его жены, каждую минуту ожидающей гибели мужа. После катастрофы во время испытания тяжелого бомбардировщика летчик бросает свою профессию и переходит на службу в армию в качестве инструктора авиационного соединения.

По своей теме и содержанию фильм милитаристский, прославляющий мощь американской военной авиации и непревзойденные качества американских пилотов».

В «любом американском фильме есть вредность...»

Казалось бы — всё. Со всеми фильмами, предложенными министерством И. Большакова, Шепилов и Ильичев досконально разобрались, и зрителям осталось только наслаждаться ими, пополняя казну страны, не вложившей в создание этих фильмов ни копейки.

Но проходит два года, и тому же Г. Маленкову пишет М. Шкирятов (РГАСПИ, ф. 17, оп. 133, ед. хр. 91):

«Посылаю Вам поступившее в Комиссию партийного контроля (без подписи) письмо, в котором сообщается, что в клубах и Дворцах культуры г. Москвы (то есть на закрытых экранах. — Ю. С.), а также в кинотеатрах других городов (то есть в открытом порядке. — Ю. С.) часто демонстрируются американские фильмы, наносящие вред идейному воспитанию советских людей».

Анонимный автор, понятия, конечно, не имеющий, какую скрупулезную работу провел два года назад Агитпроп по фильтрации «трофейных» фильмов,

обрушивается на них со всей страстью своего безымянного коммунистического «я»:

«Сейчас идет ожесточенная идеологическая борьба между прогрессивными странами, возглавляемыми Советским Союзом, и реакционными Соединенными Штатами Америки, ненавидящими все передовое, стремящимися распространить свое тлетворное влияние на весь мир. В этой борьбе искусство, организуемое мысли и чувства людей, в частности такое массовое, как кино, играет огромную роль.

Советское кино создает прогрессивные фильмы, которые во всем мире способствуют борьбе за все передовое, человеческое. Американцы очень хотят того, чтобы их фильмы проникли во все уголки земного шара, неся тлетворное влияние. И, к сожалению, советские экраны (и российские сейчас, невольно поддадим мы анониму 1950-го. — Ю. С.) в значительной степени (а российские — в основной. — Ю. С.) завоеваны гнусными американскими фильмами.

Эти американские картины показываются не на основных экранах столицы, но они широко демонстрируются в рабочих клубах Москвы и в провинции. Поинтересуйтесь на выборку, сколько американских фильмов все время показывается в клубах Москвы, сколько хотя бы на Горьковском автозаводе, сколько хотя бы в Сухуми на общем городском экране. Один из кинотеатров в Сухуми в этом году показывал исключительно американские фильмы (автор явно делится курортными впечатлениями. — Ю. С.).

Так как американские фильмы часто сделаны очень занимательно внешне, вред их особенно велик. Сейчас на экранах Москвы (центральных) идет китайский фильм „Искра” (революционная, естественно. — Ю. С.) и советский „Жуковский” (предпоследняя, самая, может, невыразительная работа Вс. Пудовкина. — Ю. С.). Народу на них мало. После американских фильмов народу кажется, что многие советские фильмы скучны. В то же время полны залы в клубах (завод „Каучук”, им. Серафимовича и др.), где идут „Роз-Мари” и другая гнусная американская дрянь.

Показывая эти фильмы из коммерческих соображений, кинопрокатчики думают, что они выбирают „безобидные” фильмы (кинопрокатчики тогда вообще не „выбирали”. — Ю. С.). Но уже давно безобидных фильмов в Америке нет. Вопрос только в том, насколько тщательно замаскирована в них волчья империалистическая идеология.

Все эти фильмы в лучшем случае пропагандируют американский образ жизни, „красивую жизнь” в капиталистических странах. А бывает и еще похуже.

Предположим, что сейчас, когда американцы творят чудовищные злодеяния в Корее и угрожают всему передовому человечеству, вызывая его ненависть ко всему американскому и в особенности к гнусной американской армии, кто-нибудь выступил бы по советскому радио или в советской печати с рассказами о том, что американский офицер — образец благородства и честности, что если американский офицер дал клятву, то выполнит ее, хотя бы ему пришлось отказаться от всех земных благ, что американский офицер — образец смелости и пр., и пр.

На такого человека посмотрели бы как на сумасшедшего или как на сознательного врага, которого нужно изолировать.

А вот на экранах московских клубов идет американский фильм „Роз-Мари”, в котором превозносится честность и верность долгу американского офицера. И в то время как советская пресса указывает на расовую дискриминацию США, фильм показывает индейцев, радостно живущих и совершающих массовые празднества (и без „нездоровой эротики”, видимо, как в запрещенном Агитпропом „Последнем из могикиан”. — Ю. С.)».

«А ведь именно „Роз-Мари”, — вспоминает небось Маленков, — Шепилов и Ильичев отнесли к фильмам закрытого экрана, не нуждавшимся ни в каких поправках. Что же это они?!»

«Пример с „Роз-Мари” не случаен, — продолжает шкирятовский аноним. — Каждый американский фильм о современной американской жизни, даже исто-

рический, вреден, потому что он пропагандирует капиталистический образ жизни и засоряет мозги вредными тенденциями.

Наш кинопрокат выпустил в клубы фильм „Во власти доллара”, где показывается, что человек, получивший миллион в наследство, хочет раздать его бедным („Мистер Дидс переезжает в город”. — Ю. С.), а ему этого не позволяют. И думают, что этот фильм разоблачает мораль США. Но неустойчивому молодому зрителю запоминается, что в Америке можно легко разбогатеть, получить миллионное наследство. Весь фильм пропитан пропагандой американского образа жизни. А привлекать симпатии советских зрителей к буржуазному американцу, желающему разрешить социальную проблему путем частной благотворительности, тоже незачем».

Зря, выходит, лезли из кожи лихие перелицовщики «Мистера Дидса», когда распечатывали его кадр за тюремной решеткой, когда переозвучивали, вернее, пересубтитровали толпу его земляков, протестующих якобы против его ареста.

«Когда мы ставим фильм об Америке, мы выводим представителей прогрессивного лагеря. (Ну да, как в роммовском „Русском вопросе”! — Ю. С.) В американских фильмах этого нет. Америка показана монолитно-капиталистической, с довольным капиталистическим строем населением, без протеста — в этом главный вред.

Показывается у нас фильм „Капитан армии Свободы”. Как будто фильм о мексиканской революции, все в порядке. Но это издевательство над революцией, революционеры показаны тупой, кровожадной массой, а их вождь выведен как варвар, не могущий решать государственные задачи».

Это о том же переименованном из «Вива, Вилья!» призере Московского кинофестиваля 1935 года. А бесчинства Вильи и его отряда, на которые указывали Ильичев с Шепиловым, оказались, видимо, недостаточно сокращенными. «В „Брачном круге” (разрешенная, опять же, Агитпропом «Нора». — Ю. С.) тема классического произведения перевернута так, что зрителя призывают прощать любое преступление, если оно сделано для кого-то из членов семьи (подделка Норой подписи под векселем. — Ю. С.). В „Путешествие будет опасным” (так назвали в прокате фордовский „Дилижанс”. — Ю. С.) в диком, кровожадном виде представлены индейцы и — симпатичные американцы».

Так что мало, опять же, предлагали изъять из фильма агитпроповцы жизнь «дна» американского города, где ковбой, желая ему отомстить, ищет убийцу своего папаша; этого оказалось недостаточно!

«В любом американском фильме есть вредность. Должен быть простой принцип: показывать в советском кино (кинотеатрах, видимо. — Ю. С.) лишь то, что могли поставить в советской киностудии. Если советские киностудии могли бы поставить фильм, где не показаны прогрессивные силы в США и пропагандируется красивая американская жизнь, то и на экраны нельзя выпускать такой фильм, кто бы его ни ставил.

Когда выпускается советский фильм, то обсуждается каждая фраза, каждый жест актера. А одновременно выпускаются чужие фильмы о гангстерах, внушающие молодежи мысли о том, как интересно все-таки, несмотря на отдельные трудности, живут американские спортсмены („Последний раунд”), и создающие впечатление, что в Америке нет никаких социальных противоречий».

Это о фильме «Под рев толпы», который, оказывается, не спасло предложение Агитпропа отказаться от женитьбы его героя-боксера на дочери его босса-гангстера.

«Вредность показа этих фильмов усиливается тем, что они показываются в клубах и ускользают от пристального внимания советской общественности. А между тем происходит массовое разложение психологии рабочего зрителя, внедрение в него антисоветских доктрин об отсутствии в Америке социальных разногласий.

Такие фильмы, как „Роз-Мари”, — это удар по обороне советского государства, подрыв его психологической и идейной мощи в возможной будущей войне. («Эк куда хватил!» — поморщился, наверное, здесь даже Маленков. —

Ю. С.). Нужно привлечь к ответственности кинодельцов (а следовательно, и Шепилова с Ильичевым, давших им на это „добро”. — Ю. С.), выпустивших фильм, будто невинную оперетку (какой она и была. — Ю. С.), в симпатичнейшем виде показывающий американского офицера.

Но дело не только в „Роз-Мари”. Очень широко идут фильмы „Первый бал”, „Секрет актрисы” (с Д. Дурбин, которая уже ничем не могла испугать Агитпроп. — Ю. С.). Как будто невинные с точки зрения прокатчиков, но они показывают, что бедный и честный (то есть героиня Дурбин. — Ю. С.) всегда добьется счастья в Америке без какого-либо революционного протеста» (Маленков опять, наверно, морщится, потому что никак не может представить революционно-протестующую очаровашку Дурбин.) «Они не вызывают обязательного чувства протеста против американской действительности, внушают десяткам миллионов советских зрителей, что „и там можно жить”, и „там не так уж плохо”. А это перед назревающим столкновением между нами и американцами совершенно недопустимо, это разлагающая пропаганда в пользу врага.

В театрах правильно запрещены Центральным Комитетом партии пошлые иностранные пьесы. (Это еще о 1946 года „Постановлении о репертуаре драматических театров”. — Ю. С.) Почему же разрешается пропаганда американского образа жизни на экране? Неужели для того Советское правительство уделяет огромное внимание кинофикации всех поселков, клубов, Домов культуры (что правда, то правда! — Ю. С.), чтобы американцы пропагандировали с советского экрана свой образ жизни?

Если бы какое-то издательство выпустило сейчас книжку о том, как бедная девушка вроде Золушки может найти счастье в капиталистической Америке (сейчас такими книжками завалены прилавки. — Ю. С.), то этого писаку и издателей привлекли бы к политической и судебной ответственности за пропаганду в социалистической стране капиталистического образа жизни. Почему же это можно на экране?

Наша пресса постоянно пишет, что американцы добиваются распространения своих фильмов на весь мир. Наша пресса с удовлетворением отмечает, что где-то во Франции какие-то прогрессивные деятели ограничивают внедрение американских фильмов. (И „наша”, невольно продолжаем мы поддакивать, и предлагает равняться на ту же Францию. — Ю. С.) А у нас под боком экраны многих городов полны американскими буржуазными фильмами, иногда даже в незашифрованном виде („Роз-Мари”) восхваляющими моральную стойкость американского офицерства. И пасквильно („Капитан армии Свободы”) изображающими революцию.

Говорят (и продолжают спустя пятьдесят лет говорить. — Ю. С.), что показ американских фильмов делается из коммерческих соображений, так как некоторые советские фильмы (а российские? — Ю. С.) зрители плохо посещают. Конечно, если наши киноорганизации будут выпускать скучные фильмы, где очень важная тема изложена нудно, то кинотеатры будут пустовать. Но это значит, что надо выпускать больше фильмов о нашей советской жизни и интересных, а не заполнять театры враждебной агитацией.

Как же можно, чтобы кино, самое массовое из искусств, стало проводником в массы буржуазной идеологии? Если бы в каком-то издательстве был финансовый прорыв и его руководитель стал бы печатать для выполнения плана американские пустые детективы или романы, восхваляющие все американское, такого издателя отдали бы под суд. Почему же фильмы с таким содержанием показываются? Ведь кино еще сильнее действует, чем литература».

«Фактически уже воюем...»

«При проверке клубов и кинотеатров на предмет демонстрации в них американских фильмов, — переходит патриот-аноним к конкретному инструктажу, — следует иметь в виду, что театры часто скрывают этот показ. В некоторых театрах Москвы (называли „Перекоп”, но это следовало бы проверить)

был определенный час, когда демонстрировался американский фильм. То есть на афише его нет, но из рассказов публики и администрации известно, что в такой-то час идет не советская картина, а американская.

И кроме того, важно выяснить не только количество таких „американских” сеансов, но и случаи, когда в таком-то театре советский фильм и „Индийская гробница”, пошлейший фильм (несмотря на индийские архитектурные красоты, описанные в нем Агитпропом; при том, что пишущий, благодаря тому же Агитпропу, не знает о русском происхождении любовника жены магараджи. — Ю. С.), идут как будто пополам. А на самом деле „Индийская гробница” идет с утра до ночи, шесть сеансов, а советский фильм — только час».

И снова аноним прибегает к своему излюбленному приему «от обратного»:

«Мы сейчас фактически уже воюем с Америкой. Если бы во время войны с Германией кто-нибудь написал рассказ о том, как хорошо живется в гитлеровской Германии, или показал бы немецкий фильм такого содержания, то как бы это было воспринято? Как действия, направленные к моральной деморализации перед лицом врага.

Должно быть покончено с двурушничеством в показе картин, когда они, не демонстрируясь на открытых экранах Москвы и Ленинграда, показываются в клубах и на открытых экранах периферии. В клубах должны идти лишь картины, идущие на открытом экране (а как же тогда ВЦСПС с положенными ему немалыми „валовыми сборами”? — Ю. С.).

Еще яркий пример того, как безобидный вроде фильм несет в себе растлевающую проповедь гнусной философии.

По клубам бесконечно идет фильм „Собор Парижской богородицы”. Его, очевидно, считают классикой. Но от Гюго там осталось мало. Американские дельцы этим фильмом проводят мысль, что если народ угнетен, то виновата не высшая власть, а злые плохие чиновники. В фильме показан добрый король и злой судья Фроло. (Так что сколько ни пытались Шепилов с Ильичевым устранить из фильмов „добрых королей”, один все-таки проник на „трофейный” экран. — Ю. С.).

Показывается это на расовой проблеме. В стране преследуют цыган, но фильм старается убедить зрителя, что в расовом преследовании виноват не король, не высшее правительство, а злой чиновник Фроло».

«А ведь этот фильм тоже, кажется, был в списке тех, что не нуждались в поправках, — снова, должно быть, напоминает Маленков агитпроповское расследование. — Как же так? Слепые они там, что ли?»

«Но и этого мало, — читает он оказавшегося более прозорливым, чем Шепилов с Ильичевым, вместе взятые, анонима. — Главное в том, что этот фильм совершенно откровенно проповедует враждебную нам философию правых социал-реформистов, лейбористов и пр.

В фильме много места уделено истории двух героев: Грегуара — поэта и Клопена — вождя бродяг. Грегуар стоит за мирные действия, чтобы добиться реформ. Он убежден, что не нужно никакого вооруженного восстания — достаточно обратиться с петицией к королю, и все будет в порядке.

А Клопен стоит за вооруженное восстание. И что же происходит? Клопен поднимает восстание и сам в нем гибнет, ничего не добившись. А Грегуар, без восстания, обращается с петицией к королю, и добрый король дает ему добро на все реформы.

Это самая настоящая реформистская философия. Но и этого мало. Боясь, что антиреволюционная мораль может до кого-нибудь „не дойти”, авторы прямо дали такую сцену и слова. Когда Клопен лежит умирающий, к нему подходит Грегуар и откровенно говорит: „Вот, ты считал, что добиваться нужно всего вооруженным восстанием, и ты погибаешь, ничего не добившись. А я мирным путем, петицией к королю, всего добился”.

Коммунистическая партия учит нас, сочувствуя всем угнетенным на Западе, которые стремятся поднять знамя восстания против угнетателей, презирать реформистскую философию. А на наших экранах идет фильм, показывающий, что реформистская философия „правильная”.

Как может быть, чтобы постановления ЦК ВКП(б) о журналах „Звезда” и „Ленинград” и о театре не относились, по мнению кинодельцов, к кино?»

Этим риторическим вопросом завершает свой вопль пожелавший остаться неизвестным товарищ.

Диной Дурбин Маленкова не напугаешь...

А вслед за ним к Маленкову летит нечто вроде оправдания тем же Агитпропом своих решений двухлетней давности. Теперь его подписывают уже не Шепилов и Ильичев, пошедшие на повышение, а сменившие их В. Кружков (автор небезызвестной „запретившей” в 1940 году фильм „Закон жизни” правдинской статьи) и В. Сазонов.

«В поступившем в ЦК ВКП(б) заявлении (без подписи), — пытаются они толковать Маленкову, насколько это заявление даже по коммунистическим меркам тенденциозно, — говорится, что во многих клубах Москвы и кинотеатрах других городов показываются американские фильмы, пропагандирующие американский образ жизни.

Однако среди отобранных в свое время Отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) фильмов американского производства имеются фильмы, по существу разоблачающие американскую псевдodemократию и антинародную политику империалистических кругов Америки. Такие фильмы, как „Сенатор”, „Виа Вилья!” (так! — Ю. С.), „Мистер Дидс едет в большой город” („Во власти доллара”), „Гроздь гнева” по роману Дж. Стейнбека (этим фильмом того же Д. Форда агитроповцы особенно, как им кажется, упрочняют свои позиции, но он никогда не был трофейным и на советских экранах не демонстрировался; так же, как следующий, действительно, видимо, что-то разоблачающий. — Ю. С.), „Последний язычник” — о звериной колониальной политике американцев на островах Тихого океана — и др., имеют определенный познавательный интерес для советских зрителей, и их демонстрирование является желательным» (РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, ед. хр. 429).

Неизвестно, успокоила ли эта «Записка» Маленкова. Возможно, взвесив все «за» и «против» трофейной кинокампании, он пришел к выводу, что она, без сомнения, как любая другая идеологическая кампания, имела за два года свои издержки. Но, во-первых, эти издержки — в ЦК умели считать — во многом окупаются огромным объемом «валовых сборов». А во-вторых, если даже после такого идеологического подрыва, каким стал для советского народа свалившийся на него трофейный кинобум, люди не перестанут верить в идеалы коммунизма, значит, они, эти идеалы, не подвержены никакому самому обольстительному влиянию извне.

И, убаюканный, должно быть, этой спасительной мыслью, Георгий Максимилианович Маленков приступает к другим, более важным, чем даже фильмы с непротестующей Диной Дурбин, делам партии и государства.

II

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ, ТЕМ ПАЧЕ В КИНО...

...Но не в «Белом солнце пустыни», откуда вошло в обиход крылатое выражение и где красноармеец Сухов констатирует это немаловажное обстоятельство. Восточная «тонкость», в частности китайская, в разные годы была проявлена в отношении целого ряда советских фильмов — и выдающихся, и не очень.

Мао Цзедун — личный цензор Сергея Юткевича

Все началось с «Записки» И. Сталину (и ее копии Г. Маленкову, В. Молотову, Н. Булганину, А. Микояну, Л. Кагановичу, Н. Хрущеву, М. Суслову),

написанной 28 мая 1952 года Председателем Внешнеполитической Комиссии ЦК ВКП(б) В. Григорьяном:

«В беседе с Главным уполномоченным „Совэкспортфильма“ в Китайской Народной Республике Г. Строителевым, — пишет он, — начальник Центрального управления кинематографии при Министерстве культуры Китайской Народной Республики тов. Ли Цзе Вень высказался о кинофильме „Пржевальский“».

„Министерство культуры КНР очень внимательно отнеслось к изучению фильма ‘Пржевальский’, — сказал он, — для чего были приглашены виднейшие китайские ученые-историки. Ими был сделан целый ряд существенных замечаний по китайским сюжетам фильма, для выявления которых Министерство кинематографии обратилось в Министерство иностранных дел. После просмотра фильма двумя заместителями министра иностранных дел возникли дополнительные вопросы, которые не были решены, и фильм был передан для изучения в Центральный Комитет партии Китая.

В результате просмотра фильма начальником Отдела пропаганды ЦК секретарем ЦК тов. Лю Шао Ци замечания по китайским сюжетам не отвергнуты и не был окончательно решен вопрос о дублировании фильма на китайский язык. Фильм был передан 16 апреля 1952 года на просмотр товарищу Мао Цзе Дуну. После чего тов. Ли Цзе Вень и сообщил Г. Строителеву об основных недостатках фильма.

1. *Некоторые китайские эпизоды ‘Пржевальского’ не соответствуют исторической действительности.* Коварные интриги англичан против русского народа не могли найти поддержки в Китае, так как в это время весь китайский народ, в том числе и феодалы, был преисполнен ненавистью к английским колонизаторам. В отношении русского народа в Китае в то время не могло быть никаких проявлений вражды, вопреки тому как это несправедливо представлено в фильме ‘Пржевальский’. Такое искажение исторической действительности оскорбляет чувство дружбы, которое питает китайский народ к советскому народу. Такой фальсификацией истории могут воспользоваться англо-американские круги во враждебных целях в отношении Китая и Советского Союза.

2. *В фильме совершенно нереально и неубедительно представлена дружба между русским и китайским народами.* В то время как Пржевальский находит дружественный прием у корейцев и монголов, представители китайского народа встречают его без каких-либо видимых причин враждебно. Голословное заявление китайского солдата Егорову (солдату из экспедиции Пржевальского. — Ю. С.), что русский и китайский народ — братья, совершенно неубедительно. Сюжет, в котором Телешев (помощник Пржевальского. — Ю. С.) объясняет китайской девушке с помощью стереоскопа символическое слово ‘Москва’, услышав которое она становится радостной, не соответствует реальной действительности и ни в коей мере не подчеркивает дружбу между русским и китайским народами.

В тот период времени, в обстановке феодального строя, китайская девушка (женщина) была безграмотна, бесправна, запугана, поэтому она не могла вести себя так вольно с мужчинами, тем более с иностранцами. Как могла вести себя так китайская девушка и могла ли она понять смысл слова ‘Москва’, задаст вопрос любой китайский зритель. Да и слово-то это не имело в то время того смысла, которое оно приобрело теперь. Дружественный и гуманный жест Пржевальского в отношении китайских детей, когда он приказал накормить их рисом, не характеризует дружбы между русским и китайским народами. Китайский зритель оценит этот жест как мелкую подачку, к которым часто прибегали империалисты, стараясь этим прикрыть истинное отношение к китайскому народу.

3. *Китайские эпизоды в фильме унижают достоинство китайского народа.* В эпизоде у дворца амбаня (губернатора), когда китайские крестьяне, стоя на коленях, выражают свой протест против бесчеловечного обращения с ними, а выступившего вперед китайца чиновники хватают и уводят для расправы, про-

тив чего крестьяне не выразили энергичного протеста, искажена реальная действительность и нарушена историческая справедливость. Тайпинское восстание китайских крестьян, которое имело место до пребывания Пржевальского в Китае, показало, что китайские крестьяне способны на организованную борьбу против феодалов. В фильме же, вопреки исторической справедливости, китайский народ унижен до положения безмолвной, беспомощной и неорганизованной толпы. Когда Пржевальский появился на корейской земле как незнакомый пришелец, его встретили во всеоружии. Затем, когда они опознали в Пржевальском друга корейского народа, они рассказали ему о своей борьбе с интервентами, в том числе с американскими, за свою независимость. Китайский зритель вправе спросить, почему китайский народ представлен в фильме как беспомощный в защите своих интересов. Более того, представители китайского народа в фильме представлены как изменники интересов своего народа.

Китайский зритель спросит также, почему корейский и монгольский народы представлены в фильме добротнo одетыми, сытыми и жизнерадостными, в то время как китайский народ низведен до положения грязной, оборванной, голодной толпы. Англо-американские империалисты всегда старались представить китайский народ в нищете и невежестве, чтобы оправдать свою колонизаторскую политику, которая якобы приносит колониальным народам благоденствие и культуру. Китайский зритель не может согласиться с тем, как фильм преподносит всему миру китайский народ в столь жалком виде”.

Руководство Министерства культуры недоумевает и негодует по поводу того, что постановщик фильма С. Юткевич не принял к сведению замечания, которые оно сделало по предъявленному сценарию еще до производства съемок. Оно считает, что Юткевич, очевидно, еще не освободился от того формализма, за который он справедливо был подвергнут в Советском Союзе резкой критике. В связи с этим китайские товарищи питают недоверие к Юткевичу.

Тов. Ли Цзе Вень сообщает также, что послы КНР в Польше, Чехословакии и Болгарии прислали в МИД КНР телеграммы, в которых они докладывают о неблагоприятном впечатлении, произведенном на них фильмом „Пржевальский”. Послы протестуют против демонстрации этого фильма в странах их пребывания.

Группа китайских студентов, обучающихся в СССР, прислала из Москвы в редакцию центрального органа Компартии Китая „Женьминьжибао” письмо, в котором они негодуют по поводу искажения в фильме „Пржевальский” исторических фактов. Студенты в письме утверждают, что демонстрация этого фильма наносит ущерб советско-китайской дружбе».

Можно представить, что случилось бы с Сергеем Иосифовичем Юткевичем, если бы Сталин и все в Политбюро, кому стали известны претензии китайских товарищей к «Пржевальскому», отнеслись к ним всерьез. Да от режиссера, предыдущая картина которого «Свет над Россией» вообще была смыта (так она возмутила Сталина!), режиссера, чье плодovitое теоретическое творчество тут же, вслед за уничтоженной картиной, стало предметом яростной критики во время борьбы с «космополитизмом» (о чем китайские товарищи, как видно, были прекрасно осведомлены), — от такого режиссера мокрого бы места не осталось...

Естественно, у Сталина, как вспоминает автор сценария А. Спешнев, были свои, и немалые, претензии к фильму Юткевича, первый вариант которого он вообще завернул.

«— Что же, ваши авторы — халтурщики, что ли? — набросился он во время ночного просмотра на киноминистра И. Большакова, который еще днем восторженно, вместе с опекавшим его министерство и назначенным Сталиным Большим худсоветом во главе с Ильичевым, приветствовал фильм. (А тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов заявил, что не считает возможным говорить о таком фильме сидя, встал сам и поднял всех выступавших.) — Как известно, у Пржевальского было пять путешествий, а ваши авто-

ры показывают только два да еще на одно намекают, — продолжал недоумевать Сталин. — А вот что касается благородной мамыши [Пржевальского], роскошной ампирной мебели и полированных паркетов (в поместье Пржевальского. — Ю. С.) — тут они щедры. Но ничего подобного в действительности не было. А вот путешествия были. И очень важные — в Уссурийский край, в Корею, в Монголию, — показать эти путешествия необходимо».

Судя по тому, что перечислено Сталиным как отсутствующее в фильме, китайское путешествие Пржевальского в нем уже было, и ни одна его сцена не вызвала возражений у «старшего брата» китайского вождя».

«— Как бы то ни было, — договорил министр от себя давно и «без разрешения» рухнувшему в кресло Спешневу, — картину будем переделывать, и не важно, сколько это будет стоить. Юткевич у меня уже был и все знает...»

Спешнев (фамилия правнука петрашевца здесь себя оправдала) спешно добавил в сценарий три «сталинских» путешествия Пржевальского. Это сделало количество экспедиций по съемкам фильма рекордным — девятнадцать! — и украсило его еще несколькими десятками красиво снятых Е. Андриканисом азиатских пейзажей. Через год второй вариант фильма, со всеми пятью путешествиями, был готов. Мамашу знаменитого ученого, при всем ее «благородстве», конечно, исключили, а из дам, шутит сценарист, «осталась одна „лошадь Пржевальского“».

...Но теперь в Большом Гнезниковском не знали, как оценить переделанный фильм, пока его снова не посмотрел Сталин. Во всяком случае, ни Михайлов, ни другие не призывали вставать при его обсуждении. А восторгалый год назад Ильичев вообще сделал кислую мину:

— Замечания директивных инстанций не выполнены. Получилось серое, неудачное произведение.

...Однако на следующее утро Спешнева так же спешно, как год назад, вызвал Большаков и обрадовал: Сталин, посмотревший картину ночью, остался ею страшно доволен, даже назвал «большой победой советского киноискусства».

— Юткевич у меня уже был и все знает, — повторил министр прошлогоднюю фразу. — Так что выпустим фильм соответственно высокой оценке.

И действительно, заурядный в общем-то «Пржевальский» вышел «с ассирийской, — как писал Спешнев, — рекламой, с плакатами в высоту пятиэтажного дома, с аншлагами: „Шедевр советского киноискусства“». Фильм тут же был выдвинут на Сталинскую премию, но получить ее не успел: за десять дней до ее официального присуждения, в марте 1953-го, Сталина не стало...

А в августе 1952-го, то есть через три месяца после того, как китайские товарищи забили тревогу о просчетах «Пржевальского», его сценарий вышел, как это полагалось тогда делать со всей киноклассикой, отдельным изданием в Госкиноиздате. И в его «китайских сюжетах» не оказалось, как и в фильме, ни одной купюры: те же безропотные крестьяне перед домом амбана, так же слишком вольно ведущая себя китайская девушка с ее восхищением Москвой в стереоскопе, те же голодные дети, жадно поедающие «подачку» русского путешественника, тот же заговор амбана и английского консула против Пржевальского, наконец, те же китайские проводники, один из которых по приказу коварных англичан заводит отряд Пржевальского в дебри на верную гибель, а другой, не согласный с этим, гибнет от руки первого.

Что же случилось? Неужели Сталин и кремлевское руководство сочли китайские претензии столь несущественными, что не внесли в фильм ни одного исправления по столь деликатной теме, как «русский с китайцем — братья навек»? Говорят, правда, что идиллия, которая в 1949 году существовала между Сталиным и «кормчим» нового, только возникшего Китая, через три года, в 1952-м, уже таковой не была.

Или совсем уже мифическая версия: Сталину ничего не захотелось менять в картине, которая, не будучи шедевром, устроила его только потому, что ее герой, путешественник Н. Пржевальский, приходился, по упорно циркулиро-

вашим слухам, родным отцом «отцу народов». Не отсюда ли такое доскональное знание последним географии путешествий знаменитого «родителя»? Хотя чего вождь не знал «досконально»?

Как бы то ни было, записка Григорьяна оказалась в партийном архиве и, судя по тому, что по поводу ее не последовало никаких резолюций, не возымела действия, на которое рассчитывали китайские критики фильма.

А Юткевич стал работать над фильмом об историческом (правда, гораздо более давнем и менее известном) прошлом другой страны социалистического лагеря: «Великий воин Албании Георгий Скандербег». (Кстати, китайский посол в Тиране не выступил против демонстрации «Пржевальского» на албанских экранах...)

Война, любовь и политика

...Ладно бы не ахти какой, хотя и расхваленный Сталиным, «Пржевальский».

Но через несколько лет один за другим появляются два непревзойденных в каком-то смысле до сих пор советских шедевры: «Сорок первый» и «Летят журавли». По поводу полнейшей неприемлемости призеров Каннского фестиваля для китайских экранов с советником нашего посольства в Китае Н. Судариковым имел обстоятельную беседу зам. министра культуры КНР тов. Ся Янь.

Поначалу, чтобы не сразу шокировать советника, Ся Янь приносит ему извинения за слишком суровую критику, с которой обрушилась китайская пресса на фильм Ю. Райзмана «Коммунист», упрекая тот в мрачной безысходности и жертвенности всего, что связано с революцией. Эта критика была несправедливой, а главное, неумелой, успокаивает тов. Ся Янь, и на нее не стоит обращать внимания.

А вот что касается «Сорок первого» и «Летят журавли», то тут разговор особый. И его практически дословно записал в своем дневнике советник Судариков (РГАНИ, ф. 5, оп. 36, ед. хр. 82).

«1. Фильм „Летят журавли“, — сказал Ся Янь, — не проводит грани между справедливой войной и захватнической, он не подчеркивает, что советский народ вел героическую, справедливую войну, он был стоек до конца, потому что знал цену этой войны. Фильм пропагандирует суровость войны и ее последствия безотносительно к исторической эпохе, он воспитывает страх перед войной вообще, не воспитывает героизм и самоотверженность при проведении справедливой войны против всевозможных агрессоров.

2. Фильм искажает историческую действительность. Для нас, китайских коммунистов, проживших суровые годы борьбы против японских захватчиков, самоотверженная борьба советских народов была примером в борьбе, мы учились у советских людей стойко переносить любые лишения и трудности войны. Однако фильм показывает невообразимый хаос и растерянность советского тыла. В фильме нет того оптимизма и товарищеской взаимопомощи, которые были на самом деле. Нашим товарищам очень неприятны такие кадры, когда, например, раненый из автобуса спрашивает: „Куда поедет?“, и ему отвечают: „А кто его знает!“ Подобные эпизоды создают неправильное представление о советском тыле. В то время наш народ считал Советский Союз своей надеждой, а фильм показывает все в сером тоне.

3. Для советского общества сюжет фильма не типичен. Не говоря уже об отрицательных героях, в фильме мы не видим элементов воспитания свойств настоящего советского человека. Почему-то вдруг Вероника в беседе с преподавателем истории говорит об утрате смысла жизни. Почему? На каком основании она потеряла смысл жизни? Ведь главная героиня фильма является человеком, родившимся в период советской власти, воспитанным в советском обществе. Разве может так рассуждать настоящий советский человек? Это нездоровое явление. Авторы не критикуют героиню и не дают правильной линии, они сами сочувствуют ей и требуют этого от зрителей.

Мы решили, что у нас в стране такой фильм показывать нельзя, он нанесет вред советско-китайской дружбе».

«Второй фильм, „Сорок первый”, сделан по рассказу, переведенному у нас в Китае 20 лет назад, его содержание многим знакомо, но, как известно, фильм оказывает более сильное воздействие, и поэтому мы решили его также не выпускать на наши экраны. У героев этого фильма отсутствует классовое самосознание. Девушка-партизанка влюбилась в белогвардейца. Застрелив его при попытке к бегству, она бросает винтовку и обнимает бандита, а в это время подходит помощь белогвардейцев. Фильм показывает, что любовь выше классового самосознания, выше политики. Это свойство буржуазного человека.

В данное время у нас проводится большая воспитательная работа среди масс о том, чтобы люди четко знали свои классовые позиции в борьбе с буржуазной идеологией, а показ такого фильма вызовет лишь ненужные дискуссии.

Проведенные в Китае за последние годы общенародные воспитательные кампании содействовали значительному повышению социально-политической сознательности. Советское кино в этом деле также сыграло свою положительную роль, оно пользовалось в Китае уважением, авторитетом. Показ фильмов, подобных „Сорок первому” и „Летят журавли”, может вызвать сейчас недоумение и непонимание у китайских зрителей. Мы, — указал Ся Янь, — дорожим и бдительно охраняем дружбу между нашими народами. Во имя этого мы считаем нецелесообразным показывать у себя „Сорок первый” и „Летят журавли”, получившие признание и похвалу на Западе. Враждебная пропаганда, используя эфир, клеветает на социалистические страны, указывая при этом, что такие советские фильмы дают возможность увидеть действительность за железным занавесом. Мы поэтому должны вместе внимательно следить за фильмами, чтобы избежать неправильных оценок советской действительности под впечатлением от подобных, на первый взгляд, вполне реалистичных фильмов».

Что там Ся Янь! Сам товарищ Чжоу Эньлай, уже не в беседе с тоже записавшим ее советником Судариковым, а в разговоре с начальником Главного сценарного управления советского кино И. Чекиным с не меньшим сожалением констатировал:

«В фильме „Летят журавли” не отражается, а затушевывается, а частично и извращается величие Отечественной войны советского народа. Во всем преобладает черный тыл, созданный в неприглядных и непристойных красках. Запоминаются темные личности, спекулянты и проходимцы. Есть высота страдания, но нет высоты подвига, совершаемого советским народом в Великой Отечественной войне. Этот фильм односторонний и поэтому фальшивый».

Тов. Чжоу Эньлай отметил, что «Летят журавли» не случайно так понравились американцам. Полной противоположностью этого фильма он считал картину «Киевлянка», которая произвела на него неизгладимое впечатление. Он указал, что по своему содержанию эта картина близка и понятна китайским зрителям вследствие того, что многое из показанного в «Киевлянке» им пришлось пережить самим.

Чем же так пленила премьера Госсовета Китая двухсерийная эпопея тогдашнего патриарха украинского кино Т. Левчука? Неужели только огромным, от революционных событий на Украине до наших дней, материалом? Или его обаял единственный более-менее удачный среди нескончаемого потока действующих лиц рабочий-арсеналец Яков Середа в исполнении Б. Чиркова?

Как бы то ни было, Чжоу Эньлай тут же посоветовал своим товарищам из Комитета по культурным связям с заграницей приобрести у Советского Союза этот «шедевр».

И вообще, отметил в своем дневнике советник Судариков, несмотря на критические в основном замечания о советском кино, тов. Чжоу был весел и много шутил...

«А один даже шпион!»

Жаль, конечно, тогдашних, «предхунвейбиновских», китайцев, отлученных от фильмов Чухрая и Калатозова и вынужденных наслаждаться левчуковской «Киевлянкой».

Но совсем уж анекдотический случай еще пару лет спустя произошел с таким же не ахти каким, как «Пржевальский», даже вообще никаким «Русским сувениром» Г. Александрова. Анекдотичный потому, что претензии китайских товарищей к александровскому опусу оказались совсем уж смехотворны. Тем не менее они стоили советскому киношному начальству немалой нервозности, ибо не просто что-то осуждали, как в фильмах Юткевича, Чухрая и Калатозова, а требовали коренной переделки...

Министерство культуры, в которое, как и сейчас, входила «служба» кинематографии, к этому времени возглавлял тот самый Н. Михайлов, который девять лет назад призывал говорить о «Пржевальском» только стоя. И в мае 1960 года из его министерства на «Мосфильм» была доставлена совсем уж неожиданная депеша.

«Министерство культуры, — сообщалось в ней, — посетил советник посольства Китайской Народной Республики в Советском Союзе тов. Чжан Инь У. И высказал ряд замечаний по фильму „Русский сувенир“.

Замечания тов. Чжан Инь У сводились к следующему. В фильме показано, что среди американских, английских и французских туристов, которые летят в Советский Союз из Китая, есть несколько человек с *крайне предубежденным отношением к социалистическому лагерю, а один даже шпион*».

— Ничего себе несколько, — берутся за головы на «Мосфильме», — это же основные герои фильма!

А насчет «шпиона» с Александровым за шесть лет, пока делалась картина, устали ругаться. Он вроде уступил и сделал его ненастоящим — настоящему, оказывается, не выдал визу. Но сделал это, как и все в фильме, так невразумительно, что шпионскую подмену не могли разглядеть даже на «Мосфильме».

Тем более — тов. Чжан Инь У, который «сказал, что все это не соответствует действительности, так как КНР не имеет с США никаких отношений, а отношения Китая с Англией и Францией носят крайне ограниченный характер. *Туристы из этих стран, а тем более шпионы в Китай не ездят*. В Китай приглашаются, правда, некоторые представители этих стран, но исключительно прогрессивных взглядов... И будет неправильно, если миллионы советских зрителей станут смотреть фильм, где так неверно показаны отношения КНР с рядом капиталистических стран».

— При чем тут КНР? — не могут понять на «Мосфильме». — Ничего, кроме того, что самолет летит из Пекина и у него китайский экипаж, о КНР и тем более о ее «отношениях» в картине нет.

«Тов. Чжан Инь У выразил надежду, что его замечания будут переданы организациям и товарищам, имеющим отношение к созданию фильма „Русский сувенир“», — заключает заранее согласное с китайским советником Министерство культуры.

Что делать? Снимать «Русский сувенир» с экрана, где он, не вызывая, правда, радости у зрителя, красуется уже две недели, и переделывать с начала до конца? Ведь китайский самолет, во всяком случае его бортпроводник Ван Лифу, фигурирует на протяжении всего фильма.

Срочно собирается руководство студии, кое-кто из давно распушенной группы. Сам Г. Александров, как всегда в ответственный момент, отсутствует — укатил с Л. Орловой в Польшу. Чтобы и там устроить премьеру «Русского сувенира», а заодно ретроспективу своего творчества, к которому поляки, надо отдать им должное, всегда были неравнодушны.

Все поручается второму режиссеру фильма И. Петрову, в голову которого приходят кое-какие спасительные идеи. И, ухватившись за них, генеральный директор «Мосфильма» В. Сурин докладывает министру культуры Н. Михайлову:

«Согласно перечню изменений в связи с замечаниями советника Китайского посольства тов. Чжан Инь У, необходимо проделать большую работу, что потребует значительных денежных затрат и времени. Чтобы избежать этого и ограничиться только частичной работой по одной первой части фильма, предлагаем следующие изменения:

1. Убрать кадр 22, где бортпроводник Ван Ли Фу держит в руках поднос, — теперь он не бортпроводник.

2. В кадре 24 изменить текст следующим образом: „В этом самолете, летящем из Владивостока в Москву (вместо: ‘Из Пекина в Москву’), оказались американцы, немцы, англичане, китайцы. Люди разных воззрений”.

3. В кадре 33 изменить текст, представляющий актеров: „А этот пассажир — китайский летчик Ван Ли Фу”. То есть китайский летчик делается, как все пассажиры, летящим из Владивостока».

Был предложен еще ряд микроскопических, лишь бы отделаться малой кровью, поправок. Если они устроят министерство, от него требуется возврат на «Мосфильм» всех копий фильма из проката (за исключением, естественно, той, которую с неожиданным успехом демонстрирует Г. Александров в Польше) для перемонтажа и перезаписи первой части. И, разумеется, разрешение на хоть и небольшие затраты.

Теперь уже в Министерстве культуры берутся за головы. Что за злосчастный фильм такой — не успел (после шестилетней работы над ним!) выйти на экран — и опять поправки! Но деваться некуда: с китайскими товарищами приходится считаться, пока всюду гремит мураделевское «Москва — Пекин» и конфликтом Н. Хрущева с Мао еще не пахнет.

В общем, показ фильма в Москве и Ленинграде неожиданно прекращается и с первой его частью производятся необходимые манипуляции. Спустя неделю, когда замечания тов. Чжан Инью более-менее реализованы, картину возвращают на экран, и никто, конечно, не догадывается, откуда несколько дней назад летели ее разноплеменные герои в Москву. Говорят, даже вернувшийся из Польши и рискнувший посетить московский кинотеатр с «Русским сувениром» Г. Александров поначалу ничего не заметил...

Такие вот «восточные тонкости» с четырьмя, даже с пятью, считая «Киевлянку», советскими фильмами. На первую из них, с «Пржевальским», просто, как помним, не обратили внимания и «сдали в архив». А из-за последней, с «Русским сувениром», стояли, как говорится, на ушах.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРЬБА ЗА СТИЛЬ

Ниже мы предлагаем вниманию читателей озабоченно-критические отзывы о творчестве двух талантливых поэтов, чья лирика давно любима и редакцией журнала, авторами которого оба являются, и теми, кому принадлежат эти заметки, — о препонах на их творческом пути. Думается, что сочувственный, но и пристрастный взгляд придется здесь в помощь, а не в укор.

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА



«КАК НАМ ВЫЛЕЧИТЬ ПТИЦ, ОТКАЗАВШИХСЯ ПЕТЬ?»

Густой, тяжелый колокольный звон плыл над суздальским Спасо-Евфимиевским монастырем. Легендарный звонарь Юрий Юрьев работал истово и вдохновенно. Причудливые звуковые ряды заполняли пространство. Гул звучал везде — не только снаружи, раскачивая купол неба и отражаясь от соборных стен, но и внутри — в ушах, в горле, в венах. Он пронизывал дрожью и говорил о Силе и Славе. Остолбеневшие туристы, забыв о сувенирных лавочках, застыли в общем немом благоговении. Впрочем, когда звон затих, они, еще некоторое время постояв задумчиво и неподвижно, вернулись к аляповатым ангелам, вологодским кружевам и деревянным макетам Кремля. Моя же приятельница, человек строгий и церковный, сказала мне, зачарованной: «Нет, не канонический это звон. Ни один батюшка так не разрешил бы!»

...Впервые я услышала Светлану Кекову на поэтическом вечере в Музее Цветаевой. Даже не берусь вспоминать, что был за вечер, — все прочие выступления стерлись. Я честно вникала в звучащие тексты — одни, как всегда, нравились, другие не задевали, но ее поэзия поразила меня на каком-то довербальном уровне. Это даже не было чувством прикосновения к удивительно выстроенному поэтическому миру — скорее ощущением погружения в некую почти материальную субстанцию.

В каком-то смысле Г. Кружков опередил меня — он сказал про поэтессу «тяжелая вода метафизики». Впрочем, тогда, слушая Светлану, я восприняла ее стихи просто как тяжелую (без всякой метафизики) воду. Можно говорить о смысле в поэзии, можно — о звуке, то есть музыке. Но это было ощущение, предшествующее не только слову, но и звуку. Вибрация среды, гул, отдающийся во всем теле, — подобный тому, который ощущаешь перед появлением собственных стихов, подземный, подводный. Колебания субстанции, которые ловишь кожей, — вода, конечно, что же еще. Плотная, живая, родная, колыбельная. Помните, как у Инны Лиснянской:

Больше всего привлекает вода —
Это усвоила раз навсегда
Солоноватая память плода.

Василькова Ирина Васильевна — поэт, эссеист, педагог. Родилась в Люберцах Московской области. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького. Автор трех сборников лирики.

Разбуженное архетипическое ожидание, архаическая память. Лишь потом пошел звук. Пока еще просто музыка, песня без слов. Опять же, как сказала Лиснянская, «еще молитвы не было, а дудочка была». Такое — почти телесное — восприятие поэзии я испытывала всего два-три раза в жизни. И только потом на этой голосовой (и фонетической) волне возникли образы — постепенно сгущаясь и наплывая как из тумана, перекрывая друг друга, становясь все четче и тесней, как бы и пустот уже не оставляя. Материализовался мир, удивительной плотностью и пластичностью напоминающий Заболоцкого времен «Второй книги»:

Вокруг меня под куполом небес
щебечут птицы, свет растет, как лес,
его листья отбрасывает тени.
И графские развалины сирени
собой являют нашей жизни срез.
Часы идут, но времени в обрез.

Потом уже, перечитывая эти стихи в книге «Короткие письма» и пытаюсь осмыслить свою новую поэтическую привязанность аналитически, я подумала о многослойности кековского текста. Говоря, что он подобен воде, можно вспомнить, что море не гомогенно — в нем есть зоны разной солености и плотности, перепады температур, подводные течения и вообще слоистость. Каждый уровень имеет свои условия среды, свой биоценоз, и ничего не смешивается, все подчиняется некоей структурности, а если представить себе взгляд насквозь, через эти толщи, то какое густое наслоение изображений дает эта «многоэтажность»! Особая перспектива — или перспективы. Поэтому у Кековой так легко все времена совмещаются в одном времени, а смыслы прошивают друг друга. Может быть, здесь даже не связи между вещами, не сходство меж ними, а взаимное наложение. Не это ли имел в виду Г. Кружков, говоря о «новых сочетаниях концептов»?

Но ее текст — не тютчевское «все во мне и я во всем», манифест этакой диффузии. Там — аморфно, здесь — изоморфно. Все в мире живет по сходным структурным законам, которые прослеживаются на любых уровнях реальности и даже — за реальностью. Говоря словами самой Светланы Кековой, эта взаимная соотнесенность, эта повторяющаяся структурность выявляет тот факт, что у всего существующего — один исток, один Творец. Какая сильная эмоция — понять, что очень многое на свете описывается одинаковыми формулами («закон звезды и формула цветка»)! Меня, например, всегда волновала такая область математики, как аналитическая геометрия: строишь график функции — получаешь раковину улитки или венчик лилии, то есть просто проваливаешься в метафизику!

Может быть, немного странный пример, но в вальдорфских школах есть дивный предмет — «Рисование форм». Объяснить трудно, это надо видеть, а еще лучше — попробовать самому. Это вообще одно из моих самых сильных впечатлений в жизни, такая детская «аналитическая геометрия» — но без формул, правополушарная. Дает ощутить на подсознательном уровне и стабильность формы, и ее текучесть, все эти взаимопревращения и взаимопроникновения. Кроме чисто прикладных задач вроде развития мелкой моторики пальцев и усвоения элементарных графических навыков такое рисование вызывает и чисто эмоциональные переживания, и подсознательные впечатления о том самом всеобщем изоморфизме. Как гравюры Мориса Эшера, в которых изначально присутствовали математические закономерности, описанные математиками лишь десятилетия спустя.

Так и в поэзии — некоторые ощущения, сильно и беспрекословно зацепив сознание или подсознание, абстрагированию и вербализации поддаются не прямо и не сразу. Формулировки приходят потом, да что там формулировки — смысл тоже дается не с ходу. Разобраться в этом потоке я попыталась позже, когда радость узнавания была не так горяча и настало время «ума холодных наблюдений».

Наталья Иванова в своей статье «Циклотимия. Жертвенник сердца» («Арион», 2002, № 2) назвала монотонность одной из опасностей, подстерегающих Кекову, а в качестве другой опасности упомянула «старательность», приводя примеры тщательно выверенных созвучий. Однако именно эти приемы (монотонность, повторы, эвфония) усиливают суггестивность текста Кековой, создавая тот самый тайный эффект внушения, который прямо не выводится из семантического спектра речи, а оказывается сродни музыкальному и даже скорее ритмическому воздействию. Многословие? И оно неотъемлемо от этой поэтики — не соли, а соленой воды. Энергия и текучесть — свойства воды, поэтому материнской субстанции должно быть много. Оптика такая, монотонное волнение, мерцание смыслов. И вообще, музыки много не бывает. Поэтому преобладающие стихотворные размеры здесь — укачивающие, колыбельные, чаще всего трехсложники. Музыку приумножает и сложная, виртуозная строфа. Монотонность, которая не надоедает, а притягивает — как колыхание прибора, полыхание пламени. «И только плач и боль в груди от звука низкого, гортанного».

Ее творчество выражает одну из самых интимных сторон человеческой психики — выяснение отношений с мирозданием. «Моего тот безумства желал, кто смежал этой розы завои...» — слова Фета наиболее точно передают основы такого мироощущения. «Священное безумство», навеянное ощущением гармонии мира, мне кажется вообще отличительной чертой поэзии. У самой поэтессы об этом же: «Соловей, возносящий молитвы Богу... в беспаятстве свищет свои псалмы».

В доныне актуальной работе К. Г. Юнга «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству» рассматриваются две возможности рождения художественного произведения. В одном случае «автор пускает в ход... всю силу своего суждения и выбирает свои выражения с полной свободой. Его материал для него — всего лишь материал, он хочет избрать *вот это*, а не что-то другое». Но есть другая возможность — когда произведения «буквально навязывают себя автору, как бы водят его рукой, и он пишет вещи, которые ум его созерцает в изумлении... Пока его сознание вольно и опустошенно стоит перед происходящим, его захлестывает потоп мыслей и образов, которые возникли вовсе не по его намерению и которые его собственной волей никогда не были бы вызваны к жизни». Юнг представлял себе такой процесс творческого созидания «наподобие некоего произрастающего в душе человека живого существа... здесь естественно было бы ожидать странных образов и форм, ускользающей мысли, многозначности языка, выражения которого приобретают весомость подлинных символов, поскольку наилучшим возможным образом обозначают еще неведомые вещи и служат мостами, переброшенными к невидимым берегам». Это в полной мере можно отнести к «Коротким письмам».

Понятно, что поэтика Кековой растет из метаморфоз Заболоцкого. Это мир, выстроенный не логически, а мифологически — когда нет границ между живым и неживым, антропологическим и геологическим, необходимым и случайным. В нем существуют «воды кристаллы», «свет растет, как лес», «рыбы в море роют норы, дыры делают в воде», а еще «в гробах, как бы в кабинах, спят мертвецы на склоне лет» и мелькает «распрекрасная Италия, где холера и чума юных дев берут за талию и ведут в свои дома».

Видишь — в язвах незалеченных яблонь темная листва?
 На деревьях искалеченных спят лесные существа —
 спит фита, и дремлет ижица, ять ползет из-под руки,
 по стволу большому движутся в жестких панцирях жуки.

Но если у Заболоцкого эмоциональной доминантой является зачастую недоумение и отращивание («страхом перекошенные лица ночных существ», судороги умирающей речки, и вообще природа — «давяльня!») и гораздо реже — восхищение «разумом», то у Кековой доминируют другие чувства — восхище-

ние и стыд. Конечно, фактура и пластика ее образов генетически вырастают из поэзии гениального предшественника, но поэтический мир одухотворен не разумом, а любовью, и начинается она с восхищения Творцом, стыдясь перед ним своего и вообще человеческого несовершенства. Стыд этот порою обнажен и мучителен, порою мягко закамуфлирован, но присутствует всегда. Он иногда прорывается и на словесный уровень («Виноватых нет и правых. Бог, прости свою рабу!», «Мой дух не в силах тело побороть», «Перед Богом мы оправдаться ничем не можем»), но чаще разлит между строк и присутствует скорее на уровне интонации. Тут уж не игра концептов и метафор и вообще — не игра. Это живое страдание, живое продиранье сквозь тернии смыслов, и читать это — подлинно и больно.

Лирическая героиня «Коротких писем» выстраивает мир, где «дух и плоть близнецы», «материя превращается в язык», «Гоголь спит, держа в руках уду, Ахматова ныряет хищной щукой, и птица Сириин правит ветра слог», это уже не просто метафорика, а другая геометрия пространства, неэвклидова, что, в общем-то, свойственно хорошей поэзии вообще. Здесь присутствует то самое ощущение, а именно «чувство тайны», о котором Павел Флоренский писал: «Большинство, по-видимому, слишком умно, чтобы отдаться этому непосредственному чувству и выделить особые точки мира, — и в силу этого бесплодно. Это не значит, что они не способны сделать что-нибудь; нет, сделают и делают, но в сделанном нет особого трепета, которым знаменуется приход нового, творческого начала». Не об этом ли чувстве говорил и физик Андрей Сахаров: «Мое глубокое ощущение (даже не убеждение — слово „убеждение“ тут, наверно, неправильно) — существование в природе какого-то внутреннего смысла».

Поэтика Кековой держится на равновесии двух противоположных чувств — строгого подчинения внутреннему смыслу мира, но и вольного парения языка, на котором можно говорить об этом. Она живет этим нелинейным мироощущением, отсюда и выросшие естественно, как растения, главные стилистические приемы. Первый из них, конечно, — метафора. Особенность метафоры в этой поэтической системе — то, что сама система является сплошной развернутой метафорой, поэтому поэтессе трудно цитировать, вычлняя из общей массы отдельные концепты.

Еще одна особенность — кажущийся переизбыток имен собственных. Вот простой перечень тех, которые мне встретились в книге, — Рим, Стикс, Аарон, Мандельштам, Блок, Немезида, апостол Петр, Тамбов, Саратов, Япония, Нил, Лапландия, Италия, Памир, Бергильмир, Асклепий, Италия, Монтеспан, Байрон, графиня Гвиччиоли, Греция, Дант, Бозций, Кант, Конт, Китай, Волга, Один, Валхалла, Танаис, Янцзы, Аид, Дамаск, Эдип, Фивы, Расин, Корнель, Стамбул, Вифлеем, Венеция, Бремен, Ницца. Что это — демонстрация эрудиции? Ничуть. Во-первых, к именам у автора отношение особое. Называние предмета — как проникновение в его сущность, поэтому поэзия названий — дорациональна, этим и волнует. Так что это — тоже прием. А во-вторых, будучи включенными в метафору, они дают возможность еще большего расширения смыслового пространства.

Наталья Иванова, говоря в той же статье о ключевых образах поэтического мира Кековой, называет их «банальными словами с давно утерянным, казалось бы, смыслом», хотя и отмечает легкость преодоления поэтессой такой банальности. Но в этом и есть смысл того, что делает Кекова, — сознательно работая на уровне архетипических символов, то есть традиционных, универсальных, сопрягающих прошлое и настоящее, общее и частное, потенциальное и свершившееся, она создает поэтику, принципиально нацеленную не на поиск нового, а на оживление традиционного, вечного.

Ее излюбленные образы — *свет, любовь, ангел, вода, облака, сад, трава, свеча, луна, сети, соль, слово*. В книге Кековой мало артефактов, но много природного — птиц, рыб, цветов, и это, как ни странно, роднит ее тексты с китайской классической живописью, сквозь них загадочно и своенравно проступает Восток.

Особый образ для нее — это пространство. В нем проходит наша жизнь, оно причудливо и непредсказуемо, несет удивление и страдание. «И рождается то, что нам знать не дано, на земле, где стелет и мучится тварь». И только один Христос «разрушает пространство». А когда не будет «уже ни пространства, ни времени», мы обретем музыку, чудесным образом не зависящую от этой инверсии. «И воду, отражающую Бога»...

Но это потом, а сейчас зачем мы здесь? «Чтобы, жажду любви на земле утолив, мы в страдании видели смысл и судьбу», а для этого «я силуюсь обнажить любви и смерти тайную природу». Но поскольку «наука страсти» — «не исканье истин, а эхо имен случайных», мы должны помочь любимым искать и находить. Основной инструмент познания — слово, в котором «виден смысл бездонный», которое находится «на границе безымянной правды и старой лжи». Но «забрасывать сеть в глубину» страшно. Потому что «беременны смертью слова», а причина в том, что «дух нас предал, а материя превращается в язык». И дальше еще много об этом, о своем поэтическом деле: «слова чернорабочие из земли сырой растут», «занимается чернорабочий темным, страшным своим ремеслом», «извлекает квадратные корни из соленой земли языка». Непростое это дело, опасное: «разъедены души соленой водой языка». Но «бессловесная плоть» должна заговорить — вот оправдание собственной деятельности. «Время жить и словесное стадо пасти» — для нее это так же естественно, как траве расти. А зачем? «Я большего знать не вправе», — говорит поэтесса, но верит, что «жизнь не была напрасной». А счастье заниматься своим естественным природным делом не дается даром. Певец-то поет, но «в груди его голос, как свежая рана на теле». И когда кто-то неведомый спрашивает: «По силам тебе твой опыт?» — нет, отвечает она, «только убогий жребий». И тогда влага касается влаги, и все в этом мире рифмуется.

Кекова не боится слов, которых сегодня стараются избегать, не боится говорить о высоком. Для нее это не абстракции — они наполнены болью. Но боль — телесна! Умственной боли не бывает! Это реальный поиск пути, он убеждает и заражает той дрожью, без которой нет поэзии. Ей веришь, потому что интонацию подделать нельзя. Это не игра пустыми знаками, каждое слово — рана, открытое чувство. И это женский вариант поэзии в истинном смысле — в смысле чувственного постижения, которое не оторвано от логического, а предшествует ему. Дмитрий Бавильский как-то обмолвился: «Стихам Кековой свойственна особая концентрированная метафизичность, между прочим, чуждая обычному женскому поэтическому кликушеству». Чего не скажешь для красного словца! Судороги и истерия действительно не свойственны поэтессе, но ей свойствен именно женский опыт письма как способность знание, скрытое в теле, переводить в сознание. Во-первых, женское письмо, если следовать Юлии Кристевой, представляет собой не смысловой, а как бы звуковой, а это именно то, с чего мы начали разговор о стихах Кековой. Второе — оно отражает способность женщин «мыслить через тело», возвращаясь к большей близости тела и сознания. Поэтике Светланы Кековой именно это и свойственно: «все пространство жизни пронизано этой дрожью, откровенной ложью, надеждой на милость Божью», «и чувствую — теперь проходит сквозь меня сияющий поток эфира и огня: так грозный Савл ослеп, так встал прозревший Павел». Правда, иногда она сама этого боится: «...я вижу двойника и думаю — куда его влечет река течением любви телесной и незрячей?» Однако телесность не так уж незряча — и это опасение она сама опровергает всей книгой. «Не пугайся чудес, ибо их невозможно исчислить!»

Андрей Арьев в своей речи, посвященной вручению Кековой премии Аполлона Григорьева, сказал: «Ей не помешает уже ничто, даже счастливое замужество». Не угадал критик: случилось — и помешало? — другое. Последние подборки поэтессы («Знамя», 2003, № 7; «Новый мир», 2003, № 7) убедили меня в этом. Еще в «Коротких письмах» она корила себя: «Как торопливы мысли твои о Боге...» Мучительное вырастание из этой торопливости, обра-

сывание всех условностей и недоговоренностей, слово прямое и ясное, как молитва, — вот каким вектором можно обозначить направление ее развития. И бесстрашие, с которым Светлана предъявляет читателю эти тексты, — поражает. Я говорю «тексты», потому что вопрос о жанровой принадлежности их меня, собственно, больше всего сейчас интересует. Последние подборки — не стихи, а уже почти молитвы. Поэзия — стратегия речи, призванная убеждать и ублажать читателя, в этом цель ее художественности. Задача молитвы другая — открыться, надеясь быть услышанным и прощенным, а посторонний (то есть читатель) здесь ни при чем. Именно тут, на мой взгляд, лежит водораздел между двумя типами словесного творчества, и Светлана Кекова еще не выбрала до конца, но явно склоняется ко второму, а там другие мерки — максимум откровенности, минимум приукрашенности. Простота и суровость. Впрочем, православные тексты предоставляют нам достаточно широкий выбор канонических художественных образов, именно в этом кругу и пытается сейчас работать автор. И все-таки специфика и смысл канонического образа в том, что он повторяется в своей неизменности. Повторение — узнавание — умиление — просветление — это ли не основная задача религиозного искусства? Новизна — ошеломление — потрясение — вспышка — вот стратегия светского искусства, тем паче современного. Для Кековой это стало совсем лишним, и я понимаю — почему, но как читатель сокрушаюсь, теряя одного из главных для меня поэтов. Если вернуться к Юнгу — вижу тот случай, когда автор «хочет изобразить *вот это*, а не что-то другое», но при этом «тяжелая вода метафизики» уходит и колодец пересыхает. Онтологически я с автором согласна, но соблазн назвать все своими именами и наделить однозначными смыслами кажется мне явной рационализацией творчества, попыткой раз и навсегда следовать жесткой схеме, благонамеренной статичности и черно-белой определенности. Такое ощущение, что в ее предыдущих стихах было больше живого божественного присутствия. Смирение? Но рационалистичным выглядит здесь и само смирение, и отказ от живых и неожиданных путей веры. В «Коротких письмах» она сказала — «душа летит, куда она хотела, а не туда, куда хотела я». Теперь вместо поэтической дрожи — суровое, даже какое-то педагогическое морализаторство, вместо поэтической интуиции — застывшая парадигма, вместо живой воды — мертвая.

Что же случилось со стихами? Мне видится здесь истончение собственно поэтической материи, отказ от многозначности и многослойности. Рациональный, логический, хотя и религиозный каркас прорывает живую плоть стиха. Похоже на ржавую арматуру, обтянутую кожей. Образы становятся беднее и банальнее не столько сами по себе, а в отрыве от той изоморфной структуры, которая объединяет и тем самым гармонизирует все слои и планы существования в прошлых книгах поэта. Упростилось, даже как-то снивелировалось все: и ритмы, и строфика, и лексика. Таким же сознательным приемом выглядит весьма упрощенный синтаксис — метафизика исчезла, и на этом уровне — музыки меньше, меньше рефренов, внутренних рифм. Даже пятистопные анапесты (мистически действующие на меня одним только своим ритмическим дыханием) теперь уже просто убаюкивают, став доминирующими сверх меры. Кто-то из знакомых поэтов откомментировал последнюю подборку в «Знамени» так: «вышивание узоров по православной канве». Да, православные узоры были у нее и раньше (православие вообще «узорно») — но теперь эти узоры тоже блекнут, стираются, и исчезает прихотливость, многосмысленность. Стих утрачивает какие-то дополнительные измерения, пусть смутные, неотчетливые, но всегда придававшие поэзии Светланы Кековой глубинную ассоциативность. Исчезают временные сдвиги, и даже столь выразительная раньше античная струя пересохла. Становится заметно, что автор обдумывает каждый шаг, стараясь быть смиреннее и осторожнее, избежать запретного, лишнего, — но получается искусственной, суше (страх глубины парализует пловца). Обилие общих мест, вполне канонических, вынуждает отказаться от индивидуальности, от живого человеческого опыта. «Все так же пуст пейзаж души, и тем-

ный путь ее опасен» — что это? Я не литературный критик, не богослов, я просто читатель, и мне не то чтобы скучно стало — но уж слишком прямо эта дорога, нет в ней неожиданности, тех самых неисповедимых путей Господних. Как любой человек, хотя бы отчасти считающий себя православным, я знаю, куда хочу прийти, но не знаю как, — читая стихи, я хочу понять, какой дорогой шел к этому другой. Здесь предлагается задача с уже известным ответом — мне же по-человечески интересней сам путь ее решения.

Из стихов уходят приметы обыденной жизни, совсем стерся городской пейзаж — зато возникает масса подробностей с виду деревенских (сверчок, собачий лай, лавки), но они, по сути, абстрактны. И этих «эмблем» становится так много, что исчезает чудесное равновесие жизненных деталей и их метафизического наполнения. На фоне символической январской стужи, как в театре теней, проходят одни и те же резко очерченные образы — вроде бы те же, что и прежде, — *ангелы, вода, рыбы, сети*, — но их формы не наполнены осознанным индивидуальным чувственным опытом, что сплошь и рядом приводит к появлению штампов и сентиментальных красотей. Они встречались у Кековой и раньше, но озадачивает то, что здесь, похоже, на них сделан особый упор. Она как бы нарочно не замечает их, отчасти козыряет этим. Даже рифмы поражают своей заштампованностью («сердца — дверца»), но, зная, как великолепно она владеет техникой, можно считать это вполне сознательным стилевым приемом. Автор хочет простоты — получается банальность («с голубой незабудкой в руке ангел твой над землей пролетит», «безмятежно смеются дети», «на ладонях его площадей»). Интересно, что в предыдущих подборках уже встречались «излишества» — «жимолесть бабочки брошку приколет на пышную грудь» или «капроновый бант стрекозы», но их перекрывала общая мощная интонационная энергетика всего стихотворения в целом. Последние же стихи интонационно не убеждают, потому что в них нет дрожи, огня, ушла энергия. «Теплохладность» не заражает.

Особый разговор о том, что происходит здесь с метафорой, причем не с технической, а с идеологической стороны. Являясь семантическим сдвигом, но опираясь на «земное», метафора все же удерживает нас в пределах чувственной связи с действительностью. Однако в последних стихах Кековой метафора явно дрейфует в сторону символа, уводящего за пределы реальности и не требующего никакого сенсорного подтверждения. Чтобы прочесть произведение, написанное на языке символов, надо не ощущать, а просто знать его код, что характерно для иконописи и вообще религиозного искусства. Если говорить о двух сторонах метафорической деятельности — эпифоре (расширении значения посредством сравнения) и диафоре (порождении нового значения при помощи соположения и синтеза), то в последних стихах Кековой явно перевешивает сравнение, причем сравнение, включающее элементы символического кода. И если диафора как бы находится внутри мифологии, то сравнение — уже на выходе из нее, тут уже появляется элемент рефлексии, момент самоконтроля. Исчезает «священное безумство». К чему это в конце концов приводит? К разрушению созданного ею причудливого поэтического мира, являвшегося как бы одной развернутой метафорой. В этом смысле она повторяет путь Заболоцкого, пришедшего к простоте и тому, «что могут понять только старые люди и дети», вот отчего так многочисленны образы стариков и детей в ее последних стихах. С этим же связано и усиление декларативности. (Кстати, характерно, что юные поэты, с которыми мне привелось в прошлом году работать в суздальской летней школе «Новые имена», оценивают декларативные стихи позднего Заболоцкого выше, чем ранние.)

Совсем по-другому выглядят риторические вопросы — теперь ответы на них заранее известны, в прошлых же стихах именно напряженное ожидание непредсказуемого ответа придавало необходимую энергию тексту. «Как в этом мире научиться петь?» — это не убеждает, ведь мы знаем, что петь она давно уже умеет. «Не человек ли сеет эту смуту?» — что, разве есть варианты? «Что

же делать душе человеческой среди холода этой зимы?» — конечно, «принять со смирением хлеб надежды из ангельских рук». Когда ответ задан в самом начале, не чувствуется сопротивления материала.

К сожалению, уходит из последних стихов и специфически женское восприятие — через тело, через тактильность. И появляется какая-то бесполость, бесплотность. Отдельные строки выглядят убедительнее других — «телесность» в них еще осталась. «Тихо льется мука, словно теплая белая кровь» — это действует сильнее, чем «...над Россией не меркнет божественный свет».

Мир теперь холоден, но этот холод — утешение, потому что снегом надо закрыть «незажившие язвы греха», — и это не ощущение, а логическая конструкция. Только сознательным аскетизмом можно объяснить отказ от летнего тепла, клевера, медуницы, ибо все человеческие чувства требуют иного. И если она сетует о том, что «не думали мы, по ночам отражаясь друг в друге», о грядущем Страшном Суде, — это звучит как презрение к телесности и живой жизни. Теперь остается только «плоти смиренная глина» — но это паче гордости! Вроде бы все пронизано смирением. Но стремление отделить овец от козлищ и пшеницу от плевел — ведь это задача не человека, а Господа!

Обескровленность — в ней ли свет?

Все это, конечно, связано с проблемой личной ответственности за свою новую миссию, но многие неопиты так рьяно устремляются в духовные сферы, будто путь земной уже закончен¹. Хотя автор и говорит о себе: «завершая земные труды...» — у меня чувство, что Светлана Кекова еще не отработала свою задачу. Или задача поменялась — стихи стали средством достижения цели, но другой, не художественной. Стало быть, это молитва, дело совсем уж интимное? Но тогда все, что она пишет, — она пишет для себя, не для нас. А при такой установке — зачем вообще публиковать? Именно об этом я, потерянный в пути читатель, и сожалею. Кстати, нарастание уровня интимности (или переадресованного «безумства») напрямую связано с попыткой спрятать ее от других с помощью устойчивых ритуальных формул (возможно, то, что мы называем штампами и красивостями, в текстах именно такую функцию и выполняет). Чтобы было понятнее — я, например, ненавижу бумажные цветы, но бумажный цветок, воткнутый в пасхальный кулич, меня радует и умиляет, хотя другому покажется простодушной красотой. Значит, в таких случаях это не просто цветы и не просто слова, а ритуальные знаки соответствующих состояний, которые мы вовсе не намерены объяснять посторонним и, отгораживаясь ими от чужого взгляда, уходим в другую систему координат.

Но что такое религиозные тексты? Те же ритуальные значения, язык, требующий знания кода. Неожиданность не приветствуется, но ведь в ней если не вся душа поэзии, то многое от этой души. Я люблю у Пушкина переложение молитвы «Отцы пустынноики...», но к собственно поэтическим шедеврам его не отнесешь. Вот и у Кековой не стало того, что называется «обманутым ожиданием»:

¹ Не удержусь привести здесь мнение известного католического философа Жака Маритена, в точности отвечающее предмету разговора: «Религиозное обращение не всегда благоприятно воздействует на произведение художника <...> Причины этого ясны <...> сердце художника очистилось, но новый опыт остается еще слабым и даже инфантильным. Художник потерял вдохновение былых дней. Вместе с тем разум его заняли теперь великие, только что открывшиеся и более драгоценные нравственные идеи. Но вот вопрос, не будут ли они, эти идеи, эксплуатировать его искусство как некие заменители опыта и творческой интуиции <...>? Здесь есть серьезный риск для произведения». И еще: «То, что художник в качестве художника любит превыше всего, есть красота, в которой должно быть рождено произведение, а не Бог <...>. Если художник любит Бога превыше всего, он делает это постольку, поскольку он — человек, а не поскольку он — художник» (Маритен Ж. Ответственность художника. — В кн.: «Самосознание культуры и искусства XX века». М., 2000, стр. 271, 254 соотв.).

Впрочем, эволюция великих художников в сторону творческой аскезы («каменноостровский цикл» Пушкина, «народные рассказы» позднего Толстого), неприятие удивлявшая первых ценителей, впоследствии часто осознавалась как неизбежная и имеющая не только мировоззренческие, но и собственно художественные мотивы. (Примеч. И. Роднянской.)

...Всех, кто влачит вериги нищеты,
в чьих душах всходят кротости цветы,
всех алчущих и жаждущих доныне
в холодном этом мире, как в пустыне,
всех изгнанных из мертвых городов,
всех проклятых на тысячу ладов,
всех плачущих, больных и прокаженных,
отверженных, юродивых, блаженных.

Ее стихи — это плач о России, которую она зовет «еще не умершей страной», и хотя «Божий храм осквернен, дом родимый сожжен», хотя «самозванец идет по царскому дому» и «столько крови невинной уже пролилось, что слезам невозможно не литься», ангел все же поет, «что Россия жива...». Но иногда вздрагиваешь — так похоже на сувенирный киоск, когда ангелы опускают «на грудь среднерусских равнин вологодское кружево снега». Или такое: «ангел жив над кремлевской стеною».

Словом, рационально мы понимаем, чем обусловлена эта поэтика, но уже не ощущаем дрожи. Современного человека традиционное «учительное красноречие» убеждает, увы, меньше, чем обнаженный нерв. Нет эмоций — нет напора, уходит та самая «энергетика».

Мне, так много нашедшей в ее поэзии, не хочется соглашаться с тем, что «жизнь прошла впустую». Слишком уж похоже на схему такое отрицание себя: «мой прежний голос, тронутый распадом, живущий меж чистилищем и адом», «мой голос плакал, ничего не знача». Вместе с тем я прекрасно понимаю, как далеко ушла она от меня по пути веры, поэтому внутри ее системы мои суждения, видимо, тоже ничего не значат, и судить о ее творчестве можно по законам, ею самой выбранным. Но тут я возвращаюсь к началу статьи и словам приятельницы о пронзившей меня дрожи: «Не церковный это звон, ни один батюшка бы не одобрил!» А вот про стихи Светланы она (глубоко верующий человек) сказала: «Живая вода!»

ВЛАДИМИР ЦИВУНИН



СУХОЕ БИЕНИЕ

О стихах Ларисы Миллер

Анжамбеманы нарушают стиховую интонацию, принуждая делать паузу или как-то насильно проглатывать ее как раз в той части смысловой фразы, где это делать совсем не хочется. Служат они чаще лишь тому, чтобы облегчить автору укладывание слов в строку. Я не люблю анжамбеманов (да и слово-то какое, ужас).

Длинная многосложная строка размывает внимание читателя, уводит его то в одну, то в другую сторону, мешая концентрироваться, следить за мыслью автора. Я не люблю стихотворений, идущих слишком широкой лентой.

Приблизительная, неточная рифма, упрощая поиск единственно необходимого слова, тоже облегчает работу стихотворца. Зато влияет на гармоничность восприятия стихов читателем. Тут, впрочем, зависит не только от слуха, но и от вкуса. Я не люблю неточных рифм (зато не испытываю и жгучей потребности в непременно свежих, не успевших стать затасканными).

Ничего такого нет в стихах Ларисы Миллер. Они отточенны и с этой стороны, на мой вкус, безупречны. Первое же, что когда-то привлекло меня к имени поэтессы, — компактность, поразительная законченность ее стихотворных миниатюр. Более того, они пронзительны — щемящей трагичностью человеческого бытия. Такая поэзия не может не зацепить, поскольку одно из самых человеческих свойств — не только гордость, но и жалость к себе, «венцу творения», вынужденному — хотя бы как биологическому телу — прозябать и в конце — кануть, исчезнуть.

Стихи Миллер — об этом. Замечательные по-своему...

Смертных можно ли страшать?
Их бы холить и прощать,
Потому что время мчится
И придется разлучиться.
И тоски не избежать.
Смертных можно ль обижать,
Изводить сердечной мукой
Перед вечною разлукой?

Или:

Не бывает горше мифа,
Чем про бедного Сизифа.
Все мы летом и зимой
Катим в гору камень свой.
Не бывает хуже пытки,
Чем никчемные попытки,
Зряшный опыт болевой,
Труд с отдачей нулевой.

Цивунин Владимир Иванович — поэт, критик. Родился в 1959 году в Сыктывкаре. Автор двух книг лирических стихов. Выступал со статьями и рецензиями в «Новом мире», «Знамени», журнале «Арион», «Литературной России» и других изданиях.

С этим — кто не согласится? Да, бесконечно жаль человека. Любого. И да, это чувство очень острó. Но, продолжая знакомство со стихами Л. Миллер, невольно смутишься новым открытием.

Одежды искушенного мудреца могут обратиться скафандром Агасфера, делая простое прикосновение к живой, не опосредованной словом жизни — невозможным. Так и поэт может оказаться в плену у своего мастерства.

Но... так ли совершенно это мастерство, чтобы доверяться ему безоговорочно? Да и так ли уж «загадочен» порядок «счастливых слов»?..

Боже мой, какое счастье!
Все без моего участия —
Ливень, ветер, и трава,
И счастливые слова,
Что в загадочном порядке
Появляются в тетрадке.

Милые стихи — по-детски открытые, действительно вроде бы счастливые. Но и по-детски же продекламированные.

Вот сказалось у меня: «по-детски» — и перебросило мостик к другой мысли, к другим даже заботам. Одна забота — такая: сын мой шестилетний — стихов не любит. Ни с Пушкиным, ни с Рубцовым к нему и не подступись. Единственное исключение — Николай Тряпкин. Тут мы оба с удовольствием, наперебой с ним наизусть читаем:

Хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет...
Он молочницу целует
И сметанкою торгует.
И не ездит на курорты:
Молочко парное пьет!

Хуже всех тому живется,
Кто не пляшет, не поет...
Он молочницы не знает,
Только «Фауста» читает,
Разъезжает по курортам
И ругается с женой.

Почему эти стихи мальчишке нравятся? А очень уж напоминают веселые детские считалки. Тем более, что таковы они и по настроению, «слог смыслу соответствует» (Слуцкий). А вот стихи Ларисы Миллер я сыну предлагать не стану. Опасаюсь: вдруг они ему... тоже понравятся. И начнет он бездумно отщелкивать, подскакивая на одной ножке при каждой стопе:

Жизнь идет, и лето длится...
Может, надо помолиться,
Попросить: «Великий Боже,
Сделай так, чтоб завтра тоже
Зеленела в поле травка,
В гуще сада пела славка,
На окне на тонкой леске
Колыхались занавески».

А мне очень не хочется, чтобы он здесь бездумно декламировал. Но читать это иначе — вряд ли получится. Увы, стихи Миллер в большинстве своем — поразительный пример того, насколько интонация может «не помнить» о настроении (или настрое?).

Миллер, впрочем, пишет не для детей. И не для юношества. Для людей, уже отягощенных каким-никаким опытом. Делясь, так сказать, опытом своим. Но вот личного-то опыта, глубоко частного, в ее стихах и не много. Что же в них? Почти никогда — переживание, почти всегда — лишь констатация его. Даже не свидетельство, именно — констатация.

Действительные же удачи начинают видаться скорее как отрадные исключения из некоего авторского правила. То они проявляются в виде чего-то настолько зыбкого, до чего умная философия снизойти не успевает:

Зеленое касается
Зеленого так нежно,
Как будто опасается
Всего, что неизбежно.

То в них отход от умозрительности в нечто, не испытанное как факт биографии, но зато отчетливо пережитое в собственной душе.

Я знаю тихий небосклон.
Войны не знаю. Так откуда
Вдруг чудится — еще секунда,
И твой отходит эшелон?!

И я на мирном полустанке,
Замолкнув, как перед концом,
Ловлю тесьму твоей ушанки,
Оборотясь к тебе лицом.

Зато и миг пойман, и переживание остается наивным и непосредственным. Это и удерживает. А вот «общефилософские» сентенции перестают трогать.

Трудно писать о поэтессе, к которой относишься с давней симпатией, и при этом не больно-то лестно отзываться о ее стихах. И это — после стольких лет честного стихописательства. Если бы кто раньше, если бы кто упредил эти мои инквизиторские заметки... Ведь были же у поэтессы учителя. И какие! Что ж они-то? Спросить бы...

Искать этих учителей долго не надо. Их имена часто появляются во многих эссеистических заметках Ларисы Миллер. Из поэтов — их двое. Один заочный — Георгий Иванов, другой, Арсений Тарковский, был многолетним непосредственным собеседником. Собственно, отсюда и весь мой давний интерес к творчеству Ларисы Миллер: два самых дорогих поэта XX века у нас — общие. Так что ваш покорный слуга тоже рад был бы оказаться их учеником. Но получилось — с ученичеством — лишь ровно наполовину.

Литература может явить нам много учеников, продолжателей, подражателей, эпигонов, например, Велимира Хлебникова, или раннего Пастернака, или Георгия Иванова, или Даниила Хармса, или Николая Клюева, или Владимира Маяковского, или Марины Цветаевой, или Николая Рубцова, или Иосифа Бродского, или Владимира Бурича, или Юрия Кузнецова, или Ларисы Миллер. Но я не могу представить себе учеников, продолжателей, подражателей, эпигонов, например, Владислава Ходасевича, или позднего Пастернака, или Арсения Тарковского.

Дело не в поэтическом уровне этих разных групп. И чьи-то стихи даже вполне могут напомнить своих «предшественников» во второй группе. Вот только о «влиянии» говорить в ней не приходится. Природа встречающегося иногда сходства здесь другая, не переимчивая. Очевидно, она где-то глубоко в личности самих авторов и только им самим, но не кому-то другому, и может что-то надиктовывать.

Зато внешняя «рекомендация» свой след вполне может оставить. Например, такая — Тарковского: «Сила стихотворения Л. Миллер не только в способности к обогащению слова, но и в том, что эта сила служит *выражению одной мысли, одного суждения от первой до последней строки*, — кажется, это основной секрет ее убедительности... (курсив мой. — В. Ц.)». Насчет «обогащения слова» — не уверен, зато вторая часть суждения — бесспорна. И очевидно, что вольно или невольно, но активно взята поэтессой почти как метод. И в этом смысле Миллер можно считать достойным антиподом, например, Бродскому.

Однако если от общения с Тарковским «практической», чисто стиховой пользы можно сохранить не много, то «школу» Г. Иванова отрицать вряд ли кто возьмется. Но всем ли удастся вынести из нее самое ценное? Увы...

«Интонация Г. Иванова бесконечно меняется», — пишет о нем Миллер. Очень верно подмечено. Интонация Иванова только кажется почти одинаковой в большинстве его стихотворений. Но вот в этом-то, в данном случае драгоценном, «почти» — и все дело. (Совсем как у самого поэта: «И не страшны мне ночные часы. Или почти не страшны».) Именно это «почти» и таит в себе *бесконечное разнообразие* интонации. Словно мы открываем все новые и новые оттенки, бесконечно приближаясь к спектральной линии человеческих эмоций, переживаний, ощущений. В отличие от дискретного *просто разнообразия* (присущего, например, Бродскому), требующего специальных стилистических и технических ухищрений.

Но вот незадача: стихи самой Ларисы Миллер бесконечно разнообразными по интонации — не кажутся. Хуже того, они не кажутся и просто разнообразными ни по содержанию (суть которого художественная мысль плюс стихотворная форма), ни, главное, по направленности авторского внимания. Тут-то, мне кажется, и камень преткновения.

Это стихи очень отстраненного (хотя и не холодного), иногда чересчур уж, кажется, удаленного взгляда. Оттого-то и так гладка их поверхность. Поначалу они притягивают, вызывают желание прикоснуться, подержать в руках и перенять эту иллюзию внешнего вселенского, бытийного отстранения. Они весомы. Но иногда кажется, что их ценность могла бы надолго ощущаться лишь в том случае, если бы таких стихов было не много. У Ларисы Миллер их не много, а — очень много...

Почему так? Может быть, потому, что нашлись для нее и другие «учителя»? Что-то они ей надиктовывают? Может быть, это — от них?

Электронная начинка,
Примитивная починка:
Батарейку заменили,
И часы засеменили.
А они теперь без тика.
Хоть и мчится время дико,
Хоть, как прежде, убывает,
Но бесшумно убывает.
Ни бим-бома, ни тик-така,
Только тихая атака:
Час не стукнул и не пробил,
А подкрался и угробил.

Нет, спорить с автором тут не станешь. Все верно. Вот только вспоминаются другие строчки другого поэта — причем из, в общем-то, не дорогого мне стихотворения: «Это — время тихой сапой / Убивает маму с папой» (Бродский, конечно). Вспоминаются — и трогают гораздо сильнее. А строчки Миллер — уже не трогают. Нет, здесь о камертоне говорить не приходится. Пойдем дальше...

Интересно, что случится,
Коль на время отлучиться,
Ненадолго выйти вон
Из потока дней, что мчится,
Все живое взяв в полон.

.....

Убежать от оста, веста,
Зюйда, норда, из контекста,
Что написан на роду...
Только ты держи мне место
В этом веке и году.

«Из какого сора» выросло это стихотворение Миллер 2000 года? Боюсь, что из... опубликованной в 1999-м знаменской подборки Кибирова «Новые стихи». Вот первый кибировский стишок оттуда (эх-эх, так вот и придаем всякому случайному падальцу хрестоматийный глянец):

В общем, жили мы неплохо.
 Но закончилась эпоха.
 Шышел-мышел, вышел вон!
 Наступил иной эон.
 В предвкушении конца
 Ламца-дрица гоп цаца!

Поэтессе не могут быть не скучны такие стихи (см. ее эссе «Пронеслася стая чувств...», 2000). Как не могут не быть скучны и другие строчки того же автора (цитирую по эссе Миллер «С пятого на десятое», 2000):

Если долго не курить —
 так приятно закурить!

И не трахаться подольше
 хорошо, наверно, тоже.

Ну, это само собой. Голову лучше лишний раз побережь. Но речь у меня не о том. А о том, что неприятие «культурного цинизма», рожденного «классиком вдохновенного кривляния», таки вдохновляет куда более уважаемую мной поэтессу на ее (может быть, неосознаваемый) «ответ Чемберлену». В котором она терпит поражение. То есть и неприятие есть, и пишет-то она, казалось бы, о своем, а вот ёрничество — уже не на смысловом, конечно, а на ритмическом (точнее, интонационном) уровне — оказалось, увы, заразительно. Понемногу живую поэзию убивая. Тихой, так сказать, сапой. И, увы, не совсем чтобы случайно.

К сожалению, авторский стиль Миллер подкреплен неким — сомнительным для меня, но признаваемым ею — постулатом. Комментируя одно из стихотворений С. Гандлевского, она пишет: «Разве не метафизический ужас диктует эти „частушечным стихом“ написанные строки? Но писать навзрыд сегодня вряд ли возможно. *Запас слез исчерпан*. Как и запас высоких слов. Исчерпан не данным поэтом, а всеми предыдущими. Душа идет вразнос, а ритм остается прежним — плюсовым (курсив мой. — В. Ц.)». То, что поэтесса видит в некоем литературном круге, принимается ею как нечто повсеместное и оправданно-неизбежное, узаконенное будто бы самим временем.

Странно. Ведь, казалось бы, понимание того, что *любое* время глядит на все предшествующее чуть свысока и глазами непременно (ноблесс облич) сухими, не требует какой-то особой мудрости. И так скоро доверяться иллюзии, что ты находишься «на верхушке времен», не стоило бы. Или не придут вослед и те времена, которым наше покажется донельзя простодушным и наивным?

И когда поэтесса принимает за факт собственную догадку о том, что «истории важен только сухой остаток, то есть стихи», то мне ее очень жаль. Как жаль вообще любого, для кого стихи — «сухой остаток», нечто вроде гербария. («Ты помнишь рифмы влажное биенье?» — спрашивает поэт. Выходит, не помнят...) И жаль гораздо сильнее, чем египетских фараонов; те-то знали, что их «сухой остаток» достается царству мертвых. У них бы не получилось *столь наглядного* несоответствия между протяженным содержанием и конечной формой, как у нашей поэтессы:

Точно вспышка — есть и нету.
 Не поймать за хвост комету.
 Нынче вместе, завтра врозь.
 Все приснилось, пронеслось —
 Блицлюбовь и блицсвиданье.
Долго длится лишь рыданье,
Долго длится только плач.
 Остальное мчится вскачь.

(Курсив мой. — В. Ц.)

Но не сможет Миллер-поэтесса ни для чего «долго длящегося» выбиться из ритмической сухости, пока Миллер-эссеистка толкует о какой-то исчерпан-

ности. И все заклинания останутся лишь пустым, шелкающим, действительно сухим звуком:

Ритенуто, ритенуто,
Дли блаженные минуты,
Не сбивайся, не спеши,
Слушай шорохи в тиши.
Дольче, дольче, нежно, нежно...
Ты увидишь, жизнь безбрежна,
И такая сладость в ней...
Но плавней, плавней, плавней...

Будь я поэтом точно такого дара, как у Ларисы Миллер, я бы себе писать хореем — просто запретил. По крайней мере четырехстопным. Какая уж «плавность» там, где энергия явно избыточна, где она так и подхлестывает. Вообще, четырехстопный хорей часто создает впечатление, будто слова обгоняют не только самого автора, но и мысль его. Что впору для удержания кратко уловленного мгновенья («Перестрелка за холмами; / Смотрит лагерь их и наш; / На холме пред казаками / Вьется красный делибаш...» — а! каково! одно слово — Пушкин¹), то никак не годится для долгих, почти стоических размышлений и выводов. Не потому ли смысл и глубина большинства стихотворений Миллер — увы, не изменчивы ни в зависимости от моего опыта, ни в зависимости от моего, читателя, настроения. Сухое — не сохраняет оттенков. И не имеет такого качественного параметра, как глубина.

Непроизвольная же притягательность (и глубинная охватность) проявляется для меня не в тех «экзистенциальных» стихах Миллер, что действительно когда-то смогли зацепить (их давно уже заслонили бесчисленные клоны), а, например, в таких неожиданных, а потому изумляющих:

...Коль ты сегодня при часах,
Скажи мне время —
Хочу узнать, когда в краю,
Где столько лиха,
Бывает тихо, как в раю.
Тепло и тихо.

Такие «простодушные» строчки — настоящий подарок для читателя. И я радуюсь тем стихам Ларисы Миллер, которые сопротивляются ей самой и опровергают «кредо» ее же «поточных» стихов. Например, вот этим, действительно несуетным и неторопливым:

Плывут неведомо куда по небу облака.
Какое благо иногда начать издалека
И знать, что времени у нас избыток, как небес,
Бездонен светлого запас, а черного в обрез.
Плывут по небу облака, по небу облака...
Об этом первая строка и пятая строка,
И надо медленно читать и утопать в строках
И между строчками витать в тех самых облаках.
И жизнь не хочет вразумлять и звать на смертный бой,
А только тихо изумлять подробностью любой.

Или этим — с удивительным реестром поэтических чудес, абсолютно не теряющих своей поэтичности оттого, что уложены здесь в продуманный, в общем-то, ряд:

Это — область чудес
И счастливой догадки...
Капля светлых небес
Разлита по тетрадке.

Область полутонов
И волшебной ошибки,
Где и яви и снов
Очертания зыбки.

Область мер и весов,
Побеждающих хаос.
Это мир голосов
И таинственных пауз.

Здесь целебна среда
И живительны вести,
И приходят сюда
Только с ангелом вместе.

¹ Да и в «Бесах» — острота непосредственного впечатления.

Блаженное наитие, которым, казалось бы, и должен быть ведóm поэт. И «виноват» ли наш автор в том, что почти ничего, кроме «мер и весов», из явившемся ему арсенала — им не используется? Пустой вопрос. Дело-то не в ответственности за удачи или промахи, а в их причинах, в тех корнях, откуда они произрастают.

Иногда поэт — любой — в своем творчестве встречает жуткое сопротивление или даже натиск, идущие изнутри самого себя. Такое внутреннее насилие над страстно желающим стать действительно вольнодышащим, но поневоле стесненным словом ощущаю я и в стихах Миллер. И не думаю, что я в этом ощущении одинок. Хотя бы один человек меня тут поймет. Это — сама поэтесса.

Такой вокруг покой, что боязно вздохнуть,
Что боязно шагнуть и скрипнуть половицей.
Зачем сквозь этот рай мой пролегает путь,
Коль не умею я всем этим насладиться.

.....
И давит и гнетет весь прежний путь людской
И горький опыт тех, кто жил до нас на свете,
И верить не дает в раздолье и покой
И в то, что мы с тобой избежем муки эти;
И верить не дает, что наша благодать
Надежна и прочна и может длиться доле,
Что не решит судьба все лучшее отнять
И не заставит вдруг оцепенеть от боли.

С этим — кто на себе прочувствовал, тот знает — легко не сладишь: гармония действительно становится едва возможной. Здесь можно только пожелать поэту каких-то невозможных сил для преодоления в себе постоянной направленности тревожно-напряженного взгляда. Трудно, бесконечно трудно. Но и благодарно: «претерпевший до конца — спасется».

Завершая свои заметки, вспоминаю, в какой диссонанс они могут вступить со многими, написанными о Ларисе Миллер прежде другими авторами. Куда более не то что благожелательными, но, скажем так, похвальными. Желая смягчить отношение вероятных оппонентов, понадеюсь на их чувство юмора и закончу одной цитатой (курсив будет мой):

«Хочу понять, почему мне всегда были скучны его стихи. О музыкальной пьесе иногда говорят, что она сыграна хорошим звуком. Вот и эти стихи исполнены хорошим звуком. Все в них правильно, все на месте, а душа моя молчит.

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.

Никакого сбоя, никаких задыханий, никаких неожиданностей: жизнь — умерла, сады опустели, я — один, мне — темно. Все одномерно. Вернее, пресно. Да и размер такой, будто продиктован метрономом...»

Конец цитаты. Это о другом поэте пишет... Лариса Миллер.

Сыктывкар (Коми).



РУССКАЯ ЖИЗНЬ. ОБЗОРЫ

«БЕЗ ВЫБОРА»: НЕВОЛЯ, НИЩЕТА, СЧАСТЬЕ...

Леонид Бородин. Без выбора. Автобиографическое повествование. — «Москва», 2003, № 7 — 9.

Леонид Бородин. Без выбора. М., «Молодая гвардия», 2003, 505 стр. («Библиотека мемуаров. Близкое прошлое»)¹.

В наши дни, дни — по определению Леонида Бородина — Смуты, велик соблазн писать мемуары: зафиксировать, верней, застолбить себя во времени, а заодно и свести с ним счеты. И все это — благо свобода слова позволяет, — не откладывая в долгий ящик, тут же и обнародовать. Ведь какое высококлассное произведение ни создай, никогда не станешь читателю столь близок, как раскрывшись ему автобиографически. А какой отечественный литератор не мечтает о такой близости?

Исповедальное повествование Бородина «Без выбора» выгодно отличается от большинства нынешних мемуаров, высосанных порою из пальца, редкой своеобычностью судьбы автора, в позднесоветские сравнительно вегетарианские времена сполна хлебнувшего тюрем и лагерей. Тут другое качество души, отличное от расхожего, другая частота биения сердца, чем та, к которой мы обычно привыкли. Не для самоутверждения и самовыпячивания написана эта книга, но чтобы бескорыстно, чистосердечно (а порой и простосердечно) разобраться в себе самом: в своем миропонимании как в советскую, так и в нынешнюю эпоху, в мотивации своих шагов и поступков, сформировавших жизнь смолоду посейчас.

Ну кто нынче напишет о себе столь просто, так откровенно, без рисовки, но и без унижения паче гордости: что про себя думаю, то и говорю, — кто на это теперь способен?

«Поскольку лично моя жизнь сложилась таким образом, что ни к какому конкретному и нужному делу я вовремя пристроенным не оказался; поскольку прежде всякого выбора жизненного пути или одновременно с тем почему-то озабочился или, проще говоря, заикнулся на проблемах гражданского бытия; поскольку, опять же, такое „заикление“ далее уже автоматически повлекло за собой соответствующие поступки и ответственность за них; поскольку все это именно так и было, — то чем же мне за жизнь свою похвастаться да погордиться?»

«Заикленность на проблемах гражданского бытия» есть в данном случае «классическое» русское *правдоискательство* — вещь, надо сказать, изматывающая, но и высоким смыслом жизнь наполняющая. А в советские времена — еще и весьма опасная.

...После десятилетки в 1955 году сибиряк Бородин год проучился в елабужской школе МВД, где «скорее чувством, чем сознанием усвоил-понял значение дисциплины как принципа поведения и <...> остался солдатом на всю жизнь, что, конечно, понял тоже значительно позже. Но „солдатская доминанта“ — да позволено будет так сказать — „срабатывала“ не раз в течение жизни, когда жизнь пыталась „прогнать мне позвоночник“ и поставить на четвереньки...».

Неординарная слайка правдоискательства и солдатства и определила, по-моему, своеобычность личности Леонида Бородина. Ведь, как правило, правдоискатели — разгильдяи, а солдаты — служаки. У Бородина же все по-другому...

Замечательные страницы бородинских воспоминаний посвящены питерскому ВСХСОНу (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа), «первой после Гражданской войны антикоммунистической организации, ставившей своей конечной целью своевременное (то есть соответствующее ситуации)

От редакции. Выход в свет автобиографического повествования Леонида Бородина, значительного писателя, а в памятном прошлом — деятеля антикоммунистического сопротивления в СССР, — серьезное литературно-общественное событие, которое несомненно заслуживает удвоенного рецензионного отклика на страницах «Нового мира».

¹ В рецензии Ю. Кублановского все цитаты приводятся по журнальному изданию.

свержение Коммунистической власти и установление в стране национального по форме и персоналистического по содержанию строя, способного совместить в себе бесспорные демократические достижения эпохи со спецификой евроазиатской державы».

«Тотальность марксизма, — вспоминает Бородин, — а точнее, социалистической идеи как таковой подталкивала на поиски „равнообъемной“ идеи, и когда в середине шестидесятых наткнулись на русскую философию рубежа веков, произошло наше радостное возвращение домой. В Россию. Что бы сегодня ни говорили обо всех этих „бердяевых“, сколь справедливо ни критиковали бы их — для нас „веховцы“ послужили маяком на утерянном в тумане философских соблазнов родном берегу, ибо, только прибившись к нему, мы получили поначалу пусть только „информацию“ <...> о подлинной земле обетованной — о вере, о христианстве, о Православии и о России-Руси».

Тут Бородин за всех нас сказал. Впрочем, не за всех. «Это случилось только с теми, кому повезло в самом раннем детстве в той или иной форме получить весомый заряд национального чувства. В этом случае имело место счастливое возвращение».

Когда всхсоновцев уже пересажали (спасибо, не расстреляли), в парижской «ИМКА-ПРЕСС» вышла брошюра с программными документами ВСХСОНа, в большинстве своем написанными главою организации Игорем Вячеславовичем Огурцовым. Уже в семидесятые годы я штудировал ее с карандашом в руках: программа Союза намного опережала время — и сегодня, по-моему, ни одна партия не создала ничего и отдаленно равного ей по глубине и значению. Во-первых, там был твердо предсказан достаточно скорый крах советской системы, когда все и здесь, и на Западе считали ее «порождением прогресса, обреченным на загоризонтное историческое бытие». (Из этой имковской брошюрки я вдруг впервые узнал, что доживу до падения коммунизма, узнал — и поверил.) Во-вторых, Огурцов — вослед С. Франку, И. Ильину и другим славным нашим мыслителям, но своим голосом и в свое время — утверждал, что возродиться и отстроиться полноценно Россия способна только при приоритете нравственных, культурных и религиозных начал.

Но программа огурцовская не расплывчата, а прописана и в деталях. «Не должна подлежать персонализации энергетическая, горнодобывающая, военная промышленность, а также железнодорожный, морской и воздушный транспорт общенационального значения. Право на их эксплуатацию и управление должно принадлежать государству. <...> Земля должна принадлежать всему народу в качестве общенациональной собственности, не подлежащей продаже или иным видам отчуждения. Граждане, общины и государство могут пользоваться ею только на правах ограниченного держания. <...> Государству должно принадлежать исключительное право на эксплуатацию недр, лесов и вод, имеющих общенациональное значение».

...Когда во второй половине восьмидесятых мы встретились с Огурцовым в Мюнхене после его двадцатилетней отсидки, я поинтересовался, читал ли он на момент создания своей программы «Духовные основы общества» С. Франка. Игорь Вячеславович ответил твердо, что не читал. Что ж... «Эту программу, — пишет Бородин, — ему, И. В. Огурцову, продиктовали, с одной стороны, понимание сути и перспективы коммунистического режима в России, с другой — верность и любовь движимое стремление во что бы то ни стало предотвратить национальную катастрофу, распад и развал России, к чему как по наклонной скатывалась власть, утратившая чувство собственной реальности». От себя же добавлю, что, на мой взгляд, программа ВСХСОН — редчайший пример политического *откровения*. В частности, это подтверждается и тем, что Огурцов с той поры ничего больше не создал: все его силы ушли на героическую отсидку. И как ни понуждал я его в Баварии написать книгу воспоминаний, как ни предлагал совершенно бескорыстную помощь в обработке даже не рукописи, а хотя б диктофонной записи — так ничего и не смог от него добиться.

Но насколько импонировала мне всхсоновская программа теоретически, настолько настораживала практически: ведь предполагала она разветвленную подпольную сеть. Тут мне, видимо, повезло больше, чем Леониду Бородину: Достоевских «Бесов» прочитал я не в двадцать девять, как он, а в девятнадцать...

В мордовском Дубровлаге в конце шестидесятых сидело немало «звезд первой величины», среди них и Андрей Синявский. Рассказ о нем — один из самых ярких у Леонида Бородин. И не забыть истории о вечере памяти Николая Гумилева: «Это было двадцатого августа шестьдесят восьмого года, как мы тогда считали, в день расстрела поэта Николая Гумилева <...> которого то ли по незнанию, то ли по недоразумению зеки разных национальностей считали поэтом лагерным и соответственно своим. <...> Месяцем раньше мы провели вечер Тютчева...» Любовь к Гумилеву у Бородин выходит за рамки просто любви к поэзии: очевидно, сам образ расстрелянного большевиками «солдата» играет тут особую роль; тип же сознания Бородин таков, что героические мифы для него — лучшее топливо.

Ну а Синявского я встретил тоже уже в Европе и не могу не согласиться с Бородиным: «Эмиграция его не состоялась настолько, чтобы говорить о ней как о некоем этапе жизни „на возвышение“. Правда, мне мало что известно... Но, слушая иногда его по Би-би-си, где он одно время „подвизался“ на теме русского антисемитизма (насчет Би-би-си мне, правда, неизвестно: мы встречались с ним в коридорах парижского бюро „Свободы“, но тема „антисемитизма“ и впрямь была одним из его коньков и дубинкой, которую он махал перед воображаемой фигурой Солженицына на своих вечерах и в Европе, и в США. — Ю. К.), отмечал, что даже в этой на Западе столь „перспективной и продвигающей“ теме он не оригинален в сравнении с теми же Яновым или Войновичем, которые „сделали себя“, сумев перешагнуть ту грань здравого творческого смысла, за которой только и возможно подлинное бешенство конъюнктуры». С этим же — добавим от себя — гастролируют они сегодня и в «новой, демократической России», ибо тут у нас все теперь как на Западе, и спрос на такие штуки велик.

Девять из одиннадцати лет двух сроков заключения Бородин провел не в лагерях, а в тюремных камерах. Первый раз освобожден писатель 18 февраля 1973 года из Владимирской тюрьмы — в ссылку. Но девять лет свободы — в нищете и мытарствах — оказались в некотором роде не легче неволи: «Бравым „поручиком Голицыным“ вышвырнулся я из стен Владимирского централа. „Капитанишкой в отставке“ забирали меня „органы“ в 82-м. И хорошо, что „забрали“. Экстремальность ситуации способна возрождать человека, выпрямлять ему позвоночник, возвращать глазам остроту зрения, а жизни смысл, когда-то отчетливо сформулированный, но утративший отчетливость в суеде выживания».

Вторично Бородин был арестован в мае 1982-го. А у меня 19 января того же года провели обыск. И работал Бородин в это время сторожем на Антиохийском подворье, возможно, и пришел туда прямо на мое место. Ведь я-то уже засобирился на Запад — органы так решили: «Второго Гумилева делать из вас не будем». Я любил Россию, но — в отличие от Бородин — «клятвы верности» не давал (то есть физической клятвы, как это сделал он, вступая во ВСХСОН). И, как замечено в каком-то моем стишке, «сладкая неизбежность встречи с Европою» уже, что называется, овладела моим сознанием.

Бородин же получил чудовищный, несуразный срок — десять и пять ссылки: на нем отыгрались за многих тогдашних тамиздатчиков — Владимова, меня и других, — внаглую перекочевавших из самиздата в тамиздат.

Слава Богу, астрономический второй срок Бородин не отсидел и вместе с другими политическими освобожден через пять лет. Но мытарств и физических мучений все же выпало на его долю столько, что, когда вместо подозреваемого рака горла ему диагностировали «только» хроническую ангину, он испытал «смятение, необъяснимое отчаяние и нехорошее, нездоровое возбуждение, всплески беспредметной ярости и, наоборот, — несколькочасовой апатии, когда сидел на шконке не только без движений, но, кажется, даже и без мыслей вовсе. Помню, вскидывался вдруг и произносил вслух: „Опять жить“. И начинал топтать по камере туда-сюда... Какое счастье, что был тогда один! Что никто не видел этой позорной ломки. <...> Через полтора года я освобожден под аккомпанемент государственного развала».

...Страницы жизни Бородин в посткоммунистическую эпоху не уступят по драматизму его гулаговской эпопее. Ибо что делать максималисту, моралисту и патриоту — в Смуту? «Цинизм, — пишет Бородин, — безответственная форма душевной свободы. Но именно люди этой породы оказались в итоге более подготов-

ленными к смуте, ибо никакие принципы не связывали им руки. Не связывали *до того*, и они успешнее прочих сумели пробиться в информированные и властные структуры общества, и уж тем более — *после того*, когда рухнули всяческие преграды к инициативе самореализации <...>. Циники составили, так сказать, материальный костяк либерального стана, где были, разумеется, и свои идеалисты, и свои «полезные идиоты». Но только русскому патриоту, державнику не по пути с теми, кто «либеральные ценности» ставит выше «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам».

И как там дальше у Пушкина:

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Самостояние — трудная это вещь, чреватая большим одиночеством. Отсюда и метания, и «заглядывания» Бородина в тот патриотический лагерь, который, увы, повязал себя с советизмом, да не просто с советизмом, а с его, как выяснилось, наиболее соблазнительной для державников, а следовательно, особенно злокачественной сталинистской разновидностью. Страницы полемики со Станиславом Куняевым — тоже очень содержательны, интересны. Но вот ведь парадокс: в том же номере журнала «Москва», где публиковались мемуары Бородин (журнале, который он редактирует), всего-то через пару десятков страниц, в публицистике, можно прочесть про «И. В. Сталина и его соратников, связавших свою судьбу именно с Россией и ставивших государственные интересы выше интересов мировой революции». Если в бородинской «Москве» *так* пишут о кровавом «кремлевском горце», то чего же ждать от куняевского «Нашего современника»?

В главе «Девяносто третий» метания Бородин достигают, кажется, своей кульминации. Я и сам в те дни маялся возле Белого дома, ни минуты не сочувствуя, конечно, ни красным, ни Руцкому, ни Хасбулатову. Последнего в ту пору почему-то особенно раскручивала прохановская газета. Помню снимок: скинувший пиджак Хасбулатов стоит в чистом поле по колено в росной траве. Без очков и не разберешь: уж не Сергей ли это Есенин?.. Накануне штурма через горы арматуры вечером пробрался к Белому дому. Какой-то юноша, почему-то в плащ-палатке, восторженно читал вслух Ивана Ильина «Наши задачи»; девушки у костерка возились с бутылками — так, понимаю, готовили «коктейль Молотова»? — и пели, тихо, но красиво пели «То не ветер»; старик в хламиде, с бородой, растущей прямо от глаз, проповедовал о Страшном Суде... В общем, какие только типы и персонажи не повстречались там мне уже ближе к полуночи. Но — так запомнилось — у всех зеленоватый, фосфоресцирующий в лицах оттенок, видимо, от специфики освещения...

Утром приехал туда на первом поезде метро — дошел от Смоленки до углового дома напротив мэрии; позже по Кутузовскому вдруг поползли танки. Когда прямой наводкой начали они палить по Белому дому, прикурнул у стоящего неподалеку мужчины и только стал отходить на свое прежнее место шагах от него в пяти, как он упал ничком без движения. Не сразу мы поняли, что он убит наповал, даже когда бурое пятно стало проступать сквозь его рубашку. Убит? Кем? Никто не слышал, чтоб просвистела пуля... Помню, после очередного залпа прямо из середины белодомовского массива вылетел большущий письменный стол и стал парить, видимо, на воздушной волне, а кипы бумаг, как чайки, разлетались в разные стороны. Были среди нас, «любопытных», и те, кто приветствовал каждое попадание снаряда смехом, аплодисментами. Наконец я не выдержал и одернул весельчаков. И вдруг в ответ: «Стыдитесь, Кублановский, вам-то чего...» Я обернулся — красивый еврейский юноша ненавистно блестел на меня глазами. Ненавидит? Меня? За что? Да меня гнобила советская власть, когда ты еще под стол пешком ходил, демократ.

Точная цифра, сколько тогда погибло народу, и посейчас засекречена. Но, думая о погибших, вспоминаю тех — с фосфоресцирующими лицами...

«Коммунистическая власть, — пишет Бородин, — умела воспитывать нужные ей кадры и сохранять их в состоянии искренней влюбленности в бытие, ею сотворен-

ное». И если «события августа девяносто первого легко укладываются в цепочки причинностей дальнейшей „исторической поступи“, то с октябрём 93-го все много сложнее. Популярное мнение „справа“: „Пресечение последней попытки реставрации коммунистического режима“ <...> Кто-то, безусловно, такую перспективу имел в виду. Тот же генерал Макашов, возможно... Но была еще и искривленная боль за судьбу России тысячелетней» — боль, добавлю я от себя, и заставлявшая, очевидно, «русского мальчика» в плащ-палатке читать накануне штурма «Наши задачи».

В целом же слащаво-маразматическое, догматическое отношение наших патриотов-державников к сталинизму и «советской цивилизации» послужило роковой причиной отшата от них всех нормальных людей на необъятных весах Отечества... Именно потому патриотизм и стал легкой добычей «демократических» мародеров, что на шее у него коммунистический камень.

...Так, сопереживая, одобряя, споря и запинаясь, читал я «автобиографическое повествование» Леонида Бородин, пока не уперся в одну из последних главок — «Михалковы как символы России». Зацепило название, ведь ясно, что у Бородин «символы России» — другие. Дальше — больше. «Речь пойдет о Михалковых — именно как о символе выживания в исключительно положительном значении этого многосмыслового слова». Что за притча? За что боролись, Леонид Иванович? Вы ведь, помнится, выживали иначе: «По первому сроку во Владимирской тюрьме дважды объявлял голодовку, чтоб выбить два-три месяца одиночки. <...> Десять суток я провел, лежа голым на цементном полу, обливая цемент водой ежечасно. Чтоб не задохнуться в прочно закупоренной камере-карцере».

И наконец: «...будь наш народ на уровне монархического миросозерцания, лично я ничего не имел бы против династии Михалковых». Что за злая шутка? Надо думать, горький зековский сарказм, который не всякому вольняшке доступен.

Новый автобиографический текст Бородин не остыл, «дымится», и рука редактора, видимо, его не касалась. Отсюда и смысловая неотчетливость некоторых пассажей. «Из тех, кто уже ушел, с кем-то и знаком не был, и знакомства не жаждал, но оттого еще страшнее их исчезновение из жизни». Что за спотыкливая конструкция? И почему исчезновение *незнакомых* «еще страшней», чем родных и близких? Убей — не пойму.

В пересыльной тюрьме, рассказывает Бородин, заключенный-смертник пророчествует: «,...скоро в русском царстве один за одним подохнут три царя. И четвертый придет меченый». <...> Два уже сдохли. Как только Андропов сдохнет, готовься на свободу. Придет меченый». <...> Конечно же, бред смертника я всерьез не принял. И когда уже в зоне узнал, что умер Андропов <...> и когда я впервые увидел сверхнеобычное, на лоб сползающее родимое пятно нового генсека — вот тогда пережил такое нервное потрясение... Простите, но Андропов был не третьим «царем» — вторым. И не ему на смену пришел «меченый», а старому маразматику Черненко.

А цитируя Бродского — при всей нелюбви к нему, — лучше не перевирать общеизвестные строки, а не побрезговать справиться с подлинником: точно ли процитировал?

...Когда Бродский эмигрировал и обосновался в Штатах, Чеслав Милош прислал ему из Калифорнии ободрительное письмо. «Я думаю, — писал один будущий нобелевский лауреат другому, — что Вы очень обеспокоены, так как все мы из нашей части Европы воспитаны на мифах, что жизнь писателя кончена, если он покинет родную страну. Но — это миф, понятный в странах, в которых цивилизация оставалась долго сельской цивилизацией, в которой „почва“ играла большую роль»². И так, по Милошу, «почвенность» есть архаичный пережиток сельскохозяйственной деятельности. И тогда и Солженицын, и Бородин, и я, грешный, и многие и многие отечественные литераторы, включая, статья, аж самих Пушкина, Гоголя, Достоевского, — только духовно-культурные рудименты докапиталистической, чуть ли не средневековой эпохи.

Никак не могу с этим согласиться, все во мне противится этому — секуляризировать, «глобализировать» язык, творчество, отделить его от высоких и драматичных отечественных задач, насмерть спаянных с мировыми...

² «Старое литературное обозрение», 2001, № 2, стр. 14.

И мирочувствование Бородин неотделимо от Родины, от исторической отечественной мистерии. На примере жизни его, так доверительно нам открытой, видим, что Родина не пустой звук, что любовь к ней — не фразерство, не идеология, а формообразующая человеческую личность закваска, наполняющая жизнь высоким смыслом и содержанием. Смыслом, религиозно выводящим за грань эмпирического теплехладного бытия.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

ЗАПИСКИ ПРЯМОХОДЯЩЕГО, ИЛИ УТОПИЯ ЛЕОНИДА БОРОДИНА

Перед нами размышления нормального человека. Всю жизнь Леонид Бородин продумывал то, что прочел и что увидел вокруг. И не боялся продумывать до конца. Он всегда говорил, что думал; действовал так, как думал и говорил. И не возмущался, когда подходил очередной срок ответственности за действия и за слова.

Я хорошо помню 1987-й, черный год в истории советских политлагерей. КГБ вел последнюю свою битву с инакомыслием: шла позорная кампания горбачевских «помилований». Желаящего помиловаться просили подать о том ходатайство — «да вы не обращайтесь внимания на заголовок, это же форма такая. Что? Взгляды? Да кто же вас просит от них отказываться? Вы только напишите, что будете действовать в соответствии с Законом. Что? Никогда законов не нарушали? Ну, об этом не надо, это же к делу отношения не имеет. Напишите только, что не будете нарушать впредь...»

Действия властей были к тому же еще и блефом, ходатайствовать-то перед ними не было уже никакой и нужды. Оказавшись на свободе, я с особым вниманием следил за судьбой Леонида Бородина: он-то бумажек не подпишет. Доставленный из особорежимного лагеря в Лефортово, Бородин провел в нем три или четыре месяца, дольше всех нас. И вот наконец — свобода.

«Происходящее в стране принимаю. Свое дальнейшее нахождение в заключении считаю бессмысленным». Текст этот неприятно меня поразил: он что, действительно «принимает» совдеповский заключительный балаган?!

Лишь потом я понял, насколько был не прав. Я подсчитывал тогда, сколько еще осталось режиму. Леонид же думал о другом: как спасти страну. И он действительно принимал вынужденно подаренный коммунизмом на исходе горбачевский шанс.

Прошло почти два десятилетия, и вот перед нами исповедальная книга Леонида Бородина. В ней — все. От опыта комсомольской юности. (Тема всей дальнейшей жизни — «Россия и коммунизм» — впервые встала перед курсантом Бородиным в милицейской школе. И он тотчас из школы этой, выбранной им по зову сердца, — ушел: «Корпоративные правила не позволяли нам „вольномышлять“ — это было бы просто нечестно по отношению к ведомству, призванному выполнять строго определенную работу».) Через прямохождение сквозь советские десятилетия, еще не оттаявшие от сталинщины в начале пути. И до времен сегодняшних, до «Смуты». Едва сменяемой нынче, согласно автору, становлением российской государственности.

Размышления об историческом пути России Бородин называет главной частью своего труда. Размышления эти неотделимы от всего остального: от богатой мемуарной конкретики, от встающей со страниц книги личности автора — перед нами ведь не академический труд. Личный отпечаток, органический дух свободы — лучшее, что есть в книге. Если бы кто вздумал издать «Библиотеку приложений» к солженицынской статье «Жить не по лжи», серия, увы, получилась бы не обширной, и достойное место в ней заняла бы книга Бородина.

Уникальна и мемуарная «составляющая» вышедшего труда. Правозащитное движение описано многократно и многосторонне, как в мемуарах, так и в художественной литературе; описаний же «диссидентской правой», русского религиозно-национального движения, кажется, не существует (во всяком случае, получивших

широкое печатное распространение). Причины этого во многом ясны из книги. И у правозащитного, и у национального движения были «подводная» и «надводная» части. Первая состояла из активистов — изгоев советской жизни: работали активисты сторожами-дворниками, ходили вечно под угрозой ареста. Вторая же, надводная, часть состояла из сочувствующих персон истеблишмента. Причем сочувствие это было весьма широким. Собиратели подписей под правозащитными письмами обходили поначалу едва ли не всю слышную прогрессивной писательскую элиту. Потом перестали: все равно мало кто подписывал. Но не прогоняли же, не возмущались, наоборот — сочувствовали, оправдывались, некоторые чем-то помогали, лишь бы никто не узнал... Интеллигенция оставалась социалистической (вполне это выявилось несколько позже), но неприятие реального брежневского режима было близко к стопроцентному.

Из таких же двух частей состоял и «русский лагерь». Да только пропорция была иной. Объективный свидетель, «Хроника текущих событий», называет сотни имен активистов-«демократов». И — многие десятки русских «националов». Зато надводная часть национального лагеря... В главе «Резервация в Калашном» Бородин описывает компании и сборы в «дворянском гнезде» — особняке видного советского художника Ильи Глазунова. Посетители же... Среди номенклатурных «русистов» мы видим не только недолгого министра Щелокова, здесь — поднимай по реальной иерархической лестнице много выше — вечный гимнотворец Сергей Михалков! Не только демократов достала, видно, бездарная «никаковость» последних советских десятилетий.

Так что уникальность бородинского описания «диссидентской правой» естественна. «Михалковы как символы России» назвал автор одну из глав, мы к ней еще вернемся. А может ли кто себе представить, как свои встречи с Леонидом Ивановичем описывает заслуженный гимночист?

Трудно не ёрничать. Бережно и деликатно описывает Бородин и своих друзей, и далеко не близких ему «в чем-то единомышленников», но картинка получается все равно выразительной. В чем-то она куда колоритнее, чем «Наследство» Кормера или, скажем, «Расставание» самого же Бородина, там ведь все-таки было об изгоях.

Но как бы то ни было, перед читателем уникальный срез советского общества. Да и не только советского, эти же люди часто играют и сегодня ключевую роль и в российской жизни, и в размышлениях о ней Леонида Бородина. Что, кажется, можно сказать о них доброго? Впрочем, доброе-то автору сказать удастся: у кого же на свете не найдется, если взглядеться, привлекательных человеческих черт. Но Бородин пытается сказать и нечто, в смысле российских будущих дел, обнадеживающее: «Падение Щелокова, несомненно, „содрогнуло” и без того вечно дрожащую „русскую партию”, но в самом факте существования определенно мнимой „партии русистов” <...> следует видеть и нечто, имеющее свою непреходящую ценность, — любовь к России во всех ее ипостасях, в том числе и в советской, ибо, как бы ни перемолотила коммунистическая идея русский этнос, остался и генотип, и стереотип поведения...» Про сохранение стереотипа поведения — это, пожалуй, особенно убедительно.

О мемуарной «составляющей» книги заметим еще: интереснейшие описания и наблюдения соседствуют в ней с резко субъективными выводами. Приведу только один пример. Бородин категорически утверждает: диссидентство не оказало никакого влияния на процессы в стране. И как вывод из материалов книги это звучит убедительно: «тусовочное» состояние профессионального инакомыслия сменилось состоянием нынешним, небытийно-посмертным. Так что правовые и гуманитарные проблемы ввозятся, таким образом, в Россию «оттуда» — мысль, которую на протяжении всей книги насмешливо варьирует Бородин.

Но между советским бытием и сегодняшним были еще годы перемен: 1987-й и 1988-й, — когда еще почти ничего не началось в *государстве*, зато сразу началось в *стране*. Об освобождениях-помилованиях сообщили «голоса», они же дали слушателям и адреса организаторов новых правозащитных групп.

Трудно пересказать, что тут началось. Среди организаторов был и я, и ограничусь личными наблюдениями. Телефон у меня перестройщики быстро отключили, но почти не умолкал дверной звонок. Приезжали отовсюду. География? Назову в беспорядке, как вспоминается с ходу: Иваново, Архангельск, Тамбов, Прибалтика,

Молдавия, Крым, Приморье, Армения, Грузия, Свердловск... Был кое-кто из азиатских республик — живы ли те люди теперь... Любопытна и «география отсутствия». Не было Украины; ну а когда доводилось, на правозащитных конференциях, встречаться с «представителями» ее... Уже тогда не могли не посещать мысли шокирующие и парадоксальные: с Прибалтикой мы помиримся скоро, с Украиной — помиримся ли хоть когда-нибудь? (Очень интересно было мне встретить и в книге Бородина это же наблюдение.) И еще: не видал я за эти годы коренной — не промышленно-уральской — Сибири. Доходили лишь, как с какой-то другой планеты, газеты из Иркутска. И впечатление было такое, что Сибирь — совсем какая-то другая страна; что ей наши европейско-московские заботы?

Но вернемся к нашей теме. Займемся несложной арифметикой: десятки посетителей в день на протяжении полутора лет. Приезжали, как легко догадаться, люди активные, у каждого десятки активных же друзей на родине. Помочь им мы мало чем могли. Но трудно сегодня и представить, чем была после семидесятилетия «перестраивающаяся» страна... Уже одна лишь поездка в Москву, встреча с относительно свободной средой была для многих тогда потрясением, а налаженная связь с «Москвой» — едва ли не самой свободой. И книги... Розданные тогда книги — одно из немногих дел, которыми я в жизни горжусь. Чемоданами их мне приносили еженедельно, чемоданами же они и уходили во все концы давно не видавшей свободного слова страны.

Излишне уточнять, что был я во всей этой деятельности далеко не единственным. Повлияло ли все это на страну? Сказать категорически «да» не решусь. Но простые арифметические подсчеты мешают мне ответить на вопрос отрицательно.

«Консолидацией некоторой части московской интеллигенции, уже тогда (пока еще, правда, на уровне интуиции) ориентированной на „западные ценности”», называет Бородин борьбу за права человека. Объяснили бы вы, Леонид Иванович, про западные ценности им всем — хоть тем же голодавшим ивановским христианкам, мечтавшим сбить наконец амбарный замок со своей закрытой с тридцатых годов «церквы».

Однако мы перешли уже к обсуждению отраженных в книге взглядов автора, его концепции двадцатого века в России. Категорическое отрицание коммунизма делает Бородина уникальной фигурой в национал-патриотической среде. Уроженцу Сибири, ему не нужно было объяснять, что СССР — ГУЛАГ: «Архипелаг. Точнее названия А. Солженицын и придумать не мог. Когда прочитал книгу, содержанием поражен не был. Поражен был единственностью названия». Страной, где скромный достаток миллионов покупался ценой умышленного забвения о судьбах других миллионов — рабов, называет Бородин Советский Союз.

Дело, впрочем, не в антикоммунизме автора как таковом. Книга содержит яркую полемику со Станиславом Куняевым... Но как бы ни разьедал большевизм национал-патриотическую среду, говорить при этом можно лишь о патологии, — а эта книга как раз и учит четко отличать *распространенность* от *нормы*. Если человек нормальный окажется в обществе людоедов, не будем же мы неустанно подчеркивать: вот, он не кушает людей...

Интересно, мне кажется, другое. Книга поставила эксперимент: что остается от национал-патриотизма, если вычесть из него коммунистическую составляющую?

Остаются, как раз и в точности, взгляды Бородина. Конспективно они таковы. По-прежнему живо неистребимое чувство русскости; оно, и только оно, дает шанс на воскрешение народа и государственности в стране: коммунизм в ней сменился смутой, но сегодня государственность начинает кое-как воскресать. Все это, так сказать, позитив. В негатив же, как и всегда при подобных взглядах, выпадают «западные» ценности: либерализм, демократия и т. п. Некоторые из этих тезисов сомнений, на первый взгляд, не вызывают. Коммунизму не удалось до конца опустошить души, человеческие чувства в них уцелели, в том числе и национальные, — это, бесспорно, так. Далее, необходимо ли устойчивое национальное чувство для воссоздания государственности? Ответ на этот вопрос уже не столь бесспорен. При народническом подходе к истории, полностью разделяемом Бородиным, он однозначно положителен, при ортодоксально-имперском или леонтьевском это вовсе

не так. Но если и согласиться с *необходимостью* для государственности сильного национального чувства в людях, остается острый и актуальный вопрос о *достаточности* его сегодня. Пусть без русизма Россию не создать; но довольно ли его у нас для такого сознания? Мало ли в мире помнящих свое прошлое, обладающих самоидентификацией народов, — государственность есть далеко не у всех.

Итак, русизм сегодня. По Бородину.

«Замечательная Татьяна Петрова каждое свое выступление заканчивает словами популярной патриотической песни: „Встань за веру, русская земля!”

И зал всякий раз встает. Это все, на что он способен. За веру. Потому что земля уже давно не имеет веры <...> Песня как бы дистанцирует исполнителей и слушателей от тех, кто уже в самом процессе катастрофы сделал сознательный выбор не в пользу России <...> В какой-то мере это дистанцирование нужно. Для упрощения ситуации — как математическое уравнение, каковое, чтобы его решить, надо сначала упростить. С другой стороны — фиксируется позиция, которая в некотором смысле уже сама по себе обязывает...»

И еще: «Победа — в нравственном противостоянии распаду. Противостояние кривобокое, кривошеее — ни веры православной, ни идеи более-менее вразумительной. Одно только инстинктом диктуемое чувство некой русской правды, отличной от прочих, что должно быть сохранено в душах для необходимого, сначала хотя бы душевного, возрождения. А там, глядишь, дорастем и до духовного...»

Может, и дорастем. Но не только песенность-душевность — даже и вера сама по себе не созидает государств. Во всяком случае, в наши дни. Бог обращается непосредственно к отдельному человеку — но к народам ли, к группам ли людей? Для государственного строительства помимо религиозности требуются еще и ее «несущие конструкции», «проводники». То есть мирские, часто секулярные ценности, имеющие религию лишь в основе своей. И потому содержательно поставленный вопрос о государственности сводится в точности к обсуждению таких ценностей: каковы они должны быть сегодня в России? Есть ли они у нас вообще?

Не видно и не ясно. Зато Бородин дает нам вполне впечатляющий «символ выживания в исключительно положительном значении этого многомыслового слова»: «Я произвольно и бездоказательно осмеливаюсь предположить, что беспримерная выживаемость клана Михалковых есть не что иное, как своеобразный сигнал-ориентир „непотопляемости” России, буде она при этом в самом что ни на есть дурном состоянии духа и плоти». И вправду бездоказательно: что, интересно, в михалковской непотопляемости такого уж беспримерного?

Про Михалковых — не из области юмора, изысканная ирония отнюдь не является одной из граней таланта Бородина. Перед нами совсем другое. Не такой Бородин человек, чтобы останавливаться на полдороге, вуалировать и тактически причисывать свои рассуждения и идеи. Нет, он идет до края, до конца: вот вам реальный русизм, это он и есть; не хотите — не принимайте.

Честность и убежденность авторских рассуждений подчас увлекают, но, оторвавшись от книги, сразу видишь: картина «провисла».

Вернемся же к тем ценностям, которые выпадают у Бородина в однозначный негатив. Либерализм, свобода, право — как раз это все и выводит нынче из смуты российское бытие. И обеспечивает, в частности, укрепление государственности: каковы бы ни были подчас эксцессы последней, они несравнимы с обретенной Россией *свободой*, которую, по позитивной логике нынешнего развития, государство обязано и вынуждено охранять.

Но никаких рассуждений на эти темы у Бородина просто нет; есть же — вот что: «Первое, что приходит на ум человеку, догадавшемуся о несовершенстве бытия, — демократия. И даже не в смысле народовластия. Такое понимание демократии достаточно требовательно, оно понуждает к историческому поиску, к осмыслению народного опыта <...> Иначе говоря, не тормозит сам процесс политического мышления.

Демократия — даешь свободу! — нечто совсем иное. Самодостаточное.

Логический принцип такого типа мышления — от противного.

Однопартийность? Даешь многопартийность!

Государственная собственность? Даешь частную!
 Бесправность на митингах и собраниях? Хотим базарить!
 Цензура? Долой!»

Перед нами снова классическое народническое мышление: демократию как нардоправство оно принимает, свобода же личности — ему поперек. Почему же непременно «базарить», Леонид Иванович? Некий писатель, допустим, говорил после своего освобождения в 1987 году, что не мог уже не писать, хотя и понимал все неизбежные последствия своей прихоти. Разная, видать, бывает свобода...

Дальше — лучше: «Права человека пока — единственное стратегическое действие по предупреждению, предотвращению возрождения Российского государства, поскольку оно действительно никак не может возродиться без покушения на права человека, по тем или иным причинам не желающих этого возрождения, поскольку имеют право, гарантированное „международным правом“, не хотеть — и все тут!»

Ну а если государство российское кому и вправду не нравится, как, допустим, нам с вами не нравилось советское? Сколько давать будем, опять червонец особого? Или, для вящего возрождения, — добавим еще? Но тут уж не только за личность, тут и за государство заступиться охота. Идеологическая система жить не могла без вздорных и абсурдных, с обычной, нормальной точки зрения, зажимов и кар. Нормальным же странам вполне достаточно ввести своих противников в жесткое русло *законных*, с точки зрения цивилизованных понятий, действий и выступлений. Неужто для нашей несчастной России этого окажется мало?

Нет. Прошедшее десятилетие было далеко не только годами смуты. Это был период *вызревания* — востребованных ныне и государством ценностей, христианских, повторюсь, по первооснове своей. И даже тысячекратно охаянное ныне «Хватайте суверенитеты!» было необходимо. Щедрость и снятие пут должны были в России *предшествовать* государственному собиранию, до неизбежных для всякой страны прагматичных, подчас жестких действий эти ценности должны были укорениться в душах людей. Увы, отрицая все это, Бородин вынужден, хочет он того или нет, отрицать во многом и сегодняшнюю страну, вернувшую себе имя России.

Поэтому-то по прочтении книги и представляется мне автор ее фигурой трагической: национал-патриотизм, даже и в его варианте, не окажет возрождающего влияния на будущее страны. И мемуары в этом убеждают: интересные, порой захватывающие, они тупиковы по выводам своим.

Иное дело — личность автора. Мне вспоминаются его стихи о Белом движении, так, кажется, нигде толком и не опубликованные, — они у меня в голове:

...И я пишу девиз на флаге,
 И я иду под этим флагом,
 И я — в психической атаке
 Который год, безумным шагом,

И нам шагать по вольной воле,
 По той земле, где нивы хмуры,
 И нам упасть на том же поле,
 Не дошагав до амбразуры...

Валерий СЕНДЕРОВ.

*

ОХОТНИК ЗА СОБСТВЕННЫМ «Я»

Илья Кочергин. Помощник китайца. Рассказы и повесть. М., Независимое издательство «Пик», 2003, 256 стр.

В книге молодого писателя Ильи Кочергина «Помощник китайца» представлены уже знакомые читателю произведения, опубликованные в журналах «Новый мир», «Знамя» и «Дружба народов» в 2000 — 2003 годах, но в сборнике все они

звучат по-новому. Это как раз тот случай, когда сумма значений частей не складывается математически в значение целого — в книге произведения создают новый, углубленный смысл, позволяя говорить о главных творческих мотивах и особом мировоззрении автора. Рассказы «Алтынай», «Волки», «Рекламные дни», «Рахат», «По дороге домой», «Потенциальный покупатель» и повесть «Помощник китайца» существенно доработаны и расположены в явно не хронологическом (если смотреть с точки зрения героя-рассказчика) порядке.

На первый взгляд, основная тема произведений Кочергина — противопоставление двух географических миров, московского и сибирского. Москва, как водится, — ярмарка тщеславия, символ напрасно истраченных дней и непрочного счастья. Тайга — свежий, недвижимый, не сжеванный суетой мир. Автор-герой как будто просто рассказывает о том, что сам видел: вот я, как все, жил в столице и пытался добиться успеха, но не раскрутился, бросила меня жена — тогда и я все бросил и уехал на Алтай, где стал лесником, охотником и, наконец, крутым парнем. Однако уже начало книги показывает, что перед нами не просто автобиография, и раскрывает неоднозначность и новизну авторского отношения к оппозиции столичного и сибирского миров.

«Алтынай» — рассказ-визитка. Сюжет нехитрый, но завлекательный: алтайка Алтынайка хочет стать женой русского парня и ради того, чтобы увлечь его, готова даже отправиться с ним и его приятелем на многодневную лесную охоту. Героя это раздражает, он колеблется, но в конце концов девушка понимает, что *этого* мужчину ей не поймать, и просит отвезти ее домой. Цель рассказа — объяснить нам, почему герой отказывается от молчаливого хозяйственного счастья, которое, следуя за ним по всем оврагам и перевалам, готовит ему обед и уютное будущее. Или даже так: почему он, в отличие от своего приятеля, смог *устоять* против чар женщины и домашнего комфорта? И опять мы торопимся увидеть простое объяснение: мужчина, оставленный московской женой, с которой прожил шесть лет, устал от семейного расслабляющего уюта и не хочет «попасться» во второй раз. Только потом понимаем, что простота его отказа — выстраданная, наохоченная, наброшенная простота. Что не всегда герой пренебрегал женщиной — и не всегда он был настоящим *мужем*.

Рассказ «Алтынай» открывает книгу и в то же время своеобразно завершает ее. Это — финал истории о становлении мужчины, об утверждении свободного человеческого «я», исход битвы с мирской необходимостью и предопределенностью. Проблематика книги — противостояние «я» и мира, свободы и рабства у земной, из поколения в поколение передающейся необходимости. Именно по отношению к «я» героя неожиданно снимается оппозиция столичного и природно-сибирского миров.

Да, Москва — это жизнь вовне, агрессивная экспансия пустоты, дутые дистрибьюторские фирмы, где работал герой, деньги из ничего, иностранцы как символ экспорта российского «лейбла» на Запад и иностранцы как «лейбл» успеха, который не смеют трогать менты и в который влюбляются столичные девушки (см. «Помощник китайца»). Москва — ненаказуемое торжество виртуального карьерного «я», символ не завоеванных — уворованных достижений. В этом смысле очевидно превосходство сибирского мира, который уводит героя в глубь — страны и своей души. Алтай помогает герою отчистить, отвоевать, освободить свое «я», ощутить полноту и действительность жизни, обрести свободу и непосредственную, перед самим собой, ответственность за свои решения и поступки. Кочергин смакует миф об Алтае как об обители мужественных неуязвимых охотников: «Я никому не доверяю и делаю все сам, постепенно избавляясь от привычки ждать помощи. Я стал меньше думать, просто делаю все быстро и правильно. Когда лошадь начинает дурить под тобой, нет времени для ненужных спекуляций, не время рефлексировать, если раненый зверь повернулся и бежит в твою сторону» («Алтынай»); «Уметь держать в руках хорошую винтовку — это много для мужчины. ...Я говорю не о вооруженном грабеже, а о той ответственности за свои действия и о чувстве достоинства, которые появляются у мужчины, если он держит в руках винтовку» («Помощник китайца»).

Однако в первом же рассказе этот миф развенчивается: на Алтае, оказывается, «мужики частенько стреляются или вешаются. Женщины стойче переносят жизнь,

а мужики слабоваты. ...Я в Москве жил, — под конец уже тоже иногда подумывал удавиться». Автор сопоставляет Сибирь и Москву, показывая, что свобода и сила индивидуальности мало зависят от географии и свежего воздуха. Покойные снега Сибири, оказывается, так же губительны для самцовства и самости — для мужества и личности, как и московский модно-карьерный мир. Оба мира хотя и заглотишь героя, повсюду царствуют несвобода, бессмыслица, гонка и рабство у необходимости. В этом смысле охотничья одинокая мужественность героя — немного из книг, из мечты, недостижимый для окружающих идеал. Этой мечте противостоит вполне реальная сила, воплощенная в Женщине.

Женщина, как в изначальные времена, соблазняет героя из хвойного морозного рая выпасть в теплую позолоченную гниль мира. Женщина в Москве и Сибири — враг-искуситель, которого надо победить в самом себе. Двуетное воплощение — молчаливая сибирячка Алтынай и деловитая москвичка Оля («Потенциальный покупатель»). И — прообраз, первоженщина — жена Аленка («Помощник китайца»). Все началось с нее, первожены. Герой — будущий, не окрепший еще мужчина — был с самого начала сбит с правильного пути. Его мечта — путешествия: в Монголию, в Китай, в тайгу — всюду. Мечта о путешествиях — это, на глубине, жажда поиска, предвкушение не найденного пока смысла, мечта об открытии самого себя. Женщина, наоборот, отменяет поиск. Она — раба и наместница необходимости. Ей с самого начала все ясно: делай как все, стремись к стандартному, обществом и временем рекомендованному счастью — образованию, семье, руководящему посту, деньгам. Аленка повинуется общей логике: герой чувствует, что она настояла на их свадьбе не потому, что любила его, а потому, что все ее подруги уже выхолили замуж, — точно так же, как часто в жару надевала колготки только потому, что на улице видела в них других женщин: «Я волновался при мысли, что я нужен Аленке для того же, для чего нужны колготки, — не для тепла... а для соответствия». Женщина требует соответствия, она распоряжается судьбой мужчины (мы не раз видим, как жена настаивает на том или ином бытовом решении, и у героя нет сил и смелости ей сопротивляться). Мужчина, помещенный в «женский» (читай: общемировой) контекст развития, вынужден искать свое «я» по чуждым для него правилам. Герой тоже пытается «соответствовать»: стать хорошим супругом, обрести особую, «семейную» мужественность — кредитоспособность. Конечно, нельзя отрицать, что это тоже важно. Это, я бы даже сказала, необходимо. Но в том-то и дело, что полное рабство у необходимости приводит к ложному мужеству, потере себя, утрате смысла. Что наполняет жизнь таких вот успешных, «женским» миром порабощенных мужчин? «Да, интересно получается — вот скоро тридцатник вроде уже будет, через три года тридцатник, а ждешь как девочка. Какого хрена ждешь — неизвестно. Жизнь — чувствую, что тупая, а почему — не пойму», — жалуется маркетолог Дима из рассказа «Потенциальный покупатель». «Живешь, чтобы заработать на еду, прокормить детей, а потом умереть. Больше ничего в жизни нет», — отрезвляет героя китайский бизнесмен Сун из повести «Помощник китайца». Это — жизнь ради *завтра*, когда «выстраиваешь себе будущее в голове, а потом ползешь к нему», жизнь ради будущей машины, квартиры, будущего детей, и так бесконечно далее — до смерти, которая есть наше самое реальное будущее. А сейчас? А как жить сейчас? — словно спрашивает себя герой. В жизни для *завтра* может быть только иллюзорное *сейчас*. Московский карьерный мир дарит только виртуальное «я», которое меняется вместе с профессией и деловым костюмом. Воплощение такого виртуального самоутверждения, придуманного «я» как некоего «лейбла» — это странная служба героя «помощником китайца», служба с размытыми обязанностями и результатами, и особенно его короткая карьера в дистрибьюторской фирме, где его научили выглядеть преуспевающим и обаятельным — и под ужимки и прыжки *впаривать* никому не нужный товар. Иллюзорность успешного дистрибьюторского «я» отчетливо показана в рассказе «Рекламные дни», в котором сопоставляются охота на оленя в Сибири и охота за карьерой в Москве, — и выясняется, что вторая, в отличие от первой, не дает прочного ощущения ответственности за себя, плодотворности своих действий, наконец, власти над собой, своей самооценкой. Дистрибьюторская фирма — мини-Москва, модель города, общества, цивилизованного мира. Ложное выделение себя —

в составе коллективного нерасчлененного целого фирмы. «Я» нет, есть испуганное и потому агрессивное «мы»: служащие объединены «в коллектив, в парней из этого офиса, в Австралийскую оптовую компанию... потому что они... не должны принадлежать к тому большинству, которое населяет город. Они не говно». Они не из неудачников, они из мира, где «нельзя быть грустным, медленным, мятым, непричесанным, пьяным, сутулым. Нужно быть активным, alertным, веселым, общительным и хорошо выглядеть». Толпа повинуется чарам видимого успеха и довольства — покупает паровозики и авторучки. Но очень легко разубедить этих улыбчивых, как будто нашедших себя людей в их самооценности: «И вдруг неожиданно... беззлобно и почти не глядя скажут: иди на хер. Даже обиды не возникает, просто как бы *выпадаешь из созданной тобой реальности*, чувствуешь усталые ноги, и пропадает почти что непритворная улыбка (курсив здесь и ниже мой. — В. П.)». Ирреальность такого успеха подтверждается в тот день, когда герой сдает норму на должность инструктора дистрибьюторов — и от него уходит жена.

Герой бежит из города, думая этим освободиться от «женской» логики существования. Но географическое бегство бессмысленно: жизнь-рабство, жизнь-необходимость, жизнь — смертоносное беспокойное *завтра*, воплощаясь на этот раз в образе сибирячки Алтынай, идет своим чередом, едет вслед за героем. Не случайно в образе экзотической красавицы появляются привычно московские мотивы безразличного ко всему, кроме необходимости, мироощущения: «Алтынай равнодушна, *едет как в метро*, даже глаз не поднимет. Вот человек, а! Ну возьми ты повернись в седле, скажи — мол, красотища какая, мужики! Ну как-нибудь, елки, среагируй на окружающее-то. Нет ведь. Весь поход — безразличный взгляд на уши коня или на горизонт».

Сибирь, как раньше Москва, грозит по-своему уничтожить «я» героя — через домашний уют с Алтынай или через слияние с общеприродной нерасчлененной дикостью (обратите внимание на ночной страх перед темнотой и уподобление героя зверю в рассказе «Волки», где противостояние «я» и мира переходит на отвлеченно-философский уровень). Поэтому финал рассказа «Алтынай» не выглядит бесповоротным. Он только один из вариантов окончания книги. Итог отказа от алтайки — посвящение в мужчины, в индивидуальное мужественное «я», в свободную жизнь ради жизни, достойную в своей бесцельности и безвестности, — оказывается под сомнением в других рассказах. И более всего — в «Потенциальном покупателе».

Олька из «Потенциального покупателя» — новый вариант исхода борьбы, возможность обновленной московской судьбы героя. Олька, как и всякая женщина у Кочергина, — «потенциальный покупатель»: маркированная, разрекламированная, стильная потребность-«лейбл» главенствует в ее душе и определяет направление ее жизни — на шейпинг, на немецкий, мужчины любят веселых, с большой грудью и чтоб не жаловались, и еще успеть бы на курсы вождения... Ей кажется, что потом, после того как она для видимости подчинится общим стандартам и станет адекватной им, она сможет сделать индивидуальный, вне этих стандартов, выбор, вознести свое «я» над миром и утвердить его как нечто особенное, независимое, свободное. Начать как все — но закончить по собственному усмотрению. Олька не понимает, что от заштампованности сознания избавиться не так легко, как избавиться, что *модно* нынче, от зашлакованности организма. Олька — возможная вторая жена героя. И дело не в том, что она лучше Алены или Алтынай, ближе миропониманию героя, — нет, дело в развитии его мужской судьбы. «Я читал, что каждый из нас всю свою жизнь сидит в таком пузыре с зеркальными стенками и на что ни поглядит — видит самого себя, в смысле свое отражение. Глядишь, например, на медведя и видишь не медведя, а дикого зверя, который может тебя убить, смотришь на симпатичную девочку и думаешь, как было бы приятно ей ножки раздвинуть. Не их видишь, а скорее себя самого на девочке или под медведем», — заматеревшее «я» подминает под себя реальность. Раньше само было виртуальным — теперь считает иллюзией мир, от которого требует одного: выгоды и безопасности. Но это не по-мужски. После утверждения своего «я» герою необходимо вернуться в мир и помериться с ним силами на новых, самим героем определяемых основаниях. «Любовь заставляет человека вылезать из своего зеркального пузыря и глядеть на мир без всяких дополнительных соображений, просто глядеть и видеть», —

герой как будто готов по-новому воспринять женщину, жизнь и цель — не как «лейблы» успеха, а как элементы настоящей реальности. Получится ли у него не повторить прежних ошибок — или Оляка станет второй Аленой? Действительно ли герой любит ее — или зачем тогда он льнет к ногам сибирской девушки в конце того же рассказа? Вернется ли он в Москву или останется в Сибири? Останется на своей одинокой свободе — или смирится с необходимостью общего пути? У книги нет однозначного финала, как в жизни нет гарантий того, что получится сохранить свободу в мире, подчиненном необходимости.

Валерия ПУСТОВАЯ.

*

«МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ НАПРАСНО...»

Игорь Булатовский. Полуостров. СПб., «Гиперион», 2003, 93 стр.

Есть возрастная консерватизм вкуса: вдруг обнаруживаешь, что круг художественных привязанностей уже не расширяется, что свободных валентностей — способности включить еще чьи-то там «мечты и звуки» в состав собственной души — как будто и не осталось. Все уложено, укомплектовано и на оставшийся отрезок хватает. То есть и дальше, конечно, читаешь, слушаешь, сравниваешь, оцениваешь, но больше уже — как что-то другое и для других. Может быть (предположим ради самоутешения), дело тут не только в душевной притомленности и притуплении сердечной сенсорики. Но и в том, что новые лица являются нередко в ролях, которые ты полюбил когда-то в ином исполнении, и привычке не хочется, невозможно изменить. (Изумительный старик, историк театра, — сейчас уже девяностопятилетний — не так давно сказал мне: «Вы знаете, самые сильные впечатления *за последние годы* — Симонов, Ульянов в нескольких работах, Лоренс Оливье в „Отелло“... Смоктуновский? Хороший актер, ничего не могу сказать, Мышкина хорошо сыграл... Но вот в „Царе Федоре Иоанновиче“... Мой дорогой, я видел в „Царе Федоре“ Москвина! Видел Хмелева, Качалова, Добронравова! А Смоктуновский... ну что? он, простите, в этой роли с собственным галстуком разговаривает». И прибавил с улыбкой: «Хотя галстука у царя Федора, конечно, нет».)

Порой, однако, что-то случается, «пробивает», говоря по-нынешнему.

В 1995-м я листал у прилавка тоненькую книжку неизвестного поэта и вдруг задержался, и помню даже, на чем: это была частица «ли», которая, как в не отверженной еще младенческой речи, нарушив грамматическую субординацию, перескочила туда, где ей удобней ритмически:

Там, о там! Ли облак тощий,
Перышко ли там,
Или парусный извозчик —
Развезить нас по домам...

Дальше, правда, как раз уже ритм сделался несколько зыбкий, инверсированный, но и тут нетрудно было представить, как все это ложится на детский голос, не то распевая строчки, не то, как в считалке, их скандирующий:

...Там, о там! Ли месяц бледный
На солнце глядит,
Словно полюбивник бедный —
На розы ланит.

В полуденную купальню
Прокрался тайком
И глядит, глядит печально
Белым уголком.

На Неве-купальне — солнце.
Ветер мочит рукава.
На Неве-купальне — солнца
Золотые острова!

И орфография тут была какая-то не нынешняя («извошик»), и рифмы просто-душные до жалости («бледный — бедный»), до тавтологии («солнце — солнца»), и стилистика — этот в совершенной невинности названный, простонародный «полюбовник», — и вся картинка блещущая, воздушная, детская. Или не детская, а — архаизированная, стилизаторская? Ведь вот «облак тощий» (который — «месяц») не иначе как из тютчевского сюда перенесен стихотворения, из «Ты зрел его в кругу большого света...». И ритмические «ошибки» — не Тютчевым ли тоже санкционированы, который, мы помним, и в «Silentium» много чего себе такого позволил, и в других вещах? Впрочем, лад весь совсем не тютчевский, не философски-одический, а — песенный, наивный. Наивность, за которой, однако, просвечивало и что-то вполне искусственное, изощренное, приводило на память фигуру иную — автора «Сетей», «Нездешних вечеров», «Парабол» (не мотив ли «купальни» сработал тут подсказкой?).

Автору, Игорю Булатовскому, было в момент дебюта 24 года. Я купил две его лирические книжечки, неведомо кем и в каком количестве (подозреваю, что в сильно ограниченном) выпущенные одна за другой: «Белый свет» (1995) и «Любовь для старости» (1996). Читал их не очень, по правде говоря, подробно — больше радовался, чем читал. Радовали строчки, кусочки: «Утиною лапкой / Створка сердешная, / Самая сладкая / И безутешная, / Отворена / До листвы, до срока / Любви нестрашной, / Звезды высокой...» Или: «Ветер тянет лес недалёной / За рукав дождевика / Отвернуться, хоть пока, / От напраслины печальной. / Тень дерев листа не боле. / Ах, на что мне сень листа. / Утолить не в силах боли / Маленькая красота...» — но боль если и была, то вполне растворялась в этом лепете и ворковании. «Рано клинышек забиваешь, / Белые зубки дерешь, / Ты ли вовсе не летаешь, / Не поешь...» — звук был совершенно сентименталистский, какие-то 1790-е годы, прямо из сельской державинской ласточки: «...Ты часто по кровлям шебечешь, / Над гнездышком сидя, поешь, / Крылышками движешь, трепещешь, / Колокольчиком в горлышке бьешь...» — что ориентации на Кузмина, отчасти туда же и обращенного, вовсе не противоречило. Нельзя было не припомнить и сладкогласное волхование Клюева, чьей памяти посвящено одно из стихотворений «Белого света»: «...Птичка с острова Киферы / В этом спряталась лесу, / Голосом тончайшей меры / Славит Божию красу...» А когда в 1996-м вышли «Песни без слов» Верлена, переведенные Булатовским¹, собственные его тяготения обозначились с еще большей отчетливостью и в ритмическом устройстве стихов, для которых общение с французской силлабикой даром, конечно, не прошло и в жанре — песен, песенок, и, возьмем шире, в творческом целеполагании. «Выражение красоты в стихах становилось непосредственным, даже неосмысленным, детским, сиюминутным, совпадающим с впечатлением, как вспышка при фотосъемке», — пишет Булатовский о верленовском импрессионизме, но кажется, что и о себе.

Скажем о том, что в лирическую генеалогию Игоря Булатовского *не* входило, — это тоже важно и бросилось в глаза сразу: никаких явных пересечений (если не считать совпадения инициалов — «И. Б.») с сильнейшим из современников, чье влияние сделалось в последних поэтических поколениях почти что неотвратимым.

В плане же предпочтений показательно, пожалуй, еще вот что: Булатовский подготовил (совместно с Б. Рогинским) и в 2000 году выпустил посмертное собрание стихотворений высоко ценимого им питерского поэта, чуть младше Бродского, — Льва Васильева (1944 — 1997). Мало кому известного, впервые опубликовавшегося только в постперестройку, всегда бедствовавшего, пившего, — в общем, маргинала и в литературном, и в житейском измерениях. В том же 2000-м при деятельном участии Булатовского был выпущен большой, тщательно подготовленный том и другого забытого лирика, графа Василия Комаровского (1881 — 1914) — блестящего дилетанта, эрудита и безумца.

У акций этих очевидный общий пафос, близкий тому, который запечатлелся когда-то в словах Тынянова: «Я люблю шершавые, недоделанные, недоконченные

¹ См. также отзыв на переводы Игоря Булатовского, вошедшие в книгу: Верлен Поль. Сатурнийские стихи. Галантные празднества. Песни без слов. СПб., 2001 — «Книжная полка Никиты Елисеева» («Новый мир», 2001, № 11, стр. 208 — 209). (Примеч. ред.)

вещи. Я уважаю шершавых, недоделанных неудачников, бормотателей, за которых нужно договаривать... Есть тихие бунты, спрятанные в ящик на 100 и на 200 лет. При сломе, сносе, перестройке ящик находят, крышку срывают. „А, — говорят, — вот он какой! Некрасивый”. — „Друг, назови меня по имени”. Конечно, в первую очередь Тынянов думал об универсальном — о литературной эволюции, о потенциальной продуктивности для нее явлений «боковых», маргинальных и т. д. Но можно помыслить еще и самый простой человеческий мотив: «назвать по имени» — значит попытаться смягчить жесткость судьбы, исполнить пастернаковское обещание «безвременно умершему»: «найдут и воскресят».

Оба изданных Булатовским автора актуальны для него поэтически, что же касается аналогий статусных, вопросов об известности/неизвестности, признании/непризнании — не знаю... Все-таки, говоря тыняновскими же словами, «еще ничего не решено». Сейчас ему тридцать два, в 2003-м — после шестилетнего перерыва — вышла его третья книга, «Полуостров», и с первых же ее строк стало понятно, что куда-то он движется:

Летит из пасти белый пар,
Летит, звезду слезя,
Продукт горенья, праздный жар,
А загрести нельзя.

Кому он, на фиг, нужен там,
В рекордной высоте?
Какой листве? Каким цветам?
Скажи еще — звезде.

Когда его туда внесет
Из печки кровяной:
«Привет, аргон, привет, азот!
Айда, летим со мной!»

.....
Я вдохом был, я шел в крови
Короткою стопой:
Там всюду висли соловьи
(В крови, вниз головой).

Там жарил жаворонков страх
До спичечных костей,
И копотью труда пропах
Сам воздух тех путей...

Этот балладный ямб (и раннепастернаковский: «Когда за лиры лабиринт / Поэты взор вперят...») был не похож на ритмическую истомность и узорчатость прежних стихов, звучал куда решительней. И лексика тоже: «из пасти», «на фиг», «айда» — такой резвости, кажется, раньше за Булатовским не наблюдалось.

Над следующим стихотворением в качестве названия стояло просто — «7», и сперва я подумал, что это что-то такое оккультное, каббалистическое; всмотревшись же, разглядел: номер троллейбусного (а может, автобусного, трамвайного) маршрута. А за мутными стеклами — город: «...Осыпаются домов / Окошечки плевелами, / Искры сыплют с проводов / Хвостами сине-белыми. / Разлетелась влет луна, / Летит пятном бензиновым, / Облаком запряжена / Дырявым, парусиновым...» Так что метафизическая жутковатость тут все же была — пейзаж обрушивался на глазах, как в Откровении св. Иоанна или же в «Приглашении на казнь», и город оказывался — не тот, и троллейбус (автобус, трамвай) — явно заблудившийся, и у нашего пассажира, как и у того, гумилевского, с головой происходило что-то нехорошее: «Видит он свою в окне / Лишь голову пропащую, / В желто-розовом огне / Огромную, летящую / Мимо вывесок, витрин, / Сшибая светофоры, и / Будто нет его внутри, / В гремящем этом коробе...» Становилось понятно, что лексическая бравада — принужденная, чтобы не так было страшно. А страшно оттого, что утопия любовных, и колыбельных, и птичьих песенок, которую он так заботливо вил, распалась, испарилась. Что угас образ Рая. И все это — об участии поэзии, которой нет места нигде и которая уходит в никуда, рассеивается среди аргона, азота и прочих элементов менделеевской таблицы. Об «отсутствии возду-

ха». Не о том отсутствии, что в пушкинском 1837-м и блоковском 1921-м, а о каком-то новом...

На других страницах мгlistый пейзаж заполнялся фигурами: вот «...Старик, изучающий тьму / Сквозь толстые стекла, как свиток, / Где непарелью набран ему / Тумана доход-убыток...» — не то верленовский клошар, не то кто-то из блоковского второго тома, — а вот, кстати, и Незнакомка тех мест: «И та, что, как воздух, смела / И, влоборота к желаньям, / Песни обрывок вдруг пронесла / Навстречу каким свиданьям?» А тот, чьими глазами мы их видим, — он пронесется мимо все по той же безнадежной траектории: «Засмотришься, затормозишь, / Задержишься на светофоре — / И протолкнут, и снова летишь: / Фотон в ледяном просторе».

Имелось и про пункт прибытия: «Подъезжаем. Сейчас. Кто — направо, / Кто — налево смотри!.. / Темноты круговая застава, / Прямо в рожу суют фонари. / Ничего. Лишь протяжки, коленца / Опереточных „о!“, / Чечевица халдейская, зенца / Перегонов, развилок, депо...» Мелькающая, вспышечная фактура изображения смотрелась вариацией на вокзальную тему книги «Сестра моя — жизнь», «...Где с железа ночь сигнал / Каплей копленный сигнал, / И колеблет всхлипы звезд / В Апокалипсисе мост, / Переплет, цепной обвал / Балок, ребер, рельс и шпал. / Где, шатаясь, подают / Руки, падают, поют...» Но, пожалуй, даже гремющий «апокалипсис» этот оставался у Пастернака пролетающей частью упрямо любимой жизни, а у сегодняшнего поэта состав заезжал в какой-то совсем уж последний тупик: «...На глазах — ледяные примочки / Электрических дуг».

Еще в одном стихотворении железнодорожный, пасмурный мир проецировался на небосклон, тучи плыли, как «нефтяной товарняк», «дрезиной под склон» падало солнце — гибнущий Фаэтон, а дальше возникал и другой катастрофичный мифологический «летун», срисованный с брейгелевского полотна: «...И коряга одна / Над водою видна, / Будто ляжка Икара...» Здесь, кстати, были названы точные приметы — проспект Шаумяна, речка Оккервиль — вблизи места, где впадающая в Неву река Охта образует острый мыс, что позволяло догадаться о происхождении названия книги. Но сама по себе топографическая привязка Булатовскому не так важна — она дается для того, чтобы тут же быть символически переосмысленной и сюрреалистически сдвинутой: «Деревьев чертеж и цех в разрезе, / Ведет рейсфедер тени оград, / Кусты, вззошедшие на железе, / Пучками проволоки торчат. / Мотки проводов — большие гнезда. / Не здесь ли местных гарпий насест?...»

Хотя такая вот определенная, жесткая, как рельсы, параллель натуралистического и мифологического рядов для книги характерна не слишком — фактура ее размытей, вещи развоплощенной, тема почти никогда не оформляется в событийный сюжет. Вернее, сюжет возникает, но — «второго порядка», как развернутая в картину метафора (ход, тоже хорошо нам известный по Пастернаку):

На кону атмосферных предвестий —
Облака, облака, облака.
Что ни выпадет наверняка,
Все сполна получишь и на месте.

Как широкие лезвия — тени
Облаков, только что не свистят,
Но на шухере липы стоят,
И трава не пала на колени...

В это следовало читать, тогда образная цепочка разматывалась: выпадение осадков — выпадение выигрыша (или проигрыша) — азартная игра — лезвия ножей — бандитский посвист — сопротивление жертвы... Потом, правда, криминальная топика мешалась почему-то с охотничьей и военной:

...И со следа не сбилась охота
Дегтем пахнущих солнечных псов
На последние стрелки часов,
Что бросает золотая рота

В плащ-палатках зеленых, трубою,
По дороге, кто в грязь, кто в песок... —

это о том, как под золотыми закатными лучами удлиняются тени от лип. Затем в кадр попадал, кажется, сам поэт:

...Но блестит ледерином висок,
Выдавая «липу» с головою... —

однако заодно с ритмом колеблющийся смысл начинал тут уже вовсе ускользать (почему вдруг — канцелярским «ледерином?»), понятно было только, что автор упрекает себя в какой-то недостоверности (каламбурная «липа») — чуть ли не опростовывает весь этот сюжет, только что изобретенный им же самим...

Пройдя «Полуостров» примерно до середины и уже как будто освоившись, я остановился. Я почувствовал вдруг, что вообще перестаю понимать, о чем идет речь. Как будто импрессионистическая, размытая, но позволяющая проследить связь с натурой поэтика сменилась иной, и ключа к ней у меня нет. То есть все продолжалось — записи душевных состояний, пейзажи урбанистические и природные, какие-то даже сценки... но — будто музыка сквозь толстое стекло. Вот пример (из тех, что покороче) — стихотворение «Пыль»: «Теперь уже подняться может, / Хотя в глазах еще темно, / Один к семи когда разложит / На нем бытылочное дно. / Он сплунет красное неловко / И шуруется на этажи, / Растительную маскировку / И солнечные муляжи. / И вдруг заметив (что такое?) / В углу запекшихся ресниц, / Уставится на голубое / Из фиолетовых глазниц».

Прочитав это несколько раз, я почувствовал примерно то же, что должен был испытать какой-нибудь добросовестный критик 1890-х годов, на глаза которому попались строчки про «фиолетовые руки на эмалевой стене» и про «месяц обнаженный при лазоревой луне»...

Безусловно, подумал я, за шесть лет, протекших между первыми, «ангелическими», стихами Булатовского и стихами нынешними, переменялось слишком многое (похожее происшествие случилось когда-то с читателями Кузмина, чересчур доверившимися декларации про «прекрасную ясность»: глядь — а он уже герметичный, гностический, «темный»!). Но ведь было же, было, черт возьми?! Для самопроверки снова раскрыл «Белый свет»: «Рано клинышек забиваешь, / Белые зубки дерешь, / Ты ли вовсе не летаешь, / Не поешь...» И с изумлением обнаружил, что и тут — не понять! Какая «Ласточка», какой Державин? Я-то всегда думал, что это про птичку (ну, пусть про какую-нибудь метафорическую птичку). Но откуда же тогда «зубки»? Над «зубастыми голубями» графа Хвостова все некогда долго смеялись, а здесь что? И что это за «клинышек»? Или другое оттуда же, из старой книжки, прелестно-невразумительное:

Италианские угодья
Синеты со дна плывут,
Багряницу пьют.

.....
Синетина Сарафанна
Шьет сорочки мне пространны...

Еще там было «лататы», и «тыр-тыр-зы», и «хырр-ву, хырр-ву, хырр-ву» — просто-таки самая разнузданная глоссолалия, — но это хоть мотивировалось жанром: «колыбельной Федюшке» и сказочки про какого-то «Жылво-зверя».

А в «Полуострове», в некоторых его вещах, все слова по отдельности были понятны, но совокупный свой смысл выдавать не желали ни за что.

И я стал придумывать версии. Простейшая сводилась к тому, что в некоторых случаях автор темнит намеренно — замечает следы, зашифровывает какие-то слишком уж личные обстоятельства биографии. Поводы так думать книжка давала. Там были, например, чудные строчки про то, как «...вдоль берега реки, / В огне вишневых кирпичей / Она идет, и каблуки — / Звончей, звончей, звончей, звончей...», но встреча не произошла: «...Она глядит вперед-назад, / А берега — пусты, пусты...» Было стихотворение с эпиграфом «По муромской дорожке...», прямо отсылающим к печальной истории про «миленького», который «нарушил клятву». И нечто мучительно-эротическое из Йейтса, заканчивавшееся сентенцией: «...Кто

любил слишком долго, стал как сухой ствол, / А в нем — летучие мыши, рой золотых пчел». И т. п.

Но имелись и другие непонятные стихи, в «интимную» версию никак не укладывавшиеся. Скажем, «Выстрел», про который компетентный автор вступительной заметки к книге, Б. Рогинский, с полной определенностью пишет, что это «стихи о Шекспире». Сам бы я не догадался, но когда знаешь, то, конечно, приметы набираются: «сквозняк, продувающий сцену», «бунт на плечах голытьбы», «сквозняк в переходе застенка», «черные — в ночь — скакуны», «пар, золото, синь, кружевная сорочка»... — почему бы, собственно, и не Шекспир, не «Гамлет»? Однако к чему и о чем?

Я закрыл книгу и увидел строфу одного из ее стихотворений, вынесенную на последнюю страницу обложки, — как бы программно:

Не поймешь ни черта,
Что там ясно-неясно,
Раскрошилась совсем темнота,
Может быть, может быть, не напрасно.

Такое вот резюме, итоговый автокомментарий, свидетельствующий, во-первых, о том, что проблема осознанна, во-вторых же, что для автора она, как и для нас, — открыта.

Иногда он исполняется сочувствия к читателю, дает нам передышку. Есть в «Полуострове» две вещи, написанные совсем иначе, нежели остальные, — прозрачными, медленными александринами. Первая, располагающаяся точно в середине книги, — «Элегия». Ее протяженные периоды почти невозможно здесь процитировать; скажу только, что это отчасти «*Argv poetica*» Булатовского (только отчасти! — потому что никак не касается его «герметических» опытов): речь идет о традиции поэтического освоения русскими лириками двух территорий, Финляндии и Италии, о воспевших эти края Батюшкове, Баратынском, Комаровском, Мандельштаме и далее (все-таки приведу кусочек):

...Шервинский молодой, упорный однолюб,
Не в силах оторвать вечножаждущих губ
От средиземных волн, терпким александрином
Пел руку смуглую с золотым апельсином,
И тихие мосты, и гул морских широт...
(Мой неумелый стих ему вослед идет)...

Это могло бы показаться только стилизацией, старательным упражнением в классическом стихе, если бы не тонкая игра с силлабикой, русскому александрийскому стиху не свойственной, но экспериментально испробованной в 20-е годы Шервинским в его «Стихах об Италии». И когда Булатовский говорит про свой «неумелый стих», мы улыбаемся, потому что вполне можем оценить этот его шуточный *tour de force*.

Другая вещь, тоже выдержанная в александринах, но уже правильных и заключенных в восьмистишные строфы, книгу замыкает — поэма «Цветочница», которую предваряет авторское пояснение: «Поэма Василия Комаровского (1881 — 1914) „Цветочница“ не сохранилась. До нас дошло только ее название. Если можно считать название фрагментом, то по этому фрагменту я попытался „восстановить“ первую главу поэмы». И это, конечно, шутка, но лишь отчасти — за ней высокая мера сострадания к самому несчастливому из царскосельских поэтов, попытка вернуть ему частичку недожитой жизни: «Среди особняков, среди теней бульварных, / Среди застылых луж, по осени коварных, / Под небом, сгинувшим в пожаре ледяном, / Иду и мерзну я, вдруг свет большим пятном / Ложится под ноги: огромная витрина, / За ней — цветы, цветы, и в джунглях магазина / Мелькнула чья-то тень, склонилась, поднялась, / Поправила букет, с корзинкою прошлась...» Сквозь подражание пробивается и пушкинский свет, столь жадно когда-то Комаровским впитывавшийся, а где-то рядом угадывается веяние стилиста еще одного русского европейца, реализовавшего свою судьбу вполне и с галлюцинаторной яркостью изобразившего ее истоки в «Других берегах».

Эта классика — один из полюсов поэтики Булатовского, может быть, по-настоящему ему родной, но без противоположного не существующий. Подобное положение вещей описано в совместной статье Булатовского и Рогинского, посвященной Льву Васильеву:

«Подвижная субстанция времени (ветер, река, плывущий день) не умещается в рисунок „решеток на канале“, не высвечивается „лучиком сознания“, между творческим разумом и текучей стихией мира есть вечный зазор». И дальше: «В этих стихах ничто сильно не задевает слух, все кажется понятным и как будто не требует расшифровки <...>. Но если мы попытаемся сформулировать, в чем же оно все-таки заключается, „о чем“ стихотворение, сделать это будет нелегко. А при внимательном чтении с попытками понять смысл каждой фразы мы окажемся просто перед лицом хаоса».

Читатель смущается смысловым «хаосом» текста, но автору трудней: он-то предстоит хаосу мира. Или то, что для нас хаос, есть не понятый нами порядок? А может — непостижимый? Иногда Булатовский к такому варианту и склоняется — в последних строках, например, своего странного «Выстрела», где губительная стрела летит «...Сквозь алую плоть скотобоен, / В чернеющий зала провал, / Туда, где спокоен, спокоен, спокоен / Лишь автор, хранящий финал». Или же это только о лондонском драматурге?

В поэтическом голосе Булатовского есть оттенок смирения, чрезвычайно теперь редкостный. Радостного и умиленного в первых книгах, в нынешней же — чаще печального. Но и здесь умиление не иссякло — им проникнуто переложение 130-го псалма:

Господи, ведь я не надмевался,
Сердце высоко не возносил,
Не входил в великое, старался
Избегать того, что выше сил.

И душа моя была ребенок,
Отнятый от сладостной груди,
Я лишь унимал ее спросонок.
Я лишь унимал ее. Суди.

Леонид ДУБШАН.

С.-Петербург.

*

ЧЕЛОВЕК ИЗ ТЕЛЬ-АВИВА

Яков Шабтай. Эпилог. Перевод с иврита, послесловие Н. Ваймана. Москва — Иерусалим, «Мосты культуры», 2003, 335 стр.

Роман Шабтая начинается словами: «В возрасте сорока двух лет... на Меира напал страх смерти; это случилось после того, как он представил себе, что смерть — реальная часть его жизни, уже перевалившей через вершину и идущей теперь круто вниз, и что он приближается к ней быстро и по прямому маршруту, и никуда от встречи не деться, так что расстояние между ними, которое... представлялось бесконечным, сокращается на глазах и становится легко обозримым и исчислимым в каждодневных житейских мерах, как-то: сколько пар обуви он еще сносит, сколько раз сходит в кино, со сколькими женщинами, кроме жены, переспит. Это осознание близости смерти, наполнившее его паникой и отчаянием, возникло без какой-либо видимой причины, выделившись из привычного кокона жизни, как легкая боль, вначале неощутимая, вдруг вострепенувшаяся где-то в глубине, а потом разросшаяся и набухшая, как неизлечимая язва; и вот с той минуты, как он проснулся утром и лежал с закрытыми глазами... и до того, как задремал ночью, обернувшейся чередой коротких обмороков забытья, он не переставал подводить жизненные итоги и измерять то расстояние, которое еще оставалось между ним и этой самой смертью...»

Это с каждой страницей убывающее расстояние Меир, рефлектируя, измеряет на протяжении всего романа. Он как бы попадает в воронку, которая медленно засасывает его. Весь роман он мается, мается, мается предстоящей смертью. Шабтай говорит о подведении жизненных итогов, но это скорей уж приличествующие случаю слова: Меиру нечего итожить. Автор подарил ему тонкость чувств в сочетании с совершеннейшей пустотой, смерть приближается, а в нем ничего не меняется, ничего не происходит, поэтому читать «Эпилог» порой невыносимо скучно: не спасает ни мастерство Шабтая, ни тонкость чувств Меира; его боль редко захватывает читателя, таких эпизодов мало — с пустотой трудно работать. Правда, говоря о читателе, я ведь достаточно простодушно имею в виду самого себя — читатель с большей эмпатией, глядишь, и отнесется к роману по-иному.

Меир жил, *как все*, ему не в чем раскаиваться, не о чем сожалеть. А впрочем, есть. К двум мучительным темам он постоянно и навязчиво возвращается: неизвестный мужчина, с которым переспала его жена, и женщины, с которыми переспал он и еще предположительно переспит; объекты того же ряда — обувь и кино — все-таки не занимают его воображения. Меир страдает, ибо, во-первых, каталог его сексуальных достижений унижительно мал — много, много меньше, чем хотелось бы и чем должно быть у настоящего мужчины. Во-вторых, техническая оснащенность Меира оставляет желать лучшего: существует столько замечательных поз, а он был поспешен, однообразен и нелюбопытен. И вот печальный итог: жизнь проходит, осталось всего ничего, конец приближается, а некоторые способы — он не то что их не попробовал, он о них просто не подозревал. Он хочет вон ту женщину, и ту, и эту, и с мускулистыми ногами, и с немускулистыми ногами, он вспоминает с горечью и болью о не реализованных в прошлом возможностях, о чем он думал раньше? Боль его столь велика, что время от времени, не в силах совладать с собой, он вынужден пускать в ход руки. Бедный парень!

Ницше задал вопрос: может ли осел быть трагическим? Шестов ответил: может — и привел в пример Ивана Ильича, незримо присутствующего в «Эпилоге» и пару раз даже упомянутого в разговорах. Шабтай интересовался русской литературой. В конце жизни Иван Ильич понимает, что жил неправильно, опыт болезни дает ему новый взгляд на жизнь и на смерть. Свяжи Шестов вопрос Ницше с Меиром, его ответ вряд ли был бы положительным.

Мера расстояния до смерти — в женщинах — выбрана Меиром не слишком удачно: он обогащает сексуальный опыт своего эпилога исключительно виртуально. Почувствовав, что зашел в жесткосердии чересчур далеко, Шабтай все-таки дает своему герою напоследок одну женщину вживую (как утешительный приз), и Меир переходит по мосту оргазма из ада, который он сам, без всякого давления извне, соорудил из своей жизни, в посмертный мир. Там он встречает тех, кого любил, не слишком многих: пару друзей, мать, бабушку, дядю (но не отца, не жену, не детей, от которых внутренне отчужден); обновленный Меир осуществляет наконец свои сексуальные мечты — все мечты в одном всепоглощающем акте, изживает боль, причиненную ему «тем мужчиной»: рана заживает, корка отваливается — и вот, покончив с прошлыми счетами и погуляв на воле, он рождается вновь.

Вариация одной из тем еврейской мистики.

Последние слова романа: «Кто-то, осторожно держа, приподнял его и сказал: „Какой красивый мальчик»». Красивый мальчик рождается, надо полагать, для того, чтобы прожить еще одну, столь же бессмысленную, жизнь. Все-таки везунчик. Мог бы родиться некрасивой девочкой.

В самом начале своего послесловия переводчик Наум Вайман определяет специфическое место романа Шабтая в израильской литературе: «Что меня сразу „порадовало“, в романе не было этой провинциальной — но маниакальной! — сосредоточенности на „евреях“, „еврействе“ и „еврейских судьбах“, наконец-то я прочитал роман о „нормальном“ человеке (вот еврей, а нормальный человек!), роман с общечеловеческой, экзистенциальной проблематикой. Это приятно освещало после царящей в здешней „художественной продукции“ тотальной идеологизированности, может, и понятной, но надоевшей уже настолько, что такой „незавербованный“ текст становится воистину глотком влаги в пустыне».

Риторика этого пассажа подходит скорей уж для газетной полемики, нежели для эссе, посвященной смерти. Кавычки в словах «еврей», «еврейство», «еврейские судьбы», «художественная продукция» должны очевидным образом передать читателю сарказм и отвращение Ваймана. Как все добрые люди, он относит атрибут нормальности исключительно к своей референтной группе, что было бы вполне «нормально», если бы само его послесловие не представляло собой философское эссе — жанр, предполагающий все-таки некоторый уровень рефлексии. Положа руку на сердце, я не могу понять, чем сосредоточенность на судьбе своего народа хуже, чем сосредоточенность на дурной бесконечности замкнутых на себя переживаний. Провинциальный-маниакальный! Пустыня израильской культуры! Какая, однако, энергия отталкивания!

Если отвлечься от переполняющих Ваймана эмоций, то в одном отношении он не прав чисто фактически: никакой тотальной идеологизированности в израильской литературе на иврите просто не существует — «Эпилог», исходя из критерия «нормальности» в понимании Ваймана, вовсе не является исключением. Более того, он находится в магистральном русле. «Основные интенции [литературы Израиля] ориентированы на космополитическую либеральную культуру Америки и Западной Европы <...> в глазах ведущих критиков и издателей специфически еврейское мироощущение и бытование кажется малоценным, не заслуживающим внимания» — вот констатация израильской исследовательницы Хамуталь Бар-Йосеф¹ (в отличие от Ваймана, совершенно безоценочная).

Я ограничусь здесь двумя очень разными в литературном отношении примерами, двумя книгами, вышедшими недавно в России. Роман Цруи Шалев «Я танцевала Я стояла» (М., 2000) — одной школы с Шабтаем, поток сознания. Как и Меир, героиня романа превратила свою жизнь в ад, даже градусом повыше. А вот автор совсем из другой корзины, Этгар Керет, пишет короткие абсурдистские рассказы, где социально значимая проблематика если изредка и появляется, то только заниженно-иронически. Переводчик и автор предисловия Александр Крюков, отмечая, что «многие рассказы написаны без малейшего указания на национальность автора и героев, а также место событий», добавляет: «В этом — заслуга автора»². Да что они, сговорились, что ли! Шабтай и Керет получают от любящих переводчиков медаль «За заслуги», открывающую вход в приличное (непровинциальное) общество.

Несмотря на то что ориентация «Эпилога» в полной мере соответствует характеристике Хамуталь Бар-Йосеф, это еврейский роман, и вовсе не только потому, что написан на иврите³. Конечно, человек с сознанием, подобным меировскому, мог бы жить где-нибудь и в Амстердаме, да только ведь сознание не существует само по себе: в Амстердаме и климат иной, и микроэлементы в почве другие.

Герой Шабтая — интеллигент, левый, секулярный, с постсионистским сознанием. Очень специфический психологический феномен, тель-авивский эндемик, явление чисто национальное. Идея выдохлась и стала нерелевантна. Мать Меира с грустью ощущает утрату идеалов юности и связанной с ними особой эмоциональной атмосферы. Сам Меир, во всяком случае каким мы видим его в переживании своего эпилога, никаких идеалов не утратил — создается впечатление, что их как бы и не было. Мать приехала в страну, которая действительно была для нее Страной Обетованной; для рожденного здесь Меира это словосочетание — привычное и бессодержательное словесное клише.

Мысль о смерти приходит Меиру в голову в возрасте сорока двух лет. Приход к власти Ликуда во главе с Бегинем (семьдесят седьмой год) обсуждается в романе как свежее событие. Таким образом, родился Меир, видимо, в тридцать пятом или, как Шабтай, в тридцать четвертом. Меир был мальчиком, когда Роммель рвался к Палестине, подростком — когда провозглашено государство Израиль (уже через

¹ «Израильская литература 90-х годов XX века». — В кн.: «Антология ивритской литературы». М., 1999, стр. 547. См. также введение Хамуталь Бар-Йосеф в эту книгу (стр. 31).

² Крюков Александр. «Я хочу, чтобы меня понимали...». — В кн.: Керет Этгар. Дни, как сегодня. М., 2000, стр. 28.

³ То же самое относится и к Цруи Шалев, и к Этгару Керету. См., например, мою рецензию на книгу Керета («Новый мир», 2001, № 6).

две недели танки бригадного генерала Мухаммада Нагиба стояли в двадцати верстах от Тель-Авива); Меир, надо думать, участвовал в трех войнах: в Синайской компании (1956), в Шестидневной войне (1967) и в Войне Судного дня (1973). Не мог не участвовать, по умолчанию участвовал, иначе это было бы как-то автором оговорено. Казалось бы, все это должно стать огромным личностным переживанием — ничуть не бывало! Даже мимолетной тенью не пролетело. Нацисты уничтожили шесть миллионов. В начале шестидесятых в Аргентине поймали Эйхмана, судили в Иерусалиме, на процессе опять актуализировался весь этот ужас. Никак не затронуло. Жил в параллельном мире. Из исторических событий вспоминает только бомбардировку Тель-Авива итальянцами в сороковом, и то мимоходом, и то только потому, что связано с бабушкой. Посетил сей мир в его минуты роковые — и как бы и не посещал. Прошел, не заметив, как через чужую комнату. Тотальное отчуждение. «Вот еврей, а нормальный человек!»

В сознании Меира отсутствуют какие бы то ни было историко-культурные еврейские коннотации. Это как раз естественно и понятно. Для людей его ниши история только и началась с сионизма, то, что было до, зачеркнуть, забыть, отряхнуть прах ложных ценностей, начать заново — пафос предшествующего поколения (хотя у матери все-таки сохраняется сантимент по местечку). С другой стороны, отцы основатели не любили синагогу, но учились в хедере, не любили местечко, но сами были местечковые жители. То, что они хотели зачеркнуть и забыть, сидело у них в головах и сердцах. У них — не у Меира. Страсть и пафос того поколения не имеют к нему никакого отношения. Хотели создать нового еврея, свободного от галутных комплексов, — результат получился довольно неожиданный.

Интересно другое. И позитивный сионистский пафос: герои, мифы, великие свершения — и он тоже не имеет к Меиру никакого отношения.

Меир может, конечно, повторить вслед за матерью: Бегин — шут гороховый, но это повторение машинально и лишено материнской горечи. Если для нее пришедший к власти Ликуд — это становящаяся чужой страна ее выбора, ее юности, ее любви, это земля, уходящая из-под ног, то для Меира хотя и малоприятное, но далекое и не слишком задевающее его обстоятельство на внешней оболочке жизни. Меир кардинально вне истории — даже недавней. Спасибо бабушке: благодаря ей в романе сохранилась хотя бы бомбардировка.

Однако контекст, не существующий для героя, существует для читателя. Заданным по умолчанию фоном до предела суженного сознания Меира служат тектонические исторические события, которые пережили люди его поколения, да и вся история еврейского народа. И это несоответствие текста и контекста сообщает роману еще одно измерение. Исторический контекст содержится не только в головах читателей, но и в самом романе. Правда, довольно опосредованным образом: он зафиксирован в тель-авивской топонимике, постоянно пребывающей на страницах «Эпилога», — роман буквально насыщен ею. Писатель столь скрупулезно протоколирует все передвижения своего героя по городу, что клуб любителей Шабтая может сегодня водить экскурсии по следам Меира. «Эпилог» надо бы издавать с картой Тель-Авива, подобно тому как издают «Улисса» с картой Дублина. Я не случайно вспомнил «Улисса»: роман Джойса отбрасывает на «Эпилог» свою тень.

Тель-Авив — первый еврейский город, построенный за истекшие две тысячи лет. Очень молодой город, не отпраздновавший еще вековой юбилей. Построенный на пустом месте, в чистом поле или, точнее уж, на чистом пляже, с чистого листа, не отягощенный прошлым, он был реализацией большой сионистской мечты о новой еврейской жизни. Здесь ничего не надо было перестраивать и переименовывать, здесь не было исторических мест, все создавалось с нуля, как и та новая еврейская жизнь, которую они хотели построить на вновь обретенной обетованной земле. Естественно, тель-авивская топонимика стала выражением сионистской агиографии, слегка разбавленной великими именами далекого прошлого и библейскими именами.

Вообще проекция истории и культуры на топонимическую плоскость создает причудливую картину, сплошь и рядом оксюморонные сочетания: имена из разных миров, противоположности не примиряются, не снимаются, а просто существуют вместе, как нечто само собой разумеющееся. Для Меира (а впрочем, для кого нет?) увековеченные в названиях имена — археологические окаменелости, пустые топо-

нимические оболочки, давным-давно покинутые животворящим духом. Имена не людей, а улиц, только улиц: «Он... пересек Гордон и отправился к родителям». Я назову для примера несколько обесмысленных имен, которые ассоциируются у Меира с домами, друзьями, родителями, воспоминаниями, но только не с людьми, ставшими названиями улиц.

Вот случайно попавшиеся мне на глаза на первых страницах романа герои городской топонимики. Борохов, синтезировавший марксизм с сионизмом. Гордон — толстовец, обличитель марксизма, мистик физического труда на Земле Израиля. Смоленскин, утверждавший, что евреи — народ духа и физическая работа на земле им исторически противопоказана. Праотец Иаков. Эмиль Золя (не за литературные заслуги, а как дрейфусар). Раши — средневековый комментатор Библии и Талмуда. Генерал Алленби, выбивший турок в Первую мировую с территории Страны Израиля. Пинскер, выдвинувший идею создания еврейского государства задолго до Герцля. Дизенгоф — в юности народоволец (арест, тюрьма), один из основателей и первый мэр Тель-Авива. Фришман, переведший на иврит («истинно библейским стилем») «Так говорит Заратустра». Хоз — лидер социалистического рабочего движения, создатель первых отрядов еврейской самообороны в Стране Израиля, офицер турецкой армии, дезертировавший и приговоренный к смертной казни, пионер израильской авиации, вице-мэр Тель-Авива.

Тель-авивская топонимика сама по себе порождает контекст большой и напряженной жизни. Для знающего читателя название этих имен создает в описаниях перемещений Меира сильный контраст: буря, борьба, пафос обновления, воля к культуре, готовность к действию и жертвам — и герметичная частная жизнь, замкнутая на себя, безвольная, бесцельная, вялая, скучная. Хоть и еврей, а нормальный человек. Недвижная вода, полный штиль, цепкие водоросли, поникшие паруса, мертвые корабли. Книгу «Саргассово море» подбросил Меиру Шабтай: читай, приятель, о собственной жизни.

Некоторые считают, что Тель-Авив пустой, интернациональный, безликий и бездушный город, каких пропасть в разных местах земли. Это не так. У Тель-Авива есть свое лицо, душа, красота, обаяние, поэзия. Своя ноосфера, где Шабтай и Меир пируют теперь и щелкают орешки вместе с генералом Алленби, Иаковым, Эмилем Золя и Гордоном.

«...тем временем Меир пересек Дизенгоф и повернул на Эмиля Золя. И когда медленно шел по темной улице (что-то успокаивающее и утешительное было в этих издавна знакомых местах), у него появилось вдруг ощущение, что, если он повернет сейчас на улицу Дова Хоза и пересечет Гордон, то на углу Смоленскина появится бабушка в домашних тапочках, коричневых, полотняных, и в сером домашнем платье, с большим коричневым шерстяным платком на плечах... и в тот же миг, когда промелькнула у него эта мысль, и даже раньше, чем она возникла, он почувствовал прикосновение ее лица к своему лицу...» Большой фрагмент об утраченном времени, о бабушке, где унесшая сотню человеческих жизней бомбардировка значит не больше, чем цвет ее платка. «...у него защемило сердце от счастья, как будто это действительно произошло, и все вернулось к изначальному, к лучшему, к тому, что было до ее смерти, и он не спеша повернул обратно, прошел по улице Дова Хоза, пересек Гордон и направился к родителям».

Шабтай написал в высшей степени тель-авивский роман. В холодном и дождливом Амстердаме мимолетное видение солнечного Тель-Авива предстает перед его внутренним взором как образ рая. Мать Меира считает, что евреи должны жить в Стране Израиля, Меир — что жить надо там, где лучше. Но лучше ему именно здесь!

После смерти Меир покидает город. Места, по которым он бродит, — обобщенный образ Страны Израиля: горы, дюны, море, сады. Пейзажи легко узнаваемы и прекрасны. Вот только города в его посмертных блужданиях нет. Мы не знаем, где он родился вновь. Неужели опять в Тель-Авиве?

Михаил ГОРЕЛИК.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА

+9

Святитель Димитрий Ростовский. Руно Орощенное. СПб., «Миръ», 2003, 232 стр.

Когда в числе выбранных тобою книг оказываются среди прочих Боговдохновенный труд о чудесах иконы-целительницы, написанный русским иеромонахом, святым чудотворцем, затем — запечатленное великим немецким поэтом-романтиком Откровение прославленной католической монахини; и, наконец, горячие размышления современного православного священника и писателя-просветителя о городе, который больше чем город, — Риме, не можешь (в моем случае) не испытать чувства робости. Мы знаем, что последние годы светские журналы охотно отдают свои страницы религиозной и теологической публицистике (и даже богословию) прошлого и современности. Однако в случае с нашим «простым» жанром ожидается, как я думаю, попытка «не методологического», но сугубо *личного отношения* к выбранной и, очевидно, рекомендуемой книге. А если так — выбор должен сопровождать особая ответственность. О книгах, описывающих и содержащих духовный опыт, частному, светскому человеку, имеющему малый религиозный опыт, замещенный на неостывшем неофитском импульсе, говорить особенно трудно. Но очень хочется, потому что книги заставили меня радоваться и волноваться.

В случае с «Руном...» примечательны три обстоятельства: личность самого автора (несомненно отразившаяся на письме), читательский «статус» книги и таинственная судьба ее — на протяжении более чем трехсот лет существования. Святитель Димитрий (1651 — 1709), получивший образование в Киевской духовной академии и в восемнадцать постриженный в монахи, последние семь лет своей жизни был митрополитом Ростовским и Ярославским. Он благословлял строительство Санкт-Петербурга и реформы Петра (выступая против вмешательства государства в дела Церкви), прославился заслугами в богословии и церковной словесности (назову 12 томов новой редакции Четьих-Миней и великолепно написанное поучение «Алфавит духовный») и даже сочинял пьесы для театра. А каковы его письма!

Его запомнили и прославили как человека сострадающего и доброго.

«Руно Орощенное» написано по следам многочисленных чудесных исцелений, происшедших при образе Пресвятой Богородицы в черниговском Свято-Ильинском монастыре в XVII веке. Тут же напомним себе, что впоследствии «Руно...» породило и новые иконы: «Нечаянную радость» и «Целительницу».

В течение восьми дней на иконе выступали слезы, днем и ночью народ шел и молился, исцеления совершались на глазах верующих. Свидетелем некоторых из них был и тогдашний иеромонах Димитрий. Он описал 24 чуда — по количеству часов дня и ночи, приложив к каждому по два поэтических и вдохновенных *слова* в жанре бесед и поучений, — и сопроводил каждое «Прилогом», приложением из Житий святых.

Это была самая первая книга будущего богослова и святителя, который не осмелился подписать ее, лишь «растворил» свое имя — ИЕРОМОНАХ ДИМИТРИЙ САВИЧ — в четверостишии одного из предисловий. Книга была в России очень любима и почитаема, многократно переписывалась и переиздавалась. И ныне вышла впервые в адаптированном для современного читателя виде — с примечаниями и пояснениями.

Невероятно трогательно «Счисление краткое исцелившихся от различных болезней...», приложенное автором к основному тексту: их имена, занятия и недуги. Почему-то всех их ясно представляешь: и «Анну Пенскую с Брагинщины», «от хромоты исцеленную», и «Ивана Павловича, москаля, барабанщика сотни Гавриловой из Башова» — «от бесовского мучения избавленного»... Подумать только, здесь, на земле, они все прожили не по одной, а по две жизни: до встречи с иконой и после нее.

Вот «Чудо Третье В Лето 1667-е»: исцеление полупарализованной и немой Веры с берегов Припяти. Вспомнив в «Беседе» историю об «окружаемой печалю-

ми» Ноемини и снохе ее Руфи и переходя к «Нравоучению», вдохновенный послушник пишет: «Не меньшие и нас обдержат печали, отвне и внутри. На внешнего человека находят болезни: то расслаба тела, то немота языка, то рук усыхание — как на жену ту. Внутренний же человек расслабляется грехами: нем и безъязычен, когда не хочет исповедовать беззакония свои; и, как отсохшую руку, имеет волю, не хотящую благое намерения приводить в исполнение. Но во всех этих бедах есть у нас великая отрада — Пресвятая Богородица, если к Ней имеем веру несумненную, надежду дерзновенную и союз любви...»

Крестные муки Господа Бога Иисуса Христа. Размышления Святой монахини августинского монастыря Анны Катарини Эммерик в записи Клеменса Brentano. Перевод с немецкого Фреда Солянова. СПб., «ИНАПРЕСС», 2003, 272 стр.

На русском языке эти записи, хорошо известные всей остальной Европе, публикуются впервые. Их бы, наверное, не было, если бы не было крупнейшего немецкого поэта-романтика Brentano, современника Французской революции, Байрона и Пушкина. В общении со смертельно больной монахиней — на теле которой в последние годы ее жизни открылись стигматы — поэт провел с перерывами пять лет. Ко времени их знакомства он с решимостью возвратился в лоно католической церкви и до самой смерти своей героини (в 1824 году) жил неподалеку от Анны Катарини в небольшом городке Дюльмене, где всё записывал видения этой удивительной женщины.

К этой книге, о которой до сих пор идут споры, можно относиться по-разному. Но мне кажется, если подойти к чтению по крайней мере заинтересованно, невозможно не взволноваться. Многостраничное, подробное описание истязаний, которым солдаты подвергли Сына Человеческого, передает читателю настоящую физическую боль. Я говорю об этом потому, что при подготовке издания к печати мне выпало по просьбе редактора книги перенести в рабочие файлы текста корректорскую правку. Вспоминается, как несколько раз (а занимался я этим за городом, в Подмосковье, поздней ночью) я выбегал на крыльцо — такой невыносимой, давящей болью веяло от этих страшных, проникновенных сцен.

Необходимо сказать о замечательном переводчике. Писатель и бард Альфред Михайлович Солянов заканчивал свой труд смертельно больным. Он даже пропустил некоторые «второстепенные эпизоды», чтобы дотянуть до сцен Христова Воскресения. Успел. И — умер, так значительно завершив свой собственный земной крестный путь.

Я долго не понимал, как относиться к этой книге *мистически*. В этом мне помог священник Алексей Гостев, который в своем послесловии показал самое сложное: несмотря на то что перед нами — результат художественного соавторства визионерки-монахини и романтического поэта, это, без сомнения, подлинный религиозный опыт, а не самовнушение.

И еще: невозможно отделаться от мысли о неслучайности встречи Анны Катарини Эммерик именно с поэтом. К моменту их первой беседы лирический дар Brentano обрел вокруг себя внятный, спасительный для художника духовный покров. Он, без сомнения, понимал, *что* записывает, душа его трепетала. «Но тут я увидела, как сияющий Господь летел через скалы. Земля сотрясалась, и ангел в образе воина, как молния, ринулся с небес на гробницу, отодвинул камень вправо и уселся на него. Сотрясение было так велико, что переносные печки опрокинулись и пламя охватило все вокруг. Увидев это, стражники упали, словно потеряли сознание, и застыли неподвижно, как мертвые. Кассий, ослепленный сиянием, быстро пришел в себя, вошел в гробницу и, приоткрыв немного дверь, ощупал пустые пелены».

Георгий Чистяков. Римские заметки/All'ombra di Roma. М., «Рудомино», 2003, 158 стр.

Не знаю, чье уж решение — издательства или самого автора — обозначить написавшего эту книгу не священником, а просто — писателем. Впрочем, это не

важно. В голосе знаменитого московского батюшки (а *этой* голос я слышу сквозь все «культурологические» пассажи) звучит, скрепляя десятки имен, географические и архитектурные названия, итальянскую и латинскую речь, краски и шумы площадей, — несмолкающее любовное признание великому городу. В который раз, читая книги о Георгия Чистякова, думаю о своей дерзкой догадке: он может писать, только когда собственный житейский и религиозный опыт соединяется с Промыслительным сигналом. Собственно *римских* работ, главным образом касающихся литературы, у автора вышло уже немало. Были, как мне помнится, и тексты о Риме. Не было, пожалуй, вот такой «Римской симфонии», где базилика Санта Мария Маджоре соединилась бы с «Римскими элегиями» Гёте, где Тассо вступил бы в разговор с Петраркой, а Микеланджело — с Овидием. Все *римское* тут замкнулось в некий поэтический круг и снова распахнулось в мир.

Почти за каждым шагом — по римским камням, за каждым взглядом на витраж, византийскую икону или древнюю книгу, за каждым подарком благодарной памяти, подсказывающей строки поэтов, у о. Георгия стоит Россия. В церкви св. Бонифация и Алексия (человека Божия, как его у нас называют) о. Георгий думает о том, что, когда святой Алексий вернулся из странствий по миру и жил здесь неподалеку, под лестницей, четвертый век только-только переходил в пятый. «За тысячу лет после того, как был основан Рим, и за семьсот пятьдесят лет до основания Москвы. За тысячу лет до Андрея Рублева. Все-таки как же недавно началась наша, российская, история!..» И — подойдя к иконе Божьей Матери: «Я смотрел на эту икону, казалось мне, что совсем не в Риме, а действительно где-то в деревне моего детства, в каком-нибудь подмосковном храме, затерянном в пойме Москвы-реки, молюсь я сейчас...»

Это не записки *оттуда*. Это скорее письмо — *туда*, благодарность так много впитавшему и так много породившему вечному городу за его чудесную помощь в нескончаемом строительстве души современного человека. К жанру историко-литературного очерка эти записки я отнести не смог: иные страницы, кажется, пахнут капучино и лавром.

В какой-то давнишней детской книге говорилось о том, что в сердце некоторых людей таинственным образом вмещается весь мир. И тогда человек начинает видеть *еще что-то* — сквозь многократно описанные камни и времена — силой благодарного знания и неуспокоенного горячего чувства. Такой человек может и не быть священником, но мне повстречался именно священник.

Елена Игнатова. Записки о Петербурге. Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов XX века. СПб., «Амфора», 2003, 808 стр.

Почти все вышесказанное по части благодарности и любви относится и к этому огромному тому. Мне хотелось сравнить записки Игнатовой с книгой Соломона Волкова, о которой уже писали в «Новом мире», но приобрести ее я не успел: Волков распродан. А Игнатова на прилавках еще есть. Автор, известная ленинградская поэтесса, уже давно живет в Израиле, в родной город наведывается раз в год. А любит его и думает о его прошлом, по-моему, 24 часа в сутки. Том состоит из двух книг: первая, запечатлевшая дореволюционную эпоху, писалась в середине 90-х; вторая, доводящая повествование до финской войны, была закончена год назад. Под текстом: «Иерусалим — С.-Петербург».

Мемуары, дневники, газеты и письма, уличные разговоры и собственные впечатления плюс строгий хронологический каркас позволили Игнатовой создать очень объективную и вместе с тем глубоко личную книгу. Имена таких краеведов, как Валентин Курбатов и Николай Анциферов, в аннотации не случайны. Не случайно и то, что большая часть текста посвящена XX веку. Жесткая и горькая получилась вещь: в питерском воздухе всегда как-то особенно сильно пахло бедой, неблагополучием, гибелью. Игнатовский опыт документально-художественного исследования напомнил мне чем-то, как ни странно, солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ». Не только композицией, но и обнаженностью, нервностью ритма. И еще — пластичным вплетением мелких, но важных контрапунктных деталей в

общее полотно. Как и в книге отца Георгия, автор находится рядом со своим читателем: отношением, переживанием, непосредственной, иной раз — пылкой реакцией на прошедшее, но отнюдь не превратившееся в музейную экспозицию время.

Кстати, среди свидетелей и свидетельств много обращений к Чуковскому. Такого обильного и уместного цитирования дневника К. Ч. я еще не встречал. Читая вторую книгу (20-е годы), все время вспоминал блоковскую записочку Чуковскому, вклеенную им в свой рукописный альманах. Критик попросил поэта сообщить, есть ли особая эмоциональная окраска у тех или иных звуков. И получил ответ: «Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве». Игнатовой удалось *озвучить* это пространство, в ее полифонии ведущими эмоциями оказались горечь и боль.

Под Воронихинскими сводами. Стихи и воспоминания. СПб., издательство журнала «Нева», 2003, 576 стр.

Сборник составил поэт, прозаик и переводчик Владимир Британишский. Здесь представлены 27 авторов — участников знаменитого ЛИТО ленинградского Горного института, руководимого поэтом Глебом Семеновым. Некоторые воспоминания написаны давно, другие — для этой книги. Получился портрет времени, портрет всех вместе и (авто)портрет каждого. Всё благодарно и пристрастно держит друг друга. Нетрудно догадаться: без Глеба Сергеевича Семенова этой истории не было бы.

То есть и Битов, и Горбовский, и Городницкий, и Агеев, и Куклин никуда бы не делись. Как говорится, можно жить без школ, учителей и без прививок. Тем не менее, судя по истории ЛИТО, его участники считают, что им повезло.

Хорошо, что рядом с теми, кто «на слуху», — остальные, «негромкие». Все вместе своими стихотворными посвящениями друг другу, своим долговременным или коротким участием в общем деле, «ГЛЕБГвардия СЕМЕНОВского полка», противостояли мертвому «совписовскому» коллективизму. Теперь они, разбросанные по странам и городам, без конца вспоминают главное, чему незаметно и прочно научило их то расширяющееся, то сужающееся содружество опытных и начинающих литераторов: уверенности в своей правоте, умению постоять за нее, необходимости последовательного движения к «воплощению». Трудное, но счастливое бремя ответственности оставалось, естественно, у учителя.

«...Глеб не жалел для нас времени. Он стал первым человеком, которому оказалась интересна моя душа, моя судьба, который отнесся ко мне искренне, человечно, без тайной корысти или подвоха, первым человеком, который нечто понял во мне и захотел, чтобы это нечто воплотилось в жизнь, чтобы я состоялась...» (Лина Глебова).

Здесь рассказывают и об ушедших. Запоминается маленькое эссе Александра Кушнера о талантливом поэте, участнике литобъединения Якове Виньковецком. Воспоминанию предшествует (в поэтическом разделе) почти полувековой давности стихотворная благодарность Кушнера *своим знакомым*, которым можно было позвонить в минуты тоски, чтобы на вопрос «как дела?» тебе ответили — «ничего». «И за обычными словами / Была такая доброта, / Как будто Бог стоял за вами / И вам подсказывал тогда».

Елена Макарова, Сергей Макаров, Екатерина Неклюдова, Виктор Куперман. Крепость над бездной. Терезинские дневники, 1941—1945. М., «Мосты культуры», 2003, 408 стр.

Писательница Елена Макарова — учитель, ученик и воскреситель. Ее ученики живут везде. Занимаясь с детьми творчеством, главным образом — общением, рисованием и лепкой, Макарова отыскивает и выращает в них семена свободы; подобно утренним обливаниям, ее уроки закаляют в ребенке то, что принято называть «душевым здоровьем», помогают — самое трудное! — понять и разглядеть себя в мире. А взрослым Макарова помогает осознать себя как необходимую стра-

ховку ребенку, часто оказывающемуся один на один как со своим вдохновением, так и со своими страхами. Недавняя книга Елены Макаровой «Преодолеть страх, или Искусствотерапия» (М., 1996) — вся об этом.

Ученик и воскреситель в Макаровой — нераздельны. Это потому, что долгие годы училась она (и продолжает учиться) у человека, который, как и Януш Корчак, пытался воспитывать свободного человека в нечеловеческих обстоятельствах. Речь идет о педагоге Фридл Диккер-Брандейсовой (1898 — 1944). Фридл обучала детей искусству в гетто Терезин, где любая образовательная деятельность (кроме направляемых начальством «культурных акций» — для показов инспекторам Красного Креста) была запрещена. Каким-то чудом было разрешено лишь рисование, и Фридл стала учителем рисования. Сохранилось четыре тысячи рисунков, выполненных детьми в Терезине. В каталоге «Рисунки детей концлагеря Терезин» сказано, что Фридл «создала педагогическую систему душевной реабилитации детей посредством рисования».

Транзитный лагерь-гетто Терезин известен не только тем, что люди из последних сил жили там напряженной подпольной творческой жизнью: сотни спектаклей, музыка, стихи и проза, рукописные журналы. Он известен своей *неизвестностью*. По крайней мере — в России, потому что на Западе о Терезине пишут. И пишут по-разному.

«Терезинские дневники» открывают четырехтомник, который Макарова с коллегами делают для того, чтобы рассказать о Терезине все. Все, что удастся дособрать к портрету трагедии, состоящей из нацистского кошмара и фобий, высоты духа и мещанской обыденности, веры и ее утраты. Большая часть этих дневников, сплавленных то в хор, то в переключку, не публиковалась. Множество лучей-судеб собралось здесь в памятные пучки, и получился образ гетто, который нам не совсем знаком. Об этой книге надо писать большую статью, любая цитата уводит и от сообщества людей, и от одной-единственной судьбы.

Издание явилось еще и произведением книжного искусства: и верстка, и необычный формат — все работает на запоминание. Нет почти ни одного разворота без факсимиле рукописи, рисунка, фотографий. В том числе поразительных кадров из пропагандистских нацистских фильмов.

Хочу жить... Из дневника школьницы (Нины Луговской). 1932 — 1937. По материалам следственного дела семьи Луговских. М., «Формика-С», 2003, 288 стр.

Московская школьница Нина была арестована и осуждена вместе с матерью и старшими сестрами Ольгой и Евгенией по групповому делу «участников контрреволюционной эсеровской организации». К моменту ареста Нина вела дневник уже пять лет, с 1932 года. Смысл жизни, первая любовь, взросление, пристальное любовно-внимательное всматривание в природу — и попытка осознать трагедию страны. То, что Россия под Сталиным погибает, она поняла, кажется, раньше всех, окружавших ее. С подобным опытом, подобными эмоциями и подобным зрением наш читатель, кажется, еще не сталкивался. Не говоря о том, что это весьма талантливо записано. Если бы не пространные, целыми страницами, размышления о себе, своем внутреннем, интимном, можно было бы подумать, что это мистификация: ну как могла школьница — сразу и до конца — видеть и понимать все — из окон советской квартиры и советской школы?

«Даже школы — эти детские мирки, куда, кажется, меньше должно было бы проникать тяжелое влияние „рабочей“ власти, не остались в стороне. Отчасти большевики правы. Они жестоки и грубы в своей жестокости, но со своей точки зрения правы. Если бы с детских лет они не запугивали детей — не видеть им своей власти как ушей. Но они воспитывают нас безропотными рабами, безжалостно уничтожая всякий дух протеста».

К основному корпусу книги приложены письма родных, в том числе дочерей — отцу. Его посадили первым.

Издано в рамках программы общества «Мемориал» — «Судьбы политзаключенных в годы большевистского террора».

Вячеслав Домбровский. «Ее глаза, воспетые не раз...» (о Г. Д. Левитиной-Домбровской). «Hermitage Publishers» (USA), 2002, 151 стр.

Инна Шихеева-Гайстер. Дети врагов народа. Семейная хроника времен культа личности. «Hermitage Publishers» (USA), 2003, 194 стр.

Объединяю эти книжки не только из-за общей темы, но и потому, что вышли они в руководимом писателем Игорем Ефимовым американском издательстве «Эр-митаж», а значит, труднодоступны.

«Много лет я избегал рассказывать даже близким свои впечатления от тюрьмы и ссылки, часто встречаясь с недоверием слушателей. Публикации Шаламова и Солженицына постепенно разбивали лед этого недоверия, но привычка молчать осталась. Мы щадили и щадим близких и далеких, так как они должны чувствовать себя невольными соучастниками преступлений или, во всяком случае, заговора молчания. И сейчас» (Вячеслав Домбровский).

Сын написал книгу о матери. Оба — сидельцы. Тут же и письма друг другу.

Дочь (Инна Ароновна Шихеева-Гайстер) наговорила свою жизнь и жизнь своего отца (у них сидела вся семья) на аудиопленку. Только для своих родных, для узкого круга. Теперь это доступно всем.

Что сказать? Это замечательные, страшные и светлые книги. Сегодня, когда известный Дом фотографии готовит выставку о Лаврентии Берии, ее куратор с воодушевлением рассказывает о том, что надо, дескать, побороть свои страхи и наконец рассмотреть *этого* человека: он-де был умный политик, умеющий элегантно носить шегольские костюмы и хорошо держаться, — мне больше всего хочется, чтобы такие вот речи не достигли ушей родственников тех, кто оставил свидетельства, запечатленные в этих двух книжках. Боюсь, что им, сугубым *документалистам*, может не хватить тонкости для осознания наших современных эстетских дискурсов.

+1

Лев Вершинин. Не прячь лицо в ладони. М., «Радуга», 2002, 360 стр.

Автор — переводчик и литературный критик. Ныне живет в США. Встречался с Альберто Моравиа, Эдуардо Де Филиппо, с другими европейскими писателями и издателями. Жизнь была напряженная: делегации, споры, лавирование, трудности в попытке сохранить себя. Судя по тексту — удавалось. И слава Богу.

Но про делегации и итальянские встречи много, видимо, не напишешь, и раз уж автор был знаком с писателями — от Слуцкого и Коржавина до Тендрякова и Копелева, — то читаем истории и про них, в большинстве своем прошедшие через запутанный кабель не вполне исправного телефона. Да и память, она же обычно задним числом включается. Когда приходит пора книжки писать.

И получают прямо-таки неловкие байки: по сути-то верно, а *в передаче* — вранье. Интонационное. Ну нельзя прямую речь таких людей, как Л. К. Чуковская, передавать приблизительно. Ну не могла она на плохом русском языке *кричать* на Барто (да еще на писательском собрании): «Сколько вы при жизни отца моего ни чернили его (цитирую по тексту. — Л. К.), Ленинскую премию он все-таки получил. А теперь за меня взяли. Совсем стыд и совесть потеряли, мадам Барто!» *Похожее* говорила Л. Ч. на своем исключении. Похожее, да не такое: не ее это голос. Это голос тетки с базара.

И что-то не слышал ни я, ни кто другой о поездке Слуцкого в Переделкино к Пастернаку, где автор «Лошадей в океане» «натурально пал пред ним (Пастернаком. — Л. К.) на колени, умоляя простить, если только это возможно». Недостоверный апокриф.

У Мандельштама была такая присказка в разговоре: «того-этого».

Вот-вот, того-этого. А написано все по-доброму, с уважением к своим знаменитостям, с любовью, с живостью. Кто-то ведь и почитает, за семьдесят два рубля.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА

СОВЕТИЗАЦИЯ «РЕВИЗОРА»

Театр как искусство, воспроизводящее литературные тексты, не может не быть искусством интерпретации. Меняющиеся с эпохами трактовки классических произведений — залог продвижения театра в истории. Твердый канон в театре невозможен уже потому, что крайне затруднено соблюдение преемственности: способов адекватной фиксации преходящего и уходящего эфемерного театрального момента не изобрели.

Постмодернизм породил культ концепций. И благо превратилось в зло. Концептуализм задушил природу мастерства. Более всех пострадали устойчивые театральные жанры: современная постановка классической оперы или балета почти невозможна без надстройки чуждого смысла, без проблематичной игры с образами, без анахронизмов, перверсий, трансформаций. В области современной хореографии критики постоянно бьют тревогу, борясь против «балета концепций», где придуманный идейный мир затмевает собственно балетное движение, за «балет как таковой», где концепция — лишь средство для демонстрации прекрасной исполнительской подготовки танцовщиков.

В драматическом театре диктат концепций переживается менее бурно, и все меньше находится «музейщиков», согласных на свой риск и страх указывать, где авторское слово противоречит сценическому истолкованию, а где нет. Причина, возможно, кроется в сбалансированных отношениях между режиссерским произволом и волей актеров, хотя, конечно, в каждом конкретном случае эта проблема решается заново. Вопрос, который поставлен в этих заметках, — не допустимые пределы театральной импровизации на темы фиксированного текста, он в другом. Интерпретации текста — это отношение к нему, и если западный театр пытается трактовать нашу классику, то тем самым выражает отношение и к нам. Западный театр, привозящий русскую классику в Россию, всегда имеет основания бояться обвинений в русофобии (и так не раз случалось с гастрольями Эймунтаса Някрюшюса). Но есть чувства более важные, чем записной патриотизм: ответственность за образ страны перед лицом мира. Способен ли русский зритель легко принять немой укор со стороны?

Московская театральная жизнь подкинула зрителю в 2003 году две любопытные спекуляции на материале гоголевского «Ревизора». Летом на IV Чеховский фестиваль приезжал «Ревизор» Маттиаса Лангхоффа из Генуи, осенью, на V фестиваль «N.E.T. — Новый европейский театр», приезжал «Ревизор» Алвиса Херманиса из Риги. Стоило бы упрекнуть двух крупных европейских режиссеров во взаимном плагиате, если бы были малейшие свидетельства этому. *Советизация «Ревизора»* проведена ими с поразительным сходством. У одного, правда, это сталинская Россия, у другого — брежневская. Но место действия то же — жутчайшая советская столовая общепита, тот же иерархический страх перед партийным начальством, та же эксцентриада клоунских номенклатурных работников. Разница лишь в том, что Лангхофф советской реальности воочию не видел, а Херманис — знал прекрасно, иначе не превратил бы свой спектакль в воспоминание о юности, в музейный экспонат с надеждой на невозможность реставрации той жизни.

И в том и в другом случае тотальная ирония западных людей по поводу глухого «совка» не вызвала у зрителя приступов оскорбленного патриотизма и обвинений в «антирусских тенденциях». Но проблема здесь, кажется, не в толерантности нашего зрителя и даже не в безразличии, а в чувстве стыда. По крайней мере в зрительном зале я испытал острое чувство досады на то, что в свое время, во времена перестройки или много позже, наш театр не захотел хоть немножко отсмеяться над символами прошедшей эпохи, не смог в последний раз устроить из советской действительности карнавал, чтобы вспомнить и тут же забыть старорежимный уклад и быт. Мы все еще не научились смеяться, расставаться с прошлым — хотя, впрочем, не научились даже не смеяться. За нас и *для нас* это сделали почему-то другие. Парадокс, которому сегодня нельзя найти объяснений.

Генуэзский «Ревизор», поставленный поклонником Мейерхольда, именитым немцем Маттиасом Лангхоффом, идет в монументальной декорации колоссальных размеров — парафразе татлинской башни III Интернационала. Остов коммунизма, пародия на высокую мечту, выродившуюся, выцветшую в реальность совдепии. Недостроенная башня коммунизма имеет массу дверей, входов и выходов, коридоров и потайных уголков. Она напоминает пористый муравейник, раздолбанное общежитие, головку подсохшего сыра, в которой копошатся мыши-чиновники. Путь наверх башни, к высокому начальству, долог и извилист, путь обратно — из Петербурга в уездный город N — быстр, как дорожка для слалома. По ней обычно и съезжают на зад, с грохотом вываливаясь на авансцену. Позади башни, на заднике, то и дело появляются фрагменты фрески «Страшный суд» из Сикстинской капеллы — «немая сцена» кисти Микеланджело. Но до религиозных гоголевских мотивов здесь не доходят: в системе Лангхоффа настоящим ревизором может быть только Сталин, о котором в самом финале Городничий (Эрос Паньи), сам похожий на Вождя народов, поет раскидистую балладу. И тут, в развязке, становится понятно, что бояться Городничему нечего, раз у партократа «на государственном посту» — такой покровитель.

Чиновники собираются на «заседание парткома» в занюханной столовой, едят жирные макароны с подливой, требуют в покосившемся окошке добавки, заглядываются на мясистых кухарок в тапках, тыкающих тряпками в их тарелки. Чиновники — заморыши и «бухарики», только молчаливый доктор Гибнер выглядит как задрипанный гомосексуалист, с букетиком в руках и без надежд на чью-либо взаимность. Лангхофф превращает «Ревизора» в серию феерических аттракционов, в драматическую клоунату, берущую свой исток в итальянской комедии масок и буффонном мейерхольдовском социальном театре. И чем глубже в лес, тем гэгги все вульгарнее и круче.

Высеченная унтер-офицерская вдова приподымает юбки и сует свой покалеченный зад под нос Хлестакову. Гибнер оперирует разбитый нос Добчинского прямо в помещении столовой: вырывая куски из пораненного места и предьявляя их присутствующим широким жестом хирурга-профессионала. Марья Андреевна выныривает к Хлестакову в наряде хохлушки в красных сапожках и демонстрирует акробатическую «произвольную программу» с лентой. Окончив «сцену вранья», Хлестаков выблевывает весь свой даровой ужин на грудь Городничего, отчего тот сияет от счастья. Осип спит в номере с кухаркой-прислугой, которая встает с постели и тут же принимается за уборку. И все, конечно, поют: «Вечерний звон» и «На том же месте в тот же час», «Раз-два, люблю тебя» и «Славное море, священный Байкал». На ломаном русском, но очень душевно, словно бы твердо знают, что в России «песня строить и жить помогает»!

Спектакль Маттиаса Лангхоффа безжалостен и бесчеловечен — он легко рифмуется с идеями Всеволода Мейерхольда, чей «Ревизор» 1926 года, по режиссерскому замыслу, заколачивал в крепкий гроб толстозадую царскую Россию. Никого не жалко, ничто не вызывает сочувствия. Брутальный карнавал, где площадные паяцы сжигают чучело прошлого, изображая гиперболические пороки. Так, чтобы всем был виден широкий жест отказа от тяжелого наследия советизма. Сатира итальянского «Ревизора» — злая, ядовитая и душная, смех без улыбки, без тени сожаления. Присоединимся мы к нему или нет? Достаточно ли прошло времени для того, чтобы с легкостью необыкновенной отказаться от прошлого, выглядящего даже на сторонний взгляд так позорно?

Совершенно иначе дело обстоит в латышском спектакле Нового рижского театра. Хотя сатиры и злобы на советский строй здесь не меньше, а может, и больше. Тридцативосьмилетний Алвис Херманис вспоминает свое детство в еще зависимой Латвии и считает ту, брежневскую, реальность (а именно она пародируется в его «Ревизоре») «археологическими раскопками», напоминающими о времени Великой Утопии.

Происшествие случается в заводской столовой с обшарпанными стенами, воню пережаренного лука, грязными шатающимися столами, подносами, раздаточ-

ной стойкой. Чиновники — либо на ладан дышащие, опустившиеся ханурики с залезанными волосами, либо раздавшиеся вширь люди-буханки. Количество накладных ягодиц, грудей, животов приобретает здесь поистине раблезианские величины. Работницы столовой в немислимых белых шапочках, бигудях и застиранных халатах — напоминающие, как и у Лангхоффа, скульптуры Ботеро, — похоже, ближайšie родственницы чиновников, их жены, дочери и любовницы. Вся жизнь персонажей проходит здесь — в обеденном зале и непосредственно за его стенами; получается, что и Городничий здесь — не градоначальник, а просто директор столовки или пишестреста. Здесь едят сами и прикармливают домашнюю живность — настоящих петухов и курочек, здесь проводят собрания, справляют праздники. Это всеобщая кормушка для усталых, потертых жизнью людей, верящих в одну аксиому: «Блажен муж, иже сидит к каше ближе». Потерять кормушку — значит стать аутсайдером.

Никого не смущает, что Добчинский и Бобчинский — сиаемские близнецы, с этой мыслью уже как-то свыклись. Напротив, Хлестаков и Осип вызывают самое законное любопытство. Хлестаков — мелкая шпана, шуплый студентик, промышляющий, кажется, беспардонным воровством. Его коллега Осип — типаж более колоритный, выглядит как таксист-бомбила на южном взморье: верзила, заросший смоляным волосом с ног до головы, соблазняющий женщин одним взглядом из-под дымчатых очков, в лисьей шапке, которую никогда не снимает, и с гитарой, на которой никогда не играет.

Двое проходимцев овладевают толпой кормленых, бесполох и безвольных человекообразных существ — точно так же, как юркий, аморальный Панург ведет за собой на коротком поводке добряка Пантагрюэля. Хлестаков берет провинциалов тем, что готов быть заводилой в любой компании, особенно среди тех, кто испытывает потребность подчиняться. В этом смысле характерна «сцена взяток», которую Херманис переносит в туалет столовой со всеми приметами безобразной антисанитарии. Гоголевские чиновники с готовностью идут на унижение и преодоление собственной брезгливости, чтобы угодить столичному начальству.

В качестве музыки к сей «ревизии столовой» использована таривердиевская мелодия к «Семнадцати мгновениям весны», которую киноведы называют «темой родины»: «Боль моя, ты покинь меня...» И смешно, и грустно: вот культовое героическое кино для безгеройного времени, предел мечтаний о жизни-подвиге для людей, уже ни о чем не мечтающих. Вместе с музыкой Таривердиева в спектакль входит шемащая ностальгическая нота, поселяясь в зрителе вплоть до самого финала.

Все меняет третий акт — после отъезда Хлестакова мы видим советских пантагрюэлей на семейном празднике: наивные гирлянды, приятные подарки, замысловатая сервировка стола, трогательные ритуалы, исполненный на бутылках гимн в честь Городничего. Милые, забавные, слабые люди, которые умеют устраивать праздники и потчевать друг дружку в застолье. Но тут подваливает и настоящий ревизор — муляж колоссального петуха, увеличенная копия живых птиц, прикормленных при столовой. Пришел новый прихлебатель, новый туеядец из столицы, готовый обирать наивных провинциалов, нетерпеливо стучающий клювом о дверное стекло, ища, чем бы поживиться. Пока цела столовая, где кормятся и звери, и люди, найдутся сотни ревизоров и лжеревизоров — на чужой каравай.

Поверх гоголевского текста Херманис пишет портрет «доисторической» страны, которую, в сущности, по-человечески жалеет как страну невоплотившейся Утопии, где не получилось жить по вроде бы гуманно придуманным законам. Он тоскует по нелепой и заповедной человечности Советского Союза, по эпохе сытости, где могли с полным простодушием накормить проходимца и где не оскудевала рука дающего. Хоть и обед был не так уж хорош, но зато хватало всем. «Кто работает, тот ест» и «кто не работает, тот тоже ест» — разительный контраст с законами капитализма, пришедшими равным образом в Прибалтику и в новую Россию.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПУСТЫНЮ МЕНТАЛЬНОГО!

Трилогия «Матрица» — одна из самых блистательных провокаций в истории мирового кино.

Первый фильм, вышедший в 1999 году, был воспринят как откровение. Мало кому известные независимые режиссеры — братья Вачовски — сняли не просто очередной фантастический боевик, они создали миф, идеально описывающий сознание и подсознание современного зрителя от 15 до 35 лет, продвинутого пользователя РС, любителя компьютерных игрушек и литературы в стиле киберпанк, начинающего яппи по жизни и анархиста-антиглобалиста в душе. Братья-режиссеры создали великую грезу, которой упивались миллионы фанатов на всей планете, а спустя четыре года вдруг взяли и разрушили ее, потратив на разрушение мифа в четыре раза больше денег, чем на его создание.

Первая «Матрица» была совершенной, гладкой и проглатывалась так же легко, как пилюля красного цвета, отпускающая избранных на свободу. Оказывается, все, что нас окружает, третирует, контролирует, — просто иллюзия, хитрая компьютерная программа, «мирок, надвинутый на глаза», чтобы держать людей в подчинении. Его создали победившие роботы, которые превратили homo sapiens в батарейки, в источник бесплатной энергии. Люди дремлют всю жизнь в розовых колбах, опутанные хитрыми проводами, и видят красочные сны про Матрицу. Но есть шанс пробудиться. Выпей красную таблетку — и: «Добро пожаловать в пустыню реального!» Этот мир не слишком уютен, но ты сможешь проникать в Матрицу и выходить из нее когда угодно. Ты вольешься в ряды благородных повстанцев, борющихся против злостной системы. Больше того, внутри Матрицы ты обретешь сверхчеловеческие возможности: сможешь драться, как герои гонконгских боевиков, зависая над землей в немыслимых позах, сможешь бегать по стенам и потолку, прыгать с небоскребов, ловко стрелять из всех видов оружия и управлять всеми видами транспортных средств. Никаких уроков, экзаменов, разосов начальства, никаких забот о хлебе насущном... История мелкого клерка Тома Андерсена — он же хакер по кличке Нео (Киану Ривз), который ночи напролет торчал у компьютера, ожидая неведомого сигнала, был найден великим Морфеусом (Лоренс Фишберн), пережил второе рождение, встретился с Пифией, осознал свою избранность и стал неуязвимым для свинца и стали, — воплощение извечной мечты подростков о всемогуществе. В финале этот хилый молодой человек, гордо выпятив грудь с четырьмя пулевыми отверстиями, одной левой, не глядя отбивает атаки ненавистного агента Смита, а затем, пообещав из телефонной будки спасение всему человечеству, штопором ввинчивается в небеса. Полный улет!

Что мы видим во второй части «Матрицы» с подзаголовком «Перезагрузка»? Победоносную войну людей против машин? Да ничего подобного! Нео, хотя и научился летать со скоростью звука, останавливать пули и сражаться сразу с сотней клонированных агентов, все равно томится, страдает и видит дурные сны. Рядом с ним любящая подруга Тринити (Керри-Энн Мосс), они периодически целуются и даже занимаются сексом, но этот супружеский секс двух существ с черными дырками вдоль позвоночника (следы контактов, через которые оба были подключены к Матрице) не способен особенно взволновать зрителя.

Машины тем временем бурят землю и собираются разрушить город свободных людей Зеон. Подземный город, населенный жителями всех цветов кожи, напоминает сильно обветшалый Метрополис из фильма Фрица Ланга 1926 года. Жители ютятся в бесчисленных железных каморках, дружно ходят на патриотические митинги и устраивают буйные пляски, как на какой-нибудь дискотеке в Гарлеме. В общем, Зеон для зрителя — сплошное разочарование. Одно дело отождествлять себя с бригадой повстанцев, которые, сменив рваные свитера на кожаные плащи и блестящие костюмы из латекса, лихо воюют внутри Матрицы. Совсем другое — с толпой босых оборванцев из гетто.

Пифия (Глория Фостер), оказывается, тоже не так проста. Она — программа из мира машин, и все ее предсказания о приходе Спасителя — просто еще одна степень контроля Матрицы над людьми. Пифия посылает Нео к Источнику, в главный компьютер Матрицы, и у порога святая святых он встречает седого неприятного старичка — Архитектора, который доходчиво объясняет Нео, что созданная им, Архитектором, последняя версия Матрицы основана на иллюзии выбора: 90 процентов людей подчиняются диктату программ, если внушить им, что у них есть выбор. А те 10 процентов, которые все-таки предпочитают свободу — то есть жители Зеона, — вечный источник нестабильности системы и головная боль. Поэтому Зеон периодически разрушают, Матрицу перезагружают, используя ментальный код Избранного, а затем позволяют ему, отобрав несколько пар чистых и нечистых, начать подпольную человеческую цивилизацию заново. Словом, Нео предлагается выбрать между плохим и очень плохим. Он либо перезагружает компьютер, держащий в рабстве людей, спасает всех спящих и еще пару десятков жителей Зеона; либо бежит выручать Тринити, которая в этот момент падает с небоскреба, отстреливаясь от летящего сверху агента, — и тогда погибнут уже все люди, какие есть на земле. Нео, натурально, бросается на помощь любимой, успевает подхватить ее за секунду до падения на асфальт, вынимает из груди пулю и запускает остановившееся сердце, но на катастрофический ход событий это никак не влияет: машины бурятся в Зеон, корабли людей разрушены, обороняться им нечем. Нео, остановив магическим жестом вытянутой руки нашествие железных кальмаров-убийц (сверхъестественные способности он демонстрирует уже и вне Матрицы), впадает в кому. А рядом с Избранным на соседнем столе лежит Иуда-Бейн, человек, в теле которого поселился зловредный Смит. Иначе говоря, зло вездесуще, оно уже проникло в хрупкий и уязвимый мир Зеона. Больше того, возрастание свободы и могущества Избранного запускает на другом полюсе системы механизм высвобождения и разрастания зла.

Во второй части, безусловно, есть эффектные сцены: драка Нео с сотней агентов или гонки на шоссе, когда Морфеус разрубает джип самурайским мечом. В эти моменты зрители несколько приободряются, но когда начинаются долгие пафосные, малопонятные рассуждения на тему «Быть или не быть», «Зачем я здесь?» и т. д., зрители вянут. Подросткам совершенно неинтересен мучительный нравственный выбор Нео между подружкой Тринити и оборванцами Зеона. Они уходят с «Перезагрузки» разочарованными. У старших товарищей-программистов в зависимости от уровня общегуманитарной образованности — ощущения двоякие. Эмоциональный ребенок, живущий в них, разочарован однозначно. Пытливый взрослый, которому охота разобраться в навороченной киберпанковской метафизике «Матрицы», — удовольствия тоже не получает, но заинтригован и ждет разгадок в последней части.

Последняя часть — «Матрица. Революция» — разочаровала уже решительно всех. Нео лежит в коме, а его виртуальная ипостась, застрявшая где-то между мирами на стерильной железнодорожной платформе, беседует с семейством индусов, которые на самом деле — компьютерные программы. Затем друзья, вооружившись до зубов и устроив во французском ресторане впечатляющую мексиканскую дуэль, находят способ выволочь Нео. Он вновь отправляется к Пифии, которую играет уже другая пожилая негритянка (Нона Гейи), и в ответ на свой резонный вопрос, как же это вы, сударыня, мне не сообщили насчет перезагрузки, получает многозначительный ответ, что, мол, за всякий выбор нужно платить. Потом на Пифию накидывается агент Смит, размножившийся в Матрице уже до совершенного неприличия, и фирменным приемом, воткнув ладонь в грудь, превращает старушку в очередного агента Смита.

А пол землей события разворачиваются сверхдраматически. Машины нападают на город и, несмотря на мужественное сопротивление зеонян — а воюют они посредством неуклюжих шагающих роботов, напоминающих по дизайну трансформеры китайского производства, — легко преодолевают линию обороны. Два последних оставшихся на ходу корабля, в которых жители Зеона шныряют вокруг Матрицы по канализационным коллекторам, разделяются. Один с капитаном Ниобе (Джада Пинкетт Смит) — подружкой Морфеуса — и с самим Морфеусом от-

правляется на помощь защитникам города и, ворвавшись на поле битвы, в последний момент уничтожает залпом из пушки не только полчища врагов, но и оборонительные сооружения Зеона. Второй корабль с Нео, Тринити и притаившимся среди железных конструкций Иудой-Бейном (в него, напомним, еще во второй серии вселился зловредный Смит) летит без оружия в самое логово врага — в город машин. По дороге следует смертельная схватка Нео с предателем, в ходе которой наш герой лишается сначала глаз, а затем и подружки Тринити. После душераздирающей сцены прощания с любимой Нео вступает в переговоры с Deus ex machina — ревушей мордой, составленной из мириад железных кальмаров и напоминающей чертами лицо Архитектора. Нео просит о мире, обещая взамен уничтожить агента Смита, который совершенно вышел из-под контроля и заполнил собою всю Матрицу. Машинный бог соглашается.

В финальной битве Добра и Зла, разворачивающейся под струями апокалиптического проливного дождя, Нео отнюдь не выглядит всемогущим. Смит делает с ним что хочет: то швыряет его в небеса, то бросает на дно огромной, наполовину залитой водою воронки. Нео поднимается на ноги снова и снова, но явно уже из последних сил. Правда, и Смит ведет себя как-то странно: поглощенная им Пифия время от времени вещает у него изнутри, сбивая с толку. Тем не менее Смит умудряется внедриться в Нео и превратить его в очередного агента. Но в тот момент, когда кажется, что Избранный окончательно проиграл, его тело, распластанное в городе машин на сотнях стальных шупалец, вдруг превращается в светящийся крест, и все бесчисленные Смиты, наблюдавшие за ходом сражения, вдруг рассыпаются на куски. Война остановлена, Зеон спасен, больше того, людям дано право беспрепятственно выбираться из Матрицы. И в финальных кадрах мы видим какой-то феерический рассвет над зеленой лужайкой, где на скамейке мирно беседуют Демииург-Архитектор, Пифия — Душа мира — и индийская крошка Сати — то ли Ангел, то ли Дух Святой, то ли еще кто. «Нео вернется?» — спрашивает она. «Возможно», — говорит Пифия.

Как же вся эта непонятная «Революция» далека от стандартных ожиданий любителей боевиков! И войнушка тут какая-то громоздкая и несуразная, и победа — не победа, и дорожные спецэффекты не радуют. В общем, беда. То, что в первой «Матрице» возникло в силу исключительно удачного совпадения множества факторов: сюжет, стиль, драматургия, актеры, — здесь распалось, рассыпалось, так что фильм пролетает решительно мимо кассы.

Но мне почему-то кажется, что лукавые братья именно такого эффекта и добивались. В первой серии они захватили в плен бесчисленных зрителей и повели их совсем не туда, куда влекли тех собственные зрительские инстинкты. Сняв кино про Избранного, которому каждая новая стадия «пробуждения» дарует сверхъестественные возможности, авторы «Матрицы» умудрились намекнуть, что физическая и прочая мощь — не главное следствие «пробужденности», что, поднимаясь на новую ступень, человек вынужден страдать, рефлексировать и задаваться такими вопросами, которые вообще не приходят в голову мирно дремлющим смертным. В результате Вачовски заводят доверчивых зрителей в лабиринт, точнее, в пустыню ментального, где под серыми тучами, основательно закрывшими небо, высятся грандиозные обломки некогда влиятельных мифов, где все двоится, троится, теряется в философском тумане; все представления, убеждения, верования легко обращаются в собственную противоположность, а на каждый вопрос можно отыскать как минимум пару противоположных ответов.

К примеру, что есть Матрица? Усыпляющая иллюзия или логически стройная картина действительности? Почему свободные люди в поисках мудрости и глубоких пророчеств вынуждены постоянно проникать внутрь этой самой программы? И почему цивилизация Зеона выглядит на экране столь примитивной? Может быть, чем дальше от логики и математики, тем ближе к первобытности, к царству инстинктов?

Матрица придумана как средство контроля над человеком. Но ведь она создана по образу и подобию человека; компьютер всякий раз перезагружается с использованием внутреннего кода конкретного индивидуума — Избранного. Матрица использует природу человеческой чувственности, человеческого интеллекта, че-

ловеческих эмоций. Она даже вынуждена считаться с присущим человеку даром свободы. Но кто создал самого человека? Кто придумал это поразительное творение, живущее сразу в двух мирах — в стихии материи и в пространстве смыслов?

Фильм поначалу эксплуатирует расхожую постструктуралистскую идею о том, что все символическое — язык, логика, идеология — есть средство подавления и контроля. Но, отказавшись от символического, человек перестает быть собой. Он создает программы интерпретации окружающего или они создают его? И где он — Источник знания? Живительный он или усыпляюще-смертоносный? И где предел человеческой свободы? Не попадаем ли мы, меняя картину мира, под власть новой, еще более изощренной программы? И дано ли нам узнать, «зачем мы здесь»? Или нам предначертано слепо осуществлять свою миссию во имя торжества абстрактной гармонии и математических уравнений?

Сознательно не давая ответов на ворох подобных вопросов, авторы фильма довольно небрежно сводят концы с концами, используя общие контуры христианского мифа в его, так сказать, гностическом преломлении: Архитектор-Демидург — отец Матрицы, Пифия (Душа мира) — ее мать, сонмы ангелов-программ, некоторые из которых вышли из-под контроля и подлежат списанию... Тут же Нео — Избранный, побеждающий силы зла ценой смерти и воскресения. Бог Сын, не ведающий Бога Отца, ибо старичок Архитектор на эту роль решительно не годится: Нео для него — просто некая аномалия, создающая сбой в системе, но затем приводящая ее к новой стабильности. В этой подчеркнутой эклектике, лоскутности, в откровенной цитатности, когда режиссеры заимствуют картинки, имена, концепции, образы без разбора, из всех возможных источников: от немецкого экспрессионизма до гонконгских фильмов кунг-фу, от греческих мифов до «Алисы в Стране чудес» и сказки про Белоснежку, — есть своя подлинность, своя сермяжная правда. Вступив в игру под названием «Долой сон разума!», человек нынешней заплутавшей, безрелигиозной цивилизации неизбежно попадает в противоречивый лабиринт символов и культурных значений. Вы хотели освободиться от власти банальных, навязанных, общепринятых представлений?

— Добро пожаловать в пустыню ментального!

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Сетикет

Лингвист Максим Кронгауз, исследуя новые явления в языке, пишет: «Особенно интересно, когда новые слова возникают не для специфических интернетных явлений, а для чего-то вполне привычного, но помещенного в Сеть. В этом явно видна попытка интернетного сообщества отгородиться от обыденной жизни, переименовать по возможности все, потому что нечто в Интернете — это совсем не то, что нечто в старой реальности. Отсюда такие игровые монстры, как уже достаточно привычная сетература (вместо сетевой литература) или пока одноразовое сетикет (вместо сетевой этикет). Не приживутся они (74,9% — вероятность того, что слово не будет принято языком), если только интернетное сообщество не отделится окончательно от прочего народа. Потому что сетература уж слишком плавно перетекает в литературу, чтобы обыденный язык позволил себе роскошь иметь целых два слова для по существу одного понятия. А надо будет подчеркнуть идею „Сети“, так и словосочетанием не побрезгуем» <http://www.russ.ru/ist_sovr/20010504_kr.html>.

Я думаю, дело все-таки не в том, что сетевое сообщество так истоиво пытается выгородить свой уголок, что завело себе отдельный этикет.

Если слово «сетикет» и можно назвать «одноразовым», то о слове netiquette этого никак не скажешь. Поисковая программа Google указывает около 800 тысяч страниц, на которых оно встречается. Для сравнения: etiquette — 2200 тысяч, боль-

ше, конечно, но не радикально. Сравнительная редкость слова «сетикет» объясняется не тем, что явления, которое оно обозначает, не существует. А тем, что Сеть заговорила на русском языке позднее, чем на родном для нее английском, и тем, что слово «нетикет» употребляется несколько чаще. По данным Яндекс: «нетикет» — 3446, «сетикет» — 2039. По сравнению с английским термином это ничтожно мало, поэтому говорить о том, что слово уже существует в русском языке, пока нельзя, и к тому же английское написание — *netiquette* — очень распространено и в русских текстах. Колебания между нетикетом и сетикетом вполне понятны: латинские корни лучше согласуются друг с другом, чем латинский и русский. Но тем не менее я остановлюсь на термине «сетикет».

В чем же специфика сетикета? Это этикет письменного общения. В истории, строго говоря, не было ни точно такого феномена, ни близкого аналога. Церемонные поклоны и многословные приветствия в письмах XIX века, регламентация обращений и прощальных формул — это, конечно, тоже знаки этикета. Но это слишком локальные явления, чтобы выделять их в отдельную область этикета, хотя и существовали специальные письмовники с образцами писания писем. Современный русский человек в основном знаком с этими правилами по письмам, которые товарищ Сухов в кинофильме «Белое солнце пустыни» наговаривает «разлюбезной Катерине Матвевне».

Интернет создал глобальную среду письменной речи. И она существует вместо и/или вместе с личным письмом (есть, есть еще чудачки, которые предпочитают написать письмо на бумаге и вложить его в конверт), деловой встречей или легкой застольной беседой.

В Сети никто не увидит вашей улыбки, все равно — язвительной или добродушной. В Сети вы есть то, что вы написали. Если прежде в такой ситуации оказывались разве что писатели или журналисты, то есть профессионалы письменной речи, то теперь в ней оказались миллионы обычных пользователей Сети, очень часто в досетевую эпоху вообще ничего не писавших.

Письменная речь отличается и от устной речи, и от нормального письменного текста, будь то статья или художественное произведение. Письменная речь всегда подразумевает адресата (одного или нескольких), как и речь устная, но эта речь выражается письменными формами и потому очень близка к литературному тексту.

Формы письменной речи за десятилетие существования Интернета уже приобрели достаточно четкие очертания. И хотя нет никаких формальных правил сетикета, каждый достаточно давний сетевой обитатель, много общавшийся в режиме онлайн, пользовавшийся электронной почтой, принимавший участие в обсуждениях на форумах, в гостевых книгах и разнообразных чатах, четко знает эти правила. И новичок (*newbie*) распознается безошибочно.

Важнейшее отличие сетевого общения от переписки досетевых времен заключается, конечно, в том, что в этой переписке могут участвовать более двух человек. Вы можете написать письмо в конференцию, и его прочтут все, кто на нее подписан. И вы можете получить более одного ответа. Вы можете бросить реплику в интерактивном режиме гостевой книги... и вам может ответить совсем не тот, к кому вы обращались. И ответ может прийти с большой временной задержкой от человека, который в гостевую-то никогда не заходил, а наткнулся на ваше высказывание, отбирая ссылки в поисковой системе... И его так задело ваше высказывание, что он решил ответить вам еще резче. Любое ваше высказывание слышно на весь Интернет. Это необходимо помнить. Вы обращаетесь не только к непосредственному адресату-собеседнику, но и к неограниченно большому количеству пользователей Сети. Подумайте об этом, прежде чем сказать резкость, или выругаться, или связать. Подумайте, сказали бы вы это же в лицо тому, над кем вы решили поиздеваться.

Еще одним важным обстоятельством сетевого общения являются свойства самой среды Интернета.

Интернет при нормальной работе обеспечивает пересылку письма за считанные минуты. Поэтому может сложиться впечатление, что никакой среды нет, что она идеально прозрачна. Но это не так.

Когда вы пишете письмо, оно попадает к адресату не мгновенно. Оно довольно долго блуждает по различным узлам Сети, оставляя за собой следы в log-файлах, оставляя свои копии на почтовых серверах. Оно может быть прочитано кем-то, если вы не позаботились его зашифровать. Оно может потерять вложение, его кодировка может исказиться, особенно если это письмо написано кириллицей. Обо всем этом необходимо помнить. Среда может работать очень хорошо, и вы забудете о ней, но, по закону Мэрфи, эта безупречно работающая среда даст неожиданный и непредсказуемый сбой как раз тогда, когда вы отправите самое важное письмо. Например, признание в любви. И вы будете нервничать и злиться, ожидая ответа, и в конце концов, не выдержав ожидания, напишете что-то гневное и совершенно несправедливое, и только потом выяснится, что ваш корреспондент просто не получил письма. Вероятность того, что ваше письмо не дойдет до адресата, резко возрастает, если вы используете бесплатные почтовые серверы, например Яндекс или Mail.ru. Они последнее время активно борются со спамом, а что такое спам, никто доподлинно не знает, и вполне легальное письмо может быть отброшено антиспамовым фильтром...

Главное правило сетикета то же, что и в любом этикете: ведите себя так, чтобы вас было легко понять, чтобы вы не создавали проблем другим, чтобы не мешали нормальному диалогу. Ведите себя так, чтобы непреднамеренно не обидеть человека, с которым вы говорите. Думайте о своих собеседниках-адресатах.

Но это повсеместное правило приобретает в Сети совершенно определенные черты и предполагает следование довольно-таки строгому своду рекомендаций. Я попытаюсь сформулировать некоторые основные постулаты сетикета, относящиеся в основном к одному только разделу — к электронной почте. Существует, конечно, свод правил общения в чате, правил создания собственного сайта (именно сетикетных правил, а не дизайнерских или программных), но об этом в другой раз.

На письма нужно отвечать. Как ни странно, это далеко не всем очевидно. Как правило, время ответа на e-mail не должно превышать сутки. Если интервал больше и нет какого-то естественного объяснения (например, многие пользователи Сети не выходят онлайн в выходные дни), вам необходимо при ответе на письмо объяснить причины задержки. Можно спросить, но как же так, тогда два корреспондента только и будут обмениваться письмами, в которых им и сказать-то нечего, кроме подтверждения получения. Чтобы этого не происходило, вы можете вразумительно сообщить корреспонденту, что не ждете ответа, что этот сеанс диалога прерывается на неопределенное время. Но если ваш корреспондент находится в состоянии ожидания, не ответить ему верх невежливости. Часто вполне достаточно написать буквально несколько слов вполне формальных, на это возможно найти время при любой занятости. А освободившись, написать подробнее. Но «подвешивать» разговор, прерывать его, оставив заданный вопрос без ответа, нельзя ни в коем случае.

Невежливо посылать письмо с уведомлением о получении. Это попросту означает, что вы не доверяете адресату, не считаете его человеком сетикета. Иногда на это приходится идти, но нужно помнить, что это не очень-то красиво.

Обязательно нужно отвечать на письма с испорченной кодировкой, причем в этом случае лучше приколоть вложение, где текст будет написан в каком-то редакторе, так, чтобы ваш корреспондент его обязательно сумел прочесть. Обязательно нужно отвечать на письма, содержащие вложение: вы должны подтвердить, что вложение дошло и нормально открылось. Письмо с вложением — это уже не вполне письмо, это — небольшая (или большая) посылка. И конечно, отправивший ее будет беспокоиться, нормально ли она дошла.

Получатель письма не должен прерывать диалог: его может прервать только отправитель — инициатор сеанса. Это одно из основных правил сетикета для электронной почты.

Первое письмо. Самый важный момент — это установка связи между корреспондентами. В первом письме необходимо спросить, нормально ли было прочита-

но письмо. Причем русский текст лучше продублировать латиницей или на английском, если заведомо известно, что ваш корреспондент этим языком владеет. Вложение прикреплять к первому письму не стоит. Вы еще не знаете, как доходят обычные письма, не переполнен ли почтовый ящик у вашего адресата. Письмо должно быть предельно кратким и информационным. Обязательно нужно отвечать на первое письмо при установлении контакта.

Грамотность — это вежливость Интернета. Проверку грамотности можно сделать автоматической, подключив встроенный контроль орфографии. Грамотный текст легче читать. Безграмотно написанные слова требуют дополнительного усилия при чтении. При письменной речи неграмотность — то же, что и нечеткость дикции при речи устной: если у вас «каша» во рту, если вы глотаете буквы или произносите одну вместо другой — вас трудно понять, а иногда невозможно. Строгая орфография — это форма уважения к собеседнику. Она делает контакт комфортным. Конечно, если вы очень торопитесь (в чате) или если вы пишете старому знакомому, который давно привык к особенностям вашего правописания, контроль грамотности можно опустить, но это именно исключения.

С незнакомыми или малознакомыми людьми будьте грамотны, обращайтесь на «Вы» и по возможности без жаргона, если у вас еще есть какие-то слова в запасе, кроме него.

Обязательно начинайте предложение с прописной и ставьте точки. Используйте пропуски (пустые строки) для отделения одной мысли от другой (в электронном письме пропуск строки, как правило, играет роль абзаца).

Имена и названия должны начинаться с прописных. Текст, написанный одними строчными и без точек, трудно читать. Текст, написанный одними прописными, воспринимается при чтении как непрерывный крик.

В письменной речи очень большую роль играет форма букв, в частности, выбор шрифта. Используйте курсивные выделения или полужирный, но делать это нужно осмысленно. Случайная смена шрифта мешает чтению еще больше, чем орфографическая ошибка.

Смайлики: :) — улыбка, :(— грусть, :(((— отчаяние — можно использовать и даже можно рекомендовать, но и здесь нужно знать меру.

Не ленитесь и обязательно заполняйте поле «Тема» в письме. Ваш корреспондент наверняка ведет переписку не только с вами, да и с вами он может говорить о разных предметах. Если вы укажете тему, вы облегчите ему работу с вашим письмом. Не исключено, что у него настроено правило в почтовой программе, которое раскладывает письма автоматически по разным папкам в зависимости от темы.

При ответе на письмо обычно почтовая программа копирует его текст в ответное письмо целиком. При переписке «ленивых» корреспондентов иногда возникает ситуация, при которой они обмениваются короткими письмами, но «таскают» из письма в письмо всю свою переписку... Не нужно пересылать в письмо лишние фрагменты переписки. Ее нужно стирать. Но очень полезно цитировать полученное письмо — это удобно обоим корреспондентам.

При ответе в рассылку иногда возникают письма, содержащие извлечения из писем целой группы корреспондентов, и здесь необходимо быть предельно аккуратным. В рассылках встречаются и письма, представляющие собой полный хаос, растущий снежный ком, который содержит, например, вопрос: «А ты кто такой?» — и дальше несколько десятков килобайт не имеющих отношения к делу цитат. А иногда встречаются подлинные шедевры, когда коллективному автору удается умелым цитированием собрать, выделить и подчеркнуть главные мысли, возникшие в разных письмах в процессе обсуждения.

Готовьте пересылку больших вложений. Это очень важно. Большое вложение — это вложение, превышающее 200 — 500 килобайт в зависимости от того, насколько устойчива связь, используемая корреспондентами. Лучше всего не пересылать

больших вложений в письмах. Существует много способов передать большие тексты, фото или звук, минуя электронную почту. Например, через ftp-серверы или через www-интерфейс. Но если другого способа все-таки нет, пересылку большого вложения нужно готовить. Обязательно предупредите вашего корреспондента и обсудите с ним предварительно пересылку. Возможно, ему необходимо разгрузить почтовый ящик, удалив лишнюю почту. Выясните, каким образом получает доступ к своему почтовому ящику получатель вложения. Если он получает письма через интерфейс почтового сервера, а вы отправите ему письмо, аккуратно порубленное кусочками по 200 кб вашим почтовым клиентом (например, **Outlook Express**), то получатель может увидеть в своем почтовом ящике кучу писем с вложениями каких-то обрубков непонятного предназначения. Получив вложение, его необходимо сохранить на диске и просмотреть, чтобы убедиться в том, что оно нормально дошло, а после обязательно уведомить отправителя.

Но главное правило: старайтесь не посылать больших вложений, они плохи прежде всего тем, что могут парализовать работу почтовой программы вашего корреспондента, особенно если он выходит в Интернет по коммутируемой линии (**DialUp**). Почтовая программа будет пытаться получить письмо, и связь будет обрываться еще до того, как удастся выгрузить титаническое вложение. При новой попытке все будет повторяться. И так до бесконечности...

И напоследок еще несколько коротких советов. Будьте готовы простить ошибки. Не думайте, что вы этакий продвинутый гуру, а перед вами совсем новичок. Иногда внешность обманчива, особенно если вы не видите собеседника, а читаете его короткое сообщение. Но даже если перед вами действительно новичок, не следует особенно задирать нос. Все мы в Сети — новички. Она сама еще только едва-едва выбралась из младенчества, так что гордиться пока что особенно-то нечем. В частности, все мои советы, посвященные сетевому этикету, не более чем результат моих наблюдений над сетевым общением и моего удивления: как это люди не понимают таких элементарных вещей! Но сетикету уже посвящены книги: «Netiquette» by Virginia Shea <<http://www.albion.com/netiquette/index.html>>. И множество сайтов. Например, симпатичный ресурс из города Климовска <<http://www.klimovsk.net/personal/netiquette.htm>> или онлайн-учебник сетикета: <<http://www.onlinenetiquette.com>>.



СПОР О КРИШНАИТАХ

АНТИКУЛЬТИСТСКОЕ СОЧИНЕНИЕ

Уважаемый г-н главный редактор!

Обращаемся к Вам в связи с публикацией в Вашем журнале, № 9 за 2003 год, статьи Юлии Ушаковой «Атипичная религиозность в постсоветской России».

Мы ценим «Новый мир» за объективность, глубину проникновения в проблемы, гуманистическую направленность и, наконец, просто за порядочность, которая всегда отличала журнал от желтой прессы. Вот почему нас удивляет появление в нем типично антикультуристского сочинения, явно направленного — в это сложное для нашей страны время — на разжигание религиозной вражды, стравливание между собой представителей различных религий.

Публикация не может не вызвать удивления у любого мало-мальски образованного читателя, особенно потому, что автор представляется православным богословом. Русское православие всегда отличалось доброжелательностью по отношению к Индии, ее культуре и духовности. Да будет известно ученому автору, что первый кришнаитский храм появился на территории нашей страны не в постсоветское время, как следует из статьи, а в середине XVII века в Астрахани, то есть раньше, чем в других странах Европы. Россия может гордиться тем, что именно с индуизмом связан фактически первый в мире официальный закон о веротерпимости (имелись в виду именно индуисты), — соответствующий указ был принят Петром I на 70 лет раньше знаменитой Поправки к Конституции США о свободе совести.

Так что, по терминологии Ушаковой, именно она-то и является «атипичным» православным публицистом. Не имея религиозоведческой подготовки и специального образования, она судит о том, чего не знает, причисляя кришнаитов к «сектам». Вместе с тем существует масса авторитетных справочников, заглянув в которые можно получить объективные сведения об этой древнейшей монотеистической религии («Религиозные объединения Российской Федерации». М., аппарат Совета Федерации Федерального собрания РФ, 1996; «Индуизм. Джайнизм. Сикхизм». М., Институт востоковедения РАН, 1996; «Новые религиозные культы, движения и организации в России». М., РАГС при Президенте Российской Федерации, 1999; «Религии народов современной России». Словарь. М., «Республика», 1999; «Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации в России». Справочник. М., «Философская книга», 2003). Как можно называть Общество Сознания Кришны «тоталитарной сектой», если храм Общества в Дели в 1998 году открывал лично премьер-министр Индии А. Б. Ваджпай?

«Упражнения» Юлии Ушаковой не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. В России отмечены погромы индуистских храмов, вдохновленные подобного рода «сектоведами».

Надеемся, что, как это и принято в демократической печати, журнал признает свою ошибку и принесет свои извинения верующим. Просим опубликовать наше письмо.

Сергей ЗУЕВ,
председатель руководящего совета
Центра обществ Сознания Кришны в России

КРИШНАИЗМ КАК НЕОИНДУИСТСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Никак не могу счесть обоснованным гневный протест г-на Зуева по поводу публикации моей статьи в «Новом мире». Не думаю, что журнал «пожелтел», озна-

комив своих читателей с религиозной ситуацией сегодняшней России. Вероятно, «разжигание религиозной вражды» г. Зувев усмотрел в использованных мною терминологических определениях «секта», «тоталитарная секта».

«Секта» — отнюдь не ругательное слово. По отношению к новым религиям, каковыми, несомненно, являются для России (как и для Запада) все культы неоиндуистского толка, я использую это слово в его этимологически прямом значении (латинское «secta» — школа, учение), что было оговорено мною с самого начала.

Тоталитарный (тотальный) авторитаризм — характеристика внутрigrупповых отношений. К религиозному движению эта *дефиниция* относится в том случае, когда его основатель является «харизматическим» лидером. Социологи, в отличие от богословов, подразумевают под «харизмой» лишь веру последователей лидера в то, что он (или она) обладает совершенно особым (возможно, божественным) качеством, в силу чего уверовавшие добровольно облачают лидера особой над собой властью (классическое определение харизматической власти см.: Weber Max. The Theory of Social and Economic Organization. N. Y., «Free Press», p. 358 — 363). Если основателю Международного общества Сознания Кришны (МОСК) Свами Бхактиведанте Шрила Прабхупаде¹ (светское имя — Абхай Чаран Де) последователи его учения присваивают титул «Божественная Милость», значит, они верят, что устами гуру говорил сам бог Кришна. Отсюда вытекает требование безоговорочного подчинения наставнику, который достиг «сознания Кришны». Так утверждали все кришнаиты, с которыми мне приходилось общаться. Члены МОСК не исключение. Но точно так же воспринимали своих «гуру» последователи Движения Ошо Раджнеша, Махариши (ТМ), Нирмалы Шривасты (Сахаджа-Йога), Ауробинды Гхоша.

Однако г. Зувев претендует на исключительность Свами Прабхупады среди этих гуру, поскольку, по словам г. Зуева, МОСК является «древнейшей монотеистической религией». У себя на родине Чаран Де (Свами Прабхупада) исповедовал религиозное учение индийского средневекового мистика Чайтаньи Мхапрабху (1486 — 1534) (см.: Прабхупада. Человек святой. Его жизнь. Его наследие. Сатсварупа Дас Госвами. СПб., 1993). Ни по времени, ни по религиозному мировоззрению учение Чайтаньи к «древнейшим монотеистическим религиям» (каковы иудаизм, христианство и ислам) отнести нельзя, хотя исследователи религиозных культов и философских систем Индии действительно отмечают, что в своем богомыслии Чайтанья отходит от традиционного пантеизма Веданты, обращаясь к теизму. (См.: Барт А. Религии Индии. Перевод под редакцией С. Трубецкого. М., 1959; Чаттерджи Б. Сокровенная религиозная философия Индии. М., 1959; Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1 — 2. М., 1956; Deussen P. The System of the Vedanta. Chicago, 1912.) Что касается учения Прабхупады — это авторский модерн, одна из вариаций неоиндуизма. «Откровение» Свами Прабхупады «Бхагavad-гита как она есть» — авторский перевод (точнее — пересказ) VI книги индийского эпоса «Махабхарата» (см.: Бхагavad-гита. Перевод Б. Л. Смирнова. Т. 2. Ашхабад, 1956).

Главным идеологом неоиндуизма был Вивекананда. Неоиндуизм — не конкретное религиозное направление, а некая интегральная идея: приобщить Запад к «древней мудрости Востока», к метафизике и мистике религиозных культов Индии. Но для этого необходимо было внести существенное изменение в саму метафизику.

В отличие от буддизма, индуистские культы до XX века не знали прозелитизма. Ортодоксальным индуистом нельзя было стать по убеждению, им надо было родиться в Индии в какой-либо касте в соответствии со своей кармой, но не только обязательное включение в кастовую систему препятствовало распространению индуизма за пределами Индии. В соответствии с религиозным мировоззрением, отраженным в Упанишадах (VIII — VI вв. до н. э.), существование мира и человека не имеет цели и возникло в результате непостижимой божественной игры — лилы. Эта идея явно неприемлема для западной цивилизации. Неоиндуизм, воз-

¹ «Свами» означает святой, буквально — «господин», а «Прабхупада» — «тот, у чьих ног (сидят) лучшие».

никший в XIX веке как реформаторское движение внутри индуизма, стремился к адаптации западных ценностей для Индии и к пропаганде реформированного индуизма на Западе (см.: Фаликов Б. З. Неоиндуизм и западная культура. М., 1994). В результате сочетания западнической и националистической тенденций возник феномен индуистского мессианства, ставшего характерной чертой позднего неоиндуизма и давшего толчок неоиндуистскому прозелитизму (Gough A. E. The Philosophy of the Upanishads and Ancient Indian Metaphysics. London, 1903). По этой причине появление на Западе (начиная с США) в середине XX века отделений «Миссии Рамакришны» и последующий наплыв индийских гуру принято относить к новым религиозным движениям, отличающимся от ортодоксальных индуистских культов (см.: Баркер Айлин. Новые религиозные движения. СПб., 1997).

Никто не ставит под сомнение право г. Зуева исповедовать учение Свами Прабхупады. Тот факт, что МОСК включается в реестр *новых* религиозных движений, нисколько не ущемляет свободу совести российских кришнаитов. Нет нужды делать сенсационные заявления о первом кришнаитском храме, появившемся в XVII веке в Астрахани, или о петровском «Законе о веротерпимости» по отношению к индуистам. Это — из области ненаучной фантастики. Иван Грозный завоевал Астраханское ханство в 1556 году. К тому времени это был регион прочно укоренившегося ислама; «мало-мальски образованный читатель» из истории государства Российского знает, что ни исламские правители, ни московские государи веротерпимостью в отношении чуждых религиозных культов, увы, не отличались. Московское государство, расширяя свои границы в XV — XVII веках, мирилось с исламом и буддизмом на землях, некогда входивших в Золотую Орду, не искореняло огнем и мечом язычество северных и сибирских народов (но последовательно проводило политику их христианизации). А вот с «ересями» (нетрадиционными новыми религиозными учениями) боролось жестко. Петр I гарантировал свободу вероисповедания иноземцам, служившим Российской империи. Были они европейцами — протестантами, но никак не индуистами (см.: «Духовный регламент». — В кн.: «Законодательство Петра I». М., 1997). Официальный указ о свободе вероисповедания все для тех же иноземцев был издан Екатериной II в 1772 году. Причем екатерининский указ строго воспрещал инославным проповедовать иноверие и обращать православных в свою веру. Действовал этот закон и в XIX столетии (см.: Ясевич-Бородаевская В. И. Борьба за веру. Историко-бытовые очерки и обзор законодательства по старообрядчеству и сектантству в его последовательном развитии, с приложением закона и указов. СПб., 1912). Не будем приукрашивать историю: веротерпимость в Российской империи до 1905 года была жестко регламентирована. Исследования по развитию индийской религиозности, религиозно-философской мысли, литературы появились в России, как и в Европе, только на исходе XIX столетия. И опять же следует различать научный интерес (работа русских индологов) и отношение православия к «индийской духовности». Отношение это остро критическое, иного ожидать и не следует. Религиозный релятивизм и «политкорректность» православию не свойственны (см.: Введенский А. Религиозное сознание язычества. Т. 1. М., 1902; Гурий, иером. Буддизм и христианство в их учении о спасении. Казань, 1908; Кожевников В. Индийский аскетизм в дубуддийский период. Сергиев Посад, 1914). Однако критическое суждение о чуждой христианству религиозной традиции не означало и не означает недоброжелательности по отношению к иноверцам. В моем случае — не означает недоброжелательности к людям, увлеченным новыми религиозными движениями. Я лишь констатирую факт: члены НРД восточной ориентации выпадают из русской культурной традиции, не вписавшись между тем в традицию иноземную. Подтверждением этому являются и попытки исторических изысканий председателя руководящего совета Центра обществ Сознания Кришны в России г-на Зуева.

Юлия УШАКОВА.

ВООБРАЖЕННЫЕ ГОРОДА

Все, что выходит из-под пера Сергея Бочарова, я читаю внимательно и с удовольствием. Это относится и к небольшому эссе «Петербургский пейзаж: камень, вода, человек». Мой отклик не возражение или уточнение, а именно реплика, если угодно, вопрос к тем, кто знает тему лучше, чем я.

В начале своего эссе Бочаров пишет о том необычном в характере Петербурга, которое отметил в этюде 1814 года Батюшков и «для которого Достоевский ровно через полвека (в 1864-м, в „Записках из подполья“) найдет сильное и не вполне обычное тоже слово — самый „умышленный“ город на свете». Далее Бочаров комментирует необычное словоупотребление Достоевского. «В этом не совсем обычном слове слышна негативная экспрессия (по словарю Даля „умышленник“ — то же, что „злоумышленник“), — поставим рядом слово „умысел“ с ближайшим родственным — „замысел“. А ведь именно сам момент чудотворного замысла любили живописать создатели петербургского мифа — и Батюшков в своей прозе, и Пушкин в своей поэме <...>. На эти картины замысла и отвечал Достоевский своим неприязненным словом, в котором замысел деформировался в зловещий умысел».

Здесь все верно, но, мне кажется, смысловое поле «не вполне обычного слова» следовало бы расширить.

В русском языке слово «идеация» присутствует только как термин феноменологии, тогда как во французском, итальянском, английском соответствующее слово употребляется более свободно — как процесс создания чего-либо исключительно в голове, как «у/вы-мысливание». В итальянском и английском имеются и соответствующие глаголы — *ideare*, *to ideate*. В англо-русском словаре Апресяна приводится хороший пример: «The state which Plato ideated», что следует перевести: «Государство, *идеированное* (у/вы-мышленное) Платоном». Достоевский мог сталкиваться с этим словоупотреблением, разглядывая в музеях ренессансные вестулы воображаемых городов в палладианском духе. Картины этого жанра нередко обозначались на табличках, не без двусмысленности, как «la città ideale» (*итал.*) — город и идеальный, и воображенный.

Если мы учтем эти коннотации «не вполне обычного слова», то оно значительно точнее вписывается в почвенническую идеологическую систему Достоевского. Человеческие общины, именуемые «городами», должны произрастать органически, как Москва, напоминая в плане срез дерева с годовыми кольцами. *Идеировать, умыслить* сразу готовый город можно лишь из сатанинской гордыни. Петербург как «la città ideale» является горьким ответом послекаторжного Достоевского на утопические мечтания его былых друзей-петрашевцев об идеальных городах будущего и связан со всем антиутопическим пафосом его позднего творчества.

Достоевский был не совсем прав только, пожалуй, в одном — в том, что Петербург — «самый умышленный город на свете». В том же восемнадцатом веке, только позднее, был так же, как Петербург — на пустом болоте, в том же неоклассическом стиле — построен не менее умышленный город — Вашингтон, столица США.

Лев ЛОСЕВ.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Сергей Аверинцев. Стихотворения и переводы. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2003, 192 стр., 2000 экз.

Новая книга Аверинцева, представляющая его как поэта, — «Духовные стихи» (частично публиковались в «Новом мире» — 1989, № 10; 1994, № 5 <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/5/averin.html/>) и переводы из Бозция, Фомы Аквинского, Гёте, Гельдерлина, Рильке, Бенна и других.

Чингиз Айтматов. Тавро Кассандры. М., «Молодая гвардия», 2003, 793 стр., 5000 экз.

Избранное одного из ведущих прозаиков второй половины прошлого века — «Джамילה», «Белый пароход», «Материнское поле», «Лицом к лицу», «Плаха», «Тавро Кассандры».

Борис Акунин. Алмазная колесница. М., «Захаров», 2003, 30 000 экз. Том 1. Ловец стрекоз. 171 стр. Том 2. Между строк. 543 стр.

Новый и, надо полагать, последний роман Акунина о Фандорине, состоящий из двух повествований.

В первом («Ловец стрекоз. Россия. 1905 год») противником Фандорина оказывается купринский штабс-капитан Рыбников, укрывающийся, как ему и положено, в борделе, но, памятуя, видимо, о судьбе литературного предшественника, в отношениях с барышнями шпион предельно осторожен, занят — и достаточно успешно — диверсионно-подрывной деятельностью, сметая по пути всех и вся своей восточной изощренностью. Единственным достойным соперником ему оказывается уже почти пятидесятилетний Эраст Петрович. Повествование, составившее второй том и имеющее подзаголовок «1878 год», развивает японскую тему «изнутри» — здесь изображается двадцатитрехлетний Фандорин в период его дипломатической службы, ну и, разумеется, детективной деятельности в Японии. Авантюрно-исторический и любовный сюжет романа позволяет автору воссоздать атмосферу жизни тогда еще далекой, полунисшей, но уже изготовившейся к схватке за свое место среди сверхдержав будущего века восточной страны. Содержащиеся в романе сведения об истории Японии, религии, обычаях, о стиле отношений, культуре чувств, о понятиях чести и т. д., попытка воспроизвести поэтическую сторону культуры японского быта и мрачные таинственные стороны национальной жизни, в частности прошлое и настоящее самураев и ниндзя, относят акунинский роман еще и к «страноведческому чтению».

Ася Беляева. Сердцебиение снов. Сборник стихов. Петропавловск-Камчатский, Издательство КГПУ, 2003, 37 стр.

Дебютная книга молодого дальневосточного поэта: «.../ А что теперь изменилось? Не помню, / Это давно случилось, когда стало больно, / Когда появилась усталость, / Исчезло что-то, самая малость, / И что самое страшное — появилась привычка, / Прикури сигарету. Потухла спичка. / От этого хочется разбить себе руку, / Завыть от боли, забыть эту муку, / Но так страшно ломать свои хрупкие кости? / Не хватает злости. И мы идем в гости...»

Марина Вишневецкая. Брысь, крокодил! Повести и рассказы. М., «ЭКСМО», 2003, 624 стр., 3100 экз.

Книга одного из ведущих современных прозаиков имеет два раздела: «До опытов» и «Опыты». Журнальная публикация «Опытов» («Знамя», 2001, № 12, 2002, № 5 и «Октябрь» 2002, № 10) получила премию Аполлона Григорьева — 2002 и премию Ивана Петровича Белкина за лучшую повесть 2002 года. Раздел «До опытов» составили рассказы: «Своими словами», «Начало», «Брысь, крокодил!», «Увидеть дерево», «Воробьиные утра» и «Есть ли кофе после смерти?».

Макс Жакоб. Король Беотии. Небосад, или Золотые часы. Романы. Перевод с французского. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2003, 544 стр.

Впервые на русском языке проза Макса Жакоба (1876 — 1944).

Александр Жолковский. Эросипед и другие виньетки. Томск — М., «Водолей Publishers», 2003, 624 стр., 1000 экз.

Мемуарная проза известного филолога, состоящая из микроновелл.

«Мемуарные виньетки Жолковского по прочтению преобразуются в портрет автора... мы видим его в разных плоскостях: то как самонасмешника, то как симпатичного нарцисса, при одном срезе — озорничавшего стилиста прозы, при другом — солидно-дерзновенного структуралиста и семиотика, с одного угла зрения — завязтого богемщика, с другого — поднаторевшего университетского профа, сеятеля р. д. в.

Впрочем, автор-герой до места в виньетках не жаден, напротив, тащит в них все разрастающуюся толпу персонажей жизни: здесь и друзья-филологи высшего класса Щеглов, Мельчук, Иванов, здесь и сочинители разных жанров Соколов, Лимонов, Аристотель, Пригов, „приближающийся к Пригову” Черчилль, удаляющийся Хемингуэй, рассказывающийся в застолье Пастернак, Ахматова, Шкловский, а также множество американского академического народа» (из аннотации к книге, написанной Василием Аксеновым).

Лариса Миллер. «Где хорошо? Повсюду и нигде...» М., «Время», 2003, 560 стр. Самое полное издание ее стихов за десятилетия.

Неизвестный Кафка. Рабочие тетради. Письма. Перевод с немецкого, примечания и послесловие Г. Ноткина. СПб., «Академический проект», 2003, 384 стр., 3000 экз.

Большая часть представленных в этой книге текстов Кафки на русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по последнему, осуществленному Максом Бродом собранию сочинений Кафки (1946 — 1953). В приложениях помещены: набросок к «роману двумя перьями» «Первая дальняя поездка по железной дороге» М. Брода и Ф. Кафки; фрагмент воспоминаний о Кафке Феликса Вельча, статья Ж. Монно «Характер Франца Кафки (результаты графологического исследования)» и эссе Натали Саррот «От Достоевского к Кафке».

Анджей Стасюк. Дукля. Перевод с польского Т. Изотовой. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 256 стр.

Лирико-философские медитации; вторая книга на русском языке одного из ведущих современных польских прозаиков; первой книгой был роман «Белый ворон» (СПб., «Азбука-классика», 2003), а начало знакомству русского читателя с творчеством Стасюка положили публикации в «Иностранной литературе» «Галицийских рассказов» (1998, № 4) и затем — обширной подборки избранных рассказов в № 5 за 2001 год <<http://magazines.russ.ru/inostran/2001/5/stas.html>>.



Дмитрий Галковский. Пропаганда. Псков, 2003, 448 стр., 1100 экз.

Публицистика Галковского конца 80-х — начала 90-х годов с добавлением в разделе «Травля» текстов оппонентов Галковского в те годы; последнее — жест победителя, так как шокировавший читателя в начале 90-х этической «крутизной» высказывания писателя, а также предложенные им идеологемы сегодня стали общим местом и в политической публицистике, и в собственно политике. Журнал откликнется на эту книгу.

Марина Грей. Мой отец генерал Деникин. М., «Парад», 2003, 376 стр., 2000 экз.

Жизнеописание Антона Ивановича Деникина (1872 — 1947), генерала русской армии, командующего Добровольческой армией в 1918 году, написанное его дочерью — известной писательницей и журналисткой, работавшей на французском радио и телевидении. Хорошо изучившая историческую основу описываемых событий, используя письма отца из семейного архива и личные воспоминания, автор рассказывает о родителях Деникина, о его детстве, отрочестве, юности, военной карьере и — особенно подробно — о борьбе Деникина в годы Гражданской войны за «восстановление Великой, Единой, Неделимой России»; в конце книги — описание трудной жизни в эмиграции, наступившей для семьи Деникина в 1920 году, работа генерала над «Очерками Русской Смуты» и мемуарами, переезд в 1945 году из Европы в США. Впервые книга была издана в 1985 году во Франции.

Марина Нащокина. Московский модерн. М., «Жираф», 2003, 560 стр., 2000 экз.

Искусствоведческая монография, описывающая типовые и индивидуальные особенности московского модерна. Содержит каталог соответствующих архитектурных памятников.

Ольга Орлова. Гайто Газданов. М., «Молодая гвардия», 2003, 288 стр., 5000 экз. Поспевшая как раз к столетию биография Газданова вышла в издательской серии «Жизнь замечательных людей».

Дмитрий Сарабьянов. Россия и Запад. Историко-художественные связи XVIII — XX века. М., «Искусство — XXI век», 2003, 296 стр.

Новая монография одного из ведущих отечественных искусствоведов.

Елена Трегубова. Байки московского диггера. М., «Ad Marginem», 2003, 384 стр., 10 000 экз.

«Бестселлер года» — мемуары бывшего кремлевского обозревателя газеты «Коммерсантъ». Чтение, требующее специальной работы по отслаиванию образа автора и его видения мира от изображаемого материала; стиль жизни и работы обитателей Кремля; Ельцин, Путин, Волошин, Явлинский, Чубайс, Ястржембский, Якунин и прочие — «цыганским глазом» молодой амбициозной журналистки. Отдельная тема книги — добровольная, как считает автор, сдача журналистским сообществом свободы слова на милость новой кремлевской власти.

Сергей Чупринин. Перемена участи. Статьи последних лет. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 400 стр.

Новая книга Чупринина о «русской литературе рубежа веков <...> о том, как и чем жило последние пятнадцать лет российское литературное сообщество». В книге три раздела: «Первенцы свободы», «Расколотое зеркало» и «Нулевые годы» — в первом разделе «обзорные статьи 1988 — 1994 годов, и читатель, надо полагать, ощутит витающий в них дух надежды. На что? На то, что все мы еще увидим небо в алмазах.

Как верю, ощутит читатель и тревогу, которой проникнуты дробные, вероятно даже клиповые, статьи второго раздела, написанные на излете тысячелетия и излете той литературы, что была для меня *своею*.

И наконец, третий, сегодняшний уже раздел. Он, хотя надежды до конца еще и не утрачены, рожден <...> отчаянием» — так представил содержание своей книги автор.

Юрий Шульман. Запечатленная душа. (Очерк жизни и творчества Бориса Шергина). М., Фонд Бориса Шергина, 2003, 288 стр.

Книга, ставшая результатом многолетних архивных разысканий, а также личной увлеченности автора фигурой Бориса Викторовича Шергина (1893 — 1973) — художника, фольклориста, сказителя и одного из самых своеобразных писателей в русской литературе XX века.

Умберто Эко. Поэтики Джойса. Перевод с итальянского А. Коваля. СПб., «Симпозиум», 2003, 496 стр., 5000 экз.

Знаменитый культуролог, романист и литературовед рассматривает эстетические проблемы современной литературы на материале творчества Джойса.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Вестник общественного мнения», «Вестник РХД», «Время новостей», «Газета», «Газета.Ru», «Global Rus.ru», «Дело», «День литературы», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Итоги», «Книжное обозрение», «Лебедь», «Левая Россия», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Логос», «Луч», «Московские новости», «НГ Ex libris», «Нева», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая Юность», «Новое время», «Новый Журнал», «Подъем», «Посев», «Русский Журнал», «Русский Удодъ», «Топос», «Труд», «Toronto Slavic Quarterly», «Уральская новь», «Фома», «Экономические стратегии»

Василий Аксенов. Моя бабушка — Золушка. — «Новая газета», 2003, № 95, 18 декабря <<http://www.novayagazeta.ru>>.

Отвечает на анкету: «Я недавно посмотрел фильм „Светлый путь“, от которого в юности плевался, потому что не мог выносить всю эту фальшь. И вдруг почувствовал

какую-то страннейшую ностальгию по тому времени, по Любви Орловой. Я понял, что это была невероятной страстной утопия. Там, в финале, есть момент преобразования героини: простая качиха, запустив триста станков, превращается в какое-то чудовище немислимой красоты и силы. Помните? „Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы!“ Не песня — настоящий гимн советского фашизма, и, как ни странно, мне этого не хватает. Не потому, что я фашист. А потому, что такая сильная экспрессия, и она тащит за собой массу литературных образов.

Лев Аннинский. Николай Заболоцкий: «Я сам изнемогал от счастья бытия...» Из цикла «Медные трубы». — «День литературы», 2003, № 12, декабрь <<http://www.zavtra.ru>>.

«Заболоцкому было все равно, под какой властью жить: под красной звездой, под полосатым триколором или под двуглавой птицей».

См. также: **Анри Волохонский**, «Рассуждения о поэме Николая Заболоцкого „Рубрук в Монголии“» — «Митин журнал», 2003, № 61 <<http://www.mitin.com/mj61>>.

См. также: **Татьяна Игошева**, «Восток и запад в поэме Н. Заболоцкого „Рубрук в Монголии“» — «*Urbi et Orbi*». Проект молодого искусства. Великий Новгород. <<http://urbietorbi.narod.ru>>.

См. также: **Сергей Беляков**, «Гностик из Уржума. Заметки о натурфилософских взглядах Н. А. Заболоцкого» — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

Александр Архангельский. Власть имеющий. — «Известия», 2003, № 228, 11 декабря <<http://www.izvestia.ru>>.

«Главная проблема — в том, что страна в массе своей по-прежнему нуждается в тех, кто имеет внутреннее, не по должности, право говорить с ней авторитетно, как власть имеющий (не путать с властью имущим!). Более того: и говорить не всегда обязательно, подчас достаточно весомо промолчать. <...> Солженицын может месяцами молчать, уклоняться от общения с публикой, вообще не давать интервью, не комментировать происходящее, но само сознание того, что человек подобного масштаба здесь, рядом, — очень многое меняет в генетическом составе нашего времени. Собственно, это и есть *авторитет*; не в нынешнем, уголовном смысле слова, а в естественном, изначальном и единственно правильном. Носитель такого личного опыта и „создатель“ такой жизненной стратегии, которая задает предельно высокую планку и позволяет оценить реальный смысл происходящего. <...> Главный вклад Солженицына в русскую культуру — это он сам. Это легенда о нем. Это имя, звучащее как пароль».

См. также: **Самуил Лурье**, «Ключ ко всему» — «Дело», Санкт-Петербург, 2003, № 306, 15 декабря <<http://www.idelo.ru>>; «Но факт, что русская жизнь, подобно русскому роману, требует в герою человека выше своего времени. Сюжет, в котором мы копшимся, держится на Солженицыне».

См. также: **Андрей Немзер**, «Душа и колючая проволока» — «Время новостей», 2003, № 232, 11 декабря <<http://www.vremya.ru>>; «<...> когда коммунизм пал, а Россия оказалась перед лицом новых исторических вызовов, много кому показалось, что проза Солженицына обернулась „литературным памятником“. Это одно из самых печальных заблуждений нашей самодовольной эпохи».

См. также: **Юрий Кублановский**, «Не уступающий времени» — «Труд», 2003, № 231, 11 декабря <<http://www.trud.ru>>; «<...> Солженицын — последний отечественный писатель такого масштаба: нет уже почвы, на которой всходили бы такие люди. Он — зримое связующее звено между Россией прошлой и чаемой».

См. также статьи **Светланы Шешуновой**, **Евгения Пономарева**, **Юрия Цурганова** и **Юрия Бульчева** в журнале «Посев» (2003, № 12 <<http://posev.ru>>).

См. также анкету «Писатели о Солженицыне» в «Литературной газете» (2003, № 49 <<http://www.lgz.ru>>).

См. также *очень разные* писательские суждения о Солженицыне в подборке «Одна жизнь Александра Исаевича» («Московские новости», 2003, № 46 <<http://www.mn.ru>>).

См. также: **Вадим Нестеров**, «Неизменный Солженицын меняется со страной» — «Газета.Ру», 2003, 11 декабря <<http://www.gazeta.ru>>.

См. также: **Сергей Шаргунов**, «Миф и подвиг» — «НГ Ex libris», 2003, № 45, 11 декабря.

См. также: **Илья Мильштейн**, «Мессия, которого мы потеряли. Сбылась мечта Солженицына: его советы востребованы властью» — «Новое время», 2003, № 50, 14 декабря <<http://www.newtimes.ru>>; «А в Кремле сидит достойный его ученик, хотя встречаются они нечасто; официально — лишь один раз».

См. также: **Павел Басинский**, «Потемшкики сраму не имеют» — «Русский Журнал», 2003, 11 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>.

Вадим Баранов. Много горького. Жизнь и смерть великого писателя на телевизионном экране. — «Литературная газета», 2003, № 49 <<http://www.lgz.ru>>.

«Концепция так называемой „естественной“ смерти [Горького] устарела безнадежно». Цитирую также из *редакционного постскриптума* к статье В. Баранова: «<...> от того, каким будет взгляд на финал его [Горького] судьбы, во многом зависит подход к его личности, гражданскому поведению, к освещению его жизни и творчества в учебной, научной и справочной литературе. <...> „Литературная газета“ убеждена: подобно рода государственная (или общественная) комиссия должна быть создана для вынесения окончательного вердикта о причинах смерти Горького».

Павел Басинский. Базаров. № 1. Обоснование рубрики. — «Топос», 2003, 24 ноября <<http://www.topos.ru>>.

«Базаров — это вам не хухры-мухры! А вы думали...»

Павел Басинский. Базаров. № 2. Эй, там, наверху! — «Топос», 2003, 5 декабря <<http://www.topos.ru>>.

«Подлая штука — среда. Сволочная. Я [Наталью] Иванову уважаю. Она бьется в среде уже несколько десятков лет! Всегда пишет о *ком надо, когда надо и как надо*. Только поймите меня правильно, я не ЦК КПСС имею в виду. Я имею в виду среду».

Павел Басинский. Базаров. № 3. — «Топос», 2003, 8 декабря <<http://www.topos.ru>>.

«На меня Галковский оказал колоссальное влияние. Если бы я не прочитал его тогда, в начале 90-х, я бы не „вылупился“. (Другой вопрос: хорошо ли это, что я „вылупился“?) <...> Когда я прочитал Галковского (именно статьи, „Бесконечный тупик“ был потом), то понял, что плотина между нами и XIX и началом XX века прорвана. Именно поэтому Галковского и не поняли многие и не приняли. <...> В сущности, он спас мое поколение. И следующее тоже. Есть только один момент, с которым я никогда не соглашусь. Это странная, патологическая ненависть Галковского к русской деревне, к мужику».

Ср.: «Солженицын оказал на меня колоссальное влияние. <...> Я очень благодарен Александру Исаевичу, считаю его единственным великим человеком в современной России, человеком, судьба и нравственный подвиг которого, может быть, так же оправдывает наше проклятое время, как подвиг царя-мученика искупил и оправдал позор „революции“ и Гражданской войны. Главное, что среди всеобщего оскотинения и подлости он *на деле* показал, что можно жить иначе. Я уже задумывался: а зачем это все? Ничего нет: нет любви, нет совести, нет нравственного долга. А Солженицын мне, совсем молодому и неопытному человеку, дал *урок*. „Неправда, все это *есть*“. В известном смысле я считаю его своим духовным отцом», — пишет **Дмитрий Галковский**, отвечая на анкету «Писатели о Солженицыне» в «Литературной газете» (2003, № 49 <<http://www.lgz.ru>>).

Павел Басинский. Базаров. № 5. Обэриу — что это такое? — «Топос», 2003, 22 декабря <<http://www.topos.ru>>.

«Недавно перечитывал обэриутов. По необходимости. Без необходимости кто их сегодня перечитывает? Что сказать? Скажу страшное. На 90% все это обыкновенная *графомания*. <...> Самое удавшееся стихотворение Введенского „Элегия“ хорошо тем, что здесь он более или менее возвращается к классическому стиху и перестает „подхихивать“, как в каком-нибудь своем бесконечно длинном (и бесконечно пошлом) стихотворении „Куприянов и Наташа“... <...> Из всех обэриутов самый стоящий тот, кто обэриутом, собственно, не был. Это Николай Олейников. Его „Таракан“ потрясает, как потрясает всегда *поэзия*, разобрать которую на составные части невозможно. О чем это стихотворение? О веселом ужасе цивилизации? Да. О катастрофе научного мышления? Да. О маленьком насекомом, которого зарезали злые дядьки, выкинули в окно, а там его глупая журица склевала? Да. Да. Да...»

Наталья Белевцева. *Standpunkty* и вольности Федора Тютчева. К двухсотлетию со дня рождения. — «НГ Ex libris», 2003, № 44, 4 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>.

«Что нам осталось от Тютчева? Слоган на радио: „Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется... Реклама прибылью вернется. Реклама можно заказать на радиостанции...“. Автор статьи — литературовед, с 1977 по 2000 год — научный сотрудник Музея-усадьбы «Мураново»; хранитель Мемориальной библиотеки, в настоящий момент библиотекарь в Библиотеке-фонде «Русское Зарубежье».

См. также: «У Тютчева есть строки: „Нам не дано предугадать, / Как наше слово отзовется, — / И нам сочувствие дается, / Как нам дается благодать...“ Здесь есть грамматическая ошибка: со-чувствие, о котором говорит Тютчев, пишется через дефис. Это значит — чувствовать вместе, а не то, что, вот, вам плохо, я вам сочувствую», — гово-

рит **Наум Коржавин** в беседе с Николаем Крыщуком: «Дело», Санкт-Петербург, 2003, № 303 <<http://www.idelo.ru>>.

См. также: **Андрей Немзер**, «Мужайся, сердце, до конца. Двести лет назад родился Федор Тютчев» — «Время новостей», 2003, № 228, 5 декабря <<http://www.vremya.ru>>; «Больше, чем кто-либо из русских поэтов, Тютчев имел право сказать — пишу для себя».

См. разные статьи о Тютчеве, а также ответы **Ирины Роднянской**, **Юрия Кублановского**, **Ольги Седаковой**, **Бориса Любимова**, **Никиты Струве**, **Олега Донских** на тютчевскую анкету: «Вестник РХД», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 186 (2003, № 2).

См. также разные ответы на другую юбилейную тютчевскую анкету: «*Toronto Slavic Quarterly*». *University of Toronto*. 2003, № 6 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/06/tyutchev—anketa06.shtml>>.

Дмитрий Бирюков. Религиозно-социологическое учение Бориса Гребенщикова. 50-летию мэтра посвящается. — «Русский Журнал», 2003, 1 декабря <<http://www.russ.ru/culture/song>>.

«У Бориса Гребенщикова есть мечта. Мир должен быть немного лучше, чем он есть на самом деле».

Арлен Блюм. Начало II мировой войны: настроения ленинградской интеллигенции и акции советской цензуры по донесениям стукачей и цензоров Главлита. — «Посев», 2003, № 11 <<http://posev.ru>>.

Разнообразные реакции советских людей на пакт Молотова — Риббентропа и последующие события.

Миран Божович. Истерический материализм Дидро. Перевод с английского Артема Смирнова. — «Логос», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/logos>>.

«Сюжет „Нескромных сокровищ“ — первого романа Дидро, опубликованного в 1748 году, — необычен, но довольно прост. В африканской империи Конго происходят очень странные события: внезапно женщины при помощи своих самых интимных частей тела начинают подробно рассказывать о своей самой интимной жизни в большинстве мест, где собирается публика (в опере, в театре, на балу и т. д.)...»

Владимир Бондаренко. Соккрытие смысла. — «Литературная газета», 2003, № 48, 3 — 9 декабря.

«<...> если ты профессиональный критик и обладаешь хотя бы минимальным вкусом к литературе, ты должен, обязан видеть: нет сейчас никакого кризиса ни в литературе, ни в самой критике».

Владимир Бондаренко. «Припадаю к народу...» — «День литературы», 2003, № 12, декабрь.

«Поразительно, что такой миг полной слиянности с русским народом настиг и такого космополитического, надмирного поэта, каким был Иосиф Бродский. <...> Это стихотворение [„Народ“], свою оду русскому народу из тридцати шести строк, он написал в декабре 1964 года в селе Норенское, Коношского района, Архангельской области, когда еще не было никаких надежд на досрочное освобождение, а тем более на его публикацию где-то в печати».

См. также: **Владимир Бондаренко**, «Взбунтовавшийся пасынок русской литературы» — «Литературная Россия», 2003, № 43, 44, 45, 46 <<http://www.litrossia.ru>>.

Владимир Бондаренко. Явления, маргиналы и кляксы. — «Литературная Россия», 2003, № 48, 28 ноября <<http://www.litrossia.ru>>.

«Даже откровенный минус (а без кляксы — тоже какое может быть дело) не портит общего впечатления [от третьего номера альманаха „Литрос“]. Я имею в виду якобы роман Анны Козловой „Открытие удочки“. <...> Я помню, как в своих статьях Аня разбивала Лимонова, Есина, Полякова и даже своего отца. Но в прозе она показала себя графоманкой. Я даже не касаюсь эпизодов, связанных с Прохановым, это их семейные дела, пусть сами разбираются. Но возьмем все ее порнушные пересказы и сравним с прозой Натальи Медведевой. Медведева во всех эротических сценах искренна, а тут — дешевая клюква, которая интересна разве только двенадцатилетней девочке, насмотревшейся порнофильмов и теперь жаждущей скандалов».

«Это позор для правительства — скрыть от народа такое трагическое событие, как смерть [поэта Юрия] Кузнецова, и умолчать о неординарных литературных явлениях, к коим я отношу выход альманаха „Литрос“».

См. также: «Что же касается „семейных дел“, то я в который раз заявляю, что не связана с Прохановым никакими семейными узами, и кому, как не Бондаренко, об этом знать», — возмущается **Анна Шаргунова (Козлова)** в своем ответе Владимиру Бондаренко («Литературная Россия», 2003, № 51, 19 декабря <<http://www.litrossia.ru>>); тут

же она утверждает, что ее роман «Открытие удочки» является «пародией на социальную жизнь последнего десятилетия в России». *Уважаемая Анна, вас кто-то обманул — пародий на жизнь не бывает.*

Евгений Бунимович. «Не доверяйте моему имени». Беседу вела Линор Горалик. — «Русский Журнал», 2003, 1 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>.

В связи с новой поэтической премией «Московский счет» <<http://www.ftp—culture.ru/projects/moscowscore>>: «Да, те, о ком говорит серьезная критика, — серьезные, достойные авторы, хватит сбрасывать всех с корабля современности. Но корабль современности оказался больше и вместительней, чем его описывают наши критики. И еще оказалось, что издатели понимают это лучше, чем литературные журналы и чем показывают наши традиционные таблицы о рангах. Мы видим, что после советской поэзии и даже постсоветской поэзии — скажем, после поколения, к которому принадлежу я сам, — возникло другое поколение, и оно достаточно внятно, у него свои лидеры и свой голос».

Результаты первого вручения премии: Большая премия — Елене Фанайловой за книгу «Трансильвания беспокоит», Малая премия — Станиславу Львовскому за сборник «Три месяца второго года», Инга Кузнецова получила диплом за «Лучшую дебютную книгу года», особый диплом был вручен Инне Лиснянской, опубликовавшей в прошлом году не один, а два сборника (и оба оказались среди лидеров голосования). Дипломы «Московского счета» получили Иван Ахметьев, Ирина Ермакова, Вера Павлова, Юрий Кублановский, Юрий Арабов, Дмитрий Воденников и Кирилл Медведев.

Дмитрий Быков. Быков-quickly: взгляд-61. Философические письма. Письмо первое. — «Русский Журнал», 2003, 16 декабря <http://www.russ.ru/ist_sovr>.

<...> то, что ожидает нас в ближайшие годы, — никак не новый застой (это бы полбеды), а новое вымораживание имперского типа. Отличия суть многи, но главное мы уже ощущаем: во время застоя жандармы отправляют свои обязанности с чувством вины, сознавая свою неправоту и обреченность системы. Во время заморозков у них есть чувство правоты».

«Чаадаев писал, что вместо истории у нас география. Дудки. Вместо истории у нас метеорология. Все знают, что зимой холодно, но поди ты ее предотврати. В стране, где не работает ни один человеческий закон, люди живут по законам природы».

«Иногда мне кажется (и в новом романе я разрабатываю именно эту версию), что орден русских патриотов — тайная, законспирированная организация, нечто вроде русского масонства, и только на самых высоких ступеньках посвящения известно, что главной задачей истинного патриота является именно и только истребление народа до тех пор, пока не останется один орден меченосцев».

Мацей Войтышко. Булгаков. Перевод Леонарда Бухова. — «Новая Польша», Варшава, 2003, № 9.

Сцена № 5: Николай Эрдман на Лубянке. Автор пьесы — польский режиссер, писатель, драматург, профессор варшавской Театральной академии. В списке действующих лиц: Василий Качалов, Ольга Книппер-Чехова, Елена Булгакова, Ольга Бокшанская и другие. А Булгаков — нет (как нет Пушкина — в булгаковских «Последних днях»).

Выборы книг. Тур первый. — «Русский Журнал», 2003, 5 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>.

Говорит **Модест Колеров:** «С большим опозданием я начал читать Галковского „Бесконечный тупик” — считаю это значительным произведением последних лет. <...> Рынок интеллектуальной литературы давно просчитан. Рынок такого рода состоит из 600 — 800 экземпляров продаж в Москве, 200 — 300 — в Петербурге и 200 — на всю страну. Это 1200 читателей на страну. Качественной литературы выходит много, но она малотиражна. Это не часть рынка, а часть научной резервации».

Говорит **Александр Вознесенский:** «Пару месяцев назад я попросил друзей из „Амфоры” дать мне переизданную у них научно-популярную книжку Стивена Хокинга „Краткая история времени”. По прочтении оказалось, что примерно таких представлений о Вселенной я придерживался и раньше! <...> В России у нас все годы последние (ну, в смысле — „последние времена”!). И вот лет за десять „последних” я могу назвать не так много действительно важных и заметных вещей. Ну, смогу вспомнить такие вещи, как „Бесконечный тупик” Галковского (тоже ведь, как ни крути, «нон-фикшн»...), хотя он написан раньше <...>».

См. также: «<...> назову Д. Галковского „Бесконечный тупик”. Книга написана давно, издана на средства автора. Книга крайне важная для российского самосознания — книга о русских и для русских, что само по себе очень редкое и важное событие...» — говорит **Константин Крылов** («Выборы книг. Тур второй» — «Русский Журнал», 2003, 6 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>).

См. также: «<...> все-таки вольно или невольно принятая автором [Галковским] на себя роль „анфан-террибль” русской литературы и культуры в целом чем дальше, тем сильнее препятствует раскрытию/развитию/реализации его потенциала», — считает **Владимир Винников** («День литературы», 2003, № 12 <<http://www.zavtra.ru>>).

См. также: «Грубо говоря, вот завтра, допустим, Бродского забудут. Ну не Бродского, а, допустим, Маканина забудут. Какой „Андерграунд”, чаво? „Герой нашего времени” — это мы знаем, в школе проходили, а „Андерграунд”? Да это ж гениальная статья Дмитрия Евгеньевича Галковского, прах коего покоится на Новодевичьем кладбище! А Маканин-то тут при чем?» — пишет **Павел Басинский** во втором выпуске своей новой рубрики «Базаров» («Топос», 2003, 5 декабря <<http://www.topos.ru>>).

См. также: **Вадим Нифонтов**, «Дети Марии. Триумф и катастрофа „Бесконечного тупика»» — «Русский Удодъ». Вестник консервативного авангарда. 2003, № 19, декабрь <<http://traditio.ru/udod19>>.

См. также «Святочный рассказ № 13» **Дмитрия Галковского** в настоящем номере «Нового мира».

См. также статью **Аллы Латыниной** о «Пропаганде» **Дмитрия Галковского** (Псков, 2003) в следующем номере «Нового мира».

Нина Горланова. «Властенко». О Юрии Власенко. — «Уральская новь», Челябинск, 2003, № 17 <<http://magazines.russ.ru/urnov>>.

Мемуар: «<...> с алкоголиками нужно вовремя прекращать отношения. А я по глупости не готова была еще к этому, жалела и прочее».

Борис Гройс. «Литература съедена кинематографом». Беседу вел Андрей Миросшкин. — «Книжное обозрение», 2003, № 51, 15 декабря <<http://www.knigo-boz.ru>>.

«<...> для меня советская, сталинская эпоха — один из героических периодов развития массовой культуры. Массовая культура была использована государством для перестройки всей жизни страны, для перестройки всего мышления людей. Это был совершенно уникальный исторический эксперимент».

«<...> современные, в особенности визуальные медиа очень многое отбирают у книги. Отбирают нарратив, который все больше уходит в кино, в телевидение. Отбирают актуальность, которая уходит в телевидение и в Интернет. Отбирают — в известном смысле — даже голос автора, который может быть записан на CD. И в этом смысле, когда я смотрю на книгу, когда я смотрю на ярмарку «non/fiction», я ощущаю себя в привилегированной позиции, потому что единственная форма текстовой, книжной продукции, которая не была „съедена” визуальной медиа-культурой, — это философский дискурс. <...> Вообще, я думаю, что книга должна сосредоточиться на своей „книжности”».

Здесь же — фрагменты лекции **Бориса Гройса** «Феноменология медийного мира».

Владимир Губайловский. 3,68. — «Русский Журнал», 2003, 28 ноября <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Ему [Пелевину] удастся так крепко стянуть узлы и придать своим выкладкам такую видимость доказательности, что читатель, всегда чувствующий, что все в нашей стране связано с нефтью, все пахнет ей, а она пахнет смертью (это и есть тот первичный опыт, который интерпретирует и на который опирается в данном случае Пелевин), — этот читатель открывает рот, и изо рта вырывается то самое „ах!” мгновенного узнавания. И не верить Пелевину уже нельзя».

См. также: **Алла Латынина**, «Потом опять теперь» — «Новый мир», 2004, № 2.

Кирилл Дальковский. Владимир Ашкенази на страже мира. — «Русский Журнал», 2003, 19 декабря <<http://www.russ.ru/culture/song>>.

«<...> в Москве состоялись концерты **Владимира Ашкенази** с программой „Музыка и диктатура”. Идеей проекта Ашкенази делился в свой предыдущий приезд: сопоставить произведения, написанные по государственному заказу, с теми, что рождались по велению сердца. <...> И хотя Ашкенази утверждает, что значительная часть киномузыки **Шостаковича**, „где нет ничего, кроме тоники и доминанты”, создана лишь для того, чтобы бросить кость властям, на деле музыкант доказал обратное: в соединении с видеорядом эта музыка оказывает исключительно сильное воздействие. Таким образом, идея *противопоставления* „официальных” сочинений „неофициальным” сработала неожиданным образом: сочинения **Шостаковича** и **Прокофьева**, написанные по государственному заказу, не в меньшей степени отражают их гений, нежели музыка, которую они писали для себя».

Ирина Дедюхова. Я обвиняю! — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 354, 21 декабря <<http://www.lebed.com>>.

«Это был [либерал-]фашизм, а шли мы „тернистым путем реформ“ вовсе не к светлому будущему, а к геноциду собственного народа. <...> Фашисты-„демократы“ больше никогда не вернуться. Они уедут в глушь, в горы Швейцарии <...> Я радуюсь! На сегодня фашизм в России остановлен. Он не уничтожен, пока мы до конца не разберемся со своими мыслями, эмоциями и чувствами. Но главное, на сегодня создан механизм, когда с фашизмом и геноцидом собственного населения можно разобраться демократическим путем, без насилия».

Вероника Долина. «Мы переживаем экстренное прощание с иллюзиями». Беседа вел Антон Помещиков. — «Газета», 2003, 17 декабря <<http://www.gzt.ru>>.

«Недавно в одном месте в одно время я увидела вереницу своих литературных сверстников, вполне успешных, и растроганно сказала: это небытие какое-то. Как на небесах. Душа так размякла — неприлично».

Борис Дубин. Массовые коммуникации и коллективная идентичность. — «Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии». 2003, № 1 (67), сентябрь — октябрь.

«<...> как „самый читающий народ в мире“». Для меня интерес данной брежневской формулы состоит сейчас не столько в том, что она демонстрирует остаточную мифологию советской исключительности, а в том, что в ней, во-первых, утверждалась высокая роль ценностных символов и самоопределений именно интеллигенции, а во-вторых, фиксировалось и обобщалось вполне реальное воздействие данной мифологемы на поведение, установки, оценки широких масс людей».

Жестокий гуманизм. Беседа вел Павел Нуйкин. — «Литературная газета», 2003, № 49.

«*Наум Коржавин.* <...> Смертная казнь — вещь плохая, но... Вообще государство — вещь плохая, но попробуй проживи без него. <...>

Георгий Владимов. Я вообще против смертной казни.

Н. К. А я вообще не против ничего и ни за что. И вообще я против любого абсолюта. <...>

Г. В. Смертной казни не нужно человеку. Это как-то неправильно.

Н. К. Вообще нужно, чтобы люди были другими. <...>»

Марина Журинская. Может ли христианин читать фантастическую литературу? — «Фома». Православный журнал для сомневающихся. 2003, № 3 (17) <<http://www.fomacenter.ru>>.

«<...> я скорее склонна утверждать, что только христианин фантастику читать и может, другое дело — захочет ли».

«<...> читая в наши дни эту прекрасную антиутопию, видишь: он умный и хороший, Бредбери-то, но Господь и умнее, и дальновиднее, и больше любит людей».

«<...> наличие или отсутствие во вселенной других разумных существ не имеет никакого отношения к делу нашего спасения, поэтому об этом в Библии ничего и не сказано <...>».

Автор — главный редактор журнала «Альфа и Омега».

Владимир Забалуев, Алексей Зензинов. Эминем-1. Белый кролик и культурная пандемия. — «Русский Журнал», 2003, 16 декабря <<http://www.russ.ru/culture>>.

«<...> не так давно выдающимся поэтом Эминема назвал лауреат Нобелевской премии по литературе ирландский поэт Шеймус Хини. С одной стороны, конечно, нобелевских лауреатов у нас как грязи, среди них — куча левых, и в политическом, и в жаргонном смысле; мало ли что сказал один из этой сомнительной компании! Но тут — случай не вполне рядовой».

Аркадий Застырец. *MATERIES*. Книга о вещах и веществах. — «Уральская новь», Челябинск, 2003, № 17.

Александрит. Асфальт. Бархатная бумага. Вата. Ветер 1959 года. Воздух. Гидроактивная ракета. Глина. Дао. Деньги. Древесина. Зеркала. Золото. Латунный медальон. Мой маленький серый медведь. Нафталин. Неон. Непромокаемая ткань. Пепел. Песок. Тьма. Фольга. Хаки. Цемент. Эпилог.

Михаил Золотоносов. «ГБ ФИНАЛ». Литература путинского периода. — «Дело», Санкт-Петербург, 2003, № 305 <<http://www.idelo.ru>>.

«Литература, которая в последние десять лет в целом монотонно деградирует, сейчас, в связи с последними событиями, может испытать некий подъем, вызванный генетической для русской литературы живой реакцией на политическое давление». Далее — о Войновиче и Сорокине.

Андрей Zubov. Формула примирения. — «Посев», 2003, № 11.

О национальном примирении: «если большевизм — это абсолютное зло, то белая власть — хотя и относительное, как все человеческое, но благо»; а «примирение со злом пагубно само по себе». Также: «все события ужасного XX столетия — результат деяний исторической России».

Здесь же — статья **Александра Ципко** «Хотят ли русские национального примирения?»: «<...> сегодня русские во многом расплачиваются за проигрыш белых в 1918 — 1920 гг. <...>».

Любопытно, что Андрей Zubov всегда — в многочисленных статьях и выступлениях — призывал к установлению правопреемства по отношению к дореволюционной исторической России, а Александр Ципко сожалеет, что новая Россия «не восстановила преемственность с Россией Учредительного собрания, с первой русской республикой».

Андрей Zubov. Возвращение бесов. — «Посев», 2003, № 12.

«Я убежден: то, что свершилось в России в 1988 — 1991 гг., было чудом». Бесы имеются в виду — *красные*.

И еще не известно, что он скажет. Александру Исаевичу Солженицыну 30025 дней (или приблизительно 85 лет). — «Новая газета», 2003, № 92, 9 декабря.

«Это — заметки из моего „Дневника русского читателя“, записанные с ноября 1962 года по сегодня. Часть из них (самая наименьшая) была высказана публично...» (**Юрий Карякин**). Например: «*Ноябрь 1964-го. Рязань.* А. И. С. подтвердил мою догадку: „Один день...“ писался вслух. Стало быть, и читать-понимать его тоже надо вслух».

Константин Иванов. История неба. — «Логос», 2003, № 3.

«Прагматичное объяснение, основанное на том, что наблюдения за движениями небесных светил помогали решать две насущные задачи — определение географического местоположения и ведение календаря, только отчасти помогают понять эту устойчивую традицию „читать“ небо. <...> В этой работе мы проанализируем ряд таких причин, связанных с особым визуальным статусом небесных объектов».

Имба-писальня нобелевского лауреата. Беседу вел Григорий Кружков. — «НГ Ex libris», 2003, № 43, 27 ноября.

«Это интервью я взял у нобелевского лауреата по литературе 1995 года Шеймаса Хини во время своей недавней поездки в Дублин, организованной Ирландским поэтическим обществом» (**Григорий Кружков**). Говорит **Шеймас Хини**: «В 1970-х годах я много читал Данта и Мандельштама. — *Существуют ли адекватные переводы Мандельштама на английский язык?* <...> — Помню свое первое впечатление. Я почувствовал некое головокружение, но почти ничего не понял. Это были переводы Мервина. Свободные, без рифм и метра. Мне понравилось, в общем, но Джозеф предостерег меня, сказав, что переводы неправильные. Потом была книга моего хорошего знакомого из Беркли, Роберта Кейси, он переводил в рифму, но это едва ли можно назвать поэзией. Он перевел „Камень“ целиком, с примечаниями и комментариями, необычайно полезными. Но если честно... Я понял, что Мандельштам гениальный поэт, лишь когда прочитал его прозу. То же самое с Джозефом [Бродским], между прочим. — *Тед Хьюз сказал о переводах Мандельштама (я слышал это от Дэниела Вайсборта): „По-английски тут ничего не остается“.* — Большого впечатления действительно не остается. Взять, например, стихотворение об Адмиралтействе или „Нотр-Дам“ из „Камня“: чувствуется, что стихи состоялись, но что-то ускользает. — *Может быть, просто большого поэта должен переводить поэт равного масштаба?* — Джозеф однажды сказал, что это мог быть Йейтс, но я не думаю, что он прав. В Мандельштаме есть, по-моему, нечто от Хопкинса, когда фонетика слова и интеллект зажигаются друг от друга и начинают играть всеми красками. Я бы сказал, это скорее джойсианская поэтика, чем йейтсианская. Впрочем, мое невежество в русском не дает права судить».

Алексей Изуверов. Люди и фильмы: стратегия конфликта. — «Завтра», 2003, № 51, 16 декабря <<http://www.zavtra.ru>>.

«На фоне тотальной фрустрации населения из русской культуры (прежде всего у „важнейшего из искусств“) экспроприрован мобилизующий фактор. Эта экспроприация и является единственно внятным продюсерским заказом».

К 85-летию Николая Тряпкина. — «День литературы», 2003, № 12, декабрь.

«За великий Советский Союз! / За святейшее братство людское! / О Господы Всеблагый Иисус! / Воскреси наше счастье земное» («Вербная песня», 1994). И другие стихи 90-х.

Здесь же: «Иные его друзья этого не принимают и не понимают, они вообще готовы перечеркнуть у Николая Тряпкина все стихи девяностых годов. <...> Знаю, что кое-кто из именитых патриотов постарается не допустить целый красный цикл, десятки блестящих поэтических шедевров, в его будущие книги, тем более и родственники пре-

пятствовать этому урезанию не будут. Но писались-то с болью в сердце эти строки не именитыми патриотами и не осторожными родственниками, писал их истинный русский национальный поэт Николай Тряпкин» (Владимир Бондаренко).

Виктор Канавин. Музыкант в тылу писателей. — «Итоги», 2003, № 49 <<http://www.itogi.ru>>.

Говорит пианист **Николай Петров**, член жюри Букеровской премии: «Прекрасную книгу Рубена Давида Гонсалеса Гальего „Белое на черном“, которая мне очень нравится, вообще трудно назвать романом... <...> Я прочитал ее с огромным удовольствием, но, наверное, больше к ней не вернусь, чтобы не подвергать опасности свою нервную систему. И хотя роман победил с перевесом всего в один голос, мне кажется, эта книга действительно лучшая в списке, она в десять раз более талантлива, чем „Как закалялась сталь“. Однако благосклонности среднего читателя роман Рубена Давида Гонсалеса Гальего скорее всего не завоеует».

См. также: «Было бы желание — [недостатки] сыщутся и в „Братьях Карамазовых“, на отсутствие которых в списке соискателей жаловался в начале букериады Николай Петров. Формула выдающегося пианиста была подхвачена СМИ — если вдуматься, порождает она два вопроса. Во-первых, зачем нужны *еще* одни „Братья Карамазовы“? А во-вторых, что бы ощутил Петров, услышав после своего концерта: *играл не Святослав Рихтер и не Владимир Горовиц?*» — пишет **Андрей Немзер** («В своем пиру похмелье. Букер-2003 как зеркало литературного сообщества» — «Время новостей», 2003, № 229, 8 декабря <<http://www.vremya.ru>>).

Иван Викторович Касаткин. Девушки и смерть. — «Топос», 2003, 3 декабря <<http://www.topos.ru>>.

«Бессмертие русских девушек, если иметь в виду их жизнь в литературе, оказалось, к сожалению, только временным. Последняя прекрасная душа мелькнула, кажется, в платоновском рассказе „Река Потудань“, в котором описывается, как я писал однажды, на мой взгляд, уже некая потусторонняя жизнь».

Всеволод Катагощин. Черные святые. К вопросу о сущности коммунизма. — «Вестник РХД», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 186 (2003, № 2).

«Это вечная идея, если хотите — вечная лжеидея. <...> Безусловно, у этого соблазна бывают приливы и отливы. Сейчас мы живем во времена последнего, но, боюсь, скоро грянет новая волна».

Марк Качурин. Чернышевский в романе Набокова «Дар». — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 233 <<http://magazines.russ.ru/nj>>.

«В этом отношении Набоков следует за Н. С. Лесковым, статья которого „Николай Гаврилович Чернышевский в его романе „Что делать?“ (1862) явилась первым откликом на публикацию произведения. <...> Следов чтения статьи Лескова в романе не обнаруживается. Но художественное наследование идет неисповедимыми путями, не требуя обязательно прямых контактов. И во всяком случае, главная мысль Лескова или мысль, которая вошла в сознание Набокова просто в силу своей справедливости, сохранена и развита в романе».

Андрей Квакин. Клуб самоубийц. Документальная историко-психологическая драма. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 233.

«Документы из Коллекции Сергея Н. Палеолога Гуверовского Архива войны, революции и мира Стэнфордского университета США позволяют по-новому взглянуть на положение русских молодых эмигрантов в Югославии после окончания Гражданской войны в России. Не только обычная для беженцев во всех странах ностальгия и тяготы адаптации в инокультурной среде, но и потеря смысла собственной жизни привела вчерашних молодых участников антибольшевистской борьбы к созданию нелегальной организации с многозначным названием „Клуб самоубийц“...»

Николай Коляда. Птица Феникс. Комедия в двух действиях. — «Уральская новь», Челябинск, 2003, № 17.

Трехэтажная дача «нового русского» в глухой сибирской деревне. Летний Театр во дворе этой дачи. Наши дни. Действующие лица — актеры и актрисы, а также *пятьдесят разнополых детей*.

Андрей Кончаловский. «Кино умерло, но притворяется живым». Беседу вел Александр Липков. — «Известия», 2003, № 220, 29 ноября.

«Документальное кино, как мне кажется, сегодня становится важнее художественного. <...> Художественное кино умерло. Оно только притворяется живым, но уже потеряло ту роль, которую играло четверть века назад. Я говорю о роли властителя дум, аналогичной той, какая была в XIX веке у художественной литературы».

«<...> о роли кино в XX веке и сейчас. Тогда кино было инструментом познания, открытия мира. Режиссеры были герои, великие капитаны, отправляющиеся в нехоженые дали, чтобы привезти нам неведомые дотоле истины, — Кук, Беринг, Лаперуз, Америго Веспуччи, Колумб... Висконти, Пазолини, Феллини, Бунюэль, Бергман, Вайда, Антониони, Калатозов, Куросава — для зрителя они все были герои, первооткрыватели. И сам зритель вместе с ними открывал мир. <...> Если бы Феллини сегодня снял очередной шедевр, он не нашел бы зрителя».

«Если сегодня в Музее Пушкина у уважаемой мной Ирины Александровны Антоновой развешана выставка Энди Уорхола или какого-то знаменитого фотожурналиста, мне кажется, что ей должно быть неловко. Когда я спрашиваю ее: „Неужели этому место в Музее изящных искусств?“, она виновато опускает глаза: „Знаете, Андрей Сергеевич, ведь ходят, смотрят“. Действительно, Уорхол был талантливый промоутер, знаменитый своим белым париком, изысканным гомосексуализмом и умением создавать мифы, но художник ли он? Видеть его в залах на Волхонке мне смешно».

«Я не очень хороший бизнесмен, не очень хороший организатор. Я мечтал бы, чтобы меня носила на руках какая-то большая женщина с большими сиськами, феллиниевская Сарагина, только очень богатая. Она бы меня баюкала и спрашивала: „Сколько денег, Андрончик, тебе нужно на следующий фильм?“ Такого, к сожалению, нет».

Наум Коржавин. Либерализм со взломом. Беседу вел Николай Крышук. — «Дело», Санкт-Петербург, 2003, № 303.

«Сталинистами в то время [после войны] были почти все. И Самойлов, и Слуцкий. Только они считали, что они настоящие коммунисты, а все, кто не настоящие, руководят. <...> От коммунизма я отказался только в 57-м году».

«Меня сослали в деревню на Урале. К деревенской жизни я был мало приспособлен. Пытался, конечно, работать, хотя в основном жил на деньги, которые присылали родители. Но деревня, как она жила, ее люди — это во мне осталось на всю жизнь. Деревня и завод во время войны. <...> Вот, кричат, русские, работать мы не умеем! Как не умеем? Я на заводе работал. Единственным русским, который не умеет работать, был я. А остальные умели, и еще как!»

Ср.: «В дни, когда решение [Коржавина эмигрировать] стало бесповоротным, я встретил Бориса Слуцкого, горько посетовал:

— Представляете, Эмка — и уезжает! А ведь более русского человека я просто не знаю!

— Да, — ответил Слуцкий со своей обыкновенной интонационной важностью. — Он не только русский, но и советский. Даже больше, чем Сталин», — вспоминает **Станислав Рассадин** («Песня домашнего гуся. Этот отсталый Коржавин...» — «Новая газета», 2003, № 94, 15 декабря <<http://www.novayagazeta.ru>>).

См. также беседу **Наума Коржавина** с Павлом Нуйкиным («ГражданинЪ», 2003, № 4, июль — август <<http://www.grazhdanin.com>>).

См. также: Алла **Латынина**, «Андерсеновский мальчик — роль навсегда» — «Новый мир», 2003, № 12.

Алексей Красноперов. «Нет, ребята, всё не так...» Цыганская тема в творчестве Владимира Высоцкого. — «Луч». Литературный журнал. Учредители — Союз писателей России, Союз писателей Удмуртии. Главный редактор Н. Малышев. Ижевск, 2003, № 1-2, 3-4, 5-6.

«Впервые к цыганской теме в своем творчестве Владимир Высоцкий обратился в 1958 году, еще будучи студентом Школы-студии МХАТ. Вызвано это было чисто „производственной“, как принято говорить, необходимостью...»

Дмитрий Кропотов (Челябинск). Марксизм и второе начало термодинамики: ошибка диалектического материализма или его величайший триумф? — «Левая Россия». Политический еженедельник. [Left.ru издается на общественных началах группой социалистической интеллигенции.] 2003, № 21 (97), 3 декабря <<http://www.left.ru>>.

«Основоположники марксизма, как и в большинстве случаев, смотрели просто гораздо дальше самых выдающихся представителей частных наук и, на основе знания ими самых широких, основополагающих принципов диалектического материализма, указывали на недоработки в конкретных проблемах <...>».

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...

Константин Крылов. О благе саботажа. — «Русский Журнал», 2003, 1 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>.

«Не иллюзорно в путинском режиме было ровно одно непроговариваемое обстоятельство: Путин пришел к власти благодаря достаточно внятным знакам, подаваемым рус-

скому народу, что он *затянет*, как можно более затянет, исполнение программы уничтожения России и русских людей. Народ (понимающий на том же подсознательном уровне, каковы альтернативы) проголосовал именно за это. Естественно, ни о каком национальном возрождении речь не шла. Речь шла, если говорить именно о реальностях, реальностях непроговариваемых, неудобных и неприличных, но тем не менее всеми понимаемых, о том, что Путин берется *саботировать* программу уничтожения русских, равно как и все программы, направленные на *быстрое* уничтожение России». По материалам заседания Консервативного пресс-клуба от 19 ноября 2003 года <<http://www.conservative.ru>>.

См. также: Константин Крылов, «„Взорваль“. Response интеллигенции на challenge истории» — «НГ Ex libris», 2003, № 46, 18 декабря <<http://exlibris.ng.ru>>.

Диакон Андрей Кураев. «Мы не одни во Вселенной!» Беседовали Роман Маханьков и Мария Зонова. — «Фома». Православный журнал для сомневающихся. 2003, № 3 (17).

«Получилось так, что я сначала признал существование сатаны и ужаснулся реальности сатанинского замысла о нас <...>. Пришло осознание Христа как Спасителя».

Валентин Курбатов (Псков). Время жить и время умирать. — «Литературная Россия», 2003, № 50, 12 декабря.

<...> „Царь-рыба” оканчивается опасно усталой нотой».

Валентин Курбатов (Псков). И это всё мы. — «День литературы», 2003, № 12, декабрь.

«Чем больше мы будем говорить „русский, русский”, чем активнее развивать в себе это отдельное, генетически очищенное самосознание, чем настойчивее будем подчеркивать индивидуальность культуры, тем, пожалуй, скорее и станем „слишком русскими”, как они только „слишком французы” и „слишком немцы”, то есть перестанем быть европейцами, а вернее и глубже сказать — христианами». *Это — размышления критика после перечитывания «Подрустка».*

Олег Лекманов. О том, как встретились два одиночества. — «Toronto Slavic Quarterly». University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. 2003, № 6 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/06/index06.shtml>>.

О том, какая история приключилась с поэтом Александром Ивановичем Тиняковым (1886 — 1934) из-за его псевдонима — «Одинокий». «А и с чего, спрашивается, было расстраиваться да права качать? Ведь, согласно известному словарю псевдонимов Масанова, в различных газетах и журналах, не считая Тинякова, публиковались девятнадцать „Одиноких”. И плюс одна „Одинокая»».

См. эту же статью: «Литература», 2003, № 47, 16 — 22 декабря.

Алексей Машевский. Уроки царя Эдипа. — «Литература», 2003, № 45, 1 — 7 декабря <<http://www.1september.ru>>.

<...> стремление к истине опасно, болезненно. Просто потому, что первая истина, которую мы узнаем, — это правда о себе самих: мы — грешники, мы виноваты (пускай и без вины виноваты, но эта *без вины виноватая вина* все равно абсолютно реальна), и мы умрем».

Александр Мелихов — Борис Кузьминский. Гордый замысел. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 11 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

Говорит Борис Кузьминский: «Новые правила критики до сих пор не возникли. А что касается критики „советской”, то я отношусь к ней с большим уважением. <...> Скажем, в „Литературке” публиковался Сергей Чупринин, он ведь тоже был советский критик, или Наталья Иванова, они были крупными фигурами на тогдашнем фоне, и я до сих пор их глубоко уважаю. Но потом, уже в „Независимой”, мне показалось, что неплохо бы что-то помянуть — просто ввести некоторые лексические знаки, которые раньше не были приняты в текстах такого рода, для того, чтобы „сдвинуть” привычную аудиторию. Если здесь и были элементы эпатажа, то достаточно конструктивного. Изначально все эти приемы использовались просто как традиционное средство отстранения темы, которое помогает читателям взглянуть на вещи свежим взглядом. Начиналось это в „Независимой газете”, а в газете „Сегодня” как бы расцвело пышным цветом, достигло апогея, а к концу успело войти в стадию некоторой исчерпанности. Так что „Сегодня” — это проект, который, несмотря на то что он был искусственно прерван, в каком-то смысле и сам исчерпал себя. Что же касается снобизма — именно сейчас видно, что такое по-настоящему снобистское отношение к литературе — на примере нового поколения критиков, которым около тридцати, двадцати пяти... Снобистское отношение к литературе — это как раз то, что теперь демонстрируется в подавля-

ющем большинстве СМИ: общеполитических, развлекательных, которые пишут заодно и о словесности, — не просто ирония или там сарказм, нет, люди элементарно *не читают* рецензируемых текстов, они заранее знают, что они скажут о той или иной книге, руководствуясь тем, что они знают об авторе, об издательстве, в котором книга вышла, или в лучшем случае собственными умозрительно-концептуальными соображениями о том, какой *должна* быть литература. <...> Подход инвесторов к культуре — так называемый остаточный принцип. Частные СМИ, которые существовали в ельцинскую эпоху, использовались владельцами прежде всего как средство давления на политических противников и вербовки новых сторонников, поэтому культура там присутствовала для статуса, для имиджа. Пример тому — газета „Сегодня“, которая финансировалась Владимиром Гусинским: там был действительно очень сильный отдел искусств — чтобы производить хорошее впечатление на интеллигенцию. Но как только состоялись выборы 1996 года и основные цели Гусинского были так или иначе достигнуты, отдел искусств прикрыли... Если заострить, то частные СМИ культура искренне интересуется только со следующих сторон — это премии, то есть деньги, это смерть какого-нибудь деятеля культуры или скандал. <...> Скажем, в газете „Коммерсантъ“ это любимый жанр — некролог: если кто-нибудь умрет, о нем оперативно напишут. Когда я работал в „Коммерсанте“, то, сколько бы я ни говорил своему руководству, что вот на эту книгу надо бы поместить рецензию, мне ни разу не сказали: пиши. Фактически ни разу. Выход книги не являлся новостным поводом. Сейчас это немножко иначе, сейчас там есть колонка про книжки, но было вот как: литература — это когда премию вручают, когда кто-нибудь умирает или когда разражается скандал, имеющий весьма косвенное отношение к литературе как таковой... <...> Вот где реально снобистское отношение, глубинное. На самом деле это даже ненависть к культуре, ненависть, классовая зависть, которую, в общем, олигархи, наверно, испытывают, и это каким-то образом через деньги исполнителям передается. Я это говорю с полной ответственностью, потому что „Сегодня“ тоже была олигархической газетой, и я лишь потом это почувствовал, что мне что-то омерзительное передалось с этими деньгами. Но для меня-то еще „Сегодня“ была не первым местом работы. А очень многие люди, которые вместе со мной служили в „Сегодня“ и которые попали туда совсем в юном возрасте, — они изуродованы на всю жизнь, они не могут до сих пор найти своей ниши, своего места и не найдут по настоящему никогда. Так что про газету „Сегодня“ напрасно порой говорят как про золотой век какой-то — это было совсем не так изнутри, может быть, даже лучше бы такой газеты и не было, я сейчас так думаю».

Наталья Менчинская. Главы из книги воспоминаний. — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2003, № 6 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/06/index06.shtml>>.

Цитирую — из главы «Мария Николаевна Изергина и ее Дом в Коктебеле»: «Значительно позже, в 80-е годы, в ДOME появился Евгений Рейн <...>. Поначалу, еще в доперестроечные времена, он был очень оживлен, остроумен, неистощим на занимательные истории из литературного и театрального мира. Стихи его почти не печатались, он нуждался в аудитории и с удовольствием их читал. М. Н. считала его настоящим поэтом, хотя и не очень ей близким. <...> Странно, но с началом „перестройки“, когда признали Иосифа Бродского и Евгения Рейна стали активно печатать, он стал широко известен, смог выезжать за границу, — то есть, казалось бы, жизнь его изменилась к лучшему, он, продолжая бывать на Веранде, перестал вести оживленные беседы, читать стихи, острить. Сидел грустный, нахохлившийся, полусонный. Казалось, он не рад своей популярности, возможности путешествовать, печататься, выступать. Все пришло, но „когда это было уже не нужно“. М. Н. грустно, но спокойно говорила, что за свою долгую и не слишком счастливую жизнь она пришла к заключению, что сбывается все, о чем мечтаешь, но тогда, когда это уже не нужно. А может быть, что касается Рейна, это впечатление было обманчиво. Просто у него уже не было потребности высказываться и читать стихи в столь узком кругу».

Метод «скрытого человека». Беседу вел Александр Вознесенский. — «*НГ Ex libris*», 2003, № 45, 11 декабря.

Говорит Юрий Мамлеев: «У меня вот в романе [„Мир и хохот“] этот ученый Лютов говорит герою: вообще-то лучше всего было бы пересадить вам голову вашей матушки — и ей будет лучше, и вам. Но этого в книжке нет — почему-то, по какому-то странному совпадению, эта фраза — единственная — в книге случайно пропущена. В компьютерном варианте это есть. <...> Но почему он говорит: „и ей будет хорошо, и вам“? Непонятно ведь, кто в результате вообще получается, какая личность, какое „я“. Мозг все-таки считается центр человека... Так что я не обращаюсь к каким-то глупым или непроверенным моментам».

Пресвященнейший епископ Бостонский Михаил. Творите жизнь без суеты. — «Экономические стратегии», 2003, № 5 <<http://www.inesnet.ru>>.

«Возможно ли совершенное общественное устройство, если человек грешен?»
«<...> демократия — тоже своего рода „утопия“».

«Мне не нравилось, как обтягиваются эти выборы». Беседу вели Николай Александров и Наталья Кочеткова. — «Газета», 2003, 9 декабря.

Говорит **Борис Акунин** — в связи с выходом его нового романа «Алмазная колесница»: «<...> это, возможно, последний для меня детективно-приключенческий роман, потому что я утомился от этого жанра. Или достиг в нем своего потолка. <...> О деятельности японского военного агента полковника Акаси, о его связях с эсерами, большевиками, финскими, польскими и кавказскими боевиками написано немало исследований. Многие из читателей вашей газеты, наверное, помнят советский телесериал „Джон Графтон“ (кажется, фильм назывался так), в котором герои-революционеры переправляют в Россию из Англии транспорт с оружием. История эта подлинная. Только в фильме умолчали о том, что оружие это было куплено на деньги японского генштаба. Успешный эксперимент германцев под названием „Как вывести из войны противника при помощи одного plombированного вагона“ — не более чем развитие ноу-хау, впервые разработанного японцами в 1904 — 1905 гг.»

См. также: **Игорь Шевелев**, «Эраст Фандорин в Японии» — «Московские новости», 2003, № 47 <<http://www.mn.ru>>; «Самое простое — думать, что книга поступила в продажу в день выборов в российский парламент. На самом деле — в день нападения японцев на Пёрл-Харбор». Здесь же — беседа **Бориса Акунина** с Игорем Шевелевым.

См. также беседу **Григория Чхартишвили** с Ольгой Кабановой: «„Б. Акунин“ позволил мне жить так, как давно хотелось» — «Известия», 2003, № 234, 23 декабря.

См. также: **Анна Гордеева**, «Любовь япониста. Новый роман Бориса Акунина написан в жанре квайдан» — «Время новостей», 2003, № 237, 19 декабря <<http://www.vremya.ru>>.

Алексей Невзоров. Десять лет вместе. — «Русский Журнал», 2003, 12 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>.

«Изменение структур российской власти, связанное с развалом СССР, оказалось мощной этногенерирующей силой. Скорости образования новых этнических объединений, связанных с властью, оказались очень высоки. Правящая консорция в лице „многонационального народа власти“ неожиданно для себя стала стремительно превращаться в субэтнос, понимаемый как единственный „реальный субъект“ Конституции. Что нашло прямое отражение в тексте Основного закона: согласно статье 3.1 — „Носителем суверенитета и единственным источником власти является ее многонациональный народ“. Это опровергает расхожие утверждения, что формула „многонациональный народ России“, провозглашенная в этой Конституции, „абсурдна и антинаучна“. Другое дело, что она „не выражает интересов никаких коренных народов России“ вообще и русских в частности. Такая самоидентичность „народа власти“ породила вопиющий парадокс. Русские, составляющие большинство основного коренного населения, в Конституции РФ оказались никак не обозначены. Более того, в тексте Основного закона отсутствует само слово „русский“! Русский народ не только не имеет сейчас своих законодательных и исполнительных органов власти, он политически и юридически не существует, а потому не представлен ни в самой России, ни в международных организациях».

См. также: «В итоге мы получили не выстраданный в ходе своей истории — в качестве ответа на собственные вызовы — Основной закон, а сложенную из чужих кубиков, как конструктор *Lego*, Конституцию», — пишет **Наталья Серова** («Российская Конституция как симулякр англосаксонской культуры» — «Русский Журнал», 2003, 11 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>).

Андрей Новиков-Ланской. *Ab ovo*, или Немного античности, говоря по-русски. — «НГ Ex libris», 2003, № 45, 11 декабря.

«Отрадный факт: актуальные поэты стали издаваться в твердом переплете, в качественном оформлении и относительно большим тиражом». Это — о новой книге Максима Амелина «Конь Горгоны» (М., «Время», 2003). *Которую составитель данной «Периодики» выдвигал на соискание премии имени Аполлона Григорьева.* Увы...

Олег Павлов. «Я живу в трагическое время». Беседу вел Николай Модестов. — «Топос», 2003, 5 декабря <<http://www.topos.ru>>.

«Почему трагическое? Во-первых, безмерное одиночество людей. Беззащитность человека, отсутствие у него опоры в самом себе. Жестокий, беспощадный молах нашей истории. Но главное — отсутствие любви к человеку, ближнему. <...> Главное — ни все вместе, ни по отдельности, мы не знаем, зачем живем. Мы строим какое-то новое об-

шество, а у нас уже миллион бездомных детей... И это абсурд, которому нет объяснения».

Памяти Юрия Кузнецова. — «День литературы», 2003, № 12, декабрь.

«Есть знаменитая русская могила, там на камне выбито: „Здесь лежит Суворов”. Неохота выбирать оценочные эпитеты для Юрия Кузнецова. Здесь вот, перед нами, лежит Юрий Кузнецов» (Владимир Гусев).

«<...> просто и ясно: умер последний великий поэт XX века» (Владимир Бондаренко).

Здесь же — стихотворения разных поэтов, посвященные Юрию Кузнецову.

См. также: Владимир Бондаренко, «Позор русофобам! Канал „Культура” и другие государственные телепрограммы отказались дать траурное сообщение о кончине великого русского поэта Юрия Кузнецова». — «Завтра», 2003, № 48, 25 ноября <<http://www.zavtra.ru>>.

Лев Пирогов. Опium для народа. Проблемы терроризма и гуманизма глазами лапотника. — «НГ Ex libris», 2003, № 46, 18 декабря.

Среди прочего: «Недавно я перечитал главную в своей жизни реликвию — толстую амбарную книгу, в которую мой дед вносил всякие хозяйственные записи с 1958 по 1991 год. Меня поразило, что деревенская жизнь, казавшаяся мне, ребенку, такой безоблачной и счастливой, на самом деле представляла собою сплошную череду бед и несчастий. Эта жизнь была штормовым авралом, когда вся команда, позабыв о порте назначения и надувая жилы на лбах, из последних сил борется за „плавучесть”. И так до конца. Последняя запись, сделанная за несколько дней до смерти, гласит: „Плюс 36 все две недели. Земля потрескалась. Виноград в мильдюю. Не было никогда...” И обрывается на полуфразе, как и положено последней записи в бортовом журнале».

По ту сторону литературы. Беседу вела Ксения Голубович. — «НГ Ex libris», 2003, № 44, 4 декабря.

Говорит Ольга Седакова: «Говорят об исчерпанности форм, жанров („смерть романа”), самого языка. Но по моему мнению, что на самом деле устарело — так это литература как производство предметов, литература как фабрика. Фабрика эстетических вещей, антиэстетических вещей, наконец, антивещей... Фабрика, производящая пародии на производство вещей, — „актуальное искусство”. Только то, что не создается со всей откровенностью как продукт на этой фабрике, что является продуктом как бы невольным, наверное, теперь и было бы опознано как нужная, желанная литература. Писатель не производитель эстетических вещей. Он и не разрушитель эстетических вещей. Он что-то другое, он человек, проживающий прежде всего свою жизнь...»

Путин без посредников. — «Русский Журнал», 2003, 19 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>.

Говорит Марат Гельман: «По-моему, такая возможность полутора миллионов людей позвонить президенту — это как Интернет. И вот как Интернет отменил почту, так и развитие коммуникаций, возможно, отменит демократию вообще. Демократия — это такой сложный механизм представительства одних людей другими, через какие-то институты. Если можно будет установить прямую связь между каждым человеком и лидером, то, быть может, демократия в том виде, в каком мы ее сейчас понимаем, просто отомрет. Что касается монархичности: свою монархичность Путин, конечно, показал. Причем не он показал это своим поведением, а люди показали, что он — монарх. Люди ведут себя с ним, как с монархом <...>».

Владимир Пяст. Поэма о городах. Песнь первая (вступительная). О Петербурге-Ленинграде. Предисловие Евгения Голубовского. Публикаторы А. Н. Полторацкая, А. Н. Катчук. — «Новая Юность». Литературно-художественный познавательный журнал тридцатилетних. 2003, № 5 (62) <http://magazines.russ.ru/nov_yun>.

«Григорий Гедеевич пел Курбэ, / А я пою профессора Курбатова. / *Wer „A” gesagt der muss auch sagen „B”.* / „Акме” сказав, ты скажешь и Ахматова. / Пускай ассоциации в зубах / Навязали, — не страшны на них атаки нам: / Мной будут петы Эрих Голлербах / И Эйхенбаум с тезкою Зубакиным...»

Андрей Ранчин. «Старое барство» в романе Льва Толстого «Война и мир», или Как Хлестова и Ноздрев стали положительными героями. — «Литература», 2003, № 44, 23 — 30 ноября.

«<...> в изображении „старого барства” Толстой полемизирует — причем вполне осознанно — не только с Грибоедовым, но еще и со многими произведениями русской литературы, в которых отражены взгляды, которые — не ища более точных определений — можно назвать либеральными и прогрессистскими».

Роман Сенчин. Делать жизнь с кого. Учебник от Эдуарда Лимонова. — «Литературная Россия», 2003, № 51, 19 декабря.

«<...> Лимонов — писатель для юношества». Это — в связи с книгой Эдуарда Лимонова «Священные монстры».

Анна Сергеева-Клятис. «Звуки итальянские». К интерпретации стихотворения Льва Лосева «Батюшков». — «Литература», 2003, № 46, 8 — 15 декабря.

«Поэта интересует тот культурный контекст, в который идеально вписываются *русский Батюшков и итальянец Гонзаго*».

Владимир Скулачев. «Человек будет жить до 800 лет и умирать от несчастных случаев». Беседу вел Сергей Лесков. — «Известия», 2003, № 220, 29 ноября.

Говорит директор Института физико-химической биологии МГУ, академик **Владимир Скулачев**: «Я считаю, что старость — это болезнь, ее нужно лечить, как инфаркт и рак. Если я вылечу человека от старости, то я вылечу его и от рака с инфарктом — в большинстве старческих болезней. <...> Знаете, у Толкиена эльфы бессмертны, но в битвах погибают. <...> В живой природе существует механизм добровольной смерти, который называется апоптоз и который включается в тот момент, когда клетку надо исключить из процесса размножения. Старение и смерть — программа, заложенная в гены природой. Но эту программу можно вывести из строя и тем самым выключить механизм, сокращающий нашу жизнь. <...> если наши гипотезы подтвердятся, то человек будет жить в 10 раз дольше — до 800 лет. Нет, я не уверен, что прав. Это одна из точек зрения, но нелепо было бы не использовать шанс найти истину. <...> Рождаемость придется ограничить. Ничего страшного: в Китае уже ограничили. <...> Думаю, для всякой нечисти в будущем надо будет предусмотреть смертную казнь. Сложность этических проблем преувеличивать не надо. <...> Уверен, если перед человечеством поставить выбор — рождаемость или увеличение срока жизни, — выбор будет в пользу долгой жизни».

Интервью напечатано на полосе «Наука» (совместный проект РАН и газеты «Известия» <<http://www.inauka.ru>>).

Андрей Скурлягин. Так ли важна экология, как ее малюют? — «Экономические стратегии», 2003, № 5.

Очень интересная статья — против так называемого «зеленого» тоталитаризма, «экофашизма». «<...> эти [экологические] кризисы, если не доводить дело до летального исхода, несут в себе огромное созидательное начало!» Автор — заместитель генерального директора компании «РАНКО», кандидат технических наук.

Марина Слетова, Никита Владимирский. Батум — Батум. Другая Маргарита. — «НГ Ex libris», 2003, № 46, 18 декабря.

«Той же страшной весной [1931 года], через десять лет после Батума, батумской встречи, он [Булгаков] сталкивается на улице с женщиной, так паразившей его воображение. Речь идет о Маргарите Петровне Архангельской, по мужу — Смирновой. Воспоминания **Маргариты Смирновой** о встрече с Булгаковым см.: «НГ Ex libris», 2003, № 47, 25 декабря. Первая публикация: «Наше наследие», 1992, № 25.

Александр Солженицын. Из путевых записей, 1994. — «Труд-7», 2003, № 226, 4 — 10 декабря <<http://www.trud.ru>>.

«Все это путешествие, вот уже три недели, разворачивало мне размах русских пространств. И сложилось ощущение как бы единого ряда удач, посылаемых Господом. А ясно чувствовал, что в Москве — будет совсем иначе: густо враждебные силы».

«О, скудость! о, предел нищеты! Россия моя! — Россия конца XX века! — кто из наших предков мог тебя предвидеть такой? И — как и когда ты выберешься? и кто тебя вытащит? Нет такого богатыря, мы их извели».

Александр Солженицын. Из «Дневника Р-17». Дневник романа о Революции Семнадцатого года. — «Известия», 2003, № 228, 11 декабря.

«„Дневник Р-17“ тридцать лет сопровождал работу автора над романом о революции 1917 года („Красное Колесо“). Александр Исаевич вел его от самых первых поисков, соображений (с 1960 года) — и сквозь всю работу, до ее окончания (1991)» (**Наталья Солженицына**).

Запись в дневнике от 4 февраля 1975 года: «Вот когда начинаю ощущать, что в пердече Ленина я *взял* высоту! Не любительская работа, нет».

См. также: **Александр Солженицын**, «Из „Дневника Р-17“ (1960 — 1991)» — «Литературная газета», 2003, № 49 <<http://www.lgz.ru>>.

Елена Стафьева. «Матрица»: Реставрация. Великое пророчество о конце новой эры. — «*GlobalRus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2003, 25 ноября <<http://www.globalrus.ru>>.

«Выход третьей части — „Революция“ — завершил эпопею „Матрицы“ и доказал полное банкротство этого проекта — как художественное, так и идеологическое. <...> Однако „Матрица“, безусловно, стала главным фильмом десятилетия. Только ее историческое значение состоит вовсе не в некоей новой истине о мироздании, а в том, что она подвела итог самому масштабному и влиятельному духовному течению рубежа веков — *New Age*. <...> Мегaproект „Матрица“, счастливо соединивший медитацию с компьютером, воспринятый миллионами как Откровение о новой эре (именно так и переводится *new age*), стал своего рода кульминацией этого бессмысленного, слащавого и пустопорожного словоблудия. <...> Таким образом, „Матрица“ исполнила свою великую культурную миссию — со всем простодушием Голливуда показала предел относительности в искусстве и продемонстрировала полную ее беспомощность. Поле продуктивных смыслов в искусстве, даже массовом, лежит совсем в противоположной стороне — а именно в области жесткой консервативной идеологии, восстанавливающей разрушенную вертикаль — добро, зло и вечная жизнь. И если нас в ближайшем будущем ожидают какие-то действительно замечательные культурные события, то по своей идеологии (а возможно, и по форме) они будут не революционного, а самого что ни на есть антиреволюционного свойства. Ветер моды уже меняется. Культовыми становятся ретрограды, а над матрицей смеются вчерашние поклонники. Впрочем, это и есть настоящая революция — перезагрузка искусства».

См. также «Кинообозрение **Натали Сиривли**» в настоящем номере «Нового мира».

Н. Струве. Вручение Литературной премии Александра Солженицына Ольге Седаковой. — «Вестник РХД», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 186 (2003, № 2).

«<...> одно из кардинальных свойств Вашей поэзии: не Вы идете к читателю, а читатель вынужден идти к Вам, прислушиваясь к Вашему нарочито не громкому, не навязывающему себя голосу». Здесь же — **Ольга Седакова** отвечает на юбилейную тютчевскую анкету «Вестника РХД».

Михаил Тарковский. Гостиница «Океан». Ложка супа. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 10 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

Хорошие — перепечатанные — рассказы.

Евгений Терновский (Париж). Свободный человек. Памяти Андрея Амальрика. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 233.

«Несколько дней спустя после знакомства с Ионеско Амальрик посетил „Русскую мысль“ и был приглашен на чаепитие к Зинаиде Шаховской. Едва мы уселись в кресла гостиной, как Амальрик обратился к З. А. с веселой фразой, лишенной агрессивного или недовольного оттенка: „Почему ‘РМ’ так редко обо мне пишет? “ Шаховская, которая нашла Амальрика симпатичным, несколько опешила, но свойственное ей чувство юмора легко вывело ее из неловкой ситуации: „Разве редко? Посмотрите последние номера, там две ваши фотографии. А моя фотография — главного редактора! — всего одна“. Амальрик не унимался: „А кстати, Зинаида Алексеевна, я думаю, что вам пора на пенсию. Нужно превратить ‘Русскую мысль’ в оппозиционную политическую газету. У вас она — как бы сказать вам? — слишком напоминает дворянский листок“. Вот так, безо всяких обиняков. И это было сказано с детской и дерзкой улыбкой. Мы с Шаховской расхохотались. „Непременно, Андрей Алексеевич, непременно. Я вас извещу о моем решении“».

«Когда Максимовым овладевала ярость, он находился в клинически невменяемом состоянии — диалог, и обычно крайне трудный, становился совершенно невозможным. Я все же заметил: „Володя, вы упрекаете Амальрика в том, что он сотрудничал с АПН... Но Х. (один из случайных переводчиков тогдашнего „Континента“) всю свою советскую жизнь трудился в поте лица на славу ТАССа и АПН... Реакция Максимова была неожиданной: „Ну и что из этого? Я его тоже подозреваю!“»

Товарищ У. Три урока белесого фантаста. — «Топос», 2003, 10 декабря <<http://www.topos.ru>>.

«Уэллс явился супервиртуозом по части попадания в яблоčko. В трех романах, написанных один за другим в конце девятнадцатого века, он сумел предсказать грядущий двадцатый и обозначить основные направления двадцатого, движущие силы, векторы развития — кому как больше нравится. Что очень хорошо, он оказался беспощаден по отношению к каждому из этих направлений. Романы написаны бледно, неизобретательно и слабо, многообещающие сюжеты не развиты до конца — но это только усугубляет убойную силу этих произведений. <...> Это, в порядке хронологии, „Машина времени“ (1895), „Остров доктора Моро“ (1896) и „Человек-невидимка“ (1897)».

Татьяна Толстая. Зверотур. — «Иностранная литература», 2003, № 12 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

«Кто показывает нам сны, неизвестно; зачем — непонятно». Эссе написано специально для «Иностранной литературы». Вся традиционная рубрика «Литературный гид» в этом номере посвящена снам.

Удодское обозрение № 19 (пессимистическое). — «Русский Удодь». Вестник консервативного авангарда. 2003, № 19, декабрь <<http://traditio.ru/udod19>>.

«<...> похоже, русских ждет достаточно долгий период диаспоры и потом медленный уход с исторической сцены. Это растянется примерно лет на 100 — 120. Впрочем, не стоит особо огорчаться и лелеять свою особую историческую трагедию — аналогичный сценарий ждет все остальные европейские народы. К середине века при таком развитии событий Европа станет по преимуществу исламским регионом. Только и всего. Самым продвинутым русским теперь следует: а) уехать в США; б) а потом помаленьку перейти в ислам. Тем самым они обеспечат себе довольно долгое и успешное существование. Играть роль „шита“ на пути консолидированных обществ Востока в европейский мир, думается, не стоит. Слишком низко Запад ценит эту роль. Видимо, надо рассредоточиться, рассеяться и все забыть. И пусть орды новых, молодых, перспективных народов крушат европейскую империю. <...> Мы же должны, видимо, утешиться тем, что живем в эпоху грандиозных исторических перемен, сравнимых лишь с созданием империи Александра Македонского, временами раннего христианства и крестовыми походами. Нам должен доставлять интеллектуальное наслаждение сам процесс гибели Европы и европейских ценностей. Этакий мазохизм...»

Рут Фэйнлайт. Царица Савская и Соломон. Поэма. Предисловие и перевод с английского Марины Бородинской. — «Новая Юность», 2003, № 5 (62).

«Редкая это птица в небе нынешней поэзии: активно развивающийся классик. <...> Очень надеюсь, что мне удалось хоть отдаленно передать резкую, диковатую красоту и совсем не английскую страстность этой вещи» (М. Бородинская).

См. также поэму Рут Фэйнлайт «Цвет сахарной бумаги» в переводе М. Бородинской — «Иностранная литература», 2003, № 4 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

Егор Холмогоров. Две страны и одни выборы. — «Русский Журнал», 2003, 8 декабря <<http://www.russ.ru/politics>>.

«Сегодня страна фактически расколота пополам — на „путинское большинство“, принявшее участие в выборах и принявшее на себя определенную ответственность за политическое развитие страны, и реальное „молчаливое большинство“, которое в политической системе вовсе не представлено. Если бы явка была 60%, речь шла бы о равнодушном болоте. При явке меньше 50% речь именно о *непредставленном большинстве*, которое не видит в рамках существующей политической системы сил, заслуживающих доверия и отражающих ее мнение. В каком-то смысле это большинство настроено радикальней и идеологичней „Родины“, и риторики Жириновского. Главное в радикальном настроении молчаливого большинства — это сомнение в суверенности существующего в России государства и политической системы. <...> Сегодня это молчаливое большинство заявило о себе исключительно мощно. Оно показало, что является силой хотя бы потому, что будет своей неопределенностью нависать над любыми политическими раскладами, а своей *непредставленностью* угрожать любой политической системе. За пределами „российской демократии“ осталось более половины населения. В России сегодня две нации — „голосующая“ и „не-голосующая“».

Александр Храмчихин. Бессмысленна и бесполезна. А что, если взять и послать ОБСЕ? — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2003, 5 декабря <<http://www.globalrus.ru>>.

«Россия заинтересована в тех организациях, которые, во-первых, хоть что-нибудь реально решают, во-вторых, таких, где статус нашей страны соответствует ее потенциалу. Нам не может быть интересно равенство с Грузией, это противоречит национальным интересам. Вот Грузия очень даже заинтересована в существовании ОБСЕ, а мы — нет. <...> Поэтому членство в ОБСЕ, где нас продолжают учить жить, носит характер откровенного мазохизма. Может быть, пора это осознать? При этом, разумеется, мы не можем хлопнуть дверью, став единственной страной Европы (а также части Азии, поскольку в ОБСЕ приняты все страны, входившие ранее в СССР), покинувшей эту организацию. Это будет еще более нелепо, чем состоять в ней, не получая ничего, кроме поучений. Таким образом, нашей целью должна быть ликвидация ОБСЕ как „выполнившей свои задачи“».

Анатолий Чубайс. Миссия России в XXI веке. — «Посев», 2003, № 12.

Полный текст известной лекции — о *либеральной империи*, прочитанной 25 сентября 2003 года в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом уни-

верситете. Рядом напечатана полемическая статья Александра Штамма «Либеральный империализм и „управляемая” демократия».

Юнна Чупринина. Хранитель ценностей. — «Итоги», 2003, № 47.

Говорит министр культуры РФ Михаил Швыдкой: «Государство существует не для того, чтобы удовлетворять запросы художников. Оно призвано удовлетворять запросы граждан».

Кн. Алексей Щербатов. Из воспоминаний. Публикация Л. Криворучкиной-Щербатовой. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 233.

О том, как в 1945 году в Баварии был обнаружен вывезенный немцами — известный ныне — *Смоленский архив*. Мемуарист на тот момент служил в американской армии.

Михаил Эпштейн. Проективный словарь философии. Новые понятия и термины. № 5. Общество и его фикции. — «Топос», 2003, 19 декабря <<http://www.topos.ru>>.

«В 1990-е годы „как бы” становится фирменным словом российского общества — как знак стирающихся граней между „есть” и „нет”. Это можно истолковать и как слабеющее чувство реальности в условиях почти невероятного, „чудесного” крушения советского режима и непрерывной череды последующих кризисов, подрывающих ощущение стабильности. Все становится „как бы”: как бы демократия и как бы капитализм, как бы деньги и как бы контракты, как бы общество и как бы семья, как бы жизнь и как бы не-жизнь... Виртуальность, в форме вездесущего „как бы”, проникает во все клеточки российского языка, мирозерцания и общественных отношений и как бы заранее готовит их к поголовной компьютеризации».

Это критика. Выпуск 19. Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2003, 11 декабря <<http://www.russ.ru/krug>>.

На этот раз — беседа с составителем «Периодики». За ней следует комментарий **Михаила Эдельштейна**, и хотя бы часть этого постскриптума мне хочется сохранить для истории (литературы): «<...> на мой взгляд, „Периодику” нужно рассматривать еще и как своего рода стратегический ход. Или, если заимствовать приговоское выражение, использованное самим Василевским в одной из его старых заметок, „назначающий жест”. Появление подобной рубрики „назначает” „Новый мир” „золотой серединой”, условной осью, по отношению к которой... позиционируются другие журналы”. Тот, кто обзревает и структурирует литературное поле, тем самым как бы приподнимает себя над ним. И в этом плане „Периодика” восходит не к „Библиографической службе „Континента”», на чем настаивает Игорь Виноградов, а к столетней давности практике тотального рецензирования — к деятельности Брюсова в „Весах” и „Русской мысли”, к „Письмам о русской поэзии” Гумилева. <...> В пользу этой версии свидетельствует и эволюция рубрики, описанная самим Василевским в интервью. От авторского комментария к объективной подборке цитат — так и должна она была развиваться в рамках избранной стратегии. Боюсь, правда, что Василевскому в силу его темперамента не слишком уютно в роли беспристрастного арбитра, которая так легко давалась тому же Брюсову...»

«Я человек ностальгический...» Беседу вела Юлия Качалкина. — «Книжное обозрение», 2003, № 49, 1 декабря.

Говорит **Евгений Рейн**: «Мы все проживаем комическую жизнь. И мои любимые писатели не случайно — Чехов, Зощенко. Сейчас, правда, ни тот, ни другой не модны в среде интеллигенции. Я считаю Зощенко абсолютным гением, великим писателем, совсем не только юмористом и даже юмористом в малой степени. Он был великий философ...»

Составитель **Андрей Василевский** (novmir@lenta.ru).

*«Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя»,
«Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Рубеж»*

Марина Адамович. Внутренняя сторона ветра. Проблема времени и вечности в прозе Милорада Павича. — «Вопросы литературы», 2003, № 6, ноябрь — декабрь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>.

О выявившемся «несоответствии» мировоззрения и книг мэтра идеям и задачам постмодернизма, в особенности отечественного.

На самом деле — о Павиче как таковом, сложной структуре его произведений, о проблеме вечности в хронотопе его прозы, о важной для писателя теме смерти и его, павичевском, понятии «внутреннего времени» («внутреннее время обладает огромными скоростями — скоростью сна, но величина его скорости равна нулю, — это движение внутри Истины, внутри Цели, внутри круга <...> Герой Павича и не может существовать в мире простом, материальном, — его скорость не совпадает со скоростями земного мира»).

«[Виктор] Ерофеев упрекает Павича в том, что „игра ума“ сербского прозаика нарушает им же провозглашенное „правило литературы“ — „не мешайте словам“. Здесь опять — подмена: Павич имеет в виду не эстетизированное слово прозы вроде ерофеевской (ну уж. — П. К.), не игру словесами, которая вообще свойственна постмодернизму, эксплуатирующему на самом деле традицию устной, разговорной речи. Думаю, что Павич имеет в виду иную традицию, согласно которой Слово есть одно из имен, ипостасей Божиих. Потому слово — *само ведет*, только не нужно ему мешать».

Конечно, от книги к книге Павич и его *слово* меняются. «Но как бы ни менялся текст Милорада Павича, он по-прежнему напоминает нам о *принадлежности*. О принадлежности к *истории* в ее вечном, метафизическом круговращении, вне которого человек действительно превращается в ничто, в пустоту. Выстраивая хронотоп своей прозы на принципе историзма, в самом традиционном понимании историзма как „чувства принадлежности к истории“, Павич тем самым вводит нас в метафизику истории и действительно выглядит „инородцем“ в мире современного постмодернизма».

В. А. Анисимов. Исповедь снабженца. Литературная запись В. С. Балиной. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 11 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

Рука не поднимается назвать эту постоянную рубрику «Звезды» — «Люди и судьбы» — проектом или акцией. Но это именно проект. Раз за разом публикуемые свидетельства живых совопросников еще не остывшего времени достойны того, чтобы впоследствии составить поучительную и интереснейшую книгу. Этот человек, действительно удачливый советский снабженец (род. в 1934), ныне живет в Питере. Замечателен ровный тон его рассказа. Так говорят опытные, много повидавшие и много понявшие люди. И — честные, как можно убедиться из его исповеди. Прочитированные им собственные самодельные стихи о нынешнем безжалостном времени только добавляют краски его искренности.

Андрей Битов. Текст как поведение. Воспоминание о Мандельштаме. — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток, 2003, № 4 (866).

Следует помнить, что во многом благодаря именно А. Г. Битову во Владивостоке установили бронзовый памятник поэту — на месте его гибели. Устанавливали дважды — первая скульптура, бетонная, была разрушена варварами. Много хлопот нес на себе и главный редактор альманаха «Рубеж», представитель Русского Пен-центра во Владивостоке Александр Колесов.

«[9]. Не один я такой. Мандельштам — любят. Не всенародной любовью, а — каждый. <...> В 1997 году, во Владивостоке, во дворе скульптора Валерия Ненаживина, я столкнулся с самой невероятной историей такой любви.

Воспитанный на ненависти к монументальной пропаганде, я еще ни разу не любил памятника конкретному человеку, даже писателю, с трудом смиряясь лишь с андреевским Гоголем, да с Опекушиным (опека над Пушкиным), да с дедушкой Крыловым (по подсказке того же Мандельштама) в Летнем саду.

Здесь, в тесном дворике, в толпе пограничников и горнистов, я видел подлинного Мандельштама! Предсмертный, он вытянулся к квадратику неба, гордо по-птичьи задрал свою птичью голову, поднося задыхающуюся руку к замолкающему горлу. То самое пальто, те самые чуни... Он успевает сказать нам свое „прости“. Невыносимо!

Памятник был поставлен у себя и для себя.

Скульптор не совершил античной ошибки Пигмалиона: он любил человека, а не статую. Ненаживин! — бывают же фамилии.

Историю создания он излагает так.

Конечно, он знал, что в его родном городе погиб поэт, но не больше. Однажды, в тексте современного автора, набрел на цитату. Строчка потрясла его. Он достал книгу Мандельштама и погрузился в нее. Он прочитал всего Мандельштама и все о Мандельштаме. Он почувствовал и пластику, и массу всех его слов. Он вылепил Мандельштама из этого материала, а не из глины».

Татьяна Бек. Николай Заболоцкий: далее везде. — «Знамя», 2003, № 11 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Это предварительные итоги анкеты, подготовленной в связи с прошлогодним столетием поэта. Анкета рассылалась самым разным стихотворцам, содержала четыре вопроса и получила около сорока откликов.

«Суммируя ответы своих товарищей, я получила неожиданные для себя новости о свежих гранях авангарда, или о казусах пребывания натурфилософии в недрах поэзии, или о „шарже, настоящем на лиризме”, или о живучести оды с грузинской приправой за счет союза с примитивом, или о юродстве как орудии против хаоса... И много о чем еще. (Не обошлось, естественно, и без темы *позднего-раннего* Заболоцкого. — П. К.). Эти вести и весточки в сумме, как мне кажется, составляют асимметричную и взбалмошную картину современной поэзии. Все участники анкеты — вне зависимости от пола и стиля, помимо цеховых интересов и вообще — поверх барьеров, — прикасаясь к Заболоцкому, вдруг, как в сюрреалистической сказке, укрупненно самопроявлялись».

См. также: **Татьяна Бек**, «Бессмертье перспективы. Ответы и отзвуки поэзии Заболоцкого в современной поэзии» — «Литература», 2003, № 40, 23 — 31 октября <<http://www.1september.ru>>.

Михаил Горбов. Война. Публикация и вступительная заметка Марины Горбовой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 11.

Воспоминания одного из участников Гражданской войны (Вооруженные силы Юга России) написаны полвека назад, в Париже. В изгнании Михаил Николаевич Горбов стоял в стороне от политических кругов русской эмиграции, его записки дышат временем, иные страницы без содрогания читать невозможно.

«Поздно ночью пошли мы в засаду. <...> Кто-то из нас словчился бросить в окно гранату. После страшного взрыва все замолкло. Вошли — на полу куски разорванных людей, а кто не был убит, был добит нами. Однажды, впрочем, мы забрали их живьем и, под угрозой наших винтовок, повели к набережной, где — обычно — в овраге — их казнили, *на это были любители* (курсив мой. — П. К.). Вели мы несколько человек, и среди них были подросток, мальчик лет шестнадцати. Всю дорогу этот мальчонка плакал и жался ко мне: „Дяденька, отпустите, дяденька, я боюсь”. Как я мог его отпустить?»

А вечерами нельзя было выходить иначе как по несколько человек и с заряженными винтовками, так как эти же люди из-за темных углов стреляли в нас как по воробьям. Дни же наши (в Севастополе. — П. К.) проходили за тяжелой работой. Надо было снимать с кораблей тяжелые орудия, надо было перетаскивать их на берег, ставить на платформы формируемого бронепоезда...»

Евгений Ермолин. По направлению к Фаулзу. — «Дружба народов», 2003, № 11 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>.

Размышления о двух исповедально-публицистических книжках знаменитого писателя («Аристос. Размышления, не вошедшие в книгу Екклезиаста» и «Кротовые норы»).

Фаулз, над которым, как он сам считает, *никого* нет, вызвал у рецензента уважение и удивление. Чем? Честностью и твердыми принципами, в основе которых «*добродетель*», «серьезность отношения к жизни и творчеству. То, чего так не хватает». Ни в России, ни в Европе, как можно понять из заключений Ермолина, *чистоплотному* фаулзовскому практицизму, строящемуся на принципах «равновесия», популярности не обрести. Ибо в основе его — реальные поступки, пусть и не осененные чьим-либо благословением.

Коротко говоря, получается чеховская теория «малых дел» по-английски.

Игорь Ефимов. Новгородский толмач. Роман. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 10, 11.

Замечательный историко-философский роман живущего в США писателя повествует о времени царствования великого князя Иоанна III, о том периоде в русской истории, который впоследствии нарекут «Русь Московская». Главный герой — послушник и переводчик Стефан Златобрад, приехавший из католического Любека в «землю восточных вероотступников» для работы в иностранной купеческой общине Новгорода. Этот пылкий и очень религиозный молодой человек (мечтающий стать священником) становится свидетелем больших российских потрясений — от последовательного усмирения Новгорода до окончательного освобождения Руси от власти татар. Роман состоит из череды писем Стефана своим родным и благодетелям, из его дневниковых записей (все это на протяжении почти двадцати лет) и заканчивается пространным посланием совершенно обрусевшего толмача — дьяка посольского приказа, именующегося теперь Степаном Юрьевичем Бородиным-Червонным, — своему сыну Павлу. «И еще одной вещи страшусь <...> не разгадать Господень замысел обо мне. Твердо верю, что есть у Господа свой замысел о каждом из нас, но Он не открывает его нам, чтобы замысел не превратился в приказ, не лишил нашу душу свободы, самовластия...»

К роману приложены выписки из исторических трудов и благодарности тем, кто помог писателю в его работе.

Георгий Ефремов. Желтая пыль. Заметки о Давиде Самойлове. — «Дружба народов», 2003, № 10, 11.

Мемуары младшего товарища поэта. «Моя попытка написать воспоминания о Давиде Самойлове привела к странному итогу: сочинилось нечто о себе самом, — пишет Ефремов в предисловии. — Знаю, что никакой справедливости, никакой объективности нет и не будет. И не хочется, чтобы к этому тексту относились как к документу».

Заметки — это причудливый коллаж из дневников Самойлова и самого Ефремова, писем и собственно воспоминаний. Они интересные, многое добавляют и к портрету Д. С., и к портретам его известных современников.

Но одного я так и не понял: для чего мне, читателю, рассказали о некоторых частностях личной жизни человека? Что Ефремов пишет от чистого сердца, приводит верные (или кажущиеся ему таковыми) факты этой *личной* жизни — не сомневаюсь. Но как себя должен чувствовать читатель, получивший в приложении к тексту *e-mail* от А. Давыдова (старшего сына Д. Самойлова) — автору воспоминаний? В постскриптуме электронного письма читаем: «Посылаю свои мемуары. Кстати, эпитет „обманная“ к моей маме применил, видимо, ты первый — настолько уж она была очевидно прямодушна и чистосердечна. Не твой ли это реверанс в сторону Медведевой?»

(«Медведева», как нетрудно понять, это — «Галя», последняя жена писателя, ныне — его вдова, сегодняшний публикатор его наследия.)

Наталья Заболоцкая. Воспоминания об отце. — «Вопросы литературы», 2003, № 6, ноябрь — декабрь.

Большое — «В Тарусе», маленькое — «На Беговой».

Спокойные, безыскусные и теплые. Очень *заболоцкие* по тону.

Из тарусского прошлого (конец 50-х): «Когда возникали стихи? Мне кажется, что складывались они постепенно, а записывались часто тоже по утрам, однако основную массу работы составляли переводы. Впоследствии я часто узнавала черты и моменты нашей жизни, послужившие толчком к возникновению стихов или отдельных строк.

После обеда иногда соглашался полежать в саду под яблоней. Лежал на раскладушке в своей любимой позе: на спине, руки под головой, ступни скрещенных ног двигались непрерывно, ритмично поглаживая друг друга. Мне казалось, что эти движения связаны с ходом мысли».

Из московского прошлого: «Мне часто советовал не разбрасываться и не торопиться: „Главное, чтобы капелька за капелькой падала в одну точку. Тогда и маленькая капелька горы разрушит“. Если задавался вопрос по поводу непонятных слов или явлений, строго отсылал к словарю».

Сергей Залыгин. Заметки, не нуждающиеся в сюжете. Предисловие Анатолия Наймана. Публикация Марии Мушинской. — «Октябрь», 2003, № 9 — 11 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

Писатель и редактор нашего журнала работал над этими заметками в начале 90-х. Организованы они несколько бессистемно, кроками; хроника событий обильно разбавлена «лирическими отступлениями», временами выплавляемыми в простодушную исповедь, в разговор с самим собой, *прошлым* и *нынешним*.

«В то же время никто не начинает писать, не ощущая себя личностью. Я себя таковой ощущал — в застойные времена потому, что писал много, много издавался, потому что выиграл схватку по проекту Нижне-Обской ГЭС, потому что не только был беспартийным, но и чувствовал свою беспартийность как независимость, как свою личность; в начале перестройки — потому что был востребован, возглавил журнал, который должен был сыграть и сыграл свою особую роль, потому что выиграл в проблеме „перевосприимчивости“ и в других подобных проблемах, а — сейчас?»

Я не Солженицын, тот может быть один — один в поле воин, он знает, что его дело не умрет в веках, во мне нет и никогда не было чувства исключительности, нет и проницательности, тем более мгновенной, и отношения с любым человеком я начинаю с доверия: может быть, этот умнее меня и больше меня понимает в проблеме? В конкретном деле, в нынешнем дне? Не видя же перед собой личностей, я спрашиваю себя: „А может, я тоже безличностен?“ Мне нужна личностная атмосфера, но я никогда за всю свою жизнь так не чувствовал силы обстоятельств, как сейчас, — обстоятельств позорных и лживых, никак не способствующих тому, чтобы что-то делать. Что-то общественное».

«Да, со временем я стал писателем, но привязанность к мелиорации сохранилась, из этой привязанности возникла и экологическая деятельность. И другое: кажется, мне удалось никогда не заниматься тем делом, которое мне не по душе, так же как и тем, чего я не знаю, в чем не чувствую чего-то своего, родного, так или иначе мне присущего. Из этого, в свою очередь, вот что проистекло: мне нужны данности, которые я могу

принимать без размышлений. Доверять им — и только. Не так давно я прочитал одного английского православного епископа (кажется, мы его даже печатали в „НМ”) Антония (Блума), он пишет примерно следующее: вот француз просыпается утром, он что? — разве он думает о том, что такое Франция? И кто такие французы? Нет, никогда, потому что это ему дано с детства, это для него данность, и все одним словом высказано. А русский человек? Он уже несколько веков размышляет над тем, что такое Россия, каков есть он сам, русский человек? Ей-богу, я всю жизнь удивлялся этому точно так же, как и владыка Антоний.

Перед моим окном береза, я думаю о ней. Но ведь от моих размышлений она не становится сосной и даже — чуть-чуть не березой?! Нет размышлений без данностей, без них не может быть решений и исследований. <...> Вообще меня не очень-то волнует вопрос о власти, тем более — ее декларации и программы. Самый важный для меня вопрос я в декларациях не находил, а вопрос, а проблема состоят в том, чтобы государство обеспечило своим подданным условия для такого труда, заниматься которым можно было бы с максимальной добросовестностью, чтобы производительность труда была в равной степени выгодна и трудящемуся, и государству. Вот и все. И все тут права человека, и все общественные условия, и вся тут экология, и весь гуманизм. Если между государством и трудящимся возникает капиталист — пусть ему тоже будет невыгодна ни чрезмерная эксплуатация рабочего, ни большое государство. Пусть это утопия, но разве утопии лишены принципов.

Совсем как у Фаулза (см. выше о статье Ермолина в «Дружбе народов»).

Юлия Качалкина. Смерть поэтического диалога. — «Знамя», Санкт-Петербург, 2003, № 11.

«В нашей современной отечественной поэзии разрушается такая удивительная форма, как поэтический диалог современников, живущих на разных параллелях земного шара и пишущих на разных языках. <...> Сегодня у нас в поэзии нет не то что межнациональных пар вроде Белый — Йейтс, Рильке — Пастернак и Оден — Бродский. Нет даже имен современников, введенных в строку на уровне сравнительного оборота: как тот-то и тот-то тогда-то пел... Бог с ней, с переключкой на уровне смыслов. Хотя бы переключку имен...»

Ничего «страшного», как аттестует ситуацию автор статьи, я в происходящем не вижу. Такие прямые переключки, «пары» — всегда большая редкость. Многие иностранцы-современники, вроде Транстрёмера, Уолкота или Хини, только входят в читательский обиход. А «подводные», *таинственные* переключки с ушедшими классиками при желании могут найтись, и нередко: прочитайте стихи Олега Чухонцева и подумайте о Роберте Фросте (О. Ч. его, кстати, переводил и, думаю, что-то принял в себя), посмотрите также, например, стихи Григория Кружкова и подумайте о древних и свежих англоязычных авторах.

Нет-нет, наша русская поэзия отнюдь не «движется к узконациональному варианту», в лучших своих проявлениях она дышит, как ей дышится. И кстати: современные молодые авторы в массе своей пишут все больше и больше на средневропейский и среднеамериканский манер: оч-чень филологическая верлибристика получается. Имен тут — легион. Только они известны совсем узкому кругу и так ли интересны нам с вами?

Владимир Лифшиц. Я был... [К 90-летию В. А. Лифшица.] Предисловие и примечания Льва Лосева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2003, № 11.

Публикуются неоконченные автобиографические заметки писателя, дополненные его женой Ириной Николаевной Кичановой-Лифшиц (среди этих дополнений — письмо сыну об отце из больницы). Эти записи не вошли в свое время в интереснейшие воспоминания И. Н., изданные двадцать лет назад в Америке. К публикации приложены тексты двух легендарных шутивных стихотворений В. Л.: «На освобождение врачей» и «На смерть Хрущева».

Личность и творчество поэта и редактора Владимира Лифшица (1913 — 1978), на мой взгляд, незаслуженно (во всяком случае, в Москве) подзабыты. Книги, в которой были бы собраны его основные (в том числе неподцензурные) сочинения и свидетельства о нем, — не хватает.

Николай Моршен. Я смерть трактую не как точку. Стихи. — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток, 2003, № 4.

«Сила стиха прямо пропорциональна произведению слов и обратно пропорциональна квадрату расстояния поэта от темы (Закон Моршена)». Так написано под линейкой внизу страницы. Сразу после стихотворной подборки старейшего поэта русской эмиграции Николая Моршена (1917 — 2001) «Рубеж» публикует теплое «Воспоминание» о нем главного редактора альманаха «Встречи» Валентины Сенкевич.

А в подборке есть стихотворение «Сбившемуся с тропы», которое, кажется, так и просится на гитару:

Когда на выжженной скале
Ты встретишь ночь в упор
И холод спустится — во мгле
Раскладывая костер.

Клади в него весь мох сперва,
Которым ты оброс,
Все палки, что из озорства
Совал промеж колес,

Все щепки, что летели врозь,
Когда ты лес рубил,
И сучья все, что на авось
Ты под собой пилил,

Сор из избы (хоть и давно
Ты выносил его),
Труху из сердца и бревно
Из глаза своего.

Лариса Миллер. Лодочка формы. Беседу вела Инга Кузнецова. — «Вопросы литературы», 2003, № 6, ноябрь — декабрь.

Размышления о поэзии, поисках мировоззрения (увлечение Мейстером Экхартом), воспоминания о Борисе Рыжем (его стихах и эпистолярной дружбе с ним), об Арсении Тарковском и его отзывчивости («одиннадцать раз приезжал в издательство „Советский писатель“, чтобы сдвинуть с мертвой точки мою книгу»), о поэте Владимире Соколове.

И о себе (поэте), естественно.

«Я все время чувствую, что нахожусь на грани выпадения в космос. Самое сильное ощущение — бездны, которая буквально в двух шагах. Иногда это бывает до физиологического ощущения. Точно я иду по очень тонкому льду и могу рухнуть. <...> есть чувство, что мне еще предстоит что-то новое, что еще можно начать с чистой страницы. Огромная потребность новизны — может быть, даже больше, чем раньше. Я хочу какого-то полного переворота. Мне этого очень не хватает — и в себе, и вовне, потому что это связанные вещи. Я устала от привычного, от обыденности. Мне хочется перейти на другой уровень чувств. Я боюсь умирания заранее. Я не могу жить в режиме сплошного дежа вю. И все время ищущу, от чего бы загореться».

Из этого пассажа видно, что те преткновения на творческом пути Л. Миллер, которые подмечены в статье Владимира Цивунина (см. в этом номере «Нового мира»), поэтесса осознает гораздо острее, чем любой из ее критиков.

Борис Пастернак. Новооткрытые письма к Ариадне Эфрон. Публикация М. А. Рашковской. Сопроводительный текст Е. Б. Пастернака. — «Знамя», 2003, № 11.

«Новооткрытые», потому что фонд Марины Цветаевой в РГАЛИ был закрыт по воле А. С. Эфрон на 25 лет (до 2000 года). К 15-ти известным письмам Пастернака прибавилось еще 25. В журнальной подборке сделан обзор всей переписки; новонайденные письма печатаются целиком.

Ариадна Эфрон пишет Пастернаку из *ссылок* — Рязани и Туруханска (1947 — 1955), а в 1955-м, реабилитированная, — из Болшева. Он ей — то из Москвы, то из Переделкина. Поэт посылает Эфрон деньги, рукописи и книги, рассказывает о своей работе над романом (посылает и его первую часть — на прочтение) и переводами, пишет о ее матери, делится разочарованием от чтения романа Василия Гроссмана «За правое дело»...

Письма самой Ариадны Сергеевны Пастернак ценил и любил, однажды, против обыкновения, пространно заговорил в одном из писем *не о себе, о ней*: «Вот что я хотел тебе посоветовать. Старайся уже и сейчас, несмотря на недосуг, набрасывать что-нибудь в прозе, хорошую сжатую беллетристику, взяв за образец, скажем, Чехова. Что-нибудь из огромного твоего пережитого, в безобидно нейтральной форме, какую мог бы выдержать современный твой письменный стол. Но именно рассказы, а не воспоминания, не Асины *essays* и размышления, не стихотворения в прозе, а виденное и испытанное, перереженное вымыслом и отнесенное немного в сторону, на творческую дистанцию. Тебе когда-нибудь это понадобится. Ты — писательница, и больно, *когда об этом вполголоса проговариваются твои письма* (курсив мой. — П. К.), где этот дар попадает в ложное положение, как когда, например, ты в них скажешь что-нибудь очень ярко и смело, слишком хорошо для письма, и начинаешь затирать и топить это в пояс-

нительных психологизмах, и торопишься придать необыкновенному вид обыкновенности, чтобы восстановить нарушенную эпистолярную скромность.

В будущем тебе когда-нибудь непременно захочется писать большое жизнеописание, большую историю, настоящую, в открытую, и опять-таки творчески претворенную в отнесении на какой-то градус правее или левее собственной, и тебе заблаговременно надо потренироваться в теске камней к ней. А вываливать это в письмах, это все равно, что питаться серными спичками или пить чистый уксус. А может быть, я не прав и письма-то и есть эти камни».

Вадим Перельмутер. Торжественная песнь скворца, ода, ставшая сатирой. — «Вопросы литературы», 2003, № 6, ноябрь — декабрь.

Жизнь и творчество загадочного, до сих пор не прочитанного толком поэта Марка Тарловского (1902 — 1952).

В. П. анализирует созданную в 1945 году таинственную, сверхвозвышенную оду Тарловского о Сталине: «Убийственная патетика оборачивается более чем рискованной для сочинителя иронией, задуманная торжественная песнь — палящей сатирой на двадцатилетие безудержных славословий, неисчислимость статуй и портретов, а в конечном счете — на всю эту *новую религию*, культовой фигурой которой является герой оды... <...> Через *этику* <...> можно бы и переступить. Да *поэтика* помешала».

По Перельмутеру — «Тарловский был в поэзии *скворцом*», птицей, у «которой нет „своей песни“»; он — «звукоподражатель», берет у всех, кого слышит, и прихотливо соединяет в свое. Однако: «двух скворцов с одинаковой песней не существует. У каждого — неповторимая».

Что до оды, то Тарловский понял, что сочинил, и спрятал написанное подальше. После 1945 года он много работал, много экспериментировал в стихе. Но ничего не печатал и умер на тротуаре Тверской улицы — от внезапной остановки сердца.

Алексей Слаповский. Жили-были. Книга о современной жизни... — «Знамя», 2003, № 11.

Вяловатые такие рассказы-былички — с неременной надписью в конце: «*Конец рассказа*». Называются: «Нечестный человек», «Влюбленный человек», «Пьяный человек», «Человек без ничего» и т. п. Есть и надпись: «*Конец книги*».

Для порядка я вспомнил имена Зошенко, Хармса и Пригова. Не помогло.

Современная поэзия — вызов гуманитарной мысли, Специальный выпуск. — «Новое литературное обозрение», № 62 (2003, 4) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>.

Этот номер выдавался на прошлогоднем Международном фестивале поэзии вместе с матерчатой сумкой, бутылкой водки и красочными проспектами. Репрезентативное, как сейчас говорят, издание.

Позвольте процитирую «добуквенно»: «Дорогой наш читатель! Ты держись в руках новый специальный номер „НЛО“, продолжающий настойчивые поиски способов модернизации гуманитарного знания, инициированные спецвыпусками № 50 и 59. На этот раз мы решили проинспектировать (междисциплинарный теоретический арсенал гуманитариев на предмет их боевой готовности к осмыслению феномена современной инновационной поэзии...»

Это пишет Ирина Прохорова, и я не вполне уверен, что в пятом слове ее обращения действительно содержится опечатка. Мою неуверенность хорошо иллюстрирует все следующее за вступлением (их четыре) в этом номере.

Я «держусь в руках», но мне тошно и скучно¹. Обращаясь к читателю («Представляя на твой строгий суд некоторые образцы современных поэтических практик...»), Ирина Прохорова возглашает: «Чтобы избежать интеллектуального застоя и мертвящей скуки, не следует забывать заветов отцов о „веселой науке“!»

Никакой «веселой науки» тут нет, все очень академично-экспериментально-научно-образно, ноль автоиронии. Может, фотоинсталляция Сен-Сенькова смешные? Нет, унылые. Или рисунки Б. Кочейшвили (портреты кураторов-поэтов-филологов-культурологов)? Ну что ж, у Айзенберга и Лукомникова — по четыре пальца на руке, Сапфир — это копия Спрутса из «Незнайка на Луне», остальные — те еще уродцы. Мне потом объяснили, что это техника рисунка такая, она к нам с Запада пришла.

Часть же научных материалов в несколько откорректированном виде пришла сюда с конференции «Концепт „современности“ в истории культуры и гуманитарных наук» (2003, апрель), это я вычитал в конце номера. Но есть и специальные блюда. Вот некоторые из них.

«*Поэты и их толкователи. „Стереоскопическое чтение“*» (это когда публикуется сам стихотворный *текст-виновник*, затем идет толкование этого текста его автором и,

¹ А мне — нет, а мне — нет. (Реплика А. В.)

наконец, разбор филологом). К слову, лишь Михаил Еремин в качестве авторского толкования дал в журнал еще одно свое стихотворение... Так то Еремин, скажем мы, его ни на какой филологической мякине не проведешь, это другое поколение. Кроме Еремина здесь есть Марианна Гейде, Андрей Сен-Сеньков, Николай Звягинцев, Елена Фанайлова, Шамшад Абдуллаев, Владимир Гандельсман.

«*Изобретение традиции, или Грамматика новой русской поэзии*» Игоря Вишневецкого с берегов озера Мичиган. Спасибо хоть за слово «новой».

«*Опыт литературного маркетинга*» Светланы Королевой и Алексея Левинсона. Социология, опросы студентов. В разделе «Стратегии продвижения продукта» под пунктом 3.4 значится: «Нельзя приближать поэзию к жизни». Оказывается, люди боятся поэтов и стихов. «Вместо поэтов стихи могут рекомендовать люди иных занятий — так сказать, свободные от подозрений в сношениях с соответствующей грозной силой. Недаром среди агентов такого маркетинга явилась Масяня».

«*Круги компьютерного рая*» Дарьи Суховой. Это когда барахлит клавиатура и клавиши западают. Тоже поэзия. Отчужденность, термины, *ctrl+s*, перекодировка.

А про «мета-», «некро-» и «эро-» реализмы я вообще молчу. Это всегда ново и свежо, как стихи Елены Костылевой, для которой, по слову Станислава Львовского, «все <...> относящееся к сфере телесного и сексуального, является важнейшим источником метафоры».

И поверьте, у меня совсем не «гомофобское», как вы предсказательно пишете, «зубоскальство» (стр. 348). Просто я так и не научился понимать, отчего стихи большого американско-литовского «гея с экстремальным опытом» есть «чистое волшебство». Знаете, некоторые наши *новые* современные поэты любят и страдают не хуже вашего Витутаса Плиуры. Не менее выразительно.

А если серьезно, я бы договорился о перемене понятий. Пусть то, что пишут сегодня Олег Чухонцев, Инна Лиснянская, Юрий Кублановский, Елена Шварц, Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Ирина Ермакова, Александр Кушнер, Игорь Меламед, Максим Амелин, Лев Лосев, десятки и сотни *других* литераторов (вы отлично знаете — каких!) и — даже — Владимир Гандельсман с Еленой Фанайловой, по старинке называется современной поэзией. А?

А *то и те*, о чем/ком *преимущественно* пишете вы, — ну, скажем... «смыслово-структурным производством социокультурных интертекстов». Немного длинновато, но зато — ближе к истине, из которой вашими (совместно с коллегами-филологами) усилиями добровольно вынута то, что — как обозначил в 1922 году Чуковский (о Блоке) — «прежде называлось *душою* поэта».

Чтоб жить и помнить... Виктор Астафьев (Г. Сапронов). — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток, 2003, № 4.

На следующий день после похорон писателя его вдова, Мария Семеновна, передала другу и издателю Астафьева — Геннадию Сапронову — листочек с текстом. Это предисловие к третьей части «Последнего поклона» было написано Астафьевым в последние дни жизни. Вот — из последней «затеси» Виктора Петровича:

«И когда я, поклонившись праху самых любимых людей, стою над родными могилами, какое-то отстраненное чувство охватывает мое сердце, и все, что происходит вокруг, кажется мне таким мелким, суетным и быстро проходящим в сравнении с этой надмирной вечностью.

И снова, и снова память высвечивает прошлое, и прежде всего ясноликое детство, которое всегда счастливо, что бы на свете ни происходило, что бы с людьми ни делали тираны и авантюристы, как бы ни испытывала, ни била людей судьба.

Когда стал вопрос, где строить сельский храм вместо порушенного в тридцатые, злобно неистовые годы, я показал на уголок земли рядом со старым кладбищем. И стоит он, младенчески светлый, из тесаных бревен храм Божий. В святые праздники над ним звучат колокола, а вечерами в нем удаленно теплится огонек. Будто вместе собранные души моих односельчан и родичей светятся из дальней, непостижимой дали. В порушенном храме крестили меня, в этом, вновь возведенном, завещал я себя отпеть.

Жизнь прекрасна и печальна, повторю я за одним великим человеком. Вот об этой радости и печали я не перестаю и не перестану думать, пока живу, пока дышу. Об этом и самая заветная книга моя „Последний поклон“, которая тревожит мою память, озаряет светом прошлые дни, печалится и радуется во мне.

Пока живу, мыслю и пишу — „и жизни нет конца, и мукам — краю“, — всевечная память поэту, изрекшему эти великие слова, летящие во времени вместе с нами».

Сабир Шарипов. Миниатюры. — «Дружба народов», 2003, № 11.

Публикуется в огромном (треть номера, 15 позиций) блоке текстов под общим заголовком «Башкортостан: проза, поэзия, публицистика». Блок открывается интервью

г-на М. Рахимова «Дружбе народов» и закрывается главами из новой книги Мустая Карима «Мгновения жизни» (перевод с башкирского Ильгиза Каримова).

А в миниатюрах этих есть что-то щемящее, хорошее.

...В зарисовке о возвращающемся из ссылки старике, умершем в пути. В его вещмешке нашли только кусочек душистого мыла — в подарок дочке.

...О разрыве сердца у кобылицы, видевшей смерть своего жеребенка под колесами иномарки.

...О последствиях того, что у русских называется «обознатушки».

...О женщине, подобравшей пьющего мужика, брошенного женой. Тот перестал пить, и теперь бывшая жена сгорает от ревности-зависти.

...О мальчике («Маленький ангел»), смотрящем в небо и мечтающем, чтобы волшебный самолет сбрасывал всем того, чего у них нет. Ребятам — жвачки, девочкам — шоколадок, тетке — телевизор, одинокой бабке — хорошего деда. «Неужели небо и справедливость так неразрывно связаны в человеческой душе с самого рождения?»

Шедевры хайкай за триста лет. Перевод с японского Александра Вялых. — «Рубеж». Тихоокеанский альманах. Владивосток, 2003, № 4 (866).

Стихи выдающихся поэтов прошлого и настоящего времени собраны современным поэтом Миурой Юдзуру в антологию и размещены по традиционному принципу «времена года». Есть там хайкай и от составителя.

Муха присела
На грудь. Спящий младенец
Перестал сосать.

Нинё Соодзёё (1901 — 1956)

Воротный столб.
Вот он и попрос немного —
На шапку снега.

Миура Юдзуру.

Составитель Павел Крючков.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Март

5 лет назад — в № 3 за 1999 год напечатан рассказ «Желябугские выселки» и повесть «Адлиг Швенкиттен» Александра Солженицына.

15 лет назад — в № 3 за 1989 год напечатана хроника Василия Белова «Год великого перелома».

35 лет назад — в № 3 за 1969 год напечатана повесть Василя Быкова «Круглянский мост».

40 лет назад — в № 3 за 1964 год напечатана драма В. Розова «В день свадьбы».

50 лет назад — в № 3 за 1954 год напечатаны главы из поэмы А. Твардовского «За далью — даль».

60 лет назад — в № 3, 6-7, 8-9 за 1944 год напечатана книга третья романа Алексея Толстого «Петр I».

70 лет назад — в № 3 за 1934 год напечатаны «Переводы из грузинских поэтов» Бориса Пастернака.

SUMMARY



This issue publishes «The Candidate», a tale by Anatoly Azolsky, «The Rally», a story by Boris Yekimov, «Nineteenth Century», a Christmas tale by Dmitry Galkovsky as well as a story by Yury Petkevich «On the Way to Granny's in Bekachin». The poetry section of this issue is made up of the new poems by Irina Yermakova, Inna Lisnyanskaya, Tatyana Voltskaya, Tamara Zhyrmunskaya and Marianna Geide.

The sectional offerings are as follows:

«*Time and Morals*» — «Where Time has Vanished in Space» — a sociological essay by professor Revecka Frumkina.

«*Close and Distant*» — «Imperial Censorship: Two episodes from the History of Cinematography» by Yury Saakov.

«*Literary Critique*» — «The Way to Cure the Birds that would not Sing» — an article by Irina Vasilkova on the poems by Svetlana Kekov; «The Dry Throbbing» — an article by Vladimir Tsyvunin on Larisa Miller's poems.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,
Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,
Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Луколина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.11.2003 г. Подписано к печати 29.01.2004 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9000 экз. Зак. 4066. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова,
учрежденная журналом «Новый мир»
и Благотворительным Резервным фондом,
присуждается с 2000 года автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России.

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ,
по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно),
по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ,
по итогам 2003 года —

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

за рассказ «Утюжок и мороженое»,
опубликованный в журнале «Знамя» (2003, № 1).

Состав жюри 2003 года:

МИХАИЛ БУТОВ, прозаик,
ответственный секретарь журнала «Новый мир»;

ДМИТРИЙ БЫКОВ, поэт, прозаик,
литературный критик, публицист;

РУСЛАН КИРЕЕВ, председатель жюри, прозаик,
зав. отделом прозы журнала «Новый мир»;

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда
(в настоящее время — депутат Государственной Думы РФ);

МИХАИЛ ЭДЕЛЬШТЕЙН, литературный критик,
обозреватель «Русского Журнала».

Сумма премии — 3000 \$.